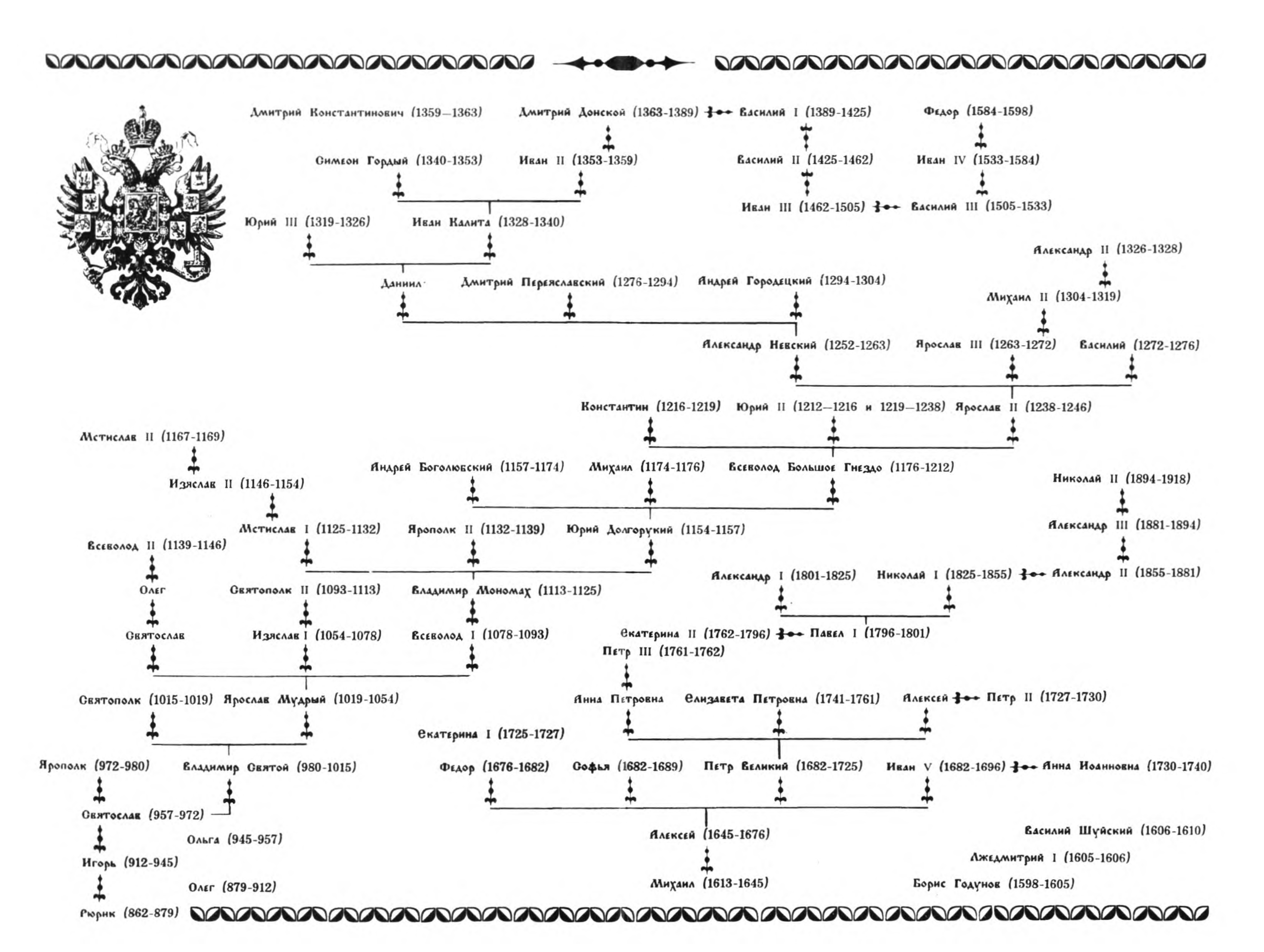
ГОСУДАРИ РУСИ ВЕЛИКОЙ

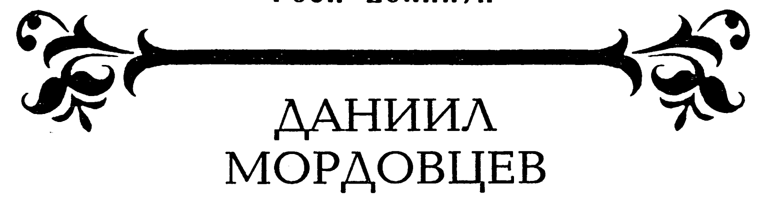
ДАНИИЛ МОРДОВЦЕВ

ЛЖЕДИМИТРИЙ



Рюрик (862-879)
Олег (879-912)
Игорь (912-945)
Ольга (945-957)
Святослав (957-972)
Ярополк (972-980)
Владимир Святой (980-1015)
Святополк (1015-1019)
Ярослав Мудрый (1019-1054)
Святослав
Изяслав I (1054-1078)
Всеволод I (1078-1093)
Олег
Святополк II (1093-1113)
Владимир Мономах (1113-1125)
Всеволод II (1139-1146)
Мстислав I (1125-1132)
Ярополк II (1132-1139)
Юрий Долгорукий (1154-1157)
Изяслав II (1146-1154)
Мстислав II (1167-1169)
Андрей Боголюбский (1157-1174)
Михаил (1174-1176)
Всеволод Большое Гнездо (1176-1212)
Константин (1216-1219)
Юрий II (1212—1216 и 1219—1238)
Ярослав II (1238-1246)
Александр Невский (1252-1263)
Ярослав III (1263-1272)
Василий (1272-1276)
Даниил
Дмитрий Переяславский (1276-1294)
Андрей Городецкий (1294-1304)
Михаил II (1304-1319)
Александр II (1326-1328)
Юрий III (1319-1326)
Иван Калита (1328-1340)
Симеон Гордый (1340-1353)
Иван II (1353-1359)
Дмитрий Константинович (1359-1363)
Дмитрий Донской (1363-1389)
Василий I (1389-1425)
Василий II (1425-1462)
Иван III (1462-1505)
Василий III (1505-1533)
Иван IV (1533-1584)
Федор (1584-1598)
Борис Годунов (1598-1605)
Лжедмитрий I (1605-1606)
Василий Шуйский (1606-1610)
Михаил (1613-1645)
Алексей (1645-1676)
Федор (1676-1682)
Софья (1682-1689)
Петр Великий (1682-1725)
Иван V (1682-1696)
Анна Иоанновна (1730-1740)
Екатерина I (1725-1727)
Анна Петровна
Елизавета Петровна (1741-1761)
Алексей
Петр II (1727-1730)
Петр III (1761-1762)
Екатерина II (1762-1796)
Павел I (1796-1801)
Александр I (1801-1825)
Николай I (1825-1855)
Александр II (1855-1881)
Александр III (1881-1894)
Николай II (1894-1918)

ГОСУДАРИ
РУСИ ВЕЛИКОЙ



ДАНИИЛ
МОРДОВЦЕВ

ЛЖЕДИМИТРИЙ

Романы

Москва
«Современник»
1994

БК 84Р1
М79

Текст печатается по изданиям:
Мордовцев Д. Л. Москва слезам не верит.
М.: Моск. раб., 1993;
Мордовцев Д. Л. Державный плотник.
М.: Сов. Россия, 1990

Подготовка текста, послесловие и примечания *Ю. Н. Сенчурова*

Серия основана в 1991 г.

Ответственный редактор серии *В. А. Серганова*

Генеалогические древа и годы княжений и царствований на форзаце даются по «Иллюстрированной хронологии истории Российского государства в портретах» (Спб., 1909)

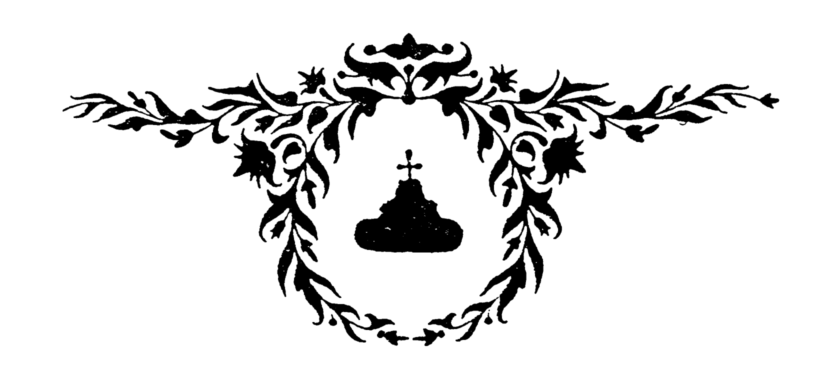
Мордовцев Д. Л.
М79 Лжедимитрий: Романы/ Подготовка текста, послесл. и примеч. Ю. Н. Сенчурова.— М.: Современник, 1994.—400 с.— (Государи Руси Великой).
ISBN 5-270-01783-0

Имя Даниила Лукича Мордовцева (1830—1905), одного из самых читаемых исторических писателей прошлого века, пришло к современному читателю недавно. Романы «Лжедимитрий», вовлекающий нас в пучину Смутного времени — безвременья земли Русской, и «Державный плотник», повествующий о деяниях Петра Великого, поднявшего Россию до страны-исполина,— как нельзя полнее отражают особенности творчества Мордовцева, называемого певцом народной стихии. Звучание времени в его романах передается полифонизмом речи, мнений, преданий разноплеменных и разносословных героев.

ББК 84Р1

М $\frac{4702010101-030}{М106(03)-94}$ Без объявл.

ISBN 5-270-01783-0



ЛЖЕДИМИТРИЙ

Исторический роман
из Смутного времени

I. ГРИШКА ОТРЕПЬЕВ НА ДОНУ

Тихая, теплая весенняя ночь окутывает обрывистый берег Дона и далекое, ровное Задонье. Словно бессонные очи, смотрят с темного неба группы созвездий — Кассиопея, Возница — с яркоглазою Капеллою, с трепетно блестящим Альдебараном и Плеядами, отражаясь в темном зеркале спящего, тихого Дона Ивановича. Спит и желтопесчаная отмель-коса, недавно вынырнувшая из-под вешнего разлива вод и просохшая под жаркими лучами неугомонного южного солнца.

Тихо, беззвучно кругом. Лишь иногда, как бы сквозь сон, жалобно пропищит береговой куличок, оберегая как зеницу ока свое песчаное гнездышко с пестрыми крохотными яичками — будущими детками своими, куличатками.

— Славен город Черкасской! Слушай! — раздается в сонной тиши.

— Славен Асавул-город! — отвечает возглас в стороне.

— Славен город Раздоры! — вторит третий.

— Славен Рай-Айдар-город! — этот уже еле доносится откуда-то издалека.

И снова тихо, сонно... Что это за голоса, в ночной тиши славящие Черкасск, Асавул-город, Раздоры, Рай-Айдар-город? И кто оспаривает славу этих городов?

Ночь не отвечает... А бессонные очи-звезды мерцают по-прежнему. По-прежнему куличок от времени до времени пропискивает спросонья свою маленькую жалобу — он и во сне, бедненький, видит своих ворогов лютых, ворон да коршунов, что ищут похитить и расклевать его сокровище, крохотные яичушки.

Медленно двигаются бессонные очи-звезды по темно-

му небу. Медленно идет ночь задумчивая. Медленно катится тихий, сонный Дон Иванович...

— Ночь-то какая благодатная, Господи Боже! Очи твои всевидящи, сый Вседержителю, с умилением и любовию взирают на сие дело рук Твоих, Боже Всесильный... Да, давно я таких ночей не видывал, когда, внимая дыханию Бога в сем тихом плескании воды, в сем благом веянии духа Божия над землею, плакать хочется слезою молитвенною.

— Так-так, чоловиче Божий: се така ничь, що зараз дивчина чернобрива згадуеться, як ото вона выходить до тебе у вишневый садочек, ниженьки свои тоби у шапку ховае, а само, мале, до тебе, козака, тулиться — пригортаеться, мов та хмелиночка до явора... так-так... А хиба у вас у Москви не таки ничи?

— Нет, не такие. Холодно там у нас, хмуро, забели ночные... Нерадостно.

— Так-так... У Москви и солнце холодне и небо понуре... А довго ж таки, чоловиче Божий, ты був у того патриархи, у Иова?

— Долго-таки. Возлюбил я книжное дело паче всего мира — прилепилось к нему сердце мое, аки к служению самому Господу. А меня за сие книгочие велие в чернокнижии оговорили.

— Ах вони гаспидови дити!

Темными пятнами вырисовываются в темени ночи две конные фигуры. Это они разговаривают. Слышится мерное туканье копыт о сухую землю.

— Ото дурный москаль! Сам бач соби царем татарина обрав... От дурный.

— А то дурно от дьявола — Божим попущением.

— Та воно не без того... Залив вам чертяка сала за шкуру.

— Бог милостив — разделаемся с Борисом... Лишь бы донские казаки нашу сторону взяли.

— Возьмут! Подончики возьмут. Вони хоч за черта так встануть... абы москалив пошарпати.

— Дай Бог.

В ночном воздухе опять пронесся окрик:

— Славен город Черкасской! Слушай!

— Славен город Асавул-город!

Всадники остановились, один из них сказал:

— Та се же вони, подончики... тут у их, мабуть... становище.

— А почто они оклики делают?
— Та, мабуть, орды ждут.
— А как они по нас стрелять учнут?
— Ни, мы свиту дождемось, та тоди й у становище заявимось.
И они своротили коней в боярышник, колючие кусты которого местами устилали холмистое побережье Дона. Немного погодя они вышли из кустов и, прикрываемые береговою кручею, стали прокрадываться к тому месту, откуда доносились оклики часовых.
Снова мертвая тишина. Слышен только шепот Дона — это вода задевает прибрежные камни и словно шепчется с ними. Шепот этот думы наводит и страх — это темная, немая вода говорит, это ее непонятный лепет. А темные тени путников все двигаются вдоль кручи.
«Ги-ги-ги-ги! Го-го-го-го!» — слышится чей-то крик из-за Дона, из лесу.
— Эч бисова сова гогоче!
В это мгновенье что-то зашуршало впереди, словно шаги чуялись. Путники припали к круче, ждут... Восточная окраина неба начинает светлеть.
Впереди, у берега, очерчивается фигура женщины, опирающейся на клюку. Она что-то шепчет. По всему очертанию фигуры видно, что это старуха. Она приближается к самой реке, зачерпывает в ладони воды, дует на нее крестообразно и выплескивает в Дон. Зачерпывает во второй раз и делает то же. В третий раз — опять то же.
— Ух-ух! Водяной дух-дух! Я те спеленала — крестом знаменала,— глухо шамкает старуха. Потом, обращаясь на все четыре стороны и как бы маня кого-то, она продолжает: — Бесы полуденны, бесы полуночны, бесы утрении, послушайте слова Божия!
Она снимает что-то с шеи и, нагнувшись к воде, водит по ней тем, что сняла с шеи... Путники невольно крестятся.
Наконец, старуха поднимается и, вытянув вперед руки, тихо, но внятно причитает:
— Дон ты батюшка! Тихий Дон Иванович! Что течешь ты с заката солнышка ко полудню, ко полуднему граду Ерусалиму, что бегут твои воды со гор горних, со холмов холмленых, со тех ли суходолиев, круты бережечки омываючи, древесные и травесные коренья ломаючи... Ух-ух, водяной дух-дух!.. Омой ты, батюшка, омой ты, Дон Иванович, Донское войско хороброе, оторви ты от рабов Божих, казачушек, ото всего войска хороброго,

оторви всяки болести-хворости от головушек буйных, от очушек ясных, от плечей могутныих, ото всей кровушки казацкие. Во тебя ли, Дон Иванович, я, раба Божия, святой крест макала, молитвы читала, бесов изгоняла... Чур-чур-чур, вы, бесы-дьяволы лукавые, земляные и водяные, ветровые и вихровые, подуманные и погаданные, посланные и наспанные, с водою выпитые, с едою съеденные! Идите вы, бесы, с тихово Дону, идите в поле неведомо, где птицы не поют и звери не воют, где кони не ржут — собаки не лают, где кошка не мяучит, петух не поет и голосу человеского слыхом не слыхано...

Восток все более и более брезжится... Предметы становятся явственнее. Предрассветный ветерок шевелит седыми космами волос, выбившимися из-под колпака старухи, который в виде чулка свесился на сторону.

— Дитятко мое... сыночек мой рожёный... не наглялелися на тебя глазыньки мои старые, не насытилася тобою душа моя материяя, дитятко мое, атаманушка... А давно ли, кажись, я тебя на рученьках носила, в зыбочке качала, песни казацкия над тобой певала? Опять уходишь ты от меня — ведешь свое войско хороброе... О-о-хо-хо! Горюшко мое горючее, житье мое плакучее...

— Се мати Заруцького,— шепчет один из путников.

— Так, надо полагать, сам Заруцкий в стане? — шепчет другой.

— Та вже, мабуть, сам.

Старуха скрывается за пригорком.

— От баба так баба! Усих чертив перелякала. У матушку й сынок вдався.

— А что — молодец?

— А то ж! Такий головосика, що чертови й хвист одруба. А из себе мов дивчина гарный.

— А Корела?

— Овва! Се таке маленьке, пыкате та кирпате, та усе подряпане й порубане, а як на коневи — то й чертови тертого хрину пиднесе.

— А нам не лучше ли до коней воротиться?

— Та й вернемось... не забаром и весь стан прокинеться.

И они тихо поползли к своим коням.

Утро наступало быстро. Стрижи уже вылетали из своих маленьких нор, чернеющих в круче, словно пули из дул, и с писком спешили на работу — ловить мух, мошек и всякую иную мелюзгу, для которой и крохотный стриж представляется страшным чудовищем. Вылетало и выпол-

зало на работу все живое — летучее, ползучее, красивое и некрасивое... Заговорили кусты, трава, небо, Дон...

Очерчивалась задонская даль — ровная, местами всхолмленная, окаймленная песчаными буграми. Темная поверхность Дона синела все больше и больше. Влево выдвигались меловые горы, вскрапленные темными пятнами, и вершины их уже золотились, словно маковки церквей. Не заставило себя ждать и чародей-солнышко: золотая кисть его скользила по вершинам гор, по верхушкам деревьев, по распущенным крыльям мартына белобрюхого, тоже вылетевшего на работу,— и все оживало и преобразовывалось под этой кистью великого художника. И откуда взялись эти краски, тени, красивые изломы линий, живописные очертания? Кто разом просыпал на землю, на леса, на воды эти миллионы звуков, эту нестройную, но глубоко чарующую разноголосицу жизни, счастья, страданий?

— Тю-тю, москалю! Ха-ха-ха!

— Ты что смеешься?

— Та як же ж не смияться? От москаль! Мов квочка на яйцях, так вин на коневи сидит...— Тот всадник, что это говорил, красиво, молодцевато сидел на вороном коне, поглядывая через плечо на товарища. Высокая меховая шапка заломилась набок. Красная верхушка ее горела точно мак. Из-под шапки, словно грива, свешивался черный чуб, перекинутый за ухо. Смоляные усы висели книзу. Из-за цветной, расшитой яркими шнурами накидки торчали громадные пистолеты, длинные ножи. Широкие плечи перекрещивались ремнями, на которых болтался целый арсенал всякого оружия. Длинное ратище у самого копья перевито красною лентою «из дивочои косы — на не забудь». Голубые, широкие китайчатые шаровары попачканы дегтем и прожжены порохом... А лицо доброе, открытое, с веселыми серыми глазами...

А товарищ его действительно не особенно ловок. Несмотря на богатое польское одеяние, он смотрит каким-то причетником на коне. Длинные руки и длинные ноги как-то не прилажены. Посадка неуклюжая — вся фигура будто сгорбленная. Но лицо умное, задумчивое, сосредоточенное. Черные глаза не скользят, не смеются, как глаза первого всадника, а смотрят глубоко...

— И царевич у вас такий же — не вмие издить верхи?

— Нет, царевич на коне, аки орел.

— Ну, який там орел...

Казацкий стан уже близко. Ржание лощадей невообразимое. Слышен брязг и лязг оружия, возгласы, перебранка, смех. Возы с поднятыми кверху оглоблями сбиты в кучу. Там и сям торчат казацкие пики, воткнутые в землю. У одних древки красные, у других синие. Одни лошади бегут к Дону, на водопой, другие скачут в гору. То там, то здесь взовьется в воздухе аркан. Захлестнутый арканом конь вскидывается на дыбы и снова падает. Крохотные казачата босиком, без шапок бешено кружатся на неоседланных конях. Иной мчится, стоя на спине лошади и дико гикая. Другой скачет лежа, головой к хвосту коня...

— Бисова дитвора — яка ж то прудка! — одобрительно восклицает запорожец, один из ночных путников.— И не чертовы ж дити?

А там седой как лунь старик, на таком же сивом, как сам, коне, бешено мчится за черномазым крохотным казачонком, который, гикая и звонко смеясь, далеко обогнал старика. Запорожец даже об полы руками ударился:

— От чертине! Мабуть, вчора од материной цицьки видняли, а дида своего перегнало!..

Кое-где виднеются женщины с детьми на руках. Другие крошки цепляются за подолы матерей. Это казачки со своим приплодом — будущими головорезами — пришли проведать кто мужа, кто брата, кто батю, кто деда. А заодно и кашу им сварить: вьются дымки костров...

Чем ближе, тем гвалт неизобразимее. В самой гущине снующего и гудящего на все лады и на все голоса человеческие и нечеловеческие табора казацкого, на высоких древках, веют значки и знамена — то черный осьмиконечный крест на красном полотне с кистями, то белый крестище на черном поле, то конские хвосты словно змеи извиваются над всем этим и отдают чем-то диким, угрожающим...

Ночные путники замечены. В таборе как бы все притихает. На пике поднимается шапка и снова опускается. В свою очередь, один из ночных путников, одетый по-запорожски, выкидывает на конце своего длинного ратища белый пух ковыль-травы.

Из табора выскакивают два верховых казака и несут-

ся к путникам. Один из них, старший, с поседелою бородою, осаживает коня на всем скаку, бросает в воздух яйцо и стреляет в него из пистолета. Яйцо разлетается вдребезги.

— Пугу! Пугу! — глухо стонет он филином.

— Казак с лугу! — громко отвечает запорожец.

— С чем?

— С листом от коша.

— Добре. Скатертью дорога к нашему кругу.

Путники и казаки сблизились. Младший, длинноусый казак с русою курчавою бородой и курчавою же головой, с удивлением смотрит на путника в польском одеянии. У того тоже на лице изумление и радость...

— Юша! Ты ли это?.. — говорит первый взволнованным голосом.

— Я, Треня.

— Какими путями к нам на Дон попал?

— Божьим изволением.

— А твоя ряса мнишеская?

— У Господа в закладе.

— Кто ж ты ныне — польский пан?

— Милостию Всемогущего Бога посол государя царевича и великого князя Димитрия Иоанновича всея Русии.

Треня даже на седле покачнулся.

— Так жив царевич?

— Жив и здравствует.

— Где же он?

— В благополучном месте.

— Господи! Слухом не слыхано, видом не видано... Как же тебя зовут ныне, по изочеству величают?

— Был я Юшка, Юрий, Богданов сын, Отрепьев, когда с тобой в бабки игрывал и четью-петью церковному учился. После стал чернорizцем-мнихом из Юшки-Георгия возродился во ангельский чин в старца Григория, а ныне паки Юшкою стал, послом государя царевича к славному войску Донскому.

— Ах, Юша, Юша! А мне все думалось, что ты там в своем Чудове, в келейке своей, все сидишь над Мефодием Патарийским да над Даниилом Заточником — сидишь, аки пчела любодельна.

Голос его дрожал слезами. Задумчивые глаза Отрепьева тоже искрились влагою и теплотою.

Старые друзья обнялись.

— Вот други-приятели сыскались? — заметил старый казак.

— Гай-гай! Москали як раки в торби — зараз перешепчутся,— подмигнул запорожец.

— С Богом! На майдан, во казацкий круг,— громко сказал старший казак.

— Эч, цилуются мов дивчата — ото вже чудна московська вира...

Скоро все четверо скрылись в таборной толпе.

II. ЯВЛЕНИЕ ДИМИТРИЯ

Что за жизнь-раздольице на тихом Дону! Что за волюшка-свободушка в казацких юртах, на станичных лугах, на донецких степях! Разливался-расплескался Дон Иванович со полуночной страны к полуденной, заливал он, затоплял он, Дон Иванович, круты красны берега и зеленые луга, поразмыл он, поразметывал рудо-желтые пески. День и ночь идет Дон Иванович — не умается, со станицами витается, со станицами прощается: что привет тебе, станица Казанская, что поклон тебе, станица Хоперская, от Хоперской поклон Усть-Медведицкой, от Медведицкой привет станице Качалинской, от Качалинской — Трех-Островинской, а от той идет до Распопинской, и поклон несет Нижнечировской с Курмояровской, с Пяти-Избинской, а земной поклон всего войска Донского славному городу Черкасскому!

Небедно живет тихий Дон Иванович. Вдоволь у него и лесу дремучего, и зверя прыскучего, и птицы летучей, и рыбы плавучей. Вдоволь у него и травушки-муравушки добрым коням на потравушку. Оттого и идут на Дон, как пчелы на цветущую липу, и холоп кабальный, и боярин опальный, купец проторговавшийся, и подьячий проворовавшийся, и конюх царский, и сын боярский — всех принимает тихий Дон Иванович, всех принимает, никого не обижает. Станицы растут, как цветы цветут, и тихий Дон все шумнее и шумнее становится. Расползается вольная земля все вширь и вдаль; повырастали казацкие курени по Хопру и по Медведице, по Базулуку, Иловле, по Донцу, по Чирам и по Айдар-реке. На Волгу перекинулась казацкая вольница, а оттуда и в Сибирь прошла — Сибирь взяла.

— Приобык и я, Юша, к вольной волюшке. Здесь не то что в каменной Москве — рогатины да заставины;

здесь казацкая душа словно жемчуг бурмицкой по серебряному блюду перекатывается. А все сердечушко щемит по каменной Москве — по родной стороне.

— Что ж, Треня, теперь мы и побывать можем в матушке-Москве.

— Нету, Юша, туда мне путь-дороженька заказана, что печатью мертвой припечатана.

— Почто? Коли царство Российское добудем, так и все печати распечатаем.

Треня махнул рукой. Курчавая голова его повернулась к северу.

А из соседнего боярышника неслось разудалое пение:

Полюбил Дуню попович молодой,
Сулил Дунюшке червонец золотой:
Червончику Дуне хочется,
А любить кутьи не хочется.
Полюбил Дуню гостиный сын купец,
Посулил Дуне китаечки конец:
Китаечки Дуне хочется,
А любить купца не хочется.
Полюбил Дуню подончик молодой,
Посулил Дуне мякины яровой:
Мякинушки ей не хочется,
А любить донца ух хочется...

— Эх, Юша! Неладно Московское царство скроено, да крепко сшито; по живому разорвется, а не распорется: все порядки те же остаются. Эти порядки, словно рогатина, поперек мне в горле стали.

— Это, брат, ненадолго: рогатину эту вынут скоро.

— Кто это у щуки-то зубы вынет — смельчак такой?

— Да тот, что послал меня.

Треня покачал головой. Русые кудри так и заходили ходенем.

— Как бы во рту у щуки и рука его не осталась, Юша!

— Чья?

— Да того, что в Кракове появился.

— Нет, Треня, не таков он человек.

— Да ты сам-от раскусил его добре?

— Не такой он человек, чтоб его раскусывать; а вижу я, что сам-от он раскусит аки гнилой орех Московское царство. Попомни меня.

— Каким же побытом ты на след-то его попал?

— А вот каким... Когда ушел это я из Москвы и сошел в Киев, нашел я там немало московских людей: одни сбежали еще при Иване Васильевиче, от грозной его опричнины, других выгнала из родной земли годуновщина. Толкался меж ними и неведомой инок молодой, именем Димитрий. У него на щеке бородавка, и оттого все так его и звали — «чернец Димитрий с бородавкой»... Держался он как-то ото всех поодаль: хорониться не хоронился, а все меж ним и другими словно какая пелена висела, и за пеленой той аки бы еще нечто неведомое таилося. И на лице его, и на очах его пелена сия виделась, словно бы в нем две души было и два человека в его теле обреталося: глянешь в очи ему — и видишь, что из оных, аки из кладезя глубокого, другой человек смотрит, не тот, что с тобою разговаривает...

Отрепьев остановился и задумался. Курчавая голова Трени тоже раздумчиво оперлась на руку...

Меня матушка плясамши родила,
Меня кстили во царевом кабаке,
А купали во зеленыим вине.
Отец крестный — целовальник молодой,
А мать крестна — винокурова жена.
А поп-батька — со гудочного двора...

Песня переходила в хор, но один женский голос покрывал все.

— Ай да Дуня! — доносилось восклицание.

— Ты смотрел когда-нибудь в открытые мертвые очи? — продолжал Отрепьев, как бы не слыша пения.

— Как? — спросил Треня, не поднимая с руки головы и во что-то вслушиваясь.

— Когда у мертвеца еще не закрыты очи и он смотрит ими, а заглянешь в них и видишь бездну какую-то, и что в этой бездне — не угадаешь, не прочтешь; а есть что-то... Видал? Так и него, у Димитрия, есть что-то там в глубине кладезя очей... И чудом неким прозрел я в кладезь тот, прозрел не оком, но слухом моим. Единожды молился я во святых пещерах киевских. Тихо было в пещерах и суморочно. Чудилось мне — дыхание некое ходит по аеру, тихое веяние крил некиих надо мною, и волосы мои, аки живы, встают у корней своих — и трепет нападе на мя. Тени ли то угодников Божиих посещают жилище свое земное, крилы ли ангелов невидимо сметают, аки сметие, прах столетий с нетленных мощей угодников тех — не ведаю; но ужас вечности объял мя,

и я лежал поверженный пред единою ракою священною. И слышу аки в сонии тонце глас от раки преподобнаго Феодосия:

«Боже всесильный! Молитвами святых угодников зде лежащих, молитвами великомученика Димитрия Солунскаго, молитвами ангел и архангел и всего невидимаго чина небеснаго, возврати мне, Боже, царство мое, царство отцов и дедов моих, великое царство Московское, Борисом у меня, аки татем нощным, похищенное. Возврати мне, Господи, скифетро мое, и престол мой, и державу мою, и венец отцов моих, и прославлю имя Твое святое из конца в конец вселенныя, от истока вод до моря и от вершин гор высоких до пропастей земных, до последних морей и океанов великих. Господи! Клянусь Тебе клятвою великою: я поведу народ мой путем, Сыном Твоим указуемым; я отру слезы вдовицы; прикрою нагое тело нищих земли моея; от стола моего царскаго я напитаю их, алчных и неимущих; последний укрух хлеба я разделю с царством моим; я положу сердце мое в руце народа моего добраго; думу мою царскую я солью с думою народною; изгоню я гнев, и казнь, и кровь из царства моего; я просвещу народ мой светом истины. Всемогущий Боже! И се другая клятва моя великая перед тобою: уврачевав раны царства моего, я поведу его, всю страну мою, весь народ мой возлюбленный, стара и млада, богато и убога, князя и боярина до последняго смерда и рольника, поведу на врагов твоих, агарян неверных, и изгоню их из земли Твоей в землю агарянскую, изгоню их и из Царяграда и из святого Иерусалима. Я возвращу нетленный гроб Сына Твоего, Господа нашего Исуса Христа, возвращу гроб сей, неоцененный ценою человеческою,— возвращу его Церкви Твоей святой, православной греческой. Господи! Владыко! Преклони ухо Твое к молению моему, Боже, Боже!..»

А за боярышником тянется новая хоровая:

Не спасибо те, игумену тебе,
Не спасибо те, бессовестному,
Молодешеньку в монашенки постриг,
Зеленешеньку посхимиил меня...

— ...Ужасом повеяло на меня от слов сих,— продолжал Отрепьев, как бы силясь отогнать от своего слуха назойливое пение хоровода.— А голос был знакомый!
— Чей же это голос был?

— Его — «инока Димитрия с бородавкой».

— Кто ж его голосом говорил-то в пещерах? Кто молился?

— Он же, «Димитрий с бородавкой»...

— И ты видел его там?

— Видел, после. И он потом заметил меня и зело смущен был. «Ты слышал молитву мою?» — говорит. «Слышал»,— говорю. «Никому же,— говорит,— неповеждь тайну сию, дондеже Господь не восставит меня на царстве моем».

— Когда же он объявился царевичем?

— На третий год после сего.

— А кому объявился?

— Польскому князю Вишневецкому Адаму. И объявился случаем. В Киеве проживал он у князя Острожского, у воеводы, на княжом дворе, где московских людей, а наипаче иноков, принимали с охотою; но Острожскому он не объявился. Из Киева он перешел в Гощу, к панам Гойским, и тамо в учение вдал себя... и победи все книжные мудрости, даже до риторики и философии.

— Да откуда ж он взялся, когда он был маленьким зарезан в Угличе?

— Зарезан не он был! Его подменили на погибель Годунова.

— Как же, Юша, так, коли Годунов тогда еще не царствовал?

— Не царствовал, а дорогу торил ко престолу...

— Да как же подменить-то человека, Юша? Это ведь не иголка. И игла игле рознь. А он был уже отроком.

— Подменила сама мать-царица да ближние... От того, когда якобы царевича зарезали, так царица-мать нет чтобы убиваться по младенцу, кинулась с поленом на мамку Василису Волохову, дабы убить ее. Мамка-то ближе всех видала настоящаго царевича и могла показать, что не его зарезали. И после, когда уже зарезанный отрок лежал в церкви и когда в церковь привели сына мамки, Осипа Волохова, царица закричала: «Вот убийца царевичев!» И его убили. Кто всех ближе знал царевича в лицо — тех всех побили, и некому уже было сказать, подлинной ли царевич лежит в церкви.

— Дивно, дивно дело сие...— заметил Треня.— Точно в сказке.

— Да сказка сия ужаса исполнена,— сказал Отрепьев.

— Ну, так как же объявился он Вишневецкому-то?

— Случаем, говорю. От панов Гойских перешел он в Брагин, на службу к князю Вишневецкому. А я его не покидал из виду: он в Гощу — и я в Гощу; он в Брагин — и я в Брагин... И приключися ему тамо болезнь тяжкая... И призвал он к себе отца духовного для напутствия в загробную жизнь. И по исповеди говорит оному священнику: «Аще Господь пошлет мне смерть ныне, завещаю тебе, отче, похоронить меня с честию, како детей царских погребают». И вопроси его иерей: «Что есть сие?» — «Не открою ти тайны,— отвеща,— дондеже жив: тако Богу угодно. Егда же умру, возьми Писание под изголовьем у меня и тогда познаешь, кто я». Ужасеся священник и поведа о том князю. Князь же взем Писание, прочитал в оном, что лежащий пред ним неведомый человек есть сын царя московского, Ивана Васильевича, Димитрий...

— Те-те-те! Он де вони, бисови москали, шепчутся! — раздался вдруг голос запорожца.

Перед ними стоял знакомый уже нам казак, заломив шапку и фертом упершись в боки.

— Якого вы тут гаспида шушукаете?

— О царевиче Димитрии я ему повестую,— отвечал Отрепьев.

— Я так и знав. От народец! Що москали, що ляхи — одна пара чобит, да й те стоптанных. Як двое зийдутся докупы, так зараз про свое: один про свою вольность — як им вольна хлопа бити, а москали — зараз про царив: коли нема в их царя, то хоть выдумают себи або намалюют.

Треня засмеялся.

— Не смейся, Тренюшка,— серьезно сказал Отрепьев,— он только шутит. Малороссийские люди все великие скомрахи.

— Хто мы, кажешь? — спросил запорожец.

— Скомрахи — веселый народ сиречь. А все запорожское низовое войско уж обещало стать под стяг царевича Димитрия и его вот прислало со мной к войску Донскому — просить и донцов стать заедино.

— Ще ж, и станемо! И нам и подончикам — все одно: кого ни бить, абы бить, та чужи капшуки трусить — хочь то московськи, хочь то турецьки, хочь то й лядьски...

А за боярышником кто-то притоптывал, выгаркивал, выговаривал:

На Иванушке чапан,
Черт мочалами тачал...

Вечерело. Летняя ночь начинала спускаться и над Доном, и над станицей, около которой казаки расположились табором в ожидании похода. Это была Усть-Медведицкая станица. Раскинувшись небольшими куренями по полугорью, она спускалась к песчаной отмели, на которой казачата каждый день устраивали ристалища, гоняя коней своих отцов и дедов на водопой. Левым крылом станица всходила на обрывистый, каменистый берег, такой высокий, что когда казачата сталкивали с вершины его камень, то, скатываясь и колотясь о другие камни, он увлекал за собою массы плитняку, который с грохотом и прыгал в Дон, словно стадо диких коз. За Доном зеленелся лес. Вправо от станицы песчаная отмель суживалась в узкий рукав, называемый Каптюгом, по которому весною шумно бурлил Дон, образуя за Каптюгом особый живописный, покрытый серебристыми тополями остров.

Эх ты, остров зеленый, островок песчаный! Исходили, истоптали тебя казацкие ноженьки, поливали тебя, словно дождичком, девичие слезыньки. Оттого на тебе, островок песчаный, и травынька-муравынька не вырастывала, не всходила, что тебя, островок песчаный, горючьми слезами красны девицы кропили. На тебе, островок зеленый, красны девицы с казаками-соколами совыкались-целовались, на тебе ли, островок зеленый, и навеки с ними расставались!

На этом Каптюжном острове, под развесистым тополем, и сидел Треня с Отрепьевым, когда к ним подошел запорожец.

— Подождем, что скажет атаман Корела,— говорил Треня.— Он должен скоро быть со своим войском. А коли и он во едину думу с Заруцким станет, так тогда и на Москву пойдем... Только все что-то сердечушко веры не дает.

— Чему? — спросил Отрепьев.

— Да тому, что моим глазынькам повидать вновь золотые маковки, моим ноженькам ступать по тем по дороженькам, где мы с тобой, Юша, малыми ребятками хаживали, беды-горюшка не знавывали.

— Та же ж у вас, у Москви, кажуть, погано, холодно,— протестовал запорожец, который так любил свое южное солнышко.— Там, у вас, кажуть, и черешня не расте.

— Зато рябинушка кудрявая растет, белая березынька листочками шумит, бор зеленый разговоры говорит... Эх! Помнишь, Юша, как мы за грибами хаживали, белую березыньку заламливали?

— Помню.

— А помнишь, как Мефодия Патарийскаго читывали, как он о гогах и магогах повествует, что Александр Македонский в горы заклепал?

— Как не помнить? Еще ты все хотел Александром Македонским быть, дабы Годунова, аки царя персидского, в полон взять да на прекрасной его Ксении жениться.

— Эх, Ксенюшка, Ксенюшка! Высоко ты, птичка-перепелочка, гнездо свила! Не залететь туда ясну соколу... Вот и теперь, как вспомню эти косы трубчаты, что трубами по плечам лежат, эти бровушки союзные, соболивые... я ведь видал ее на переходах... Как вспомню все это, так и свет Божий не мил становится.

Он тряхнул своими русыми кудрями и гордо закинул голову.

— Оттого и на Дон больше ушел.

— Се б то од дивчины? От сором! — вмешался запорожец.— Та я б и вкрав, буть вона хочь царська дочка.

— Да она ж и есть царская дочь.

— Ну и вкрав бы...

— Руки, брат, коротки.

— Овва! У мене руки довги... та от як будемо у Москви, то я ии, трубокосу, и вкраду-таки... Ось побачете.

— Куда тебе, хохол эдакой!

— А все ж таки вкраду.

Отрепьев не вмешивался в этот спор. Его другое что-то занимало. «И поведу народ мой на агаряны, и изгоню их из земли Твоей в землю Агарянскую, и из Царяграда, и из Иерусалима изгоню их»,— шептал он в задумчивости.

— Ты что, Юша, шепчешь? Али Настеньку Романову вспоминаешь:

Эх ты, Настенька, Настенька,
Походочка частенька, частенька.

Сильно подействовали эти слова на Отрепьева. Он как-то растерянно и с укором посмотрел на своего товарища...

— Что, али забыл Настеньку Романову — «грудь высоку, глаза с поволокой, щечки аленьки, черевички маленьки?..» Али забыл ее «длинны косыньки плетены, рукава строчены, шейку лебедину, голос соловьиный?..».

Забыл, запамятовал, Юша? — приставал неугомонный Треня.

Отрепьев молчал, упорно глядя в темную даль, все более и более закутываемую дымкою ночи.

— Забыл Настеньку?

— Се московка така? Хиба ж у москалив гарни дивчата? — подсмеивался запорожец.

— Почище ваших черномазых,— даже не обернулся к нему Треня.— Ну, так что ж «Настенька — походочка частенька»? — допытывался он у товарища.

— Пропала Настенька, все Романовы пропали...— как бы нехотя отвечал Отрепьев.— Всех Годунов позасылал туда, куда и ворон костей не занашивал. Нету уж боле на Москве старшего из Романовых Федора Никитича, не видать его шапки горлатной, не скрипят по теремлю его сапожки — золот сафьян, не блестит на Красной площади его платье золотное... Старцем Филаретом стал Федор-от Никитич, во келейке сидит он во темной; замест шапки — клобук иноческий, а золотно платье — черна ряса дерюжная...

— Что ты?..

— Истинно говорю. А и семью его, аки волк овечек, распушил Борис: Ксению Ивановну в Заонежье, на Егорьев погост, малых детушек — Мишеньку с сестрицей — на Белоозеро. А и богатыря Михайлу Никитича в Чердынь заточил, железами заковал. Александра Никитича — к Белому морюшку самому, Василья Никитича — в Пелым... Нету боле Романовых — исчезоша, аки прах, возметаемый ветром.

— А их Настенька?..

Отрепьев не отвечал, подавленный воспоминаниями. Где-то щелкал соловей над гнездом своей возлюбленной, меж водяными порослями заливались лягушки, празднуя свой медовый месяц...

— Что ж он, избесился, что ли, Бориска-то? — спросил Треня.

— Да чует волк, что по шкуру его скоро придут, он и лютует... Царевича ищет — нюхом чует, что не царскую то кровь в Угличе пролили, а царская-то кровушка по белу свету бродит, спокою волку не дает.

— Бедная Ксенюшка! Жаль ее, что от такого-то батюшки-аспида родилась,— пожалел вдруг товарищ Отрепьева дочь нынешнего царя.

— А яки се Романовы таки? Москали ж? — любопытствовал запорожец.

— Родичи старых московских царей... Ну, вот тут и иди на Бориса, коли у него такая дочушка... Руки не поднимутся,— говорил Треня.

— Тю-тю, дурный! Так ты его вбий, а дивчинку озьми соби, коли я ии не озьму,— советовал запорожец.

Опять все замолчали. Только соловей пощелкивал своим маленьким горлышком да лягушки радовались, словно бы на долю их выпало великое счастие. Да оно и правда: счастье неведения — великое счастье, хоть и жалко оно для ведающих...

Тихо. Всех окутала ночь. Всех взяла дума раздумчивая, даже запорожцу что-то вспомнилось... И не сразу услышали они чьи-то шаги и шепот:

— Ластушка моя... лебедушка белая... постой...

— Ох, Ванюшка... страшно мне... пусти...

Да слышится вблизи где-то шепот: два голоса — мужской и женский.

— Золотцо мое червонное... жемчужинка моя перекатная... жди меня... дай мне с Москвы повернуться...

— Ох, Ваня... Ванюшка... соколик...

Треня вздрогнул, прислушиваясь. Шепот смолк. Слышны были неясные звуки, словно бы сыпалось просо на просо...

— Это Заруцков! Его голос. С кем он там?..

III. ПРОРОЧЕСТВО СТАРОГО ЗАРУЦКОГО

На другой день в Усть-Медведицу пришли вести, что Корела, возвращаясь с войском из ногайских улусов, куда он ходил для наказания ногаев за нападение на Черкасск, находится уже в небольшом расстоянии от Усть-Медведицы. Слышно было, что Корела идет с большою добычею.

И станица, и табор казацкий оживились. На майдане, у станичной избы, где обыкновенно собирается казацкий круг, толкались и старые станичники, и походные казаки, и «выростки», и «малолетки». Казачки бродили с детьми — грудными на руках и с целыми стаями у подолов. На лицах ожидание и беспокойство: кто-то воротится жив-здоров с золотой казной, с добычею? О ком принесут весточку черную, слово мертвое? Девушки убраны, принаряжены: либо мил сердечный друг со походного седелечка глазком накинет соколиным, либо девичьим глазынькам по милом дружке плакати...

Тут же бурлит и юное поколение будущих девичьих зазнобушек. Греется на солнышке и ветхая, столетняя старость. Концы и начала двух столетий сошлись на майдане посмотреть друг на друга: прошлое столетие едва ползает от старости, новое столетие едва ползает от младости. Отцы и дети — посередине майдана: это деятели, это их место. Деды и бабушки с внучками и правнучками — по краям майдана: это деятели, или бывшие или будущие.

Ветхий, матерой, столетний атаманушка Заруцкий, или попросту «дедушка Зарука», дед атамана Ивашки Заруцкого, сидит на солнышке, на завалинке станичной избы, и с любовью смотрит на молодых казаков, шумящих на майдане. Все сыновья его полегли в поле, остались только внуки. А любимый внучек, молокосос Иванушка, уж и в атаманье попал — из молодых да ранний.

Вокруг старого Заруки — свой майдан. Целая орава ребятишек окружает дедушку и слушает его россказни о допрежних боях... Светятся молодостью столетние очи дедушки, только голова дрожит и ручоньки старые дрожат у рассказчика. Да и не диво: эко сколько эта седая голова на своем веку видов видывала от Азовушка-града турецкого до самой Сибирушки! А сколько этой седой головушкой было продумано, прогадано! Не диво, что и стары ручоньки дрожат; эко сколько этими рученьками помахано, головушек вражьих покошено, острою пикою сколько ребер-грудей прободено, ко сырой земле телушек пригвождено, на тот свет сколько душенек отправлено!

— Эх ты, Сибирушка студена, Сибирь-матушка! Разнесла ты, Сибирушка, казацкую славушку по своей земле, во все концы конечные! Разлеглося от той казацкой славушки Московское царство-государство промеж четырех морей, и нету ему удержу супротивины. Вспучило Москву от той славушки казацкой, разнесло Московское царствие от Сибирушки — и забыла Москва святу правдушку, надругается она над казацкой славушкой, называет казаков ворами-разбойниками. А мы не воры, не разбойники...— говорит старый Зарука.

Сверкают юные глазки его слушателей — огонь в них дедушка забрасывает, и искрами брызжет огонь этот из разгоревшихся глаз казачат.

— А ты, дедушка, расскажи, как вы Сибирь брали, сибирского царя громили,— звенит своим металлическим голоском шустрый внучек Захарушка, младший братенек Иванушки Заруцкого.

— Ах ты, вострoглазый! Все ему расскажи да расскажи. А который раз-от я тебе рассказываю? А, поди, сотый?

— Нету, дедушка родненький, не в сотый...

— Дедушка, болезненький, хорошенький, расскажи,— звенели другие детские голоса.

— Цыц, воробьи вы эдакие! Ин уж так и быть — расскажу.

И старик налаживается: белая голова поднимается, зрачки расширены — глядит куда-то вдаль, в старину, в глубь прошлого...

— Эх, и похожено было, поброжено, Волгой-матушкой поплавано, на Камушке-реке да на Обе-реке погуляно, татаровям в гнезде их самом за все зло на святой Руси отплачено... Идет это станица атаманушки Ермака Тимофеевича, идет не шарахнется, а Кучумово-от войско что темный бор надвигается. Зазвенели тетивушки певчие, засвистали стрелы каленые — и бысть бой великий... Где Ермак махнет — там и улица, а Кольцо махнет — переулок, а Зарука бьет, словно пашну жнет.

— Это ты, дедушка? — не терпится Захарушке.

— Я, соколик... Постой, дай припомнить... Сбил ты меня, дьяволенок...

— Не буду, дедушка.

Старик опять налаживается на лиризм. Казачата замерли на месте — глаз с него не спускают. А на майдане шумные возгласы: «Любо! Дело говорит Заруцков!», «За царевича Димитрия, атаманы-молодцы, постоим! За веру!», «Любо! Любо!»

— Ишь Иванушка короводит,— улыбается старик.— В меня пошел: в кипятке маленького купывали, кипяток и вышел...

— А ты, ну, дедушка, рассказывай!..

Старик задумывается. Беззубый рот что-то беззвучно шамкает. Лицо мало-помалу туманится, и из старческой груди вырываются хриплые, плачущие причитанья:

— Эх, и высоко звезда восходила, выше лесу, выше темнова, выше садику зеленова! Эх ты, звезда наша, казацкая славушка, атаманушка ты наш, Ермак Тимофеевич! Высоко ты, сокол, залетывал, выше куреня Кучумова, что повыше улуса Алеева! И скатилася наша звезда полуночная, скатилася наша славушка в Иртыш-реку глубокую... Не стало у нас атаманушки, не стало Ермака Тимофеевича — разбрелось наше войско хороброе. Остался один я, сиротинушка...

Старик плакал — тихо-тихо, как ребенок. Оплакивалась жизнь, оплакивалась молодость, хоронилась пережитая, закатившаяся славушка...

Казачата робко смотрят на старика. Иные всхлипывают.

— Дедушка, не плачь, не плачь, родненький! — молится Захарушка, припадая к сивой, поникшей голове.

А на майдане шум, говор. Особливо звучит здоровый голос кудрявого, длинноусого Трени:

— Атаманы-молодцы, помолчите! Гришка Отрепьев говорит! Григорий Богданов сын Отрепьев от московского царевича Димитрия речь держит! Помолчите, атаманы-молодцы!

— И буде сподобит его Господь Бог на прародительском царстве сесть и скифетро московское восприять, и он, царевич, вас, донских казаков, не оставит — великим жалованьем пожалует. А буде он, царевич, то московское скифетро закрепит за собой и родом своим сызнова, и дает он зарок великий — со всем своим царством и с донскими и запорожскими казаками идти на проклятые агаряны, сиречь на турецких людей войною, боем великим, и из Царяграда агарян высечи и из Иерусалима-града высечи тако ж,— нараспев, несколько надтреснутым голосом взывает Отрепьев.

— Любо ль, атаманы-молодцы? — гудит молодой баритон Ивашки Заруцкого.

— Любо! Любо! — дрожит майдан.

— Не любо! Не хотим! — отзываются другие голоса.

— Любо! Любо! — перекрикивает майдан.

— Почто не любо? — зычит Ивашка Заруцкий.

— Любо! Любо!.. Разнесем!.. Долой Бориса!.. За Димитрия постоим!.. Любо! Стоим! — Голоса стоном стонут. Майдан превращается в одну громадную глотку — разгорается народная буря...

Но в это время от группы детей отделяется массивная, хотя и согбенная фигура столетнего старца Заруки. Опираясь на плечо внучка, он входит на середину майдана и стучит костылем о сухую землю.

— Стойте, детушки! Послушайте вы меня, казака старого, матерова! — заговорил он, сверкая глазами.

Все с изумлением смотрят на старика. Он стоит среди майдана, опираясь дрожащею рукою на курчавую головку Захарушки. В этой согбенной фигуре, в этой белой как кипень голове с развевающимися по ветру прядями волос,

в этих старых, заплаканных глазах так много величия, что буря мгновенно утихает...

— Послушайте, детушки! — продолжает старик дрожащим голосом.— Повнемлите моему смертному наказу!

Потом, протянув руку по направлению к Дону, синяя поверхность которого виднелась за отмелью, старый ермаковец начинает медленно причитать, словно по писаному:

— Эх ты, Дон-Донина, тихой Дон Иванович! Повнемли ты моему наказу смертному. Немало я пожил с тобою, тихой Донушка, немало и Волгой-рекой хаживал, и Камой-рекой плавывал, и в Сибирушке студеной бывал,— немало пожито, немало продумано-погадано. Родился ты, Дон Иванович, в Московской земле, и поят-кормят тебя московские реченьки, и детки твои, донские храбрые казаченьки,— все тоей же Московской земли детушки,— ин быть тебе, тихой Дон Иванович, со Московскою землею заодно!

— Любо! Любо! — гудит майдан.

— Дедушка Зарука дело говорит: заодно с Москвою!

— Заодно! Заодно!

Старик поднял клюку, как бы требуя снова внимания. Голоса умолкли.

— Много пожито мною, много думано, детушки! — продолжал старик, глядя куда-то вдаль, как бы заглядывая в будущее.— И видят мои старые очи то, чего не видят ваши молодые. Жить Москве вековечно, до скончания света, а тихому Дону Ивановичу служить своей матушке Московской земле верой и правдой тако ж вечно. Таков мой наказ, детушки, и таково мое благословение. А будет перечить Дон Москве — ин не будь над ним мое благословение.

— Аминь! Аминь! Аминь! — громко произнес Отрепьев.— Пророческое сие слово, атаманы-молодцы, пророческое: будет Дон заодно, постоит с Москвою, и будет чрез то Дон силен и славен, и какова слава будет Москве, такова и Дону, и какова честь Дону, такова и Москве.

— Так-так,— подтвердил старый Зарука,— таково и мое благословение... А теперь прощайте, детушки... Мне с майдану пора в могилу...

Дальше он не мог говорить — ему изменили силы, ноги, голос...

— Ой, батюшки! Дедушка падает,— с испугом закричал Захарушка, силясь поддержать старика.

Но было уже поздно: дряблое старое тело как сноп свалилось на землю, на майдан, по которому когда-то бодро ступали крепкие ноги Заруки.

Старика подняли и повели. Майдан продолжал шуметь, тысячи глоток рычали разом:

— Подождемте, братцы, атамана Корелу — да с ним и в поход.

Казачата также взволновались — общее возбуждение перешло и на них. Когда дедушку Заруку увели в курень, ребятишки подняли шум и визг невообразимый...

— Пойдемте в поход, атаманы-молодцы! — звонко кричал белокурый мальчик, босиком и в казацкой шапке, гордо изображавший из себя атамана.

— Любо! Любо!

— А кого, братцы, в атаманы хотите? — звенит тот же белокурый казачонок.

— Лаверку Баловня хотим! — раздаются детские голоса.

— Любо! Лаверку Баловня!

— Не любо! Не хотим, — возражают другие. — Подавайте нам Захарку Заруцкова!

— Любо! Любо! Захарку Заруцкова волим!

Последние пересилили. Когда Захарушка, проводив деда, вышел из куреня вместе с старшим братом своим Иваном, толпа ребятишек бросилась к нему и, подавая чекмарь, кричала на разные голоса:

— Вот тебе булава! Вот тебе атаманская насека! Будь нашим атаманом...

Захарушка радостно, но с напускною важностью взял поднесенную ему палку, кланялся на все четыре стороны и говорил торопливо:

— Спасибо, атаманы-молодцы, за честь! Я не стою...

— Бери, коли дают! Войско дает! Любо! Войска слушайся! — волнуются детские голоса.

— Ах вы, пострелята, мразь эдакая, клопы, а тоже войском себя называют, — смеется Иван Заруцкий.

— В поход! На конь, атаманы-молодцы, на конь!

И толпа сорванцов с гордо поднятыми головами, с криком, визгом и гиком, подражая большим, оставила майдан и хлынула из станицы на черкасскую дорогу. Самому солнцу, наверное, отрадно смотреть на эту молодую беззаботность, которая не имеет за плечами прошлого, на спину которой не налегла еще тяжесть годов, а на

памяти, как на кладбище, не покоятся еще дорогие покойники...

Черкасская дорога проложена между рощами дикорастущих яблонь, груш, вишенников, боярышников, шиповников, терновников и всяких колючих растений, всхолмленное побережье прорыто глубокими оврагами. И рощи, и прогалины, и холмы, и песчаные внизу косы Дона полны жизни, которая неумолкаемо сказывается в птичьем говоре, писке, треске и тысячеголосом щебетанье, в свисте сусликов и сурков, оберегающих свои норки и маленькие трущобинки, и в жужжанье и гуденье всего летающего, ползающего, скачущего...

Прежде всего буйная ватага казачат делает набег на сусликов, а также и на тарантулов, норки которых нередко чернелись рядом с сусличьими норами.

Стремглав спустившись в глубокий овраг, по которому звенел ручей холодной родниковой воды,— наполняют водою кто свои сапоги, кто шапки — и, взобравшись снова на кручи, выливают воду в сусликовые и тарантуловые норы...

Напуганные водою суслики выскакивают из нор и погибают под ударами юных разбойников.

— Бей-руби! — кричит Лаверка, резвое личико которого раскраснелось, глаза горят, доказывая, что из ребенка вырабатывается образцовый хищник.

И неповоротливые, мохнатые, тарантулы выползают из нор. Казачата дразнят их, трогая палками. Отвратительные пауки злятся, поднимаются на мохнатых лапках — и погибают, как и суслики.

На деревьях, в кустах, в оврагах — везде мелькают казачата: это они достают из гнезд птичьи яички и наполняют ими свои шапки.

— Эй, атаманы-молодцы, посмотрите! — кричит с высокого дуба Захарушка Заруцкий.— Я громлю престол московского царя Бориса Годунова.

Все бросились к дубу. На вершине его чернелось огромное орлиное гнездо. Обхватив босыми ногами одну из ветвей, поддерживавших гнездо, и придерживаясь рукою за сук, торчавший выше гнезда, смельчак Захарушка другою рукою вытаскивал из гнезда молодых орлят.

— Вот вам царевич Федор Годунов! Ловите!

И молодой неоперившийся орленок падает на землю и убивается.

— Вот вам царевна Ксения Годунова...

И другой орленок также падает мертвым.

Но в это время в воздухе что-то зашумело. Все оглянулись... Над дубом, распустив саженные крылья, вился громадный орел. Сделав взмах кверху, он молнией прорезал воздух и камнем упал на гнездо. Послышался крик, и все вздрогнули: когти орла вцепились в курчавую голову Захарушки и подняли его на воздух. Ужас оковал юных хищников — они так и окаменели на месте...

Но мягкие волосы не выдержали тяжести тела: оно упало на землю и лежало теперь мертвое, неподвижное.

Орел кружил высоко в воздухе. Слышен был только жалобный, не то злобный клекот обиженного человеком пернатого хищника-царя. Птица плакалась на человека...

Вблизи послышались визгливые звуки пискалок, песни, говор и лошадиный топот. Показались знамена, значки, торчавшие на пиках ногайские мертвые головы.

Это шел Корела со своим войском. Хор песенников заливался:

По речушке, по реке
Плывет Дуня в каюке.
Ох-ох-охо-хох,
Плывет Дуня в каюке.

IV. ДИМИТРИЙ У МНИШКА

С берегов тихого Дона перенесемся на далекий запад, за окраины Русской земли.

В городе Самборе, ныне австрийско-галицком, а тогда польском, у сендомирского воеводы Юрия Мнишка идет богатое столованье — роскошный панский пир.

Довольством, избытком и, казалось, вечным счастьем наделило небо своих избранников, родовитых панов вольной, могучей, непобедимой Польши. Наделило щедрое небо довольством и счастьем выродившегося чеха Юрия Мнишка-Мнишечка... Богатый замок раскинулся широко и привольно. Окружающие его башни, блестя словно серебром, жестяными крышами, тянутся к небу, высоко вознося панскую славу Мнишков. Широкие ворота распахнули свои широкие объятья для званых и незваных гостей: иди, благородное панство! Ешь, пей и веселися во славу Мнишков и золотой польской вольности.

На панском палаце высокие вышки с золочеными маковками. Над фронтоном палаца красуется гордый герб

Мнишков — пучок перьев. Ни время, ни вечность, ни люди, ни боги — ничто, казалось, не потемнит этого герба, как не потемнит ничто блеска Польши, могучей и славной.

А внутри палаца — рай, да и только! Затейливо разрисованные потолки, узорчатые карнизы, резные створки дверей — все блестит золотом, горит яркими красками. Стены, столы, скамьи, полы — это выставка дорогих тканей, ковров, шелков с пестрыми, веселящими глаз и сердце картинами любви, охоты, войны, болтливой мифологии и лживой истории. На стенах — картины, портреты королей и предков, и все это в дорогих золоченых рамках... Лавки и кресла — на золоченых ногах, с золочеными рукоятками и резьбою. Везде золото, золото и золото! Как много его выкапывали глупые хлопы из земли, как много его выплавливалось из человеческих слез, крови и хлопского мяса! О, золотое, невозвратное польское прошлое!

Пир только начинается. Прозвучал призывной колокол — и гости спешат в обширную столовую. О, как много этих гостей, как много этих счастливых, обитающих в счастливой Польше, текущей медом и млеком! А теперь наехало их еще больше. Да и как не приехать? Говорят, что в доме воеводы будут показывать некое чудо, с помощью которого вольная и счастливая Польша может прибрать к рукам неизмеримые царства хлопской, варварской, отатаренной Московщины. О, как широко разольется тогда вольность польская! Как далеко, неизмеримо далеко разнесет эта дорогая вольность благозвучную, поэтическую речь польскую — этот язык любви, поэзии, свободы!

И Боже мой! Сколько же злата, блеска, пурпура, драгоценных камней и каменных сердец навезли с собой и на себе эти роскошные гости! Сколько красоты, изящества и пестроты стекается в поместительную столовую, словно в блестящий цветник! Что за прелесть женщины, что за красота мужчины! Сколько обаяния и кокетства в первых, сколько неотразимого мужества в последних: закрученные усы так и кричат о гордости и благородстве, блестящие карабели звенят о победах и воинской славе, большие буты стучат так внушительно о свободе...

Пол столовой, в которую вступали гости, весь усыпан пахучими травами и ароматными цветами — это аромат вольности и славы. В воздухе — облака благовонных курений: это слава и гордость великого царства возносит-

ся к небесам. В одном углу столовой, за перилами, возвышается пирамида, унизанная сверху донизу золотою и серебряною посудой; в противоположном углу, также за перилами,— богатый оркестр, духовые инструменты которого горят, как чистое золото. Гости входят чинно, по рангам, по реестру. Маршалок, почтительно стоя у дверей, следит за порядком этого вступления благородных гостей в святилище пира, наблюдая в то же время за стаями хлопов, облаченных в гербовые ливреи и готовых провалиться сквозь землю при всяком мановении маршальской или панской руки. По мере вступления гостей в столовую четыре отлично дрессированных хлопа почтительно подходят к ним для совершения обряда омовения: один хлоп держит таз, другой из серебряного кувшина льет на руки гостю благовонную воду, два последних подают шитое по краям полотенце, которым гость и вытирает свои благородные руки.

Хозяин, вельможный пан Мнишек, с изысканною любезностью принимает дорогих гостей. Полнотелая, упитанная довольством и сознанием собственного достоинства фигура пана воеводы сендомирского и скользит, и катается по цветному полу обширного покоя от одного гостя к другому. Высокий лоб, утративший немало волос в многолетнем служении ясновельможному королю Сигизмунду-Августу и богине Афродите, небольшая, круглая, как и панский живот, борода, выдающийся вперед, как у плотоядного зверя, подбородок и голубые, чешские, но более, чем у простого чеха, плутоватые глаза,— весь этот типический лик принимает оттенки всевозможных выражений, смотря по тому, к кому обращается это слащавоплутовское лицо: покорно-лисье перед высшими, изящнопетушиное перед низшими и положительно неизобразимое перед хорошенькими пани и панами.

Для каждого из гостей у хозяина готово приветствие, вопрос, шутка, любезный каламбур, выразительная улыбка, изящный поклон. Хозяину платится тем же: наклонение голов, шарканье ног, бряцанье карабелей и шпор, рыцарские осанки, закручиванье усов, в знак удовольствия и чести, стрелянье хорошенькими глазками из-под черных соболиных и русых соколиных бровок прелестных пани; приседанье и показывание блестящих перламутров из-за розовых губок восхитительных паненок — голова, кажется, пойдет кругом от всего этого, только не у такого боевого коня гостиной, как пан воевода сендомирский.

Но вот во внутренних покоях палаца слышится особенное движение, таинственный шум, что-то чрезвычайное... Шум близится к приемному покою... Хлопы суетятся, словно им за чулки и за пазухи жару насыпано. Панские глаза и глазки разгораются...

Да. В сопровождении ясновельможного князя Константина Вишневецкого — «нечто московское»... Все головы и взоры обращаются в ту сторону.

Входит невысокий, сухощавый, с рыжевато-русыми волосами юноша... Смуглое, некрасивое, кругловатое лицо, изобличающее необычайную, львиную мощь в скулах — ту именно мощь, которая в состоянии раздавить Московское царство словно гнилой орех; большой, широкий, с широкими, энергически очерченными ноздрями нос, в свою очередь изобличающий необычайно энергичную работу легких, которым нужно слишком много и втягивать и выдыхать воздуха, чтобы удовлетворить кипучую натуру этого пришельца; голубые глаза, как-то, если можно так выразиться, постоянно о чем-то «своем» думающие, но никому этого «своего» не выдающие,— все невольно и повелительно приковывает внимание к этому задумчивому юноше... И в самой бородавке, что сидит под носом, видится что-то необычайное, и от этого широкого, угловатого черепа отдает упрямою, безумно самонадеянною силою. Чувствуется, что и сила эта — угловатая, неровная...

Как, однако, он неловко, несмело выступает среди блестящей обстановки воеводских покоев. Но это, может быть, лев, выступающий из клетки,— неразмявшийся, не выправивший стальных мускулов, не видящий еще жертвы, на которую он бросится...

Хозяин представляет ему наиболее знатных гостей. Пришлец приветствует их кратко, угловато, но царственно — с диким, московским царственным величием... Шея его не гнется, а холодные, как московские льды, глаза, глубоко забираясь в душу, заставляют кланяться ему, робеть перед ним, когда он сам, кажется, робеет, но только — дико, по-львиному...

Да, это он... Эта угловатая голова необычно сделана — этот угловатый череп выкован по форме короны — тут должна крепко сидеть корона!

Это — московский царевич Димитрий, сын страшного мстителя татарам, покорителя Казанского и Астраханского царств — сын царя Ивана Грозного, чудесно спасшийся от ножей убийц.

Мнишек сажает царевича на почетное место. По правую сторону его помещается князь Вишневецкий, по левую — прелестнейшее существо, с черными, как вороново крыло, роскошными волосами, с черными, как вороная сталь, и подчас холодными, как эта сталь, подчас жаркими, бросающими в озноб глазами. Это — дочь воеводы, Марина, сестра той, которая сидит рядом с князем Вишневецким, своим мужем,— сестра хорошенькой Урсулы. Марина старше Урсулы: но младшая сестра опередила старшую замужеством, потому... да потому, что Урсула — не Марина. Марина не удовольствовалась бы Вишневецким. Марина не из таких девушек, конечная цель стремлений которых замужество: хоть черт — да муж, хоть скот — да супружеское ложе дает. Хорошенькая головка Марины не о том помышляла. Иные образы, иные видения окутывали ее детство, отрочество, молодость. Идеалы недосягаемые, картины невиданные носились в этих чудных видениях над задумчивою головкою девочки.

Словно и теперь на мгновение посетили ее эти видения. Мысли и взоры ее унеслись куда-то... зрачки ее больших прелестных глаз расширены...

Да, она унеслась далеко — в детство свое, в отрочество, в сферу своих видений... «Они исполняются...— что-то шепчет внутри нее.— Ох, страшно до ужаса стоять на такой высоте... на миллионах голов... выше царств... и спасти эти миллионы... ох, страшно, страшно!..»

Еще маленькими девочками обе сестры, и Урсула и Марина, были так непохожи одна на другую. Нарядненькая, разодетая, завитая Урсула охорашивается перед зеркалом, напевает веселые песенки, мечтает о том, как она в воскресенье, в костеле, поразит своего вздыхателя новым бантом в волосах...

— Ах, Марыню, посмотри — идет ли ко мне этот пунцовый бант?

А Марыня не видит, не слышит... Она стоит у окна и смотрит на развертывающиеся перед ее глазами живописные картины берега Днестра с грандиозными изломами горного кряжа, на величественную панораму Заднестровья... Но ни этих картин, ни этой панорамы не видит она. Видит она невиданные страны, неведомые народы, неведомая природа... Эти неведомые царства она, Марыня, просвещает светом божественного учения... Она стоит на возвышенной равнине под жгучим солнцем, и одинокая пальма, под которою она стоит, не может

даже бросить тени, потому что экваториальное солнце печет ее вертикальными лучами. Вокруг, сколько в силах окинуть глаз, волнуется море из голов человеческих — это народы, пробужденные ею к новой жизни... О, какие массы их! Как велико это море людское! И веют над этим живым морем знамена, и на знаменах новые кресты — целый лес, целый бор знамен, преклоняемых перед нею, Марынею, и она благословляет этот лес знамен, эти волны народов, ею обращенных к свету Евангелия, этих царей в золотых коронах и в барсовых да львиных шкурах, с копьями и стрелами. Эти цари, народы, целые страны неведомого мира пришли поклониться ей, Марыне, великому миссионеру великого, вечного Рима, послу наместника Христова...

— Марыню! Марыню! Да посмотри же! Ах, какая ты дикая! — нетерпеливо щебечет Урсула, рисуясь перед зеркалом.

А «дикая» Марыня все стоит у окна и смотрит, далеко куда-то смотрит и что-то далекое видит... Видит она себя в вечном Риме, в капитолии, на возвышении, рядом со святым отцом... И святой отец возвещает народу о ней, о Марыне, о ее великих проповеднических подвигах, о том, что она словом Божиим завоевала церкви новые, неведомые страны, обратила в христианство миллионы народов неверных... И вечный Рим ликует! Гремит имя Марыни — нового апостола неведомых стран, и также перед нею веют знамена, и также этот лес знамен преклоняется пред Марыней, и стонет голосами великий Рим, прославляя имя Марыни...

— Да у тебя коса распустилась, Марыню. Ах ты, дикарка! — волнуется Урсулочка.

А «дикарка» все стоит неподвижно, не замечая, что ее вороненая «сталь-коса» действительно распустилась, тяжелые пряди свесились ниже пояса. Да и как этим прядям не упасть с головки Марыни? На этой головке — Марыня чувствует — царская корона... Марыня, подобно Иоанне д'Арк, ведет легионы для спасения своей дорогой Польши от диких турок, от схизматиков москалей-варваров... И вся Польша рукоплещет ей, Марыне, и татко рукоплещет, и Урсула...

— Просим! Просим! — раздались голоса гостей.

Марыня опомнилась. Она — не Марыня, а уже Марина. Около нее сидит московский царевич... Неужели видения детства сбываются?

— Когда Бог с помощью великодушного и во всем

свете гремящего славою польского наррода восстановит меня на прародительском престоле, я выведу Московское царство из мрака варварства, я насажу в моем отечестве цветы просвещения — и великодушная Польша с ее прекрасными обычаями будет служить для меня примером,— говорил с воодушевлением этот таинственный юноша, которого называли московским царевичем.

— Да здравствует царевич Димитрий! — воскликнуло несколько голосов.

Марина вздрогнула... Да, это он, царевич Димитрий, который не смеет поднять на нее глаза. А она видела эти глаза — странные, глубокие, с каким-то двойным светом, словно там, в глубине, виднеются другие глаза, и другой облик там виднеется человеческий...

Бесконечный обед подвигается к концу. И подстолий, и кравчий, и подчаший, распоряжающиеся стаями слуг, сбились с ног. Устали и слуги, бегая с блюдами уже третьей и четвертой перемены и ставя на столы всевозможные яства: жаворонки, воробьи, чижи, коноплянки, чечетки, кукушки, петушьи гребешки, козьи хвосты, хвосты бобровые, медвежьи лапы — все перебывало на столах.

А сколько тостов! Сколько вылито вина в разгоряченные пиром и шумною беседою глотки!

А какие невиданные цукры украшают столы! Целые горы изделий и печений из сахару — люди, города, деревья, животные... А это что за небывалые цукры? Двуглавые орлы, Московский Кремль с позолоченными куполами церквей... А это что такое? Сахарный трон, на троне, в странной шапке, в виде короны,— юноша... Да это — московский царевич... вон и бородавка из сахару, и сахарная корона — это шапка Мономаха...

И музыка играет неустанно. С музыкантов пот катится, а духовые инструменты гудят и завывают.

У Марины голова кружится, как ни привыкла она к подобным пирам; но тут в воздухе что-то особенное, одуряющее...

— И Кир, царь персидский, и Ромул, римский, были пастухами... А какие великие государства заложили... А я — царской крови, я «прирожовый державца»,— говорит кто-то около Марины.

Это говорит *он* — с непонятными глазами!..

— Он истинный царевич! — слышится возглас.

Марина опять вздрагивает... Он — рядом с нею, а потом он будет высоко на троне... Куда же исчезли видения детства?

— Москва — народ грубый, варварский, пане... А этот знает и историю и риторику. Он должен быть царский сын, пане,— долетает до слуха Марины смешанный говор.

А Урсула щебечет с кем-то. Ей весело. И татко весел. Только ей, Марине, невесело — ей что-то страшно... Как душно кругом! Жарко, словно там, под экваториальным солнцем, под одинокой пальмой...

— Вы достигнете благих целей, ваше царское высочество, если отдадите себя могущественному покровительству святого отца,— ласкающим голосом говорит ксендз Помасский.

— Я буду просить покровительства святого отца,— отвечает таинственный юноша.

— Я бы советовал вашему высочеству прежде всего написать нунцию Рангони, выяснить ему ваше положение, ваши надежды и дальнейшие намерения,— продолжает ласкающий голос отца Помасского.

— Я напишу...

— По благословению его святейшества вся Польша пойдет за вашим высочеством.

— Идем! Все идем! — ревет собрание.

Обед подходит к концу. Говор становится смешанным, неясным... Дамы удаляются на другую половину.

Выходит и Марина. Она шатается.

— Поддержи меня... мне дурно... я упаду,— шепчет она сестре.

Испуганная Урсула ведет ее в спальную.

— Московия... Сибирь... Азия...

— Что с тобой, Марина? Ты что-то шепчешь... Ты больна? Езус Мария!

Дойдя до гипсового, обвитого плющом большого распятия, Марина крыжом упала перед ним и заплакала.

V. НА ОХОТЕ

В Самборе шли пиры за пирами. Со всех сторон съезжалась шляхта, чтобы посмотреть на московское чудо и попировать. Как волны от брошенного в воду камня, расходились слухи от Самбора, и чем дальше проникал слух, тем фантастичнее становился он, тем таинственнее и привлекательнее делался образ того, около которого носились эти облака слухов, легенд, предположений и загадываний в далекое будущее.

Когда он еще был ребенком, то его переводили из монастыря в монастырь, чтобы скрыть от Годунова. Всю Московию прошел он, до Сибири дошел; но и там искали его шпионы Бориса. Он ушел к лопарям, оттуда на Ледовитый океан. Норвежские китоловы взяли его на льдинах северного моря... Из Швеции пробрался он к ливонским рыцарям, а оттуда с рыцарем Корелою пошел на Дон... Он отлично ездит на коне, превосходно владеет оружием, убивает ласточку на лету! Он не схизматик, а католик — принял католичество в Риме!.. Там его видели пилигримы, в власянице и в веригах. Он молился и плакал о своей холодной Московии, которую Бог покарал за схизму — посадил на московский престол татарина, казанского мурзу... Царевич дал обет святому отцу вывести из Московии проклятую схизму и насадить католичество... Он сольет всю Московию и Сибирь с Польшею, как слилась с нею Литва, и тогда Польша раскинется от Одера и Вислы до Китая, до Ледовитого и Тихого океана... Оттуда польские удальцы переплывут в Америку — и золотая польская речь зазвучит на развалинах царства Монтесумы, и останутся только два великих народа в мире — поляки и французы...

После одного из самых роскошных пиров Мнишек, провозгласив тост за здоровье московского царевича и за предстоящую дружескую связь Польши с Москвою, объявил гостям, что остальную часть дня они должны посвятить охоте и показать дорогому московскому гостю всю прелесть польского полеванья.

И мужчины и дамы приняли это известие с восторгом. Охота сама по себе — наслаждение для благородных сердец, а охота в присутствии постороннего наблюдателя — да притом не простого, а птицы самого высокого полета,— это уж акт национального торжества.

Вскоре было все готово к выступлению — и выступление началось. Рога трубят что-то необычайное, дворовые охотники давно на своих местах. Лошади ржут от нетерпения. Собаки прыгают и визжат от радости.

А что за прелесть эти пани и панны на красивых выхоленных конях. Все блестит золотом и серебром. Солнце играет на гладко полированном оружии, на серебряных уздечках, на рыцарских шпорах, на дамских ожерельях, на собачьих ошейниках...

Тут и сам Мнишек во главе поезда. На седле он кажется много выше, величественное. Тут и Урсула и Ма-

рина. Последняя смотрит оживленнее: сквозь матовую белизну щек просвечивает нечто вроде румянца, такого нежного, едва уловимого глазом, но тем еще более чарующего; глаза ее кажутся еще чернее, еще больше... Да и как им не быть больше? Они, кажется, начинают прозревать ту темную бездну, из которой смотрели на нее другие глаза с непонятною для нее думою... Теперь она, кажется, что-то уловила там, в бездне: что-то блеснуло оттуда, словно из другого мира, и освещает путь в этот далекий, неведомый мир... Вместо пальмы там стоит одинокая сосна, вместо экваториального солнца — ледяное море; даже небо какое-то ледяное. Да что за дело до этого ледяного моря, когда внутри ее души что-то теплится?..

— Посмотри, Марыню, как он странно сидит на коне,— шепчет шаловливая Урсула.— Точно истукан на троне.

Марина смотрит и ничего не видит странного. *Он* сидит спокойно, ровно, твердо, не вертляво, как пан Стадницкий, не закручивает своих усов, как пан Тарло, не рисуется, как пан Домарацкий...

— А какой татко смешной. Точно сам пан круль,— болтает неугомонная Урсула.

Марина смотрит в сторону отца и улыбается. Тот торжественно шлет ей поцелуй по воздуху и словно бес вертится около царевича.

Под царевичем белый конь выступает грузно, солидно, выгибая свою лебединую шею. Сам Димитрий смотрит молодым шляхтичем: модный портной с головы до ног превратил его в поляка и только маленькой шапочке придал что-то неуловимое, что-то такое, что напоминало корону.

— Знаешь, Марина, кого *он* теперь напоминает,— говорит Урсула.— Помнишь московский герб, что нам татко показывал?

— Помню.

— Помнишь — там в середине герба кто-то скачет на белом коне и копьем бьет в пасть страшного змея с ногами.

— Да, это, отец говорит, Георгий-победоносец, он поражает дракона, чтобы спасти царскую дочь.

И, сказав это, Марина покраснела. Урсула заметила это.

— А, тихоня! Кто эта царская дочь? Ну, говори — кто?

— Не знаю...

— То-то, тихоня, не знаю!.. А знаешь, Марыню,

в Москве на *него*, вместо хорошенького кунтуша, наденут зипун золотой, без рукавов.

Марина потупилась и ничего не отвечала, тем более что в это время к ней подъехала на красивом аргамаке полненькая блондинка в лиловом берете с страусовыми перьями. Белокурые волосы, выбиваясь из-под берета, развевались по ветру. Несмотря на свою полноту и, по-видимому, не первую молодость, блондинка ловко сидела в седле.

— А молодой московский медведь, кажется, ранен, панна Марина? — сказала она, лукаво улыбаясь.— Панна замечает это?

— Ах, пани Тарлова! Марыня ничего не замечает! Она не заметила даже за обедом, как московский медведь чуть цыпленком не подавился, когда она на него взглянула,— говорит Урсула.

Пани Тарлова расхохоталась. Только Марина ехала молча.

— Ах, панна Марина! Не миновать вам московской кики и душегреи... Видите, как медведь косится на вас? — продолжала пани Тарлова.— Наденут на вас московский сарафан и кику.

— Кику, пани? Как смешно! Что это за кика такая, пани? — смеялась Урсула.

— Кика?.. Это — нечто московское: мода у них такая. Этакий берет с рогами...

— С рогами? Ах, какой ужас, пани! Ах, Езус Мария!

— Не смейтесь, пани Вишневецка,— серьезно вдруг говорит пани Тарлова.— Может быть, через несколько месяцев вы сочтете за честь, пани, быть покоевой у московской царицы, у вашей младшей сестры.

А черная головка Марины думала, настойчиво думала — только не о короне. В голове ее и во всех нервах, словно горячечный бред, неумолчно звучали слова, брошенные ей сегодня в костеле отцом Помасским, когда она прикладывалась к иконе святой Девы: «Помни, дочь моя, что Бог избрал орудием своего благого промысла для спасения рода человеческого Деву чистую... Способна ли и достойна ли ты стать орудием Бога для оказания нового промысла над слепотствующей половиною рода человеческого?.. Подумай об этом, любимая дочь моя в Боге... Подумай — перст Божий на тебя направляется...»

«Перст Божий! Как страшен этот перст... Господи! Что же это такое? Спаси меня. Дева святая! Я не достойна... Я не вынесу страданий. Ох, страшно, до ужаса

страшно стать над этой пропастью... А если эта пропасть меня ждет как жертвы?.. Но я — малая жертва, я пылинка в мире... А великие дела требуют великих жертв... Мамо! Мамо! Научи меня...»

— О чем мечтает черная головка под пунцовым беретом? — вдруг раздается мужественный голос над ухом Марины.

Девушка вздрогнула. Рядом с нею ехал пан Домарацкий, перегнувшись на седле и заглядывая ей в лицо.

— Как вы прелестны, панни Марина, и в особенности сегодня,— продолжал Домарацкий.— Я не удивлюсь, если князь Корецкий, с отчаянья, пойдет один на медведя и найдет смерть в его объятиях вместо других объятий, о которых он мечтал.

Марина побледнела. Она как бы вспомнила что-то и, немного помолчав, сказала:

— Пан зло шутит — я этого не ожидала от пана.

Ей стало жаль почему-то молодого Корецкого. Они были давно дружны — он так непохож на всех остальных. И вдруг в последнее время он как-то ускользнул из ее глаз, из ее памяти... Бедный Дольцю! Марина чувствовала, что она — не то жестока, не то несчастна... Ей плакать хотелось. А тут в сердце наболевает что-то острое: «Подумай, дочь моя,— перст Божий на тебя направляется...» Дольцю! Дольцю!

В это время к ней подъехали еще два всадника, и взоры всех охотников обратились в ту сторону. Подъехавшие были — сам Мнишек и царевич.

— Куда ты вдруг девала свой румянец, цуречка моя? — нежно обратился старик к Марине.— А за обедом была такая розовенькая. Не болит головка?

— Нет, татуню, это — волнение перед битвой,— отвечала девушка, улыбаясь.

— А панна любит битву? — спросил царевич как-то загадочно.

— С зверями, князь? О нет, мне жаль бедных зверей.

— Панна права. Но битва — удел мужчины.

— И женщины...— добавила Марина тоже загадочно.

— О! Она у меня Иоанна д'Арк! — весело сказал Мнишек, взглядывая многозначительно на царевича.

Марина чувствовала, что она вновь краснеет. Она чего-то ждала и — боялась.

— О! Счастлив должен быть тот монарх, который найдет свою Иоанну,— медленно сказал Димитрий.

Затрубили рога. Поле охоты и лес были близко. Поле

было ровное, открытое, с двух сторон окруженное лесом, который раскидывался с одной стороны по полугорью и кое-где открывал небольшие прогалины; с другой стороны синел сплошной бор, упиравшийся в извилистые берега Днестра.

В лесу тихо. Но это не мертвая тишина: это не северный бор, угрюмую тишину которого изредка нарушает треск сухих ветвей, ломающихся под тяжелою ступнею медведя-анахорета; южный лес говорлив столько же, сколько северный молчалив, задумчив. Тут говорит и дикий голубь, и пестрый сорокопудик, и задорливый кобчик. Особенно настойчиво выговаривает что-то голубь-припутень, речь которого напоминает речь гугнявого ребенка.

Слышны в лесу и человеческие голоса, но тихие, сдержанные. За опушкой леса, под темным развесистым грабом, сидят трое и изредка перекидываются словами. По одежде видно, что это «хлопы», местные крестьяне Около каждого лежат мешки, и почти во всех мешках что-то вздрагивает, движется...

— А ты, дядьку Ничипоре, сам, кажешь, бачив его? — говорит молодой парень в белой рубахе и в соломенной шляпе.

— Та бачив, як возив лисицию на паньский двир,— отвечает другой, в теплом малахае.

— Его, кажуть, маленького хотили заризати — так царское тило зализо не бере.

— От диво! — удивляется парень в соломенной шляпе.— Так вин и утик?

— И утик.

Парень засвистел. Ему очень понравилось, что царевич «утик»...

— Що ж вин теперь на москаля вдаре?

— Вдаре.

— Пропав же теперь москаль! А кажут, люди москалеви добре жити... У Почаив приходили москали-богомольцы, так казали, що у их нема хлопив. Оце поживе чоловик у пана лито та зиму, а як приде святый Юрко, так той чоловик и йде куды схоче.

— Овва! Дурни москали! — заметил третий, в полушубке.— А як же вин свою хату покине?

Этот вопрос, по-видимому, озадачил беседующих. Но вопрос так и остался вопросом, потому что в это время

из-за кустов показалась фигура в темно-зеленом коротеньком казакине со множеством ремней, шнурков и огромным буйволовым рогом в медной оправе. Хлопы встали и сняли шапки, поглядывая то на пришедшего, то на свои мешки...

— А где же Марек? — спросил пришедший.

— Марко там, пид тройчатым грабом,— отвечал «малахай».

— У него лисица?

— Лисиця та заиц, пане.

— А у тебя что?

— У мене заиц, пане, та дике козиня — молодое сайгачиня.

— А у тебя?..

Опросив хлопов, панский псарь-дозорца сказал:

— Как услышите два рожка — мой и пана Непомука, зараз развязывайте мешки и пускайте зверей.

— Добре, пане, знаемо, як робить, щоб на верби груши були,— отвечал веселый парень. Но его мешок не понравился дозорце: слишком он был неподвижно «скучен» в отличие от своего хозяина...

— Развяжи мешок,— приказал дозорца.

— От иродова дитина, не дождавсь московського царевича — взяв та и здох...— И хлопец так и залился смехом, вынимая из мешка мертвого зайца.

Раздавшийся вдруг сигнал не дал дозорце времени на брань... Тотчас ответил он протяжным воем своего рожка «пану Непомуке», и в то же время десятки голосов огласили лес из конца в конец: «Ату-ату! Ого-го-го! Ого! Ату-ату!»

Это кричали хлопы, облавой обступившие лес по панскому наказу и выгонявшие зверя на охотников. Развязали свои мешки и те хлопы, что сидели в лесу в засадах,— выпустили своих пленников. Бедные звери, долго томившиеся в мешках и снова вспугнутые голосами облавщиков, стремглав понеслись из лесу в открытое поле — на верную смерть.

А на поле уже шла отчаянная травля. За каждым зверем, выскочившим из лесу, неслись собаки вперемежку со всадниками. Переливчатый лай собак, возгласы охотников и псарей, разноголосое гуденье рожков и стоны лесных облавщиков — от всего этого и не зверь мог растеряться и броситься в пасть смерти.

Впереди всех несется князь Корецкий. Лиса, которую он наметил, вытянувшись в струнку и ущулив подвижные уши, забирает к Днестру — надо ей перерезать дорогу, бросить или на собак, или на доезжачих. Старый, толстый Мнишек силится перегнать поджарого зайца. Пан Тарло, пан Домарацкий, пан Стадницкий, маленький панич Осмольский, которого едва видно на седле, князь Вишневецкий, знатная и незнатная шляхта — все за работой.

Один царевич середи поля — в каком-то раздумье. И лошадь под ним стоит смирно, поводя ушами.

А дамы на лошадях — в стороне, на возвышенье. Все поле перед ними — словно развернутый лист бумаги. Там и сям двигаются темные точки, едва заметные, и человеческие фигуры на конях...

— Что ж он стоит статуей? — нетерпеливо спрашивает пани Тарлова.

— Кто, пани?

— Царевич.

— О, пани, он ждет дракона,— лукаво замечает Урсула, взглядывая на Марину.

— Какого дракона, пани?

— Того, которого Марыня видела.

Но вместо дракона из лесу показывается медведь. Дамы ахают. Медведь, преследуемый криками облавщиков и собаками, грузно бежит через поле. Бросившаяся было на него собака взвизгивает и, словно скомканная тряпка, отлетает на несколько шагов... Медведь идет по направлению к царевичу. Охотники замечают это и поднимают крик. Мнишек, Вишневецкий, пан Тарло и пан Домарацкий поворачивают коней и скачут к царевичу.

— Борис! Борис Годунов идет на вас, ваше высочество! — громко кричит пан Домарацкий царевичу.

— Спасайтесь, ваше высочество! — отчаянно кричит Мнишек.— Не подвергайте вашей жизни опасности...

— Ваше высочество! Идите на Годунова! Ссадите его с престола! — настоятельно кричит Домарацкий.

Царевич точно опомнился. Поднявшись на седле и одной рукой подобрав удила, а в другой держа большой двуствольный пистолет, он поскакал наперерез медведю. Медведь остановился, как бы нюхая землю... Дамы вскрикнули от ужаса. Остановился и царевич — медведь был в нескольких шагах...

Раздался выстрел — пуля царевича угодила в зверя. Последовало еще несколько выстрелов со стороны.

Зверь зарычал от боли и, встав на задние ноги, пошел, словно старая грузная баба. Он шел прямо на царевича. Последний, не дожидаясь страшного противника, соскочил с коня и, выхватив из-за пояса блестящую граненую сталь, в один прыжок очутился под зверем... Дамы закрыли глаза. Марина в безмолвном ужасе протянула вперед руки, как бы хватаясь за воздух... Мгновенье — и зверь, раскрывши свои мохнатые объятия, чтобы заключить в них тщедушного противника, так и грохнулся наземь с растопыренными передними лапами, вдавив лезвие громадного ножа глубоко под свою мясистую лопатку, а рукоятку ножа — в землю...

В это мгновенье из-за пригорка показался всадник, скакавший из Самбора. Он держал в руках бумагу.

— Грамота, пане воеводо, грамота! — кричал он.

Пестрая толпа панов, окружив царевича и медведя, не знала, на кого глядеть от изумления — на царевича ли, стоявшего в задумчивости над мертвым зверем, на страшного ли этого зверя или на гонца, привезшего грамоту... Нашелся лишь пан Домарацкий.

— Страшный Борис у ног вашего высочества,— сказал он торжественно.— Это — знамение!

VI. ДИМИТРИЙ У КОРОЛЯ СИГИЗМУНДА

У ворот королевского дворца в Кракове собралась огромная масса народа. Свободная, слоняющаяся без всякого дела разношерстная шляхта с карабелями у бока, в высоких, на металлических подковах бутах, с звенящими шпорами, с заломленными набекрень ухарскими шапками и щеголеватыми чапечками, с ухватками, вызывающими на бой всякого дерзкого, который рискнул бы наступить на шляхетскую мозоль; мастеровые в разноцветных, изодранных, закопченных дымом и лоснящихся от сала и дегтя куртках и штанах; хлопы в белых и пестрых свитках и рубахах; евреи в типичных длиннополых сюртуках и ермолках с историческими пейсами и исторически сладкими, исторически умными, исторически лукавыми и исторически хищными выражениями и очертаниями глаз, носов, губ и подбородков,— все это, словно из гигантского, опрокинувшегося над Краковом горшка, высыпано на площадь в самом невообразимом беспорядке — гудит, шумит, толкается, ругается...

Но более всего толкотни около приземистого, коренастого, с лицом наподобие закопченного сморчка, с свиными, заплывшими слезою глазками и с усами, закрученными в виде поросячьего хвоста, шляхтича, который был, казалось, виновником и душою всей этой сумятицы, который, казалось, сам опрокинул на краковскую площадь этот чудовищный горшок с народом и теперь сам болтается в этой народной каше... Это — пан Непомук, который приехал из Самбора в Краков, неизвестно в качестве кого, но только в свите Мнишков и московского царевича.

— А цо ж, пане, у него есть и войско? — спрашивает оборванный шляхтич, у которого вместо высоких бутов на ногах зияли дырявые женские коты, но зато огромная сабля колотилась о мостовую, словно молот кузнеца о наковальню.— Есть у него, пане, армия?

— О! Да у него, пане, десять армий — армия казацкая, армия московская — это две, армия запорожская — это три, армия, пане, татарская — это четыре, армия боярская — это пять, армия, пане... армия сибирская — это шесть, армия... армия... э! да всех армий, пане, и не сосчитаешь,— ораторствует пан Непомук, довольный тем, что его слушают.

— А дукаты у него, пане, есть — пенендзы, ясновельможный пане? — робко интересуется сухой, словно сушеный лещ, еврейчик.

— Дукаты! Га... Да он золотыми дукатами может всех жидов засыпать, как мышей просом,— гордо отвечает Непомук, искоса поглядывая на еврея.— Он мне вчера за то только, что я ему по-рыцарски честь отдал, приказал отослать три корца дукатов.

— Ай-вай! Ай-вай! Какой богатый!

— А вы ж, пане, у его воевода, чи що? — лукаво спрашивает хлоп в серой свитке.

— Нет, я еще не воевода, а как мы возьмем Москву, так он обещал сделать меня воеводою на самой Москве,— продолжал беззастенчивый пан Непомук.— Вчера он это сказал мне, когда я стоял за его стулом у монсеньера Рангони и подавал тарелки. А монсеньер Рангони и говорит ему: «Рекомендую вам, говорит, ваше высочество, пана Непомука: хороший католик и отличный рубака. Он, говорит, будет у вас бедовым воеводою на Москве».— «О, я давно, говорит его высочество, заприметил этого молодца, и как только на себя в Москве

корону надену, так пану Непомуку тотчас же дам гетманскую булаву».

— А я, пане гетмане, могу быть у вас на Москве хорошим полковником крулевской стражи,— закручивая усы, сказал шляхтич в женских котах.— Меня лично знал покойный король Баторий (вечная ему память), когда мы с ним брали Вену. Уж и погуляла же тогда вот эта добрая сабля по турецким шеям! А сколько мы, вельможи, попили венгржина, старей вудки! Эх ты, сабля моя верная! Погуляем еще мы с тобой и в Московщине!

И шляхтич в женских котах гордо брякнул своею саблею о мостовую.

В это время по толпе прошел говор: «Едут! Едут!»— и все головы обратились в ту сторону, откуда ожидался приезд во дворец невиданного гостя.

Действительно, в отдалении показались всадники. Это был конный отряд, сопровождавший коляску монсеньера Рангони с московским царевичем, а также коляски Мнишков, Вишневецких и других панов, ехавших ко дворцу в общем кортеже папского нунция.

По мере приближения кортежа головы обнажались. Конники гарцевали молодцевато, с свойственною военным вообще и польским жолнерам в особенности рисовкой, с бряцаньем сабель, шпор и прочих металлических принадлежностей воинского люда.

Царевич сидел рядом с монсеньером нунцием в богатой коляске. На открытые головы толпы монсеньер посылал свое пастырское благословение и кланялся. Кланялся и царевич, но неуверенно, робко.

— Виват! Нех жие великий князь московский! — крикнул пан Непомук.

— Нех жие! Нех жие! — подхватила толпа.

— Нех жие пан нунций!

— Виват! Нех жие!

Кортеж въехал в ворота замка, охраняемые часовыми.

— Ах, Езус Мария! Какой же он молоденький! — удивлялась старуха с корзинкой за плечами.

— А ты думала, такой же сморчок, как ты, бабуня,— сострил мастеровой с следами полуды на лице.— Ты так, бабуня, стара, что тебя и полудить нельзя.

Во дворце началась аудиенция...

Царевич вошел в королевские покои вместе с нунцием Рангони, с паном Мнишком, который ни на минуту не покидал его, и с князем Вишневецким. Димитрий шел

смело, почти не глядя по сторонам и как бы сосредоточившись на одной мысли. Обнаженная голова его казалась еще более угловатою. По мускулам лица его видно было, что и плотно сжатые губы, и сильно стиснутые, несколько звериные челюсти выражали непреклонную внутреннюю решимость. Глаза, в которых виднелся всегда какой-то двойной блеск, как будто потускнели.

Сигизмунд стоял у маленького столика, на который и опирался левою рукой. Осанка его была величественная, но лицо и глаза смотрели приветливо. В стороне стояли паны в стройном и тоже деланном величии.

Царевич вошел с открытою головою. Не снимая шляпы и приветствуя вошедшего только глазами, полными наблюдательности, король протянул ему руку. Царевич поцеловал эту руку и — смешался. Что думала эта угловатая, упрямая голова, нагибаясь к руке Сигизмунда III? О! Не нагнулась бы она, если бы на ней уже сидела тяжелая, но могучая шапка Мономаха. А ее еще приходится искать...

— Я пришел просить покровительства и защиты вашего королевского величества,— начал он тихо, неровным, несколько хриплым голосом.— Сын московского царя и наследник московского престола, я лишен и престола, и моей родины. Я скитаюсь десять лет, боясь моего собственного имени. Я не смел произнести дорогого каждому человеку имени даже во сне...

Он остановился. Хриплые слова с трудом выходили из горла, сдавленного волнением.

Король молчал. Все молчало кругом.

Как бы отстраняя от себя какой-то, ему одному видимый, образ, царевич продолжал:

— С детских лет, оторванный от матери, от родных, от наследственного куска хлеба, я, как вор, должен был прятать себя, свою жизнь. О! Тяжело, ваше величество, не сметь даже сказать, что ты не мертвец, чтоб тебя не убили подосланные твоим врагом убийцы. «Убили», «зарезали», «похоронили» меня!.. А я жив, жив, на мою собственную муку... Тот, кто искал моей смерти, занимает теперь мой наследственный трон, трон моего отца, трон моих предков. А я — скитаюсь...

Он опять остановился, как бы подавленный воспоминаньями. Глаза слушателей не отрываются от этой угловатой головы, от этого задумчивого, сосредоточенного лица. Что-то искрится в глазах некоторых из присутствующих, словно бы слезы.

А Сигизмунд упорно молчит. Ему нужна полная исповедь того, кто стоит перед ним.

Как бы чувствуя бессилие своих слов, царевич ищет извлечь эту силу из глубины своего убеждения в правоту своего дела, из глубины неправды, которая тяготеет над ним. Голос его начинает крепнуть, слова бьют резче на слух.

— Ваше королевское величество! Могущественный монарх! Я не ищу моей личной обиды, я не жалуюсь на Бориса за себя. За меня говорит мой народ, мой верный русский народ. Он стонет под немилостивою рукою Годунова: за меня, за мою тень, которая отняла у Бориса сон, проливают кровь моего народа... Ищут мою тень — и мучат, пытают, отравляют ядом, отягощают ссылкой всякого, кто только произнесет имя этой блуждающей тени... За меня, за мое имя Борис заточил всех Романовых... Мою мать принудили признать труп чужого ребенка за труп сына... Расточили и сослали весь Углич... Ваше величество! Я должен вырвать Московское государство из рук похитителя, я должен защитить мой народ от притеснителя... Для меня нет другой дороги — или могила, или трон московский... Но я и умереть не смею!

Голос его дрогнул. Визгнула какая-то резкая, режущая по нервам нота. Холодное лицо короля как бы согревалось участием...

— Ваше величество! Московские бояре знают о моем спасении, они тайно доброжелательствуют мне, тайно одобряют мои намерения. Вся Московская земля оставит похитителя царской власти и станет за меня, как только увидит, что отрасль их законных царей сохранена Богом... Мне нужно только несколько войска, чтобы войти с ним в московские пределы — и Московское царство будет мое.

А Сигизмунд все молчит. Страшным становится это молчание — тонет надежда, обрываются внутри струны, закипает едкое, жгучее отчаянье. Царевич невольно закрывает глаза рукою. Пропало, все пропало! Нет, не все... В груди еще есть голос, чтобы закричать последний раз. О, не все пропало! На плечах еще сидит угловатая голова, а в ней много и воли, и силы, и добра, и злобы.

— Ваше величество! — звучит последняя резкая нота.— Вспомните, что и вы родились узником. Бог освободил вас и ваших родителей — и вы даете мудрые законы и счастье своему народу. А я — я родился царем, в порфире пеленался и из порфиры выброшен на гноище, прикрыт рубищем. Теперь Бог хочет, чтобы вы освободи-

ли меня от изгнания и возвратили мне похищенный врагами престол моего отца...

Все выкрикнуто! Нет больше голоса. А Сигизмунд все молчит — ужасное молчание! Только глаза его добры... еще есть светоч в этой могиле.

Паны переглядываются между собой. В глазах их теплится глубокое сочувствие к тому, что они здесь видели и слышали,— у каждого разбередилось сердце. Ждут, что же скажет король,— всем стало невыносимо тяжело.

От короля ни слова, ни звука. Молча переглянулся он с нунцием, молча дал знак панам, чтобы они все, вместе с царевичем, удалились.

С поникнутою головой вышел царевич из приемного покоя. Углы губ конвульсивно дергаются. И у панов поникнутые головы говорят о том, чему теперь не следовало бы быть...

— Я уверен, панове,— прервал молчание князь Вишневецкий.— Я уверен, что король, его милость, узнав мнение его святости монсеньера, даст его высочеству обнадеживающий ответ.

— Но как — ни словом, ни даже звуком ничего не обнаружить! Такое терпение может быть только у королей! — горячо зазвонил своим звучным голосом, словно саблей, пан Домарацкий.— Ни да, ни нет — ни звука.

— У пана слух неразвитой,— шутливо заговорил Мнишек.— Пан при дворе не жил. А я жил при дворе; придворная жизнь очень развивает слух. Только при дворе орган слуха — не уши, а глаза: при дворе глаза и говорят и слушают. Мои придворные глаза что-то хорошее слышали,— заключил он лукаво.

— Что же, пан? — спросил пан Домарацкий.

— А то, что глаза его величества короля сказали: «да». А теперь он это скажет губами.

— Почему же?

— Потому что губы его величества были заперты римским замком и ключ находился в Риме, у святого отца. Теперь же, пане, монсеньер Рангони привез с собой этот ключ и отпирает высочайшия губы короля Речи Посполитой.

И пан Мнишек многозначительно подмигнул, как он это делал обыкновенно на охоте, показывая, что глупый-де зайчонок попался.

— О! Пан воевода мудрец! — засмеялся пан Домарацкий.— А я до сих пор знал только, что дамские глазки стреляют...

Все оживились, заговорили. Один царевич молчал, неподвижно стоя у окна и устремив глаза на север, может быть, в далекую Московщину.

Дверь отворилась, и маршалок попросил царевича и всех панов вновь войти к королю. Сигизмунд приблизился к молодому претенденту на московский престол, положил ему на плечо руку и торжественно, как бы по заученному, проговорил:

— Боже тебя сохрани в добром здоровье, московский князь Димитрий. Мы признаем тебя князем. Мы верим тому, что слышали от тебя, верим письменным доказательствам, тобою доставленным, и свидетельствам других. Вследствие этого мы назначаем тебе на твои нужды сорок тысяч золотых в год. С этого времени ты друг наш и находишься под нашим покровительством. Мы позволяем тебе иметь свободное обращение с нашими подданными и пользоваться их помощию и советом, насколько ты будешь иметь в том нужду.

Король замолчал и несколько отступил назад.

Царевич наклонил голову, показав при этом Сигизмунду свою широкую, приплюснутую, угловатую, как и вся голова, маковку. Когда голова эта поднялась опять прямо и гордо, то по бледному лицу скользило что-то неуловимое — не то тень, не то свет. Одно можно было уловить — это то, что свет глаз, до того момента как бы несколько потускневший или слинявший, снова обострился, снова принял ту неуловимую двойную игру и двойную цветность, которая поражала когда-то и Григория Отрепьева, видевшего в этой двойной цветности «пелену», закрывавшую «в кладезе души» этого таинственного юноши как бы «другого человека», поражала она и Марину, для которой глаза этого непонятного человека были так же непонятны, как и для астрономов — блеск Сириуса...

— Благодарю вас, ваше величество, и за участие, и за милость,— сказал он, скользнув своими неразгаданными глазами по глазам Сигизмунда.— Участие я принимаю, как неоплатный долг моего сердца, а милость — как временный, обеспечивающий моею совестью и моею царскою гордостью заем. Проценты по нем я возвращу вашему величеству и Речи Посполитой с евангельской точностью.

Теперь голова его уже не наклонялась, и король должен был в свою очередь потупиться. Но он не сказал больше ни слова, потому что не был на то уполномочен страной, над которою царствовал.

Димитрий вышел медленно, как бы ощупывая почву, по которой ступал. Сопровождавшие его паны хранили молчание. Один Мнишек юлил и рассыпался мелким бесом.

— Поздравляю, ваше высочество, с признанием ваших прав королем Речи Посполитой,— лепетал он, немножко картавя.— Половина дела уж сделана: конь оседлан, нога в стремени — остается только сесть на седло.

— Ну... конь-то брыкливый,— заметил Вишневецкий.

Димитрий молчал. Его упрямая голова работала, взвешивая слова и оттенки слов короля: «Ни слова о прямой поддержке моих притязаний. Хочет, да не смеет. Колпак, надетый на чучело в порфире, за которое должны говорить тысячи голосов, а чучело своего голоса не нашло под колпаком. Расправляйся, значит, сам, а мы твоими руками московский жар загребем. О, я-то расправлюсь, только вам же жару за пазуху наложу»,— шептал он, неслышно шевеля губами и медленно следуя через королевские апартаменты к ожидавшей его коляске.

Толпа у дворцовых ворот была еще больше. Тут же, у ворот, находились два всадника, вид которых и одеяние привлекали неудержимое любопытство всей массы народа, собравшейся на площади. Всадники имели на головах высокие, стоячие, из черных барашков шапки с красными верхушками, в виде мешков свешивавшимися набок. В руках у них было по длинному копью. И сами они и лошади их были обвешаны оружием. Тут же, около них, стоял монах и целая толпа каких-то пришельцев с бородами и в необычном для Кракова одеянии. Наконец, тут же хлопотал и пан Непомук, энергически размахивая руками.

Когда коляска с Димитрием и Мнишком выехала из дворцовых ворот, изумлявшие своим видом краковян всадники наклонили и скрестили свои копья в знак того, что отдают честь сидящему в коляске. Коляска остановилась. Димитрий глянул на всадников, на монаха, на толпу бородатых людей, и по лицу его пробежала молния, голова поднялась — весь он словно вырос и словно от лица его брызнули искры.

Монах низко поклонился ему — они, видимо, узнали друг друга.

— Здравствуй, Григорий,— сказал Димитрий ласково.

— Государю царевичу много лет здравствовати,— отвечал монах.

— А вы что за люди? — обратился Димитрий к всадникам.

— Мы атаманы славного войска Донского, государь царевич,— отвечали всадники, продолжая держать свои пики крестообразно.

— Кто именно и за каким делом пришли ко мне?

— Я атаман Корела, государь царевич,— отвечал один из них.

Это была низенькая, с пепельными волосами и голубыми глазами, невзрачная фигурка. Все лицо его было в рубцах, шрамы перекрещивались и по щекам, и по лбу. Но тем страшнее выглядывало это странное лицо из-под меховой высокой шапки и невольно наводило страх на толпу. Даже пан Непомук — «отличный рубака», по словам якобы самого нунция, и шляхтич в женских котах, бравший якобы Вену с Стефаном Баторием,— и те пятились от маленького чудовища, ловко сидевшего на борзом коне...

— Я атаман Нежак,— отвечал другой, высокий, статный, хотя и калмыковатый товарищ его.

— За каким делом вы пришли с Дону? — повторил Димитрий.

— Челом бьем тебе, государю царевичу, и кланяемся всем тихим Доном,— отвечал Корела.

Точно слезы, блеснуло что-то на глазах Димитрия, и он глубоко взволнованным голосом произнес:

— Спасибо вам, атаман Корела и атаман Нежак. Спасибо вам, атаманы-молодцы... Спасибо всему тихому Дону и славному войску Донскому. Я не забуду вашей службы, когда стану царем на Москве. Ступайте за мною.

Коляска тронулась.

— И нас, и нас, государь царевич, нас, московских людей, возьми с собою! — закричала та часть толпы, которая своими бородами и длинными зипунами привлекала такое внимание краковян.— Не покидай нас, батюшка, в чужой земле,— гудела толпа.

Димитрий сделал знак, чтоб и они следовали за ним. Вся площадь заволновалась, полетели в воздух шапки, но голоса всех покрывались ревом двух глоток — пана Непомука и шляхтича в женских котах:

— Нех жие! Нех жие! Нех бендзе Езус похвалены!

VII. ДИМИТРИЙ И МАРИНА У ГНЕЗДА ГОРЛИНКИ

Ранним майским утром 1604 года по глухой части воеводского парка в Самборе пробираются две женские фигуры. По самому цвету платьев, в которые они одеты, по цвету шляп, бантиков и иных украшений можно издали безошибочно догадаться, что та из них, которая повыше,— блондинка, а которая немножко поменьше — брюнетка. Тень, падающая от деревьев, скрывает их лица, и только изредка солнечный луч скользнет то по голубому банту блондинки, то по белым лентам брюнетки

— Ах, Сульцю, Сульцю! — говорит эта последняя с тоном печали в голосе.— Если бы ты знала, как я вчера плакала, когда увидала их. Прихожу, а они, бедненькие, приняли меня за свою маму, обрадовались, пищат, плачут от радости...

— Плачут?.. И ты видела их слезки? — насмешливо спрашивает блондинка.

— Ах, Сульцю, какая ты нехорошая. Разве же можно смеяться над такими вещами? У тебя сердца нет, я тебя и любить после этого не буду,— говорит огорченная брюнетка.

И она, отвернувшись, ускорила шаги.

— Нет, нет, душечка Масю, я пошутила... Ведь ты знаешь меня. Ну, прости, расскажи же. Ну, так обрадовались, плачут?..

— Да, да, гадкая Урсулка, да, плачут, злая медведица. Ведь Урсула — значит медведица... Плачут, действительно плачут. Я хотела погладить их, а они думают, что мама хочет их кормить, да своими розовыми ротиками и хватают меня за пальцы. Я и разревелась.

— Да где ж их мама?

— Ах, все это противный Непомук наделал... Вчера, ведь ты знаешь, был у папочки званый обед в честь этого Димитрия... царевича. В этот день, говорят, пятнадцатого мая тысяча пятьсот девяносто первого года, где-то в московском городе Угличе зарезали того мальчика, которым подменили настоящего царевича. Так папочка и вздумал праздновать,— конечно, из любезности, свойственной всем полякам,— вздумал праздновать день спасения царевича.

— Ах, татко, татко! Какой он у нас умный и милый! — прервала Урсула.

— Да... Только глупый Непомук, думая оказать осо-

бую честь царевичу, приказал хлопам наловить всевозможных птичек. Они и наловили их — принесли целые плетеные птичники. А моя покоювка Ляля, убирая мне к обеду голову, и говорит, что в поварскую принесли целый птичник хорошеньких живых птичек и что Непомук поймал и горлинку, у которой в парке есть маленькие дети, и говорит, что и ее хотят зарезать к обеду. Я и побежала сама в поварню. Гляжу, а горлинка уж зарезана. Жаль мне ее стало, так жаль! — и такою противною показалась мне вся поварская, с разложенными на столах маленькими трупиками бедных птичек, что я за обедом совсем не дотронулась до жаркого. Ты заметила это, Сульцю?

— Как же, заметила. Да и царевич заметил моему мужу, что панна Марина ничего не кушает.

— Ну, уж этот москаль! Для него ведь и птичек всех зарезали.

— Да он, Марыню, не виноват.

— Конечно, не виноват. Виноват во всем противный жук этот — Непомук. Ну, так после обеда мы и пошли с покоювкой к птенцам... Их могла унести хищная птица, сова или ястреб. Я и говорю покоевой, что надо около них на ночь оставить часового. Ляля обрадовалась и сказала, что она позовет сюда на ночь Тарасика.

— Какого Тарасика, Масю?

— Так, хлоп какой-то.

— А! Знаю, знаю этого пахолка. Ах, какая хитрая Лялька! Я знаю, что она в него влюблена и, вероятно, имела с ним, как с часовым, свиданье ночью у гнезда этих горлинок.

Марина покраснела.

— Так что ж? — сказала она.— Если они друг друга любят...

— А вот и он.

Перед ними, недалеко от тернового куста, вдруг выросла стройная фигура парня в белой рубахе, того парня, которого мы уже видели в лесу, в охотничьей засаде. У него тогда случилось несчастье: один из зайцев, которого он должен был, по панскому наряду, выпустить на охотников, задохся в мешке, за что молодцу и досталось от дозорцы. Только теперь этот хлопец был не в соломенной шляпе, а в новой небольшой шапочке.

Увидав господ, парень снял шапку.

— Ну, что птички? — спросила его Марина.

— Слава Богу, пани ласкава,— здоровеньки и веселеньки.

— А ночью спали?

— Спали, пани ласкава.

— А им не холодно было?

— Ни, не було, пани ласкава. Я дрогадавсь та й накрыв своею шапкою... а шапка в мене новенька, гарна — батько на ярмарке купив.

Марина начала осторожно гладить головки птенцов, еще не вполне оперившихся. Те сидели смирно, только ежились.

— Что ж вы теперь не радуетесь мне, не машете крылышками, не берете меня за палец? — говорила она.— Вы, верно, голодны, бедненькие? Я вам кушать принесла.

— Ни, пани ласкава, вони не голодны,— вмешался пахолок.

— Как не голодны? Всю ночь не кушали.

— Ни, пани ласкава, вони сегодня вже снидали.

— Чем?

— Та ваша ж покоева, Ляля, приносила им источки,— сказал парень и покраснел как мак.

Покраснела и Марина. Только Урсула лукаво улыбалась. Парень переминался на месте, теребя свою шапку. Марина спохватилась, достала из кармана кошелек и, вынув из него золотую монету, подала парню. Тот поклонился, поцеловал панскую ручку и исчез в кустах.

— Какова Лялька! Устроила себе тут свиданье с своим коханком,— весело сказала Урсула.

— Милая, душа моя! Сулечко! — перебила ее Марина умоляющим голосом.— Сходи в оранжерею, прикажи садовнику прийти сюда с хлопами. А я посмотрю здесь за птенчиками. Теперь их нельзя оставлять одних: вон постоянно летает тут этот страшный коршун, он их сейчас унесет. Сходи, душечка!

Урсула ушла. Марина, оставшись одна, сначала полюбовалась на птенцов, которые, скукожившись в клубочки, по-видимому, дремали; потом, сорвавши цветок махрового шиповника, стала обрывать его, лепесток за лепестком, и шептала: «Коха — не коха, коха — не коха...» Последний лепесток вышел «не коха».

Девушка, бросив общипанный цветок, с минуту постояла в раздумье, а потом подошла к гнезду и заметила, что птички не спят. Она протянула к ним руку. Птенцы снова стали ловить ее палец — проголодались уж. Тогда Марина осторожно вынула их из гнезда, присела на траву, положила птичек себе на колени и стала их кормить вареным рисом.

В это время вблизи послышались чьи-то быстрые шаги. Марина оглянулась — перед нею стоял Димитрий... Он казался взволнованным: лицо было бледно, глаза горели.

Увидав девушку, он робко остановился.

— Ради Бога, простите меня...— заговорил он нерешительно, запинаясь.— Я, может быть, испугал вас, помешал вам. Простите, я не ожидал вас встретить здесь.

— Я также случайно пришла сюда,— тоже взволнованным голосом отвечала девушка.— Я узнала, что эти бедные птички вчера лишились матери, и пришла их накормить. Я распоряжусь, чтобы перенесли их в безопасное место.

Она встала и бережно положила птичек в гнездо. Потом, обернувшись к Димитрию, она с испугом спросила:

— Но что с вами, князь! Боже мой! У вас кровь на щеке... вы ранены...

Димитрий еще более растерялся.

— О, ради Бога, простите, простите меня! — говорил он торопливо.— Это ничего... пустая царапина... я не желал этого... не смел... но меня вызвали на поединок... я не мог не принять вызова... долг рыцарской чести... Простите!

— Но кто вас вызывал на поединок? — спросила девушка испуганно.

— Он — князь... князь Корецкий...

Девушка вспыхнула, потом тотчас же побелела как полотно.

— И что же князь? — спросила она чуть слышно.

— Я не хотел убивать его... Я только сбил его с коня. Но он бросился на меня, оцарапал шпагой мою щеку. Я должен был защищаться и ранил его.

— Опасно? — еще тише спросила Марина.

— Нет, пани, я только проколол ему руку. Его увели — он в безопасности. Но я хотел, чтоб это осталось тайной. Простите же, если это нечаянно обнаружилось перед вами. Я хотел пройти парком, чтобы быть незамеченным.

К девушке воротилось ее обычное самообладание. Из ребенка, какою она казалась за несколько минут, когда заботилась о судьбе горлинок, она вдруг стала женщиной.

— Вы еще можете пройти незамеченным,— сказала она спокойно.

Димитрий стоял в нерешительности. Он казался спокойнее, но, по-видимому, еще более робел, чем за минуту перед этим. Наконец, он осилил себя.

— Панна Марина,— сказал он тихо, почти шепотом, приближаясь к ней.— Моя звезда привела меня к вам — от вас зависит сделать ее счастливою.

Марина потупилась. Видно было, что в груди у нее не хватает дыхания. Точно она не здесь, не у этого гнезда горлинки. И одинокую пальму, и горячую голову ее жжет экваториальное солнце. Знамена веют и преклоняются перед ней. Снежное поле... обледенелая сосна... обледенелая корона...

Несколькими годами разом, кажется, постарела девушка.

— Ваше высочество! — отвечает она медленно, обдуманно.— Звезда ваша слишком высоко взошла. Она — не для такой простой девушки, как я...

Не такого ответа ждал бродяга-царевич... Он бросается на колени. Не того ожидала и девушка. Она протягивает руки, чтобы поднять царя. Царь на коленях! Но бродяга-царь хватает ее руки и целует. Перед нею царь на коленях. В девушке оказывается разом великая сила, та сила, которая уносила ее в неведомые страны, к неведомым людям — завоевывать невиданные царства. Новый апостол... ликующий Рим... Иоанна д'Арк... спасение Польши...

«Дочь моя! Перст Божий на тебя направляется»,— звучит где-то в душе, в мозгу страшное слово...

— Ваше высочество! — говорит девушка так же медленно, взвешивая каждое свое слово.— Моя рука слаба для вашего дела. Вам нужны руки, владеющие оружием, а моя может только возноситься к небу вместе с молитвами о вашем счастии.

— Но без вас для меня нет счастья! — безумно говорит тот, который с непостижимо дерзким упрямством думает завоевать великое царство, имея в своем прошлом только посох бродяги.

Вот что делает с людьми, с людьми даже небывалой нравственной силы, простая земная страсть, присущая и человеку, и зверю, и гению, и отребью человечества. Бродяге-царю не нужны царства, когда не удовлетворена эта земная страсть.

— Без вас мне не нужны все троны мира! — продолжает говорить безумный.

— Так оставьте меня, опомнитесь, перестаньте обо

мне думать. Или станьте на челе войска, победите ваших врагов, тогда подумайте, как победить мое сердце.

Опять перед нею носится ледяная корона. Туда, на север, на льдины, ведет ее перст Божий. Ей припоминается детство, детские видения, апостольство. Нет, только с ледяною короною на голове *он* должен прийти и взять ее на апостольство.

— Но я не завоюю моего царства, когда моим оружием, и моим щитом, и моим войском не будет надежда: в ней мои легионы,— продолжает тот свое безумие.

И — странное дело! — сошлись дети около гнезда горлинки, около осиротевших вследствие человеческой глупости, холопства и зверства маленьких птенцов,— сошлись дети: ему лет двадцать, ей — семнадцать — восемнадцать, и только бы играть да любиться детям; так нет! — хотим царства завоевывать, хотим искать корон. И найдут, и завоюют — для детей все возможно. Без детских порывов молодости, без детской веры в свою звезду не существовало бы творчества в мире, не существовал бы гений, не существовал бы мир...

Запищали птички в гнезде. «Дитя Марина» бросилась к ним.

— Панна Марина! — говорит снова «дитя-царь».— Вы спасаете осиротелое гнездо горлинки. Бедная Россия! Она тоже осиротелое гнездо горлинки. Плачут бедные птички — на их гнезде коршун сидит. Панна Марина! Дайте мне надежду — и я его сгоню, коршуна, с осиротелого гнезда русского.

Марина молчит. Она слишком поглощена заботами о сиротах — она снова кормит прожорливую птичку, а у самой щеки пунцовые... руки дрожат... кашка не попадает в рот птичек...

— Панна Марина!..

Молчит. Она боится, что он услышит, как ее сердце колотится. Срам.

— Панна Марина!

Нет мочи молчать. И ему нет мочи... Он берет ее за руку — молчит, только рука дрожит... голова наклонена к гнезду. Слезы... Он берет ее за подбородок.

— О чем слезы, панна Марина?..

— Птичек жаль...

— Ох уж эти птички!

Слышатся шаги — это идет Урсула.

VIII. ЗАПОРОЖЦЫ В КИЕВЕ

В Киев на праздник Спаса-Маковия у Крещатицкого спуска, окруженный парубками и дивчатами, старухами, молодицами и детворою, сидит кобзарь и тихо перебирает пальцами по своей сильно затасканной, но симпатично певучей бандуре. Седой чуб, расчесанный ветерком, с высокого лба свесился прямо на лицо старика и совсем закрыл его слепые глаза. Да и зачем старику глаза, когда он весь живет прошлым, когда перед его духовными очами стоят одни пережитые картины, встают мертвые лица, которых все равно он не увидал бы, если б и остался зрячим? Зачем глаза старости, все схоронившей и постоянно назад оглядывающейся, но не для того, чтобы видеть, а чтобы вспоминать только, воспроизводить в представлении? А вспоминается все лучше с закрытыми глазами, чем с открытыми, а со слепыми глазами вспоминается еще лучше, чем даже с закрытыми. Так зачем глаза перед могилой? Все равно и без глаз добредешь до нее.

Около кобзаря сидит черномазенькая, с кругленьким загорелым личиком и с большими серыми глазками девочка. Кроме белой, донельзя запачканной арбузным и дынным соком рубашонки и прилипшей к босым ногам грязи, на ней ничего нет; правда, еще цветы на голове, в спутавшихся черных волосах, да на груди болтается большой медный крест. Это внучка кобзаря, его мехоноша и его глаза. А глаза у нее пребойкие, так что нельзя не удивляться, как на это загорелое, давно не мытое личишко могли попасть такие чистые, светлые, с огромными ресницами глаза.

Все смотрят на кобзаря и на девочку-мехоношу с любопытством и жалостью.

— Мати Божа! Таке мале, а вже й лихо знае,— говорит, пригорюнившись и вздыхая, баба, повязанная большим платком в виде чалмы.— И в мене таке було, та теперь нема... Де-то вона, бидна дитина, мотается?

И баба утерла рукавом слезы.

— Дивчинка, Титянка, а дити ее «Лялькою» звали. Так за «Лялю» и пишла.

— Де ж вона, бабуся? — спрашивает ее девушка в голубой ленте.

— И сами не знаемо. Кажуть, буле десь Самбори — десь дуже далеко — в покоевых у воеводы, у пана Мнишка. А теперь чи жива, чи вмерла — незнаемо. Се

була рокив десять назад, як паны Вишневецьки та Гойськи набирали соби маленьких дивчаток та хлопчикив в покоювки та в пахолки — забрали и мою Лялю.

А бандура кобзаря все тренькает что-то заунывное, раздумчивое. Вспоминает старая голова все прошлое, мертвое, сохранившееся только в звуках его бандуры.

Дети, сначала робко, а потом все смелее и смелее, подходят к девочке-мехоноше, улыбаются ей, заигрывают с ней, а потом и заговаривают.

— Як тебе, дивчинко, зовут? — спрашивает ее пузатый мальчуган, обстриженный так кругло и высоко, что светлые, густые волосы его представляют подобие засохшего подсолнечника без семечек, опрокинутого ему на маковку.— Як тебе зовут?

— Палазя,— отвечает бойко девочка.

— А в тебе мати е?

— Ни, нема.

— А батько?

— И батька нема. Тато та мама орали в поли, а их и взяли татары.

— А мий тато двоих татар убив, як козаки у Крым ходили,— хвалится мальчуган.

— Мий дедушка, як у его ще очи були, козакував та у городи у Козлови турка та туркеню заризав,— с своей стороны похваляется девочка.

Дедушка-кобзарь слышит это, и рука его невольно замирает на бандуре... Вспоминается ли ему, как этою рукою, для которой теперь осталась одна работа — перебор струн говорливых,— разрубил он топором бритый череп галерника и убил «дивку-бранку», у которой находились ключи от невольницкой галеры? Или всплыло в его памяти воспоминание, как в молодости он бежал с товарищем из Азова, из турецкой неволи, и на Савур-могиле должен был похоронить своего товарища, истаявшего в неволе и не вынесшего долгого пути на родину?.

— А вы б, старче Божий, заспивали б нам де що,— обращается к нему статный парубок в смушковой шапке, в синих широких шароварах и в чоботах на таких высоких «закаблуках», что между каблуком и подошвой свободно мог пролететь воробей.

И парубок вложил в руки кобзаря какую-то монету

— Заспивайте бо, кобзарю...— просил он.

— Та що ж вам заспивати, люди добри?

— Про невольникив... або про Марусю Богуславку

— Або про Байду,— пояснял другой парубок.

— Ни, дидушка, заспивайте, як из города Озова утикали — из турецькои неволи,— упрашивали дивчата.

— Добре. Про трех братив...— соглашался кобзарь, для которого дума о трех братьях-беглецах — это его молодость, его собственные молодые страдания в неволе: «Ах, зачем не воротится эта неволя — только бы с молодостью, с молодыми глазами, с молодыми бедами и молодыми радостями?» — думается ему иногда.

И вот кобзарь настраивает свою бандуру, прислушиваясь чутким ухом к нестройному пока говору струн, из которых он должен извлечь те дорогие образы, коими же столько лет питается, и плачет, и живет этими сладкими слезами его старое, но все еще не уснувшее казацкое сердце. Все стройнее и стройнее становится перебойчатый говор струн, все плавнее и печальнее делается их треньканье. И вот уже плачет бандура, и чем дальше, тем страстнее этот плач. И откуда берет она столько надрывающего чувства, хоть так просты ее звуки, так детски проста мелодия...

— Тютю на вас! От дурни! Уси разхлюпались — плачуть, мов москаля ховют! — неожиданно раздался веселый голос позади всех.

Очарование разом исчезает. Бандура умолкает. Все невольно оглядываются...

Посередине улицы стоит «козак», упершись руками в боки. На нем высочайшая барашковая шапка, почти в виде конуса, с малиновым верхом, свесившимся на правое плечо, и едва держащаяся на бритой голове. Длинный оселедец закинут за ухо. Белая, расстегнутая у ворота сорочка вся в дегте. Желтые шаровары тоже в дегте и в пыли. Красные «сапьянци» в грязи. «Шаблюка» волочится по земле и при малейшем движении поднимает страшную пыль. Загорелое лицо казака черно как голенище: видно, немало палило его летнее горячее солнце где-нибудь в степях и немало «годувались» по камышам комары казацкою кровью.

— А ну, кобзарю, утни веселои — такои, щоб шкварчала,— хрипит казак.— Козаки низови йдут Москву плюндровать, москалив лякать, московськи капшуки трусить та москалеви на шию нового царя садовить. А нубо, старче, вдарь козацькои.

Фигура старого кобзаря преображается. Сивая голова поднимается выше — молодость, молодая казацкая удаль вспоминается. Степи, байраки, татарва, дивчата, веселая улица...

Бандура начинает вытренькивать что-то говорливое, пересыпчатое, бойкое, и старое горло и старый язык шибко вывертывают неподражаемые выкрутасы:

Ой ходила дивчина бережком,
Загоняла селезня батижком:
«Гиля, гиля, селезню, дому!
Продам тебе жидовину рудому».

— Добре, добре, диду! — кричит казак, выплясывая середи улицы то вприсядку, то семеня ногами и поднимая невообразимую пыль.— Добре! Добре! Ще накинь, ще пиддай жару, старче!

И старец «поддает жару»!..

— Оттак! Оттак! Добре! Ще вдарь...

Откуда ни возьмись еще один казак, маленький, рябой, кирпатенький, с шапкою в половину своего роста, и тоже, взявшись в боки, начинает выплясывать лицом к лицу с высоким товарищем и выговаривать:

За три копы селезня продала,
А за копу дударика наняла.
Заиграй мени, дударику, на дуду.
Теперь же я свое горе забуду...

— Тютю, чертовы дити! Якого вы гаспида бисетесь?

«Чертовы дити», усатые плясуны, оглядываются — перед ними на коне «батько-отаман» впереди своего войска. Знамена с образами на них и крестами. Войско валит Крещатиком — конные, пешие, босые и обутые, разодетые и ободранные.

— Оце ж и е наше войско,— говорят оторопелые «чертовы дити» плясуны.— Идемо с московським царевичем... А мы от и разтаньцювались тут соби на лихо.

Войско двигалось в беспорядке. Это была часть его, исключительно днепровские казаки, часть того двухтясячного отряда казацкого, который соединился с Димитрием и его польскими отрядами, не доходя Киева, в дороге. Этот отряд шел разведать о месте переправы через Днепр, собрать и приготовить киевские паромы.

Снизу, от Днепра, скачет какой-то всадник и машет шапкой.

— Зрада! Зрада! — кричит он, подскакивая к отряду на взмыленном коне.

Этим разведочным отрядом, или авангардом, командовал Куцько-атаман. Чтобы придать отряду более обаяния, он по дороге, в одном селе, захватил церковные

хоругви, которые передал ему священник того села, не хотевший, чтобы его церковь обращали в униатский костел.

— Яка зрада? — спрашивает атаман вестового.

— Ходу нема через Днипро. Паромы вси пропали.

— Як пропали?

— Так и пропали. Мени там казав один старец печерьский, що се московська закарючка.

И они оба отъехали в сторону. Толпа, что слушала кобзаря, глазела на отряд. Казаки заигрывали с дивчатами, перекидывались остротами с парубками, называя их «лежебоками», «винниками», «броварниками», звали с собой в казачество. То же говорил и кобзарь:

— Идите, хлопци, погуляйте в поли.

— Яка закарючка, кажешь ты? — спрашивает атаман вестового.

— А от яка. Сюды из Москвы от патриарха Иова приихав до воеводы пана Острожьского москаль — Ахвонька Пальчик з грамотою, буцим-то царевич — не царевич, а биглый дьякон... Так пан Острожьский и поховав уси паромы. Чернец знае, де вони.

— Овва! Биглый дьякон... Мы им дамо биглаго дьякона. Гайда до воеводы!

IX. ГОДУНОВ И МАТЬ ДИМИТРИЯ

Со времен самой опричнины никто не запомнит, чтобы на Москве стояла такая молчаливая угрюмость, какая окутала этот всегда шумный город с лета и особенно с осени 1604 года. Словно моровое поветрие согнало всех с улиц и площадей в дома, словно невидимая черная немочь неслышно ходит по базарам, стогнам и закоулкам города и, стуча костлявыми пальцами в окна, ворота и двери домов, лавок и амбаров, зловеще просит: «отоприте, отоприте»,— и люди, слыша этот зловещий стук, еще крепче запирают ворота, двери, ставни... Показывающиеся на улицах прохожие спешат скорее пройти, чтобы не встретиться с кем, а встречаясь, спешат разойтись, не глядя друг другу в лицо. Уныло звонят церковные колокола к утреням, обедням, вечерням: богомольцы тихо сходятся в церквах, горько плачут и молятся, и так же тихо, безмолвно расходятся по домам. Словно зачумленные, бродят по городу собаки и, не видя обычного оживления на улицах, воют, наводя тем еще пущую угрюмость и тоску.

Да и как не угрюмиться Москве? Каждый день эту угрюмость увеличивает стук топоров, который от зари до зари раздается то на Красной площади, то на Самотеке, то на Болоте, то, наконец, в самом Кремле, у Тайницкого обрыва, против самых окон кремлевского дворца.

И что за странные, а для Москвы страшные постройки мастерят новгородские да костромские плотники? Что это за маленькие рубленые горенки возводятся на показанных местах без окон и дверей, какие-то остовы домиков, срубы квадратные да столбы, заостренные кверху, словно гигантские иглы? Постучат-постучат топорами костромские плотнички, построят горенку-другую, а на другой день — глядь — вместо горенки одна кучка золы ветром развевается да из-под золы иногда косточки обугленные, крестики, запонки да пуговицы железные да медные виднеются. И вновь стучат топоры, и вновь поднимаются над испепеленною землею маленькие срубы-горенки, а рядом с ними иногда торчат гигантские иглы-колья заостренные. И какое это платье, какие полотнища шьются этими иглами великими, какие охабни, да порты, да зипуны узорочные расшиваются да изукрашиваются иглами-великанами?

Шьет этими иглами Борис Годунов свою раздирающуюся по швам царскую порфиру, надетую им на себя не по праву. Сколачивает он топорами костромских плотников расшатывающийся трон свой, на который он вступил через труп младенца невинного. Подпирает царь Борис высокими заостренными кольями неплотно сидящую на голове его тяжелую шапку Мономаха. Ох, тяжела, тяжела ты, шапка Мономаха! Не впору ты, шапка старая, круглой татарской голове потомка татарского мурзы — Четя. А впору была бы ты, шапка старая, молодой головушке царевича Димитрия, не то зарезанного, не то без вести пропавшего.

Шьет Борис свою порфирушку, порфирушка все не сошьется, все больше и больше по швам распускается. Сколачивает Борисушка тяжелую шапочку-мономашечку на своей буйной головушке, а шапочка-мономашечка с буйной Борисовой головушки на землю валится.

Ох, тяжко, тошно Борисушке — не радуют палаты белокаменные, переходы высокие, столы-скатерти браные, ширинки шитые, чаши серебряные, кубочки золоченые; не радуют его яства сахарные, меды сладкие, платье узорочное; не веселит его очушки светлые казна царская, дума боярская... Не радуют его детушки малые — что ни

сокол ясный царевич Федюшенька-млад, что ни свет млада Аксиньюшка-царевишна, лицом белая, румяная, с косами трубчатыми, со бровями союзными, со поход-кою лебединою и со речию соловьиною... Эх ты, горе-гореваньице, ох ты, горе горючее, невсыпучее!..

Подойдет Борисушка ко окошечку своего дворца белокаменного, поглядит-поглядит на плотников, что строят день и ночь срубы-горенки, поглядит-посмотрит, как горят эти горенки со телами воров-изменников, как корчатся на высоких кольях царевичевы сторонничкu, а все на сердце не легче у Борисушки.

Стук-стук-стук топорики по горенкам, ек-ек-ек сердечушко Борисово. Ох, тяжко! Ох, тяжка душенька младенца безгрешного! Ох, горяча кровушка невинно пролитая! Ох, тошным-тошно-тошнехонько! Ох, и смертушка желанная! Ох, детушки малые, сироточки — что сыночек млад Федюшенька да млада дочушечка свет Аксиньюшка...

А на площади меж плотников разговор:

— Котору уж горенку строим, Теренька? — спрашивает беловолосого плечистого парня рыжий мужичонка.

— А Бог их ведает, я уж и счет потерял.

— Да нам-то что? — вмешался третий плотник, угрюмый мужик.— А каково боярам, да дьякам, да посадским людям в этих горенках греться?

— Что ж, паря? Не болтай лишнего. Я вот смерд — и свое смердье дело знаю, а в царское да в боярское не суюсь.

— Да нам что? Нам наплевать.

— Верно,— одобряет угрюмый мужик Тереньку.— А то на-поди — царевич, слышь...

— Ну и что ж? И пущай его — царевич... нам какое дело? — благонамеренничает Теренька.

— Так вот поди ты — жив, говорят...

— Пустое! — говорит рыжий мужичонка.— Сам тады в Угличе был — полы в царских хоромах перемащивали.

— Ну, что ж, и видал? — спрашивает Теренька.

— Видал. После полудня эдак услыхали мы набат — мы в ту пору полдничали — квас с луком хлебали. Слышим — набат у Спаса в земляном городе — пометали ложки, бегим,— пожар, думаем. Ан бежит на колокольню Огурец-пономарь, вопит в истошный голос: царевича не стало! — и ну набатить в мертву голову. Мы туда! И притча же, братцы, тут со мной случилася — уж и притча!

— Что, что за «притча»,— загорелись в нетерпении «братцы».

— Бегу это я, крещуся со страху — и вдруг окаянный гашник у меня и порвись от натуги-то — портки-то и свались с меня. Ребятам смех, а мне не до смеху. Как тут быть? Да Бог надоумил: размотал паволоки от лаптя да и подвяжи портки. Ладно, бегу, прибегаю и вижу: мамка царевича, Орина Жданова, стоит и держит на руках мертвого ребенка — кровь эдак аленькая из горлышка через ожерельице кап-кап-кап. Таково жалко стало. А царица Марья тут же своими царскими ручоньками Василису Волохову — тоже не то мамка, не то кормилка царевича — так царица ее поленом, поленом... Ну и поделом — как дитю недоглядела?

— Вестимо, поделом,— подтвердил угрюмый мужик.— Царское-то дитя — это не наше, смердье.

— Так-так: смердье-то дите и свинья съест, так беда не велика.

— Ну, паря...— поторопил рассказчика Теренька.

— Ну, как царица-то сказала, что царевича зарезали Волохов, брат мамкин, да Качалов, да Битяговские,— мы на них. А Михайло Нагой кричит: «Бей их, робята,— мы с царицей все на себя берем». Ладно. Битяговские наутек — один в брусяную избу — еще мы ее, братец ты мой, избу-то и рубили — ну, он в избу, и мы в избу — разнесли избу, разнесли и Битяговского... А тут Третьяков — и его бац! — уложили. Кинулись в разрядную избу — руки расходились — уложили Качалова и другого Битяговского — Данилку. Еще там кто подвернулся — уложили тоже. Тут уж, паря, не глядели, кого бить, кого не бить: увидал боярское платье — и готово. Знатная была работа, скажу вам.

— А царевич же что?

— Что ему, лежит.

— Все у мамки?

— Нету. Мы и ее потрепали.

— Убили?

— Не привел Бог. Как кинулись это на нее, сбили волосник...

— Что ты, паря! Опростоволосили бабу?

— Опростоволосили — так косой и засветила.

— Ох, срам какой! Да такого сраму ни одна баба не переживет.

— Нет, пережила эта. Мы б и ее порешили, да отцы Фидорит да Савватий отняли: «Не трожь,— говорят,— робята, в храме».

— А рази в храме их били?
— Да ты слушай! До храма-то далеко еще...
— Ну?..
— Ну, порешили, вспотели шибко. Выпили это...
— Выпили?
— А как же? Жарко, ну — и дело царское, так мы ендову и роспили, а там уж и в храм. Ну, приходим к Спасу: вот это мы, примерно, и это царица. Ну, и держит она, братец ты мой, на руках зарезанного ребеночка... Таково жалко! Рыженький такой, худенькой, и в мертвой ручке, братец ты мой, так и замерзли орешки... Орешками играл ребенок, как его зарезали,— так орешки-то и закоченели в мертвой ручонке, и кровь на них...
— Как же теперь люди болтают, что он жив? — спрашивает Теренька.
— Пустое болтают,— осаживает его угрюмый мужик.
— Сказывают — подменили.
— Как подменили! — протестует рыжий рассказчик.— Сам видел — рыженькой, вот как я...
Даже угрюмый мужик на это рассмеялся.
А топоры все тюк да тюк. Подойдет Борис к окну, поглядит, поглядит, и опять скрывается его мрачное лицо.
А там иногда выглянут из окон царского дворца моloденькие лица — то строгое, красивое личико Федора-царевича, с книгой в руке или с пером, то прелестное, молочного цвета, личико Ксении-царевны, с убрусом в руках и иголкой,— выглянут, увидят строящиеся горенки и с испугом убегают от окон...
А топоры тюк да тюк, горенки все выше да выше поднимаются. Над Москвой опускается ночь — еще угрюмее становится Москва, еще безлюднее. Уходят и плотники из Кремля на ночевку — умолкают их живые голоса, умолкает тюканье топоров, развлекавшее Бориса,— и мертвенная тишина опускается на Кремль, опускается, как туча перед грозой.
За полночь. Из Новодевичья монастыря тихо, словно бы украдкой, пробирается к городу крытая колымага-каптана с конвоем. Кого везут в каптане — не видно. Осторожно постукивают колеса каптаны, а все-таки стук этот гулко отдается в ночной тишине. Каптана въезжает в город, подъезжает к Кремлю, ее свободно пропускают в Кремль. Не один москвич проснулся, услыхав стук колес в необычный час, и с испугом творил крестное знамение.

Каптана подъезжает к дворцу, останавливается. Из каптаны высаживают женщину, всю в черном. Монахиня... Монахиню кто-то проводит во дворец, во внутренние покои царя.

Борис не спит — нет ему сна — он сам зарезал свой сон, и сон-мертвец нейдет к нему.

Борис в опочивальне. С ним и царица Марья. Они ждут кого-то. Как постарели они с тех пор, как на них в первый раз торжественно, перед народом, надевали царские короны! А прошло не более шести лет. О, как старят людей эти короны тяжелые! На лицо Бориса эти шесть лет с короной на голове наложили такие страшные тени, провели по лбу, под глазами и у углов рта такие борозды, какие никакой плуг, никакая соха прорезать не могут. А этот огонь в глазах, не оживляющий, не согревающий, а испепеляющий человека, иссушающий его мозг, сердце, кости, мозг костей. А эти судорожные подергиванья лица, всего тела, это частое поникновение некогда гордой, ненагибающейся головы. О, короны! Сколько же в вас тяжести, нечеловеческой силы, разрушительности.

И царица Марья постарела, осунулась... И по ее лицу прошли резцы времени, а в густые пряди волос сами вплелись серебряные нити. Седина, седина, седина — и на голове, и в сердце.

Тихо в Борисовой опочивальне. Тускло горят в высоких паникадилах, словно в церкви, восковые свечи. В опочивальню кто-то входит в черном. Это монахиня — ее-то привезли в каптане из Новодевичья монастыря. Свет свечей падает на ее бледное, старое лицо. Это старица Марфа, последняя жена Грозного, мать царевича Димитрия. Старица крестится и молча останавливается у порога опочивальни.

— Подойди сюда, старица Марфа,— тихо говорит Борис.

Старица приближается. Борис и царица пристально смотрят ей в глаза.

— Говори правду: жив твой сын или нет? — грозным шепотом спрашивает Борис

— Я не знаю, царь,— тихо отвечает старица.

Борис отшатывается от нее, точно от привидения.

— Не знаешь... *ты* не знаешь, жив ли *твой* сын!

— Не знаю.

— *Теперь* не знаешь! О!

Царица Марья, выхватив из паникадила горящую свечу, с визгом бросается на старицу.

— А, окаянная! И ты смеешь говорить — не знаю, коли верно знаешь!

И она хочет ткнуть ей в очи горящей свечой, но Борис останавливает ее.

— Ты же видела, что его зарезали? — говорит он матери Димитрия с дрожью в голосе.

— Зарезали — видела.

— И что ж?

— Не знаю — не ведаю.

Царица снова порывается к ней. Борис разделяет их и снова допрашивает:

— Не ведаешь! Кого ж ты держала на руках в церкви?

— Мертвого младенца.

— Сына?

— Не ведаю. Я от печали помутилась.

— А! Помутилась! Змея подколодная! — не вытерпела царица.

— Так и думаешь, что не сына твоего зарезали? — более спокойно спросил Борис.

— Мне говорили, что не его-де.

— А кого же?

— Не ведаю.

— А о сыне твоем что говорили?

— Что-де его увезли тайно из Российской земли без моего ведома.

— Кто увез?

— Не ведаю.

— А кто говорил?

— Те, что мне говорили, уже померли.

Борис стоял, не зная, что сказать. Ему становилось страшно этой женщины. Ему чудилось, что за ней стоит окровавленный ребенок и улыбается, улыбается, насмешливо улыбается. Волосы задвигались на голове у Бориса... Что с ними? Что они поднимаются? Корону сбросить хотят с головы? Но короны нет тут. Ох, какая страшная черница. Как страшно улыбается ребенок... рыженький... И тот был рыженький...

— Пошла вон! — говорит он, опомнившись.

Старица вышла неслышными шагами, как тень. А рыженький ребенок все стоит. Чур-чур-чур!..

Царица, упав на лавку, плакала в бессильном и злом отчаянье. Она рвала на себе душегрею, рубашку.

А рыженький ребенок все стоит... Но он уже не улыбается.

X. ПЕСНЯ КСЕНИИ

Под самым Кремлем, на Красной площади, вокруг Лобного места толпится народ — посадские и гостиные люди, лабазники, суконники и всякого звания московские и подмосковные людишки и холопишки. А на самом Лобном месте стоит старый подьячий с чернильницею — медною с ушками — за поясом и с огромным орлиным пером за ухом и держит в руках какую-то бумагу. По временам подьячий читает эту бумагу, несколько в нос и нараспев, а потом размахивает руками и громко объясняет прочитанное.

— Из крамолы, значит, врага и поругателя христианской церкви этого самого Жигимонтишки, короля литовского, весь сыр-бор загорелся,— поясняет подьячий.

— Вестимо, не от христианина такое непутевое дело пошло,— соглашается почтенная седая борода, стоящая ближе других к Лобному месту.

— Что они, кормилец, бают? — спрашивает глуховатый старик своего соседа, толстого купчину с сережкой в ухе.— Кто этот Жигимонтишка — не пойму я.

— Нечистый — вот кто, церковный ругатель — в церкви, слышь, матерно ругается,— комментирует купчина с серьгой.

— Ах он пес эдакой!

— И хочет-де,— снова разглагольствует подьячий,— разорить в Российском государстве православные церкви и построить костелы латинские, капища люторские да жидовские — вот что.

— Как это, родимый? — вновь любопытствует глуховатый старик.

— Все он же.

— Пес Жигимонтишка?

— Нету, говорят тебе толком: пес Жигимонтишка само по себе, а Гришка Отрепьев-расстрига — само по себе.

— Что ж он?

— Царевичем, слышь, Димитрием назвался, чтобы-де за то, что его расстригли, все церкви в капища повернуть.

— Ах он кобылий сын!

— А ты слушай — не лайся...

— И он не царевич Димитрий,— поучал подьячий,— а Юшка Богданов, по реклу Отрепьев, что жил у Романовых, да проворовался — телятину ел...

— Телятину ел? Ах он окаянный! — ужасается почтенная седая борода.

— Телятину ел, точно. А опосля постригся, и стал чернец Гришка, и в Чудове в диаконах был, и учал воровать, впаде в чернокнижие и мясо ел.

— И мясо ел? Ах ты Владычица! И как его земля-то за это держала! — удивляется и ужасается седая борода.

— И как ушел это он в Литву, и стал блевать неподобное, якобы он — царевич углицкой, и та блевотина его ни во что: святейшему патриарху и всему освященному собору и всему миру вестно, что Димитрия-царевича не стало вот уже четырнадцать годов,— продолжал ораторствовать подьячий.

— А что у него, у подьячего-то, за ухом, родимый? — любопытствует старик.

— Перо. Аль не видишь?

— Непохоже будто на перо — велико уж шибко.

— Да то перо орлиное.

— Ахти, дело какое!

— То-то же — орлиное, царское, значит, от самого царя: царь все орлиными перьями пишет,— поясняет образованный купчина с серьгой в ухе.— Орлиное, а ты мнил простое?

— Диво! Диво! Ишь ты...

— Орлиным-то оно крепче. Как написал «быть-де по сему» — так уж этого топором не вырубишь, потому орел — царь-птица.

— Господи! Вот что значит грамота-то.

— И вот за это самое святейший патриарх со всем освященным собором оного Гришку-вора проклял — анафеме предал,— снова слышатся слова подьячего.— И проклят всяк, кто его за царевича почитает.

Многие в толпе крестятся с испугом. «Свят-свят-свят! Помилуй нас». А подьячий, подняв кверху бумагу, громко вскрикивает:

— Гришка Отрепьев — анафема! анафема! анафема!

— Анафема! — гудят голоса в толпе... Но — не все...

— Ин теперь пойду и наверх — к царевне. Что-то она без меня, перепелочка, поделывала? Расскажу ей, что слышала,— бормочет про себя какая-то старушка, продираясь из толпы.

Старушка смотрит простой бабой-горожанкой, хотя одета богато, только скромно. Спасскими воротами она входит в Кремль, крестится под воротами и через площадь проходит во дворец, в терем — на женскую половину. Все встречающиеся с ней снимают шапки, кланяются

и приветствуют почтительно словами: «Здравствуй, мамушка». Это и есть мамушка Ксении-царевны, ее пестунья и первая на Москве сказочница. А когда-то была и певица знатная: как запоет, бывало, «славу» — и царю, и царскому платью, и царским коням, как поведет своим лебединым голосом подблюдную песню — так весь терем заслушается... И Оксиньюшку-царевну, золото червонное, плечико точеное, шейку лебединую, голос соловьиный, научила она, мамушка, всякие песни петь.

Входит мамушка в терем царевнин и видит, что Оксиньюшка-царевна с четырьмя другими девушками дворскими большую пелену золотом и жемчугом вышивают. Заняты, значит,— дело хорошее. Только видит мамушка, что у Оксиньюшки-царевны глазки заплаканы.

— Что это, матушка царевна, глазыньки-то у тебя словно бы недавно умывались? — ласково спрашивает она.

Ксения молчит, низко нагибаясь над пеленой.

— Чтой-то, девыньки, у вас тут было? — спрашивает мамушка у других девушек.

— Плакать изволила царевна,— отвечала бойкенькая большеглазая Наташа Котырева-Ростовская.

— А об чем это плакынькать ты вздумала, золотая моя?

— Так, мамушка, скучно мне.

— Нету, мамушка, царевне сначалова покойный женишок, дацкой прынц Яганушка, припомнился, и она изволила заплакать,— защебетала востроносенькая, с сильно развитыми плечами и бюстом Оринушка, княжна Телятевская.— Все припомнить изволила, что было на принце Яганушке, как царевна его в окошечко увидала: и платьице на нем — атлас ал, делано с канителью по-немецки, и шляпочка пуховая, на ней кружевцо делано — золото да серебро с канителью,— и чулочки шелк ал, и башмачки сафьян синь...

Мамушка только качала головой.

— А вы б ее потешили — песенки спели,— говорит мамушка.

— Пели, мамушка, так царевна сама изволила нам такую песенку спеть, что и мы все разревелись.

— Какая ж это такая песенка? Али неслыханная?

— Неслыханная, мамушка, подлинно неслыханная! Про себя изволила царевна петь да про расстригу, про Гришку Отрепьева.

— Господи! С нами крестная сила! Вот сейчас его, окаянного, на Лобном месте проклинали.

— Проклинали, мамушка?

— Проклинали.

Девушки кинулись к ней с расспросами.

— Да отстаньте вы от меня, сороки, дайте мне царевну-то допытать.

— Не почто меня пытать, мамушка-голубушка, и сама тебе свою песенку спою,— ласково говорила, улыбаясь и целуя старушку, Ксения.— Сама ты мастерица петь, и меня научила гласы воспеваемые любить. Я вот и напела себе песенку, и спою ее тебе.

— А ну-ну, послушаем.

И Ксения, отойдя в сторону и подперев свою белую полную щеку такою же белою точеною ручкой, тихо, заунывно запела:

Ой и сплачетца мала птичка,
Белая перепелка:
— Охте мне, молоды, горевати!
Хотят сырой дуб зажигати,
Мое гнездышко разорити,
Мои малые дети побити,
Меня, перепелку, поимати...

— Ох уж и мастерица ты у меня, золотая моя, уж и подлинно млада перепелочка,— шептала старушка, с любовью и со слезами на глазах глядя на свою вскормленницу.

— А ты, мамушка, послушай, что дальше-то,— не утерпела Оринушка, княжна Телятевская.

— Слушаю, слушаю, сорока ты эдакая.

Ксения, взяв глубокие грудные ноты, продолжала:

Ох и сплачетца на Москве царевна,
Борисова дочь Годунова:
— Охте мне, молодцы, горевати!
Что едет к Москве изменник,
Ино Гришка Отрепьев-расстрига,
Что хочет меня полонити,
А полонив меня, хочет постритчи,
Чернеческой чин наложити.

При пении последних стихов мамушка встала, с боязнью и мольбой протянула вперед руки.

— Что ты! Что ты, царевна! Господь с тобой! Что ты непутящее выдумала! Да не дай Бог батюшка осударь услышит — так он сказнит мою седую голову.

— Да, матушка, и мы то же говорили... Так

не слухает царевна,— снова затрещала Оринушка.

— Да ты, мамушка, дослушай до конца,— тихо настаивала Ксения.— Батюшке я не скажу об этом.

— Ох, Господь с тобой! Всю душеньку мою вымотала,— бормотала старуха.

— Ну, слушай же... Еще меня не постригли,— улыбаясь, говорила Ксения, перебирая свою трубчатую косу.— Слушай...

Ох, ино мне постритчися не хочет,
Чернеческого чину не сдержати,
Отворити будет темна келья,
На добрых молодцов посмотрити.
Ин — ох милыи мои переходы,
А кому будет по вас да ходити
После царского нашего житья
И после Бориса Годунова?
Ах, и милыи наши теремы,
А кому будет в вас да сидети,
После царского нашего житья
И после Бориса Годунова?

Когда Ксения кончила и оглянулась на подружек, то увидела, что две из них, забившись в угол, горько плакали.

— Голубушки мои! — бросилась к ним Ксения.— А вы и вправду подумали, что меня уж постригли. Перестаньте плакать. Ну, будет, будет, не плачьте. Меня еще не постригли — мы еще с вами на добрых молодцов посмотрим.

И царевна ласкала и целовала своих подружек.

— Ох уж ты мне, егоза! — ворчала мамушка.— Всех перемутила и меня, старую, чуть в слезы не ввела.

— А как, мамушка, Федя-братец за эту песенку на меня взлютовался, так хоть святых выноси: «Ты,— говорит,— обиду чинишь нашему царскому роду...»

— И подлинно, чинишь. Пронеси только, Господи, все это мимо царя-осударя! Ох, страшно. Помяни, Господи, царя Давида и всю кротость его,— крестилась мамушка.

— Нет, мы уже с Федей помирились, и он больше на меня за это не сердитует и показывал мне свой чертеж Российского государства,— успокаивала всех Ксения.

— Какой чертеж, голубушка-царевна? — спросили девушки.

— А на большой бумаге да киноварью с синим крашен,— защебетала было востроносенькая Оринушка Телятевская, да и прикусила язык, вспыхнула как маков цвет и закрылась руками.

— А что, стрекоза, разве ты видала? — накинулась на нее мамушка.

— Нету... Он... царевич... чертеж этот... я нечаянно... и царевич нечаянно,— бормотала растерявшаяся девушка.

— То-то у вас все нечаянно... Поди, и поцеловались нечаянно,— ворчала старушка.

— Нету, мы не целовались, мамушка.

И Оринушка совсем присмирела. Присмирели и другие девушки. Ксения, глядя на них, только улыбалась.

А царевич, которого мамушка поклепала, будто он целовался нечаянно с княжной Телятевской, с Иришей, сидит в это время в своей комнате и серьезно занят своим чертежом, наделавшим во дворце столько шуму, особенно в женской половине, в тереме.

Чертеж этот — не что иное, как ландкарта, на которой изображено Московское царство. Ландкарту чертил сам царевич, который был большой искусник и всякой книжной мудрости навычен.

Царевич Федор — юноша лет шестнадцати, хорошо упитанный, белотелый, белолицый и румяный, и в отца — черноволосый и черноглазый. Он сидит в своей комнате над ландкартой и подрисовывает ее то там, то здесь. Около него пожилой мужчина в богатом боярском одеянии стоит в большом недоумении.

— И ты, царевич, доподлинно сказываешь, что тут вся Российская земля на этой бумаге уместилася? — спрашивает он недоверчиво.

— Вся, дядя, доподлинно вся,— отвечает Федор.

Дядя с изумлением разводит руками:

— Да и тут и Кремлю-то одному не поместиться, а то на: вся Российская земля! Да Российскую-то землю и в кои годы объедешь.

— А вот на чертеже-то, дядя, ее всю и видно,— успокаивает его царевич.

— Как же ты говоришь — всю? А покажи-тка ты мне мою звенигородскую вотчину.

Царевич ткнул пальцем в одну точечку.

— Вот и Звенигород.

— Чудеса! Ну а где ж тут моя вотчина с пустошами?

— Ея тут нет.

— Ну, вот и нет! А ты говоришь — вся Российская земля. Ну а что это за червячки такие длинненькие написаны тут во?

— Это реки, дядя.

— Реки — поди ты! И Москва-река есть, и Яуза, и Неглинка?

— Есть и Москва-река. Вот она.

— Экой червячок махонькой — мизинцем закроешь. Ну а Волга-река?

— Вот она — до самого моря дошла.

— Ишь ты, какой кнутище — подлинно кнут, а — Волга, значит. Ну а, примером сказать, и городы тут есть?

— Есть и города, дядя. Вот Москва, вот Новгород, Тверь, Псков, Нижний, Рязань.

Иван Годунов даже руками об полы ударил.

— И Клин, поди, есть?

— Вот и Клин, дядя.

— Ах ты Боже мой! Вот эта маковая росинка — Клин?

— Он и есть.

— Ай-ай-ай! Подлинно макова росинка. А Москва-матушка?

— Вот кружок.

— Те-те-те! Кружочек махонькой — вижу, вижу! Вот и вышло, как в пословице: «Москва Клином сошлась». Что Клин, что Москва — макова росинка. Ну а ежели бы сказать — Путивль-город... Этого, поди, нет? — спросил он как-то нерешительно.

— Нет, дядя, и Путивль есть.

— Ой ли! Есть?

— Вот он.

Годунов так нагнулся, что полкарты прикрыл своей бородой.

— Путивль... Ах ты, собачий сын! Так вон он где — на-поди! Да это до Москвы рукой подать.

Годунов, видимо, растерялся.

— Ах он, анафема, проклят! Ах он, сатанин хвост, Гришка-дьявол! А! В Путивле уж...— бормотал он, глядя на точку, изображавшую Путивль.— И что ж это царское войско не берет его, анафему? А! Куда затесался...

И царевич глядел смущенно. Ему вспомнилась песня Ксении. Ох, какая страшная песня! Ножом по сердцу режет. «Ино охте мне горевати...» И Ириша Телятевская вспомнилась. Нагнулась это она над чертежом — Москву ищет, и он, Федя-царевич, ищет Москву — и щеки их вместе; горит щечка у Ириши — и на самой-то Москве и сошлись их губы воедино... нечаянно, ненароком... да так и остались...

— Осударь царевич! — раздался вдруг голос Семена Годунова.— Царь-осударь указал тебе явиться на очи.

Царевич молча последовал за посланным.

XI. БОРИС У ЗАЖИВО ПОГРЕБЕННОЙ

Время шло, стуча то в тот, то в другой дом своею железною клюкою и унося того или другого в могилу. В Москву приходили все более и более тревожные вести, что у того, кто называет себя царевичем Димитрием, сила растет, а Борисова сила, Борисовы рати тают, как воск перед иконою.

Борис сидел один почти постоянно, думая свою страшную думу и не зная, что предпринять... Вспоминались старые грехи, вспоминались неправды целой жизни, длинною лентою расстилалась позади кровавая дорога, которая привела его на трон... А поворота нет — и не на кого надеяться, не к кому обратиться... К Богу? Но как понести к Богу душу ему, Борису?.. Пусть молятся чистые души, такие, как душенька Оксиньюшки-царевны... И дети ходят по московским церквам за батюшку — просить Бога не карать ни «батюшково согрешенье», ни «матушкино немоленье».

В поздний зимний вечер из Кремля выезжают крытые сани... Кто в них сидит — не видно. Сани едут по направлению к Новодевичьему.

Снег так и заметает дорогу, слепит очи вознице и коням. Лес в стороне поля точно в саван закутался... Сани, не доезжая Новодевичьего, сворачивают вправо, следуют мимо стен к пруду и останавливаются у какого-то сугроба, из которого торчит что-то вроде трубы... Из саней выходит кто-то, закутанный шубою и с надвинутою на глаза высокою шапкою, и идет к возвышающемуся сугробу с подобием трубы. У сугроба ноги его ощупывают заметенную снегом земляную лесенку вниз — и он спускается по ступенькам в неглубокое подземелье... Ощупывается маленькая дверка в конце подземелья.

— Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! — глухо произносит пришедший.

— Аминь,— чуть слышно доносится из подземелья.

— Мир ти!

— И духови твоему,— отвечает подземелье.

Дверка отворяется, пропуская луч света изнутри подземелья на темные стенки входа. Пришедший нагибается

и, сделав крестное знаменье, входит в земляную пещеру.

Ужасны бывают измышления человеческие! Эта пещера, что представилась глазам вошедшего, страшнее всякой берлоги дикого зверя, страшнее могилы мертвеца. И в этом ужасе живет человек своею охотою, и эту ужасную жизнь не согласится изменить ни на какую другую — ни на царские палаты, ни на келью святителя, ни на трон царя, ни на престол патриарха.

Глазам пришедшего представилось живое существо, но — ужас! ужас! ужас! — в саване, стоящее около своего собственного гроба. И гроб тут стоит на полу землянки, открытый. *Оно* встало из гроба, чтобы встретить пришедшего.

Вставшая из гроба в саване — была женщина, еще не старая. Вся пещера занимала несколько более квадратной сажени. Стены земляные, выглаженные руками в твердом, отчасти глинистом грунте. В переднем углу большое стоячее распятие, а перед ним горящая лампадка. Окон нету. Свету ниоткуда нельзя пробраться в эту могилу. С одной стороны в земляной стене продолблено нечто вроде печурки с отверстием вверх, к трубе. На полу печурки зола и уголья. К другой стороне стены приставлено нечто вроде земляной низенькой лавочки в аршин ширины и длины. А на середине пещеры, на полу — открытый, простой сосновый гроб. Вот и вся мебель, все украшение человеческого жилья. Да в гробу, в изголовье, стружки, заменяющие подушку мертвецу; да тут же, в гробу, у изголовья из стружек — костяк человеческого черепа.

Пришедший, пересиливая невольный трепет, низко поклонился:

— Благослови меня, матушка!

Женщина в саване, взглянув ему в очи, отступила...

— Подожди благословения — я не вижу у тебя глаз,— она помолчала, как бы припоминая что-то давно виданное...— У тебя их и прежде не было,— продолжала она.— Тебя Бог кротом сотворил. Да уж опосле, когда уведала я, что на тебя всея Российская земля шапку-невидимку надела, я думала, что Господня милость бысть на тебе — глаза тебе Бог дал. А теперь сама вижу, что нету глаз у тебя, крот в чужой шапке.

Пришедший впал еще в пущее смущение.

— Ты шапку украл, а у тебя хотят перекрасть ее,— продолжала она.— О шапке своей ты пришел говорить со мной, а не о душе.

— А ты нешто знаешь меня, матушка? — робко спросил он.

— Допрежде знала, а ноне нет: ты не тот, что был.

— Кем же я был допрежь сего, матушка?

— Сначала был ужом, и я тебя тогда любила.

— За что, матушка святая? — спросил тот в недоумении.

— За голову. Ты знаешь, что у ужа на голове?

— Не знаю, матушка.

— У ужа на голове то, чего у тебя скоро не будет

Тот, дрожа всем телом, сделал шаг назад и тихо спросил:

— Что ж это такое, матушка?

— Венец!

— Ох!

— Не падай. Еще успеешь упасть. Ведаешь ты, за что Бог положил венец на голову ужа?

— Не ведаю.

— За доброту и мудрость. Егда бысть всемирный потоп и взя Ной в ковчег свой праведный всех зверей земных — взята бысть и мышица малая. Диавол, не могий взойти в ковчег, дабы погубити человека и все творение Божие, вниде в мышь и в ея образ невидимо взыде в ковчег. И нача та бесовская мышь ковчег грызти и прогрызе малую дырцу, потече вода. И видев то, уж мудрый заткнул ту дыру своею главою и тем спасе ковчег от потопления. И за то Господь Бог венча главу его венцом златым. И ты был ужом при царе Грозном: ты, аки уж, спас российский ковчег от потоплений... А безумный Иван потопил бы его. Помнишь, как ты играл с ним в шашки в день его смерти?..

Пришедший с ужасом попятился назад.

— Не пяться. Теперь ты боле не уж. Тогда был ужом, когда в шашки играл с обезумевшим Иваном. Помнишь, как ты на него взглянул? Помнишь, отчего он впаде в ярость и внезапу умре? Ты видал тогда свои глаза? Какие у тебя они были, у тихонького, словно у ягненочка, а — убили его...

— Ох! — застонал пришедший.— Помилуй меня... пощади... ты все знаешь...

— Нет, не все,— сказала женщина в саване и, сев с ногами в гроб и взяв в руки череп, приказала: — Садись и ты вон там... Это место чище того, на котором сидишь ты в ворованной шапке.

Пришедший невольно повиновался и сел на земляную лавочку.

— Нет, не все я знаю, не дал Бог,— продолжала женщина в саване.— Я вот не знаю, чья это была голова — царская или смердья. Этого я не ведаю.— И, вглядываясь в череп, тихо, но внятно шептала: — Ужом был... ковчег спас... это хорошо... после кошкой стал — увидал бесовску мышь в ковчеге — и съел беса со мышью? — вдруг спросила она, обращаясь к пришедшему.

— Не ведаю, матушка святая, прости, ничего не ведаю.

— Не ведаешь. А мышь-то в шапке была, только не в ворованной, а в своей. И шапочка эта попала потом в глупую головушку, и сошла эта глупая головушка в темную могилушку, а шапочка на колышке осталася. Некому надеть шапочку. Надо было надеть ее Уарушке. Ты знавал Уарушку?

— Не знаю, матушка, о каком Уарушке молвишь ты,— сказал пришедший, боясь взглянуть в глаза своей собеседнице.

— А, не знаешь? А глянь мне в глаза, тогда, может, припамятуешь, что когда у царя Иван Васильича родился последний сынок, то нарекли ему имя Уар, понеже рождение ему бысть девятаго на десять дня месяца октемврия, когда празднуется память мученика Уара. Рыженький Уарушка... А после нарекли его Митей — Димитрием. В Москве сиверко стало, так Митю свезли в Углич — потепле там, да и орешки растут там. Играл Уарушка орешками, а после в тычки играл. На Уарушке ожерельице жемчужно. А там — ох! Кровушка брызнула через ожерельице... не стало Уарушки... нету...

— Нету? — радостно задыхаясь, спросил пришедший.

— Нету, нету, да вдруг есть! Два Уарушки стало...

— Два?

— Два... А угадай — который настоящий? Тот ли, что в Угличе лежит, тот ли — что в Путивле сидит?

— И ты знаешь, который настоящий?

— На — смотри и угадывай: царский или смердий? И она подала ему череп. Дрожащими руками он взял холодный костяк.

— Не угадаю, не отличу,— говорил он с трепетом, возвращая череп.

— А! Не отличишь? А кровь царскую от смердьей отличишь?

— Нет, матушка, не отличу.

— А мясо царское от смердьего отличишь?

— Нет, не отличу.

— То-то же... У путивльского Уарушки то же мясцо, что и у углицкого, а у углицкого то же, что и у путивльского... поди-тко разбери их.

Пришедший тяжело вздохнул и опустил голову.

— А что, тяжела шапка Уарушкина?

Тот с отчаяньем покачал головой.

— А тепла шапочка? — продолжала отшельница.— Ох, горяча она, горяча шапочка ворованная! Горит она у вора на голове, горят и седеют без времени волосы под этой шапочкой. А есть на тебе рубашка? — неожиданно спросила она.

Пришедший не знал, что отвечать — так поразил его этот вопрос.

— Есть...

— Вижу, вижу... И шуба соболья есть, и шапка у тебя горласта. А ведаешь ты — у всех ли в Российской земле рубахи есть, посконные хоть?

— Не ведаю, матушка.

Женщина, приложив губы к той стороне черепа, где когда-то на черепе этом было ухо, шептала:

— А был некий муж в некоем царстве, силен властию и богачеством. И Божим изволением, дьявольским же наущением бысть той муж избран на царство. И венча его святитель венцом царствия земного и помаза его помазанием. И умилися духом царь той, и, воздев руки горе, возопи к святителю пред лицем всего народа: «Бог свидетель, отче! В царствии моем не будет ни нища, ни убога». И, взяв ворот рубахи своей, рек: «И сию последнюю разделю со всеми...» Знал ты такого царя? — обратилась она к пришедшему.

— Знал,— отвечал тот едва слышно.

— А где ж он ныне?

— Я здесь! — простонал пришедший и упал на колени перед распятием. Голова его упала на грудь, волосы свесились — все в нем выражало глубокое отчаяние.

Женщина, быстро утерев слезу, скатившуюся на ее бледную щеку, тихонько перекрестила стоявшего на коленях Бориса.

— Господи! Владыко всесильный! Не вмени мне в суд мои пригрешения. Не за себя молю тя, Отче, за детей невинных,— шептал несчастный царь московский.

Когда он встал, то увидел, что и женщина стоит в гробе на коленях и молится.

— Святая! Научи меня, настави мя, святая! — с плачем умоляет Борис.

— Не греши, царь, не называй меня святою... Свят-свят-свят Господь Саваоф — един. Он свят! — строго сказала отшельница.

— Прости, блаженная! Научи, настави мя...

— Царь московский говорит со мною или раб Божий? — спросила отшельница.

— И царь, и грешник.

— Царству своему и владычеству ты ищешь помощи или душе своей?

— Не могу я отделить себя от царства моего, аки голову от туловища.

— Господь отделит,— строго сказала отшельница.— Видишь ты мою жизнь?

— Вижу... не житие, а подвижничество.

— А ищет ли твоя душа такого жития?

— Не смею, пока я царь, пока царство мое в опасности обретается. Скажи мне, как мне спасти Русскую землю?

— От кого?

— От злодея, от вора, от самозванца.

Отшельница покачала головой.

— А он от тебя ее спасти хочет,— сказала она как бы про себя.

Потом, выйдя из гроба и став лицом к лицу с Борисом, спросила:

— Сказывай, как перед Богом: ты повелел убить царевича?

— Ни, Господу всевидящу, ни! Несть на мне греха сего.

— Так он сам себе смерть сотвори — на нож пал, в тычку играючи — да?

— Ей-ей, Богу попустившу сие.

— Сам-то ты видел его зарезана?

— Нет, таково было донесение князя Василия Шуйского.

— А ныне Шуйский стоит на первом донесении?

— Стоит, пока я стою над ним; а станет другой — он другое скажет: лукаво сердце Шуйского.

— А что, коли то не *он* был зарезан, а *другой* кто?

— То одному Богу ведомо да царице-матери,— покорно отвечал Борис.

— А царица-мать жива?

— Жива... На конце языка ее сиде ныне гибель и спасение Русской земли.

— А где она?

— Здесь, в Новодевичьем.
— Ты видал ее?
— Видел — на горе мне.
— Что сказывает она о сыне?
— Сказывает: не царевич-де зарезан был; царевича-де увезли от нее неведомо — из Российской земли за польской рубеж.
— А Василиса Волохова, мамка царевича, жива?
— Не знаю, матушка.
— А кормилица Орина Жданова?
— Не ведаю тако ж.
— А останки того, кого ты за царевича почитаешь — в Угличе доселе?
— До сего дня в Угличе, матушка.
— Так слушай же, царь: пошли мертвеца воевать с живым.
— Как, матушка? Не разумею я.
— Повели патриарху и всему освященному собору ехать в Углич и открыть останки того, кого ты за царевича почитаешь. Коли тело его нетленным осталось, так сие будет указанием Божим, что останки те — мощи мученика. И пошли ты святые мощи на челе войска твоего — да защитит истинный царь московский землю свою от вора. И мощи святые победят рати того, кто похитил имя мученика.

Царь, видимо, колебался. Отшельница проникла в его душу и сказала:

— А! Ты сам мощей боишься. И он, тот, что в Путивле, мощей же боится.

Борис чувствовал всю безвыходность своего положения и молчал.

— Вижу, вижу... Перед тобой и за тобой яма: коли мощи обретены будут — скажут: Борис убил царевича. Это одна яма, в ню же впадеши. Коли обретены будут тленные останки — скажут: Борис промахнулся — метил в царевича, а угодил неведомо в кого. Это другая яма!

— Что ж я сделаю, Боже! — с отчаянием воскликнул Борис, обращаясь к распятью.

Отшельница, подняв глаза к потолку своей трущобы, торжественно проговорила:

— Нет тебе другого ходу, Борис, царь московский, токмо в яму, юже ископа десница твоя. И глубока яма сия, ох как глубока! Не один в ней сидит путивльский враг твой. Горе великое, горе изыдет из ямы той и на

тебя, и на всю Российскую землю. Не станет тебя, не станет путивльского Димитрия, а из ямы той страшной изыдут друзии и примут на себя имя убиенного. И будет на Русской земле плач и скрежет зубов. И попленят Русскую землю языци иноплеменные, и осквернят они храмы Божии, поругаются над гробницами нашими, не пощадят и праха царей московских. И будут невернии из сосудов священных вино пить, обдерут ризы святыя с икон угодников Божих и самого Господа нашего Исуса Христа и пречистой Богоматери. И снимут драгие покровы с гробов царей московских, и оденут покровами теми жен своих и детей пришельцы иноземные. И застучат копыта коней их о священную землю кремлевскую, иде же ходили смиренные стопы святителей Русской земли. И будет ржание конское тамо, где же гласи молитвеннии ко Господу возносилися. И сметением и калом конским покроются стогны московские, и Красная площадь, и дворы царей московских. И враны дикие российскими телесами питатися имут. И мерзость запустения посетит храмы и домы наши, и святые обители осквернены будут, и чернецы и черницы поруганы даже до последнего поругания. И не будет кому оплакати землю Российскую и сынов и дщерей земли нашея.

Борис лежал перед распятием, и только плечи его вздрагивали.

— И долго будет зиять яма, тобою, о царю, ископанная. О горе, горе тебе, земля Российская! Прииде на тя лихолетье великое. Горе! Горе!

XII. ПЕРВЫЕ УДАЧИ ДИМИТРИЯ

Что же делал тот призрак, который отнял и сон, и спокойствие духа, и уверенность в своих силах, и даже ум Бориса, а теперь уже шатал его трон и отнимал царство — отрывал землю за землей, город за городом, рать за ратью?

Нет, это уже был не призрак... Да это был и не Гришка Отрепьев.

И польские жолнеры, и рыцари, видавшие на своем веку многое и умевшие отличать всякую птицу по полету, и лихие донские казаки, для которых лошадиная холка — и колыбель и могила, и усатые запорожцы, умевшие ездить на «чертях-конях», и московские ратные люди,— все, глядя на этого круглоголового юношу, как

он, почти не слезая с боевого коня, носился перед своими сначала скромными, а потом выраставшими как лавина отрядами, начиная от Самбора до Киева, от Киева до Остра, от Остра до Моравска, до Чернигова, до Новгород-Северска, Путивля, Рыльска,— менее всего могли думать, что в этой обаятельной фигуре кроется московский дьякон расстрига Гришка Отрепьев, за которого его выдавал обезумевший от страху Борис. Не «расстригин» вид, не «расстригина» осанка, не «расстригина» речь... Все в нем величавое, умелое, находчивое, внушительное... В нем — царственная уверенность, в нем все царское, хоть, может быть, да это и верно — ни капли, ни атома царской крови Грозного не текло в его жилах, наполненных вместо крови ртутью... Надо было большое уменье, чтобы сочинить такой экземпляр царевича, какой сочинили неведомые мастера и какого русским мастерам сочинить было бы не в силах... Мастера, большие мастера его выработали, выучили, уверили, что он царевич, и посадили на боевого коня,— о, очень искусные мастера!

Сильно промахнулся Борис, назвав его «расстригой». Вон настоящий расстрига потрукивает на ледащей, насмирной лошаденке рядом с знакомым нам запорожцем, Куцьком-атаманом, который, взявшись за бока, заливается от смеху:

— Го-го-го-го! Га-га-га-га! От бисова гава! И доси не навчивсь на коневи сидити.

— Ворона, ворона и есть мой Юша-книжник,— замечает и донец Треня, усатый приятель Отрепьева, глядя на своего друга.— А еще Борис говорит, что ты якобы назвался царевичем... Вот царевич! Да такого царевича и куры московские заклевали бы...

Отрепьев на это только улыбается задумчивою улыбкою.

— Что, видно, в голове-то «Настенька — походочка частенька»,—шутит Треня.

— А ты постой, вон там что-то...— сказал Отрепьев, которому наскучили одни и те же насмешки, и указал на толпу мужиков, скучившуюся около воза.

На возу стоит молодой дьячок в лаптях и громко читает:

— «И Бог милосердый по своему произволению покрывал нас от изменника Бориса Годунова, хотевшего нас предать злой смерти, не восхотел исполнить зло-

козненного его замысла, укрыл меня, прироженного государя, своею невидимою рукою и много лет хранил меня в судьбах своих. И я, царевич Димитрий, теперь приспел в мужество и иду с Божией помощию на прародителей моих, на московское государство и на все государства Российского царствия. Вспомните наше прироженение, православную христианскую истинную веру и крестное целование, на чем вы целовали крест отцу нашему, блаженной памяти государю и великому князю Ивану Васильевичу всея Русии, и нам, детям его — хотеть во всем добра. Отложитесь ныне от изменника Бориса Годунова к нам, государю своему прироженному, как отцу нашему блаженные памяти государю царю и великому князю Ивану Васильевичу всея Русии, а я стану вас жаловать по своему царскому милосердому обычаю и буду вас свыше в чести держать...»

— Хотим служить и прямить прироженному осударю Митрий Иванычу всея Русии! — раздаются голоса в толпе.

— Хотим прямить!..

— Ишь, Юша, как ты ловко грамотку ту соскреб,— говорит Треня Отрепьеву.

— Да не я один писал ее,— замечает Отрепьев.— Царевич грамоте горазд...

А вон и сам Димитрий на Московской земле. Не тот уже он, каким казался на Польской: что-то особенное прибавилось в выражении его лица. Он стоит на возвышении и смотрит с высокого коня на проходящее перед ним войско. На нем богатая соболья ферезея и такая же шапка с белым пером. Рядом с ним стоит князь Рубец-Мосальский, бывший воевода путивльский, и атаманы донских и запорожских казаков — Корела и Куцько. По другую сторону начальники польских отрядов — Станислав Борша, Дворжицкий и Бялоскурский. Куцько и Корела недавно подъехали к группе Димитрия, пропустив вперед свои отряды. Рубец-Мосальский что-то объясняет, указывая рукою на двигающиеся колонны. Когда мимо группы Димитрия двигались нестройные отряды запорожцев и польская пехота, Дворжицкий, показывая на развевающиеся то там, то здесь знамена, сказал:

— Давно ли, ваше высочество, вступили на свою землю с горстью наших смельчаков, а вон уж у вас целая армия, а за вами — города и земли, склонившие шею...

— Этого мало, пан,— сказал отрывисто Димитрий,— у моего царства толстая шея.

— А шея-то, осударь царевич, головой кончается,— заметил Рубец-Мосальский.— А голова-то в Москве кончается, да ноне что-то голова сама сошла с плеч.

— Как? — спросил Димитрий.

— Да в нетях, государь, обретается, а ты ее везешь в Москву.

Димитрий глядит на свое войско и видит и не видит его, потому что за ним он еще видит что-то... «Голова в нетях была... да, в нетях... идет на Москву... а как далеко еще эта Москва, как высоко!» И перед ним проходят воспоминанья пережитого им уже на *Московской земле*... Как мало прошло времени с того момента, когда копыто его лошади в первый раз стукнуло о подмерзшую Русскую землю, около Моравска,— и как много пережито. Из Моравска ведут связанных Борисовых воевод Бориса Лодыгина и Елизара Безобразова. Без шапок воеводы. С ужасом глядят на него глаза этих воевод — смерти ждут. И глаза новых подданных обращены на него с удивлением...

— Жалую вас моим государским жалованьем,— говорит Димитрий оторопевшим воеводам.— Дарю вам жизнь — только служите мне верою и прямите правдою.

Воеводы бросаются на землю, к ногам, целуют полы его кафтана.

А вот уж и в Чернигове гудут колокола. Народ целует крест новому владыке. И воевода Татев целует крест.

— Буди жив, осударь царевич! — гудят голоса вместе с колоколами.

Не сдался только Новгород-Северск с своим упрямым воеводою Басмановым.

— А Басманов какого роду? — спрашивает Димитрий Рубца-Мосальского.

— Из татар, осударь царевич, как и Борис же,— отвечает Рубец.

То вдруг поле, и войска, и картины битв застилаются иного рода картинами. Деревья парка не шелохнутся, только говор птиц неумолчно свидетельствует о полноте жизни всего окружающего. У тернового куста, на траве, чернеется милая головка. Это Марина, оберегающая детей горлинки... А до орлиного московского гнезда еще так далеко, так высоко!

«Челом бьет тебе, государь царевич, город Кромы».

«Челом бьет тебе, государь царевич, город Белгород».

Это все клочки воспоминаний недавно и давно пережитого. Но теперь предстоит большое дело. Со всех сторон приходили вести, что приближается огромная Борисова рать: одни языки говорили, что к Северску князь Мстиславский ведет пятьдесят тысяч московской рати, другие уверяли, что сто тысяч; наконец, по словам третьих, сила эта вырастала до двухсот тысяч. А у Димитрия только тысяч пятнадцать, да еще этот «татарин» Басманов, как бельмо на глазу.

Димитриево войско все прошло мимо своего молодого вождя, а он все еще стоит на возвышении с своим небольшим штабом. Тут же виднеется и невзрачная фигура Гришки Отрепьева, на которого веселый Куцько, веселый и накануне битвы, посматривает иронически.

Перебежчики из Борисова войска говорили, что завтра, 22 декабря, московские рати подойдут к Северску. Предстоит выдержать упорную битву — пропасть или победить. На военном совете решено было, не дожидаясь нападения борисовцев, ударить на них и поразить неожиданностью.

Тревожна ночь накануне битвы. Лошади, предчувствуя тяжелую работу, не ржут. В стане тихо. Только около ставки Димитрия двигаются в темноте какие-то тени: это вестовщики то приходят с вестями, то уходят с полученными приказаниями.

Соснув немного, Димитрий еще до рассвета велит отслужить обедню в своем походном дворце, который соседние поселяне наскоро сколотили ему из уцелевших от разрушенного Басмановым посада бревен. Службу отправляет седой протопоп черниговского собора, следовавший за Димитрием с походною церковью... Тускло горят маленькие восковые свечи, тусклы, задумчивы и лица молящихся...

Впереди, немного вправо, стоит Димитрий. Лицо его более чем обыкновенно задумчиво.

Тут же виднеется черномазое, усатое лицо запорожца Куцька. Он внимательно слушает службу и только изредка взглядывает то на Димитрия, то на Отрепьева, стоящего рядом с своим другом, Тренею. Тут же торчит и белобрысая голова маленького Корелы. Рубец-Мосальский крестится истово, широко, размашисто.

— «На враги же победу и одоление — подаждь, Господи!» — возглашает дьякон.

Димитрий вздрагивает. Что-то острое прошло по душе его. Быть может, завтра,— нет, не завтра, а сегодня,

сейчас, с рассветом — конечная гибель. Эти смелые головы будут валяться на окровавленном снегу, а эта голова, мечтающая о короне царской... Димитрий опять вздрагивает — сиверко на дворе, сиверко на душе... О, кто двинул тебя на этот страшный путь, на эту стезю крови и смерти, бедный, не помнящий родства юноша! А возврата уже нет с этого пути...

Рассветает. К ставке Димитрия во весь опор скачет донской казак. Это Треня, успевший уже с своим отрядом, с сотнею удальцов, произвести разведки. Русые кудри его и усы заиндевели на морозе...

— Идут борисовцы, государь царевич,— торопливо докладывает он,— в лаву выстроились.

— Трубить в трубы! — закричал Димитрий, перекрестившись.

Передовые отряды построились и вышли в поле. Знамена и значки так и искрятся в морозном воздухе. Стеною подвигается войско Бориса.

— На герцы, панове! — кричит пан Борш.

— На майдан — заманивать толстобрюхих! — кричит Корела к своим донцам.

— А ну-те, хлопци, на улицю — з москалями женихаться! — острит Куцько, вызывая в поле охотников,— задирать москалей.

И словно стрижи из нор, из рядов Димитриева войска вылетают удальцы на открытое место: то поляк, красиво подбоченясь и покручивая ус, прогарцует в виду неприятеля, как бы вызывая его на мазура, то донец, словно бешеный, подскачет к самому носу врага, гаркнет что-либо неподобное — и шарахнется в сторону; то запорожец, выскочив на середину поля и вызвав не одну шальную стрелу из Борисова войска, покажет противникам дулю и гулко прокричит: «Нате, чертовы дити, ищте оцет!»

Москали, с своей стороны, посылают смельчакам вслед сильные московские трехпредложные глаголы и эпитеты — «распро...» да «распере...» и так далее; но в поле нейдут.

Хрустит по снегу и звенит оружием польская конная рота... Копья наперевес и сабли наголо — летит она прямо на развернутый фронт московского войска, сшибается с ним, ломит его, но, рискуя быть сдавленною как в клещах, в беспорядке отскакивает назад.

— В дело, гусары! — командует Димитрий.

— Бей по лицу крамольников, панове! — с своей стороны командует воевода, пан Мнишек, выводя в поле

свою роту. Гусары Дворжицкого, конные роты Мнишка и Фредра и отряд самого Димитрия стремительно кидаются на москвичей, на годуновцев... Слышится топот коней, лязг оружия, гул рожков и труб... Завизжали донцы, загикали, так что московские кони дрогнули и подались назад... Корела, Треня и несколько других головорезов прут к самому главному стягу московскому... Запорожские шапки смешались с стрельцами...

— Матка! На матку, атаман! — кричит Треня, пробиваясь с Корелой к главному московскому стягу.

Корела направо и налево колотит своею тяжелою, утыканною острыми иглами булавою. Лошадь его, поминутно становясь на дыбы, ржет и с визгом кусает московских коней и их всадников.

— Не бей матки, атаман! — кричит Треня.— Это сам князь — Мстиславский.

Но было уже поздно. Булава звякнула по какому-то блестящему шишаку. Москали крикнули и кинулись к стягу.

— Мстиславского убили!

— Князь-воевода упал!

— Не давайте ворам воеводу!

Эти панические крики молнией прорезали московские рати — и рати дрогнули, смешались, шарахаясь в разные стороны, как овцы в бурю. Димитриевцы налегли еще дружнее. Сам Димитрий, в жару боевого увлеченья, смешался с рядами москвичей.

— Братцы! Родные! Сдавайтесь мне,— кричит он хрипло.— Не лейте крови, московские люди!

— Царевич! Царевич! — в отчаянье вопит Мнишек, пробираясь в гущу сечи.— Побереги себя, ваше высочество! Ваша жизнь дорога.

Напрасно. Резня принимала характер бойни. Нет ничего ужаснее тех боен, какие устраивали люди, когда оружие не было еще доведено до тех образцов совершенства, какие в настоящее время изысканы наукою и военною мудростью для уничтожения людей с помощью дальнострельной стрельбы и других зверски разрушительных средств. Вместо неумелой пули и плохой пушки тогда пускались в ход сабли, кинжал, копье, дубина, рогатина, кулак, человеческие зубы, которыми перегрызалось горло у обезоруженного, но не убитого еще врага, и тому подобное холодное оружие... Началась именно такая бойня на копьях, на ножах, на кулаках, на зубах: свист и стук дубинок о человеческие черепа, стон побитых

острым оружием и удушаемых руками, лошадиный храп и человеческое ржанье — буквально ржанье с визгом и гиканьем...

Вдали от этой сечи, на возвышении, упав коленями на снег и на снег же припав горячею головою, Отрепьев молится... Под горячими слезами снег тает.

Утро после битвы. На середине поля, где происходила самая густая резня, зияют три глубокие и широкие могилы. В эти ямы таскают убитых москвичей. С самого рассвета идут эти страшные похороны; хоронят все, которые накануне бились, и все не могут кончить этого ужасного погребения. По полю, а особенно по ложбинам, кровь замерзла лужами — хоть на коньках катайся. Раненые, расползшиеся по сторонам, весь снег искровенили, да так и окоченели — кто на пригорке, кто под кустом.

Ямы, наконец, наполнены — меньше зияют могильные пасти. Некого больше таскать.

Из церкви выходит Димитрий с своими приближенными и идет к ямам. Лицо его грустно. Крестясь, бросает он горсти земли.

— Сколько Борисовых убиенных насчитали? — обращается он к Мнишку.

— Тысяч до шести москалей, ваше высочество.

— По две тысячи в одной могиле... Боже правый!

По лицу его текли слезы. Нагнувшись к трупу стрельца, которого еще где-то отыскали и несли в яму, и поцеловав его, Димитрий сказал, отирая слезы:

— Прощай, дорогой земляк. В твоем лице я целую всех твоих павших товарищей. Я помолюсь за их души в Москве всем освященным собором, и Бог простит их.

Потом, снова перекрестив все могилы, он велел зарывать их. Комья мерзлой земли грузно падали на мертвые тела.

— О, Борис! Борис, душегубец великий! — сказал он, обращаясь на север.— Жди меня... Я приду.

XIII. ЗАГОВОР В ПУТИВЛЕ

После победы над московскими ратями под Новгород-Северском и после неудачной битвы под Добрыничами, Димитрий, боясь быть отрезанным, отступил к Пу-

тивлю. Большая часть польских отрядов, а также и сам Мнишек, ссылаясь на необходимость присутствовать на сейме, воротились в Польшу. Оставили Димитрия и запорожцы в самую критическую минуту — в разгар битвы под Добрыничами, когда под Димитрием убили лошадь и когда, благодаря великодушию Рубца-Мосальского, ему удалось спастись на лошади этого князя.

Не покинули Димитрия только донские казаки, которые засели в Кромах и благодаря изумительному военному таланту Корелы постоянно тревожили и держали около себя, словно на привязи, все рати Бориса, боявшиеся сдвинуться с места. Корела же, хорошо зная сердце человеческое, посоветовал Димитрию изморить своего противника выжидательным положением.

— Я знаю, государь царевич, людей... бывал у них за пазухой,— говорил он.— Народ, я тебе скажу, царевич,— это девка. Коли ее сам парень трогает, она рыло воротит, да, пожалуй, и в морду даст, хоть сама и рада, что ее трогают. А не замай ее парень, уйди — она глаза проглядит, выжидаючи озорника. Коли он идет по улице да глянул сам на окошко, так девка готова не то что за печку, а в печку спрятаться, лишь бы де постылый парень не увидал. А пройди этот постылый вольготно — «черт-де тебя ломай, красна девка,— я другую найду»,— так девка измается, выжидаючи постылого, да не токмо в оконце выглянет, а весь плетень исковыряет, лишь бы хоть одним глазком накинуть на постылого обидчика. Так и народ, так и все рати московские. Прослышали они, что идешь ты у Бориса костыль отнимать... Ух! Тяжел для них этот костыль — много ребер переломал им! А все чужой — не трожь их костыля: «Наша-де, кусай меня собака, да не чужая». Ну и, словно красная девка, ощетинились на озорника... А как сядешь ты, царевич-батюшка, в Путивле да заживешь там тихонько, так девка-то и заходит у окошка да под плетнем: «Ох, чтой-то постылый мой нейдет?» А после: «Ох, чтой-то соколик мой ясный не прилетывает? Без тебя, мой друг, постеля холодна...» А Борис-то еще больше будет серчать да костылем стучать: «Подайте мне изменников! Подайте мне всех, кто прямит вору-самозванцу». Прости, осударь,— это к слову пришлось, к Борисову... Ну и тошно станет московским людям с Борисом оставаться... А ты станешь «соколиком», мил сердечным другом — и девка-то тебе сама на шею кинется: хорош-де, пригож, мой сердечный друг — возьми меня, красну девицу, замуж за себя».

И вот зажил Димитрий в Путивле. Словно пчелы к матке, потекли к нему люди изо всей Русской земли: кто шел из любопытства — взглянуть на невиданное чудо да порассказать своим, кто уходил к нему от долгов, от грабежей, от царских приставов, от кнута и виселицы, от горемычной жизни да бесхлебицы. Всех принимал Димитрий и всем давал корм и работу...

Царство Бориса, видимо, расползалось, как сгноенная в долгой бучке рубаха.

— А богомол-от какой, а из себя так рыженькой, мать моя, да и с бородавочкой — пятнышко родимое,— умилялись бабы, видевшие Димитрия в путивльской церкви.

— О-ох, касатая, и не говори! Сама своими глазыньками видела. Подлинно царское тельце — беленькое — и все веснушечки это, касатая моя, инда я заплакала.

— Где не заплакать? Вся сердобушка моя изныла, глядючи на него. Ишь, лиходеи, отняли его у матушки родимой.

— Отняли, отняли, касатая. Так пришли эти Годуны-псы, да так ево, дитю малую, от титьки-то и оторвали...

И эти бабьи сплетения переходили с базара на базар, от города до города и пробивали стены Борисова царства, замочными скважинами проникали в крепости, в остроги, во дворцы,— и разъедали, как моль, царскую порфиру Годунова. И чем чудовищнее были эти бабьи телеграммы, тем более колыхалась от них Русская земля.

И Димитрий точно знал, чем выиграть в глазах баб — этих вечных и мировых корреспондентов, этих вселенских историков, публицистов и поэтов, оглашавших человеческие деяния и глупости в поучение всему свету, когда еще ни газет, ни истории не существовало: он приказал с торжеством привезти из Курска чудотворную икону Божией Матери и со звоном колоколов, и с пением псалмов и кроплением народа святою водою обнести образ вокруг города по городской стене.

— Сама Матушка Богородица пришла к нему — поп Оникей сказывал,— снова плетут бабы.

— Ой ли, мать моя?

— Вот те крест! Ночью глас бысть от иконы: «Хощу,— говорит,— к рабу Божию Димитрию пойти».

— Ох, матыньки!

— И пришла, голубушка.

— Матушка! Богородушка!

— Рыженькой-то какой, касатая...

Между тем мужчины, конечно некоторые, не так относились к «рыженькому»...

В Путивле, недалеко от двора Димитрия, стоит небольшой деревянный домик. Хотя время уже перешло за полночь, однако в домике этом, сквозь щель закрытых ставней, просвечивает огонек. Кто не спит так поздно, когда весь город давно уснул, и только на городской стене да и на крепостном валу изредка перекликаются часовые пушкари сонными голосами: «Славен город Путивль! Слушай!..» — «Славен город Кромы...» — «Славен город Чернигов!..»

В домике этом, в одной просторной комнате, передний угол которой увешан иконами в ризах, за большим столом, покрытым белою скатертью, сидят на широкой лавке трое монахов. Один из них старый, с выбивающеюся из-под клобука седою косичкою и постоянно моргающими глазами, а двое молодых,— один с черными кудреватыми волосами и почти безбородый, другой — с рыжими, широко разметавшимися по плечам волосами и такою же рыжею окладистою бородой. Перед ними на столе складной медный крест и старое Евангелие в кожаном, засаленном и закапанном воском переплете и с медными, грубо выделанными застежками.

Против них на деревянном, с высокою прямою спинкою стуле сидит старый бородатый русак, одежда которого изобличает служилого человека.

Сальная, в высоком медном подсвечнике свеча, сильно нагоревшая, слабо освещает задумчивые лица собеседников.

— И что ж, отец Зосима, ты сам видел Гришку? — спрашивает служилый.

— Сам, Микита Юрьич,— отвечает старый монах, моргая глазами.

— И спознал его подлинно?

— Как не подлинно, батюшка! Ево самово, беса, у Иева-патриарха на Москве не единожды видывал.

— А тот — *сам* — от?

— Тот — особь человек: образом руд.

— Да, руденек.

— Белолиц, глазаст гораздо да и шильный, аки змей.

— Знаю, знаю — был на очах...

— Образина, чу, не наша,— вмешался рыжий.

— Литовец, поди.

— А може, польская опара высоко подымается,—

заметил служилый.—Да, знатно подделали гривну эту на шею царю и великому князю Борису Федорычу всеа Русии...

— Чево не знатно! И крест-от истовый умеет слагать, и речью взял, и всем,— вставил рыжий.

— Так, так. Да все, кубыть, чуется нечто иноземное в нем: та же, кажись, гривна, да звон не тот,— добавил старый монах.— А Гришка — это он самый: Юшка Богдашкин.

— Да, Юрка-книгочий — знаю. Дока в письме-то.

— То-то и есть. Не попал в жилу святейший патриарх Иов, не попал: в грамоте Гришкой назвал пса польского, рудо-желтого беса. Не попал, не попал...— повторял служилый.

— Не попал, так мы попадем,— отозвался таинственно черный монах.— Только бы кадило добыть, а там мы попадем, с кадилом-то: все его польское гнездо, аки комаров, выкурим росным ладаном из святой Руси.

— Да, да, темьян у нас добрый,— улыбался рыжий.

— Что ж — зелье какое? — любопытствовал служилый.

— Зелье... точно...

— А сила в нем какая?

— Сила? Да вот какая: коли только к голому телеси приложить его, так все тело распухнет, аки един пузырь, а на девятый день смерть приключается.

— А кто же к нему-то, к телу приложит?

— За-для чего тело, а кадило на что?

— Что ж кадило?

— Покадить нашим темьяном.

— Ну?

— Ну и — со святыми упокой!

Служилый со страхом перекрестился.

— Что ж это за зелье? — спросил он.— Откуда оно?

— С могил. На девяти могилах копано, в девяти водах мочено, в девяти огнях сушено, девятью клятвами проклято,— оттого на девятый день, чу, и смерть приходит.

— Как же — и патриарх благословил на такое дело?

— Благословил, чу, и грамоту дал с анафемой ему, Гришке.

— Да как же Гришке, коли он не Гришка?

Монах, видимо, был озадачен этим вопросом служилого: анафематствовати указано Гришку-расстригу, а он не Гришка, а польский бес. Но он скоро нашелся.

— Анафема — оком Божим смотрит и ухом Божим

слышит,— сказал он,— она найдет, кого надобет найти.

В это время за дверями три раза замяукала кошка. Монахи вздрогнули.

— Кого кошка ищет? — тихо спросил служилый, подходя к двери.

— Мышку,— был ответ из-за двери.

— Какую?

— Рыженькую.

Служилый отпер дверь. Вошел низенький старичок в лисьей шубе и в бобровой шапке. Сняв шапку, он перекрестился на иконы. Голова пришедшего блеснула широкой лысиной ото лба.

— Ну, что, Микифор Саввич? — спросил служилый.

— Благодарение Господу — добыли.

Монахи вскочили с своих мест и перекрестились.

— Покажь, отец родной,— заговорил служилый.

Лысый полез за пазуху кафтана и вынул оттуда что-то завернутое в ширинку. Когда он развернул ширинку, то в руках у него оказалось кадило церковное. Он бережно поставил его на стол.

Кадило было не висячее, не на металлических цепочках, а стоячее, со складною ручкою, какие теперь уже вывелись из употребления.

Все стояли молча, и никто не решался заговорить первым. Наконец, заговорил рыжий монах.

— Братие! — сказал он торжественно.— Дело сие великое и страшное. По указу царя-государя и великаго князя Бориса Федоровича всеа Русии и по благословению святейшего патриарха Иова посланы мы, смиренные иноки,— инок Изосима, инок Иринарх и аз худой иночишко Потапишко,— посланы мы излияти гнев Божий на главу богоотступника, иже похити имя в Бозе почивающего царевича Димитрия Иоанновича углицкого и дерзает на превысочайший Российскаго царствия престол, аки пес смердящий воскочити и на честнейшего царя-государя и великаго князя Бориса Федоровича всеа Русии своею гнюсною латинскою блевотиною блевати, яко бы он, государь, московское скифетро украл. И указано нам, инокам смиренным — иноку Изосиме да иноку Иринарху да мне, иночишке Потапишке,— одного пса латинского гневом Божиим казнити и лютой смерти предати.

— Аминь,— глухо проговорил старый инок Изосима.

— Аминь,— повторил и черный чернец Иринарх.

— Се крест честный и Евангелие Господа нашего Исуса Христа,— продолжал рыжий чернец, указывая

на крест и Евангелие,— подобает нам, братие, на сем Евангелии клятися и ротисеся, яко да сохранити нам тайну цареву и на том крест целовати. Клянемся ли, братие, на сем?

— Клянемся именем Бога живого!

— Ротистеся ли такожде?

— Ротимося Господом!

— Целуйте крест и Евангелие Господа нашего Исуса Христа.

В этот момент послышался стук в наружную дверь, затем удар, другой — и дверь грохнула в сени. Присутствующие в комнате так и окаменели на месте. Рыжий монах схватился за голенище сапога и задрожал всем телом.

В одно мгновенье те же удары обрушились и на внутреннюю дверь, в самую комнату. Дверь не выдержала и соскочила с петель. В дверях показались стрельцы и польские жолнеры. В комнату вошел Рубец-Мосальский с оружием в руках и в кольчуге. Взглянув на стол и увидав на нем кадило, он сказал, обращаясь к стрельцам:

— Вяжите их! Поличное в очи глядит. Вина их сыскалася допряма.

Через несколько дней после этого ночного происшествия нижняя околица Путивля представляла шумное зрелище. Туда валил народ со всего города — тащился и стар и мал, серьезные мужики и любознательные бабы. Последние поминутно ахали и без умолку болтали:

— Ах, касатая моя, в сапоге, чу, нашли.

— А ево, у Митрей-царевича?

— Что ты, девынька! Окстись! У монашки, чу, у рыжего.

— Ах он пес рудой!

— Да на девяти, девынька, могилах Борис Годунов копал ево, зелье-то, да в девятех, слышь, касатая, водах мочил ево.

Толпа затерла болтливых баб. Речи мужиков сменили речи баб:

— Этой-то порчей зеленой, слышь, робя, они, чернецы-то, и хотели извести царевича.

— От Бориса, мекаю так?

— От Борьки от самово. А царевич вьюнош не промах — накрыл аки мышь решетом.

— Чернецов, мекаю?

— И чернецов, и бояр. Да и говорит: «Эх, гыть, братцы, братцы! Люди вы старые — что я вам сделал? Я вас в ту пору, аки полоняников моих, у Рыльска помиловал — не сказнил, а опосля того кормил-поил вас. За что ж вы, гыть, лиходеяли над головой моей? Бог вам судья, гыть, да народ православный». Это к боярам-то. Да вывел их, бояр, на крылечко, да и говорит: «Народ православный! Судите лиходеев моих, как знаете, а я их прощаю».

— Ну и добер же он, не в батюшку добер!

— Ну а на миру их присудили сказнить: расстрелом расстрелять, аки псов бешеных.

— А чернодырых?

— За приставы отдал. А судиям-то и говорит: «Братцы! Простите их, рабов Божиих: они-де не своею волей шли, а по крестному целованью, аки от законного царя».

— Добер, и... и как добер!

В это время на околице показался взвод стрельцов и польских жолнеров. Впереди шли стрельцы, раздвинувшись на две равные колонки. Посередине колонок шли два старика в арестантских чапанах и с открытыми головами. На ногах у них звенели кандалы, словно у скованных лошадей в поле, а в руках теплились свечи — маленькие, желтые, восковые. Свечи часто тухли то от движения, то больше оттого, что у осужденных дрожмя дрожали руки. Тогда священник в черной рясе, шедший впереди их с крестом, брал у них свечки и снова зажигал от свечи, горевшей в фонаре на ружье одного стрельца.

Шествие замыкал отряд жолнеров. Шествие направлялось к двум черным, вымазанным сажею столбам, стоявшим на краю околицы. Около столбов чернели свежие могильные ямы.

Это вели на казнь тех стариков, которых мы видели на ночном совещании над крестом и Евангелием. Они в числе прочих служилых людей были приведены к Димитрию связанными, как слуги Годунова, и в числе прочих же не только помилованы, но и почтены доверием Борисова противника. Но они все-таки изменили ему, пристав к заговору трех монахов, подосланных в Путивль Годуновым и патриархом Иовом.

— А почто, мать моя, у них свечечки в руках воскояровы?

— А это, касатая, душеньки их теплются — опрощенья у Господа просят.

— Помилуй их, Господи.

— О-ох, касатая, темно там, в могилушке сырой, а дороженька на тот свет далекая-далекая, так по темной-то по дороженьке свечечка и будет посветывать.

— И-и, какая ты, мать, умная, все знаешь.

— Все, все, касатая, потому — Господь сподобил... А за ними-то, касатая, за колодничками, аньделы их идут и горючьми слезами по душенькам ихниим обливаются.

— Идут, баишь?

— Идут, касатая, сама своими глазыньками вижу — они маленьки робятки, голеньки, без штанишек, кудреватеньки и с крылышками.

Баба завралась окончательно — и ахнула: к шествию примкнули, словно выросшие из земли, конные фигуры стрелецкого сотника и польского хорунжего... Шествие остановилось как раз против черных, позорных столбов и вырытых под ними, черных же, словно два старых разинутых рта, ям. Священник стал рядом с осужденными, а против них — низенький подьячий с большой медной чернильницей за поясом и с гусиным, в виде стрелы, пером за ухом. В руках у него бумага.

Началось чтение приговора. Слышны только отдельные слова, бессвязные фразы, словно бы это дьячок читает ефимоны: «кадило церковное»... «темьян-ладан»... «зелье погибельное»... «по дьявольскому наущению»... «и сыщется про то допряма»... «избыти мука вечная»... «ино будет учнут ведовством воровать»... «оже будет про здоровье государево дурно помыслить»... «и того казнить жестокою казнию — рука-нога отсечь»... и так далее,— только и слышно «еже» да «ино будет» или отчетливая страшная фраза: «и того казнити смертию — голова отсечь»... И опять «еже» да «ино будет», и снова заключительная страшная фраза: «и того казнить смертно — огненным боем»...

А ворона, сидя на столбе и как бы прислушиваясь к тому, что читают, и удивляясь человеческому искусству выдумывать страшные, неизглаголанные муки своим братьям, зловеще каркает.

— Не дадут, не дадут, подлая, тебе мясца человечьего — ишь избаловали человечинкой... Не каркай, подлая! — говорит старый, на деревянной ноге, стрелец и грозит вороне кулаком.

Наконец, все прочитано. Выходят из рядов четыре польских жолнера и, взяв под руки осужденных, ведут к столбам мимо могильных ям...

Тот из осужденных, низенький, Никифор Саввич, что приносил кадило к монахам, проходя мимо ямы, заглянул в нее — заглянул в свою могилу. Да, любопытно, очень любопытно заглянуть туда. Другой, Никита Юрьич, только вздрагивает и хватается за жолнеров. Голова, верно, кружится — как бы раньше не упасть *туда*.

К ним подходит священник с крестом и что-то говорит. Осужденные крестятся, и звякают их молящиеся руки, закованные в длинные кандалы, звякают кольцами цепей, словно четками монашескими...

— «...земля есте и в землю отыдете»,— слышится священническое утешение.

На осужденных надевают белые мешки-саваны и привязывают к столбам.

— Выходи повзводно! — раздается команда стрелецкого сотника.

— Пущай паны стреляют,— слышится протест из колонны стрельцов.— Нам по своим стрелять... рука не подымется.

— Ин быть так,— соглашается сотник.

Снова раздается команда. Выходят попарно жолнеры и становятся в две линии. Наводятся дула ружей на живые мишени — на белые мешки с завязанными в них людьми.

— Раз... два... три!..— Кто-то машет не то платком, не то белым крылом, и в тот же момент что-то хлопает, точно десятки хлопушек по мухам. Нет, это меньше и жальче, чем мухи. Белые мешки разом оседают, но не падают. Из-под грубого холста брызжет что-то красное...

— Ох, кровушка! Ох, матушка...

Ничего не видать за дымом. Кто-то подходит к столбам, отвязывает белые мешки, и мешки так-таки мешками и сваливаются в ямы. За мешками в ямы посыпалась земля. Лопатами и ногами пихают туда землю. Полно — даже с верхом насыпано.

Опять команда, какая-то злая, с какою-то острою нотою в голосе польского хорунжего. Колонны сомкнулись. Застучал барабан. Колонны прошли по свежим могилам.

А стрелец, на деревяшке, ковыляя к посаду, тянет:

Ой и спасибо, уж и спасибо те, мому синему кувшину,
Ох уж и розмыкал, ух и розкострижил злу тоску-кручину...

Да, кому синий кувшин, кому яма, а кому корова... Уж и жизнь же человеческая!

XIV. ЛЯПУНОВ И ОФЕНЯ

— Христос воскресе, Ипатушка!

— Воистину воскресе, боярин.

— Похристосуемся же, знакомый.

— Похристосуемся, бояринушка.

Такими приветствиями обменялись при встрече в стане Борисова войска, которое все еще стояло под Кромами, осаждая атамана Корелу с донцами, высокий, видный, средних лет ратник в богатом ополченском одеянии и горбатенький офеня с коробкою за плечами, может быть, оттого и казавшийся горбатым, что массивный короб, сидевший у него на спине постоянно, заставлял думать, что этот маленький человечек так и родился с коробом на спине.

Ратник сидел у шатра на длинном, толстом обрубке дерева и перебирал какие-то бумаги. На бревне же, которое было сверху стесано, стоял серебряный кувшин, а около него большая серебряная же стопа... И ратник и офеня похристосовались троекратно.

— Как живешь-бродишь, Боярышенька золотая? — спросил первый, улыбаясь.— Садись, медку испей.

Офеня низко поклонился.

— Спаси те Бог на добром слове. Брожу по Руси, аки челнок у ткачихи.

Он сел на другой конец бревна и спустил на землю свой короб.

— Спознал меня?

— Как не спознать Прокопа Ляпунова свет рязансково? Един сиз селезнь промеж серыми утицами, един и Прокоп Ляпунов на матушке, на святой Руси.

Ляпунов весело засмеялся, тряхнул своими русыми кудрями.

— А ты все такой же балагур, Боярышенька золотая? Где бродил с тоя поры, как у меня в Рязани иконы менял? А много после того воды утекло... боле чем у Бога положено... ох, как много — в пять-шесть годов-то... А теперь к нам с коих стран забрел?

— Из града Мангазеи, бояринушка.

— О таком городе я и не слыхивал.

— В Сибирской земле, бояринушка, дале, чем град Тобольск, на полуночну страну.

— А как туда попал?

— Из Архангельсково городу кочем.

— Кочем, водою? Да что ты меня морочить вздумал,

Боярышенька золотая? Видано ли, чтоб из Архангельсково городу в Сибирь водой пройтить?

— Видано, бояринушка. Пятой год тому будет, как я от вас из Рязани пошел в Архангельск да мимоходом забрел и в Соловецкую обитель, к угодничкам Зосиме-Савватию, иконы менять. И прилучись в ту пору в Архангельске быть колмогорцу Еремке Савину, а с ним мы спознались на Москве у князь Василей Мосальсково,— иконы я князю менял тако ж; и в те поры царь Борис Федорыч спосылал его, князь Василья, в Мангазею воеводой для поминочной рухляди и ясаку государева. И оный Еремка-колмогорец, снарядив кочи, задумал везти судовя снасти в Мангазею морем. Так я с ним-то и проехал морем в Мангазею из Архангельсково.

— Каким же морем-то?

— Студеным, бояринушка. Уж и что это за дивы я видел там дивныя; что плывем это мы морем-окияном день и ночь, и что день, что ночь — все едино, только ко полудню солнышко по праву руку небом идет, а ко полуночи, бояринушка,— ох, уж и не поверишь! — всюто ноченьку оно, солнышко красное, по морю по кияну, аки лебедь, плывет, так-таки одним краешком омокнется в киян-море, да и плывет, и плывет, красное. И день светло, и ночь светло — инда одурь возьмет, да так и заплачешь, сам не знай о чем. И чудно это таково, и страховито, и божественным аки духом некиим на тебя веет от пучины этой морской: гора это ледяная плывет по морю по кияну, а ни конца-края ей нетути, ни до вершинушки ея оком не досягнути, не доглянути; и стоит эта глыба на глыбе до самого небесе, до престолу Божия. А на глыбинах-то этих, на горах ледяных, звери морские хвостатые да пернатые ходят да медведи белые... А птицы-то, Господи, сколько и рыбины всякой. И китище этот, кит преогромный плывет да воду, аки руки к небу, изрыгает,— так молитвами чудотворцев московских да угодников киевских только и спасались. Там-то я, бояринушка, и обет дал — в Кеив к мощам угодников печерских сходить.

— Что ж, и был в Киеве?

— Привел Господь, бояринушка. Это уж я в Кеив прошел из Мангазеи-града на Тобольск, да на Неромкур, а с Неромкура на Пермь, да по пути по дорожке завернул домой в Суздаль-град, да отголь в Астрахань да на Дон, да уж с Дону-то в Кеив. Там вот и ихнево Димитрия рыженька видывал...

При слове «ихнего» он указал на Кромы: издырявленный и изрытый норами, словно пчелиный сот, вал их виднелся из палатки Ляпунова, стоявшей на возвышении. Ниже и выше и по сторонам белелись шатры, серели нагроможденные в беспорядке обозные телеги, чернели пушки с зарядными ящиками, бродили, сидели, ездили, кричали, смеялись и пели ратники московского и иных российских ополчений.

— Кого видел? — спросил с удивлением Ляпунов.

— Да вот ихнево, что в Путивле. Кромчане Димитрием-царевичем его называют.

— Как! Ты еще в Киеве его видывал?

— В Кеиве, бояринушка.

— Гришку-то Отрепьева?

— Нету, бояринушка. Гришка-то особь статья.

— Так кто же?

— А Бог его ведает кто. *Он* — одно слово. Рыженький.

— Так и Гришка, сказывают, рыж же...

— Руденек, точно, бояринушка, рудой, точно, да не *он*.

— Так ты и Гришку знавал?

— Знавывал. И иконы менивали, и медок пивывали.

— Где же?

— Да все в Кеиве, бояринушка. Да и в Путивле их обоих видывал.

Ляпунов даже вскочил, и серые с огнем глаза его расширились.

— Тьфу ты, чертов сын! Да ты меня совсем с толку сбил. Я ничего не уразумел из того, что ты мелешь.

— Не мелю я, бояринушка, толком докладываю твоей милости.

— Ну, как же? То ты в Киеве, то ты в Путивле, то Гришка Отрепьев, то не Гришка, то того знал, то этого, а кого — сам бес тебя не поймет. Тьфу ты, дьявол, инда сердце ходенем ходит. Я тебя как собаку велю повесить. Что ты смущаешь народ? Подослан, что ли? Так на осину тебя и вздерну.

— Дергай, бояринушка, да с коробом вместе — с иконами Божьими: пущай Господь Бог увидит правду Прокопа Ляпунова — какова ево правда.

Ляпунов взволнованно ходил взад и вперед мимо колоды. Несколько ратников и один старый стрелец направились было к нему, но он нетерпеливо махнул рукой — и те удалились.

— Так распутай же этот клубок, что ты намотал: что такое этот Гришка и что этот не Гришка. Это, сам знаешь, не иконы менять: тот-де, что с брадою лепообразною и с плешью — Микола-чудотворец, а тот, что на коне,— Юрий-де Победоносец. Тут дело земское. Сказывай же,— все еще нетерпеливо говорил Ляпунов, размахивая руками.

— И скажу все, бояринушка, потерпи, не горячись. Видно, что тебя махонького в горячей воде купали.

— Ну, так их двое, чу?

— Двое. Слушай... Буду с начала сказывать, как про белого бычка.

— Как ты с ним спознался,— *с ними,* я хочу сказать, с проклятыми? Гришка — не Гришка, дьявол — не дьявол, тот — не тот, один — не один, оба рыженькие, оба тут, мы в дураках — да эдак с ума сойти можно. Вся Русь с ума сойдет — поневоле рехнется. Зарезали — не зарезали, похоронили, а он ходит; говорят, Гришка ходит — нет не Гришка, а два Гришки, и оба рыженькие, и тот, рыженький, зарезан, и этот не зарезан — рыженький... Да эдак вся Русь взбесится — это черт знает что такое!

Действительно, положение русских людей было ужасное. Кому верить? За кого стоять? Кто лжет?

Ляпунов, как личность глубоко впечатлительная и натура честная, испытывал ужасную нравственную пытку. Его ум не мог не чуять какой-то фальши во всем, что делалось на Руси при Годунове, он и тут чуял что-то, но что-то неуловимое, от чего между тем саднело на мозгу, на сердце, чувствовалось, что тут что-то не так, не то. И вдруг этот горбатый офеня! Точно искры рассыпал во мраке, а мрак все не выясняется, и, напротив, еще страшнее становится от этих искорок.

— Ну, говори же, а будешь вилять — кишки вымотаю на струны.

Но офеня был человек бывалый и знал людей. Он и свою силу знал, и силу того, что имел сказать нетерпеливому рязанцу, и потому, улыбаясь, начал нараспев:

— Начинается сказка про белого бычка. Пришел я в те поры в Кеив иконушки менять...

— А в котором году?

— Полтретья годка будет, а то и три влезет. Ну, и меняю, брожу по дворам, по монастырям, по черкасским людям, а все глазком накидываю, нет ли где случаем землячка, московской строки. Есть. Набрел

я таким побытом и на Гришку, на Григорья Отрепьева.

— Да как же это ты набрел на него, не пойму я?

— Да знавал же я его на Москве еще, как он был Юшка, Богданов сын, Отрепкин, малец такой шустрый, и у Романовых жил. Еще Настеньки Романовой следы в садочке на песку искал да следы эти целовал. А я Романовым в ту пору иконы ж менял, так Юшка просил меня принести ему иконы преподобной мученицы Анастасии-римляныни. А после того вот, как царь Борис Федорович всех Романовых за измену ли, за воровство ли какое расточил, так Юшка-то, тоскуючи по Настеньке, по Романовой же, от свету отрекся — в монастырь ушел, и наречен был в ангелех Григорий,— да как парень-то пронзительный и все книжные хитрости произошел, так святейший патриарх Иев и взял его к себе письма ради. Он и прилепися к книжному-то делу аки клещ — дозарезу, значит,— словно в свою Настеньку. Меры человек не знал, зачитываться стал. Ну, на него и вышел поклеп: чернокнижник-де, предать-де его за книжное любление огненной смерти — сжечь в срубе. Не читай-де много — опасно это. Он — бёгу, да в Кеив... Там мы с ним и столкнулись — и поцеловались, и поплакали вместе об Настеньке. Ух, девынька ж была! Так вот так-ту, бояринушка.

Ляпунов внимательно слушал. Для него все это было ново.

— Ну, как же тут царевич-то? — спросил он с недоумением.— Кто ж тут еще другой?

— А другой — другой и есть, бояринушка. Юша же и свел меня с ним-то, с этим другим.

— Кто ж он такой?

— А и Бог его ведает... рыженькой, да и только... с бородавкой еще. Так «иноком Димитрием с бородавкой» и звали.

— Ну, и как же? Какой он из себя? Что говорил о себе?

— Как тебе сказать, бояринушка? Рыженькой он точно, сухопар гораздо, молчалив... только,— как тебе это сказать понятнее,— словно бы он не тот, что есть. Инда страх нападал, как ему в очи-то посмотришь: нет, не тот, не тот, думаешь, это человек, что глядит на тебя; так и чудится, что вот-вот из-за спины у него выглянет кто-то другой. Ну, и морошно станет. А добер гораздо и много видал на своем веку, хоша и млад вьюнош еще; и как видал, где видал — этого не говорит.

— Как же не говорит?

— Да так — прималкивает. Ты думаешь — вот скажет, а он нет — увернулся, и след замело, и сам он в воду канул, а сам тут сидит — молчит. Да единожды раз чудо таково вышло: увидал это он у меня образ преподобного князя Александра Невского, долго эдак смотрел на него, долго что-то думал, да потом и шепчет: «Дедушка! Прародитель мой! Помолись за меня...» — да и заплакал. Диву дался я: не в себе, думаю, человек, попритчилось, думаю. Да уж вот ноне, когда в Путивле, в церкви увидал его, аки царевича Димитрия, так и вспомнил, и раскусил «дедушку»-то его — неспроста, значит, говорил.

Видно было, что рассказ офени производил на Ляпунова глубокое впечатление. В душе его зарождалось что-то новое, тревожное.

— Что же после-то было? — спросил он.

— После-то? А после я ушел в Саратов, а из Саратова в Казань, а из Казани в Нижний, а из Нижнего в Москву. А по Москве-то уж слухи пеши ходют про царевича. Поменял я маленько товаром-то своим, да в Калугу, а из Калуги в Тулу, а из Тулы в Орел, а из Орла махнул в Чернигов, да на дороге-то уж и слышу неподобное: царевич-де идет. Ну, что ж, думаю, пущай идет, коли Бог ноги дал. Брешут, думаю, люди. Иду да иду с коробом-то своим, посвистываю, да еще, грешным делом, запел,— сиверко было, так я маленько выпил,— ну, эдак-то себе и подтягиваю со скуки,— в Казани еще добре поют ее шубники: «Что ты, Дуня, приуныла, пригорюнившись у окошка, шельма, сидишь?» Коли вижу — едет кто-то навстречу мне. Гляжу, ан ратные люди идут: хоругви это на солнышке блестят, аки злато червленое, пешие и конные неведомые люди, и казаки, и польские, и малороссийские люди — видимо-невидимо. Я сторонюсь, шапку сымаю, кланяюсь господам ратным. Коли вдруг слышу: «Ипатушка-богоносец, Боярышенька золотая!» — Это меня за то «Боярышенкой золотой» дразнют, что ежели я прихожу в какой дом иконы менять, то завсегда ищу боярышень — охотнее боярышни-то берут мой святой товарец. «Боярышня, говорю, золотая! Не надо ли Миколу-угодничка али Троеручицу-матушку?..»

— Знаю! Знаю! — нетерпеливо машет Ляпунов.— Что ж дальше-то было?

— Дальше-то? Коли глядь — Юша Отрепьев! С ратными-то людьми едет. «Куда, пытаю, Бог несет и зачем?» — «В Москву, говорит, Ипатушка, белокаменную с осударь царевичем Митрей Ивановичем».— «Как?»—

говорю. «Да так вот, Боярышенька золотая, привел Господь... Вот он и сам батюшка под стягом едет». Глядь — он и в самом деле едет под стягом, под хоругвовью, да кто б ты думал, бояринушка?..

Офеня остановился.

— Эй ты, тетка! — вдруг закричал он на идущую мимо них бабу с ведрами.— Ходи сюда! Образа у меня всяки есть. Уж таку-то тебе, тетя, Богородушку уступлю — любо-дорого.

Ляпунов даже ногами затопал.

— Прочь, баба! Проваливай! — закричал он.

Баба вскинула на него изумленные глаза и пошла дальше, бормоча:

— Ишь, сердитый какой... белены объелся.

— Что ж ты, чертов сын, молчишь? — накинулся Ляпунов на офеню.

— Да ты кричишь, я и молчу,— спокойно отвечал тот.

— Ну, кто ж под стягом-то?

— Да все он же — рыженький Димитрий с бородавкой.

— Так не Гришка Отрепьев?

— Нет, не Гришка... Гришка — это Юшка.

— А тот не Гришка?

— Не Гришка, стало быть.

— Так кто же он?

— А и Бог его ведает.

Ляпунов осмотрелся кругом. Заглянул в палатку.

— Эй! — закричал он.— Десятской!

Из-за шатра вышел рослый ратник.

— Взять вот этого да отвести к князю-воеводе за приставы,— сказал Ляпунов, указывая на офеню.— Я и сам, чу, непомедля приду.

Офеня сидел на колодце спокойно, как будто дело не его касалось.

— Эй, тетка! Ходь сюда. Неопалимая Купина у нас есть — всякой пожар Матушка Неопалимая Купина тушит.

— Что ж ты смеешься, собачий сын? — снова вскинулся Ляпунов.

— Нету, бояринушка, не смеюсь. И князь-воеводе скажу то же, что твоей милости докладывал.

В это время к палатке приближался кто-то быстрыми шагами, издали делая знаки руками. Это был мужчина средних лет, плечистый, коренастый, лицом напоминав-

ший Ляпунова. Он также одет был ратником. Открытое, загорелое лицо его казалось встревоженным.

— Ты что, Захарушка? — спросил Ляпунов.

— Вести черные. Новая беда стряслась над Русскою землею.

— Что ты? Какая еще беда?

— Царя не стало.

Ляпунов перекрестился. И десятский, и офеня стояли как вкопанные.

— Как! Что ты говоришь?

— Так, Прокуша. Басманов сам вести привез. И митрополит Исидор с ним прибыл новогородской, и весь синклит. Ко кресту пригонят ратных людей.

— Когда ж царя не стало?

— В саму неделю мироносиц. Здоров был, батюшка.

Он отвел Ляпунова в сторону.

— Дело неладно. Сказывают, царь сам на себя руки наложил.

— Как?

— Зельем отравным. Кровью изошел...

— Дивны дела... дивны дела. Да и я тут узнал неисповедимое нечто. Рука Господня, десница Его тяжкая на Русь налегла. Ох, быть беде великой. Узнал, я вон от этого...

— От офени-то?

В это время в главном стане послышался вестовой барабанный бой и глухой удар в колокол походной церкви. Мрачно застонал колокол. А в Кромах раздался торжественный звон.

— Чу!.. Ох, страшно... Господь идет. Пропала матушка-Русь... Плачь, земля Русская!

XV. ПРИСЯГА ЦАРСКИХ ВОЙСК ДИМИТРИЮ

Офеня в палатке воеводы большого полка... Палатка напоминает собой обширную киргизскую кибитку или вежу и убрана очень богато — увешана коврами, шитыми убрусами, блестящим оружием и другими походными принадлежностями. Посредине палатки — раздвижной стол на складных ножках, с разбросанными на нем свитками, столбцами и отдельными листами бумаги. В серебряной высокой вазе, в форме удлиненной дароносицы, мокнут десятки гусиных, лебединых и орлиных перьев. Бронзовая, итальянской работы чернильница изображает свернувшуюся на камне змею с открытою па-

стью. В пасти этой находятся чернила для подписания памятей, отписок, приказов, наказов, наград и смертных приговоров.

За столом, на складных сиденьях, сидят главные военачальники царских ратей: молодой Басманов, прославившийся защитою Новгород-Северска от Димитрия-неведомого, князь Михайло Катырев-Ростовский, воевода в большом полку; князь Голицын Василий Васильевич и князь Михайло Федорович Кашин — в правой руке; боярин князь Андрей Андреевич Телятевский да князь Михайло Самсоньевич Туренин — в передовом полку; Замятня Иванович Сабуров да князь Лука Осипович Щербатов — в левой руке; тут же и князь Федор Иванович Мстиславский и окольничий Иван Иванович Годунов да начальные воеводы рязанского ополчения братья Ляпуновы — Прокопий да Захарий.

Татарский облик Басманова с круглою головой и узкими хитрыми глазами под бархатными бровями и открытые лица сидящих рядом с ним Ляпуновых особенно выделяются из сонма воевод. Лицо князя Телятевского, толстое, красное, несмотря на свою некрасивость, заставляет вспомнить хорошенькое личико его дочки Оринушки, любимой подружки царевны Ксении, а глаза князя Катырева-Ростовского, заплывшие и потускневшие, никак не могут напомнить его бойкенькой, большеглазой «дурашки-дочушки», княжны Наташеньки, тоже любимицы царевны Ксении.

Офеня стоит перед столом и спокойно встряхивает своими русыми с проседью волосами, поминутно падающими на лоб. Всех этих князей-боярушек, окольничих-воеводушек он знавал и видывал, у всех у них во палатушках бывал, иконушки княгинюшкам их да боярыням на золоту казну менивал. Неробкого десятку Ипатушка-иконник.

— Так ты стоишь на том, что *он* — не Гришка Отрепьев? — говорит Басманов.

— Отчего не стоять? Стою и стоять буду, как на вот этой на матушке, на сырой земле, покуль в нее, матушку, не зароют, желтым песком глазыньки не прикроют.

— Он же и благоверного князя Александра Невского «дедушкой» назвал?

— Он же, батюшка боярин.

— Да, промахнулись, промахнулись святой патриарх Иев с покойничком царем — не на ту птицу кречета выпустили: не поймать теперево этого кречета-грамо-

ту — по всей матушке-Руси летает,— сказал кто-то из бояр.

— А что ж он в Путивле делает? — вновь спросил Басманов.

— Царское дело делает: ратных людей обряжает, суды судит, с боярами да панами обедает, с попами разговоры говорит да изменников казнит — все царское дело делает.

— Почто ж ты в Кромы попал?

— А к атаману Кореле, бояринушка.

— Чего ради?

— По знаемости по прежней: я у него на Дону гащивал, иконы тож ему менивал... И в Кромах менял, да на стяг большой, по плате, Ягорья Победоносца им написал: с этим стягом, сказывает Корела, и в Москву войду.

Воеводы переглянулись.

— А сказывай, что ты видел в Кромах, да говори без утайки, как на духу,— снова обращает к нему татарский свой облик Басманов.

— Что мне таить-то, князи-бояра? Мне и Корела-атаман, как отпущал из Кром, сказал: «Болтай, гыть, Ипатушка, сколько хошь, все из-под ногтя да со-под оплеки выкладывай, коли пытать с расспросу в московском войске станут: я-де не боюсь Москвы. Достань-ко, гыть, суслика али тарантула в его норе — так и меня-де с моими казаками не достать в норе толстобрюхим москалям.

Басманов лукаво улыбнулся и переглянулся с Ляпуновым.

— Прав, вор-разбойник,— пояснил он.— Всю зиму возжалось с ним войско царское, а и рать наша не махонькая, два-сорока-тысяч, поди, будет, а вот не достали ево, аспида, в норе тарантуловой.

Князь Катырев-Ростовский поморщился.

— А поди сам попробуй, возьми его,— отрывисто сказал он.

— В чем же его сила, этого Корелы? — продолжал расспрашивать Басманов офеню.

— А и бес его знает — простите, князи-бояра. Вся сила у него, дьявола, в башке. Уж и шельма же всесветная, я вам доложу. Нарыл это он нор сусликовых подо всем валом и подо всем, почитай, полем — город у него, у Ирода, там целый... Как крот под землей ходит. Вы думаете, князи-бояра, трудно ему из-под земли выюрк-

нуть вот в эту самую палатку? Да он, шельмин сын, может, слушает теперь, что я вам докладываю — вот тут под землей сидит! — И офеня стукнул ногой в землю.— Водили они однова меня в свои норы-то, со свечой ходили. И тепло-то там у них, разбойников,— мороз, значит, не доходит. И варят там, и жарят: у нас же, князи-бояра, скотину воруют по ночам. И зелено вино у них там, и в зернь-то они, песьи сыны, играют, и с бабами по норам, как суслики, короводятся.

— Чево уж! — заметил окольничий Иван Годунов.— Сами мы не однова отсель видывали, как они, поганцы, блудниц-то этих да плясавиц на поругание нам выпускали на вал, в чем мать родила, а те срамницы неподобное и неудобьсказуемое царскому воинству показывали.

Басманов только покачал головой. Ляпунов вспыхнул...

— Да, сказывают, и шатость в войске царевом не однова замечена,— заметил он горячо,— многие из воинских людей норовят *ему* и здесь. Письма воровские из стана в город на стрелах пущают.

— Пущали, это верно,— отвечал офеня.

— И зелье пищальное передавали казакам же,— добавил Ляпунов.

— И зелье передавали, бояринушка.

В это мгновенье в палатке появилось новое лицо. За ним еще и еще — все духовные лица... Это был новгородский митрополит Исидор, присланный для приведения войска к присяге новому царю — Федору Борисовичу Годунову. И на Исидоре, и на его синклите лица не было: волнение, страх, неизвестность — все это сказывалось в испуганных лицах, в беспокойных движениях.

Воеводы встали со своих мест и поклонились святителю.

— Что случилось, святой отец? — тревожно спросил Басманов.

— Шатаются рати... шатость велия в войске, креста не целуют,— дрожащим голосом говорил митрополит.

— Где же? Чьи полки, отче?

— Все кричат, все мятутся.

— Что ж говорят они?

— Не хотим-де служить Борисову роду, не целуем-де креста Годуновым. Токмо немцы одни не пошатнулись — «хотим-де служить и прямить законному наследнику». И как только капитан их, Розен, поцеловал крест, так и все немцы тако ж поцеловали.

Басманов и прочие воеводы торопливо вышли из палатки. Ляпуновы бросились к своим ополчениям — к рязанцам. Они застали их в волнении. Гул в рядах стоял невообразимый.

— Братцы! Православные! — громко, высокими грудными нотами начал Прокопий, и ряды смолкли, надвинувшись ближе к своему любимому дружиннику.— Братцы! Вспомните своих жен и детей! Не забывайте, православные, и обо всей Русской земле. Беда висит над нею вот уже десять лет. И над вами эта беда, братцы, и над вашими семьями. Что вы ни посеете — это не ваше; что ни сожнете — в подушное идет, а вы голодаете. Некому было пожалеть вас — никому не жаль было Русской земли. А все оттого, что на Руси правда пропала — нашу правду украли. На Москве царь Борис сел неправдою — и с того вся беда пошла, и с той поры Русская земля осиротела. Но Бог не хотел нашей гибели: когда Борис хотел сесть на Москве, он велел извести законного царя — царевича Димитрия. Бог спас царевича. Он идет добывать Москву — свою отчину и дедиву, и нас вместе с нею. Станем же, братцы, за правду, за святую Русь да за истинного царя-батюшку. Хотите ли, братцы, служить и прямить царевичу Димитрию?

— Хотим! Димитрия-царевича хотим! — заколыхались ряды.

Голоса рязанцев увлекли и других. Послышались согласные крики и в других ополчениях, стоявших под Кромами.

— Царевича Димитрия! Ему прямить хотим! — волновались тульские ратники.

— Ломайте крест годуновский, братцы! — гудут каширинцы.— Целуем крест тому, кому Ляпунов да рязанцы целуют.

Гул перешел к алексинцам. Попятились и все остальные.

Вдруг увидели, что стрельцы ведут какого-то парня, который, по-видимому, был перехвачен недалеко от стана. «Языка» ведут! «Языка» ведут!» — послышались голоса. Пленного повели прямо к Басманову, потому что стрельцы, обыскивая его, нашли за онучами письмо, адресованное в Кромы. Сначала парень показывал, что идет из соседнего села в Кромы к своим родичам; но потом стал путаться... Басманов видел, что тут что-то кроется, и велел созвать немедленно думу воеводскую

в своей палатке. Пришли воеводы, и Басманов только при них вскрыл письмо.

— «Мы,— громко читал Басманов,— Димитрий Иванович, царь и великий князь всея Русии, посылаем вам, нашим верным кромчанам, по вашему челобитью, две тысячи польских ратных людей и восемь тысяч российского воинства в подмогу, дабы вам, верным кромчанам, за нас, государя вашего, крепко стояти и нашу царскую честь оберегати; сам ж мы, Димитрий Иванович, царь и великий князь всея Русии, не идем к вам того для, что поджидаем сорок тысяч польских жолнеров с воеводою Жолковским, и как они к нам прибудут, то и мы к вам будем непомедля. Вы же, призвав Бога на помощь, не токмо отгромите воров и изменников нашего царского величества от своего богоспасаемаго града Кром, но и вконец их посрамите и в полон поимите. И за то мы, Димитрий Иванович, царь и великий князь всея Русии, будем вас, верных кромчан, жаловати нашим великим царским жалованьем, какового у вас и в мысли не бывало».

Глубокое молчание. Воеводы глядят то друг на друга, то на парня... Парень стоит-переминается, теребя в руках своих полстяной шлык. Одна нога, за онучею которой найдено было предательское письмо, разута; онуча и лапоть заткнуты за пояс.

— Как тебя зовут? — спросил наконец, опомнившись, Басманов.

— Меня-то? Кузьмой.

— А чьих ты?

— Чьих? Гостиной сотни купца Орефина кабальной холоп.

— А кто дал тебе это письмо?

— На Путивле осударевы бояра: «Отнеси-де в Кромы по крестному целованью тайно». А привезли меня осударевы ратные люди, что идут в Кромы.

— А далеко они?

— В одном перегоне, ваша милость, коней попасают.

Услыхав это, Басманов тотчас приказал окольничему Ивану Годунову гнать с передовым татарским полком в разъезд, на переем, чтобы «языков» изловили.

Первым заговорил Ляпунов, Прокопий.

— Чего же нам еще ждать, бояре? — сказал он.— Видимо, Божья помощь не с нами, а с ним: не мы растем в силе, а они... Чего ж еще мешкать-то? Али мало крови русской пролито? Али хотим мы, чтоб это нам поляки да латинцы дали царя? А к тому идет

Бояре молчали. Только из стана доносились бурные крики: «Долой татарское отродье! К бесу свиное ухо!», «Димитрия Ивановича! Царевича Димитрия!..», «Долой воевод! Сами пойдем...».

— Слышите? — пояснил Ляпунов.— Это Божья воля.

— Божья, Божья,— невольно согласился и Басманов.— Видимое дело — сам Бог ему пособляет. Вот сколько мы ни боремся с ним, как ни бьемся изо всех сил, а все ничего не поделаем: он сокрушает нашу силу, и все наши начинания разрушает и ни во что ставит... Видимое дело — он истинный Димитрий, наш законный государь. Коли б он был простой человек, вор Гришка Отрепьев, как мы до сямест думали, так Бог бы ему не помогал.

А извне снова доносились крики: «На осину борисовцев! На осину воевод!..», «Тула ему отдалась!.. Орел крест целовал Димитрию!..».

— Слышите, бояре? — снова заговорил Басманов.— Медведь выходит из берлоги. Русская земля встает, город за городом, земля за землею передаются ему. А тут литовский король помочь ему посылает. Не безумен же король — видит, что истинному царю помогает. И что ж мы поделаем? Придут польские рати, учнут биться с нами, а наши не захотят... Все Российское царство приложится к Димитрию, и как мы не бейся — покоримся ему. И тогда мы будем у него последними и останемся в бесчестии, а то и в жестокой опале и казни. Так уж, по-моему, бояре, чем нам неволею и силком идти к нему, лучше теперь, пока время, покоримся ему по доброй воле и будем у него в чести.

Карьерист и практик Басманов, воспитавшийся в гнусной школе батюшки опричника, понимал «честь» по-боярски. Боярам это понравилось — и они стали колебаться. Один Ляпунов резко заметил:

— Не в том, бояре, честь, чтобы поближе к царю сесть, а в том, чтобы землю Российскую соблюсти и крови напрасно не проливать.

— Идут! Идут! — послышались голоса в стане.

Это воротился Годунов.

— Как? Что?

— Идут польские рати! Мои татары видели! Видимо-невидимо! — запыхавшись и дрожа, бормотал Годунов Иван, вбегая в палатку. Он был не из храбрых...

Прошло несколько дней. Московские рати все еще стоят под Кромами. Но что это за необыкновенное дви-

жение и в московском стане, и в Кромах, хотя еще очень рано — около четырех часов утра? Или назначен приступ, последний штурм, чтобы задушить Корелу и его атаманов-молодцов в тарантуловых норах? Майское солнце, только что выглянув из-за горизонта, золотом брызжет и на московские стяги с иконами и хоругвиями, и на белые, почерневшие от времени шатры, и на заржавленные бердыши стрельцов, и на казацкие пики, торчащие на кромском валу. Там и Корела в кивере набекрень, и Треня, у которого и ус один, и красный верх шапки обожжены порохом.

В московском стане все воеводы кучатся у разрядного шатра. Басманов, Годунов и князь Телятевский на конях. Телятевский машет пушкарям, которые и двигают с грохотом свои горластые пушки — иная в два обхвата объемом. Пушки двигаются к мосту, который перекинули из стана на ту сторону речки, отделяющей Кромы от московских ратей.

Не видать только Прокопа Ляпунова.

Вдруг, словно черти, посыпались с валу казаки и с гиком бегут на мост к московскому обозу. Впереди Корела с шестопером в одной руке и с пистолетом в другой. У Трени на длинном древке пики развевается лента алая — «лента алая, ярославская», из косы красной девицы.

Застонали Кромы, застонал и обоз московский...

— Алла! Алла! — закричали годуновские татары, предчувствуя что-то недоброе.

— За реку! За реку! — стоном стонут московские рати.

— Боже, сохрани! Боже, пособи Димитрию Иванычу! — вырезываются из стона отдельные возгласы.

— Вяжи их! Вяжи бояр и воевод! — трубит голос Ляпунова, который точно с неба свалился с своими рязанцами.

Рязанцы бросаются на воевод. Басманова тащат с коня и вяжут. Вяжут и Годунова, и Голицына, и Салтыкова.

— Присягай Димитрию! — кричат рязанцы.

Толпы валят к мосту. Тащат к мосту и связанных воевод... На мосту уже стоят несколько священников с крестами в руках и принимают от бегущих крестное целованье на имя Димитрия. Мост трещит от давки. А Ляпунов неумолкаемо звонит своим здоровым горлом: «За реку, братцы, за реку! За святую Русь умрем!»

— Пустите меня, братцы! — молится Басманов, об-

ливаясь потом.— Я присягаю царевичу Димитрию! У меня его грамота!

Басманова развязывают.

— Вот грамота царя и великого князя Димитрия Ивановича всея Русии! — кричит он, подняв грамоту высоко над головою.— Изменник Борис хотел погубить его в детстве, но Божий промысл спасе его чудом своим. Он идет теперь добывать свою отчину и дедину. Сам Бог ему помогает, и мы стоим за него до последней капли крови.

— Многая, многая лета! — гудут толпы.— Многая лета нашему Димитрию Ивановичу!

— Любо! Любо! Ради служить и прямить ему,— стонет весь стан.

Все бросились на мост. Мост не выдержал московских ратей, затрещал и рухнул в воду. Смятение неизобразимое. Река запружена народом, лошадьми. Но крики не умолкают: «Многая лета! Многая! Прямить ему, прямить!..»

Небольшая кучка осталась в обозе московском — осколки жалкого величия Годуновых. Тут были и немцы с капитаном Розеном во главе отряда.

— Гох! — кричали немцы.— Гох Борисен-киндер! Гох!

— Бейте немецких тараканов! — кричит Корела.— Да не саблями бейте, не пулями, а батогами! Бейте, братцы, да приговаривайте: «Вот так вам! Вот так вам, немецкие тараканы! Не ходите биться против русских людей!»

И рязанцы, москвичи да казаки с хохотом кидаются на годуновцев, гоняются за ними, как за телятами, и бьют кого палкой, кого плетью, кого просто кулаком.

— Стойте, братцы, до последнего! — вопят князь Телятевский и князь Катырев-Ростовский, силясь прикрыть пушки.

И как им не защищать Годуновых и их пушки? В пылу схватки и перед тем и перед другим носятся милые облики их дочушек любимых — Оринушки и Наташеньки, которые там, на Москве, в царском тереме, золотом и жемчугом вышивают большую пелену церковную... Эх, бедные дочушки!

— Ох, Оринушка, светик мой! — стонет Телятевский — и с тоской бросает свою артиллерию.

— Ох, Наташенька, перепелочка! — вздыхает Катырев-Ростовский — и скачет в Москву вслед за Телятевским.

Остается у Годуновых один верный человек — «дядюшка Иванушка», окольничий Иван Годунов, которого так занимал когда-то чертеж Российского государства, нарисованный его племянничком Федюшею, теперь злополучным «царем московским»,— чертеж, над которым нечаянно слились и щека и губа Федюши-царевича со щечкою и губками аленькими Оринушки Телятевской. Годунов, связанный, лежит в своем шатре, а офеня Ипатушка сидит над ним и сгоняет с несчастного мух. Бедные Годуновы! Бедная Ксения трубокосая!

XVI. ГРАМОТА ДИМИТРИЯ

Бедные Годуновы! Бедные дети, на которых за преступление родителей народное сердце сорвало историческую обиду!

Нерадостно во дворце молодого Годунова-царя. Еще так недавно похоронил он отца, которого так беззаветно любило его детское, детски невинное сердце, и стал сам царем... Царь по шестнадцатому году! Какая горькая необходимость! Самая пора бы играть, веселиться юношеским сердцем и учиться, рисовать чертеж Российского государства да рассматривать его вместе с Оринушкой Телятевской,— ох, Оринушка! — а между тем надо управлять этим Российским государством, этою страшною махиною, которую расшатал батюшка. Ох, да и как управлять этою махиною, когда, глядя на ее чертеж, лежащий на столе, и вспоминая Оринушку Телятевскую, он видел, что большая половина этого чертежа... истлела, рассыпалась, выцвела?.. За что? За чьи грехи? «За батюшково ли согрешенье, за матушкино ли немоленье?» Чернигов, Севск, Рыльск, Путивль, Кромы, Орел, Тула — все эти черные точки на чертеже, изумлявшие «дядюшку Иванушку», теперь уже не *его* — сошли с чертежа, укатились куда-то, укатились к *нему,* к этому неведомому, к этому страшному, вставшему из гроба. И *он* сам идет — все ближе и ближе к Москве движется этот страшный мертвец, это «навье» загробное.

А Оринушка плачет,— ох, как горько плачет она, сидючи в тереме Оксиньюшки-царевны. И Наташенька, княжна Катырева-Ростовская, плачет; только полные плечики да груди белые девические под шитою сорочечкою вздрагивают. Да как не плакать им, когда царевна,

подперев свою, аки млеко белую, щечку точеной рученькой, поет таково жалобно:

А сплачетца на Москве царевна,
Борисова дочь Годунова!
Ино, Боже, Спас милосердой,
За что наше царство загибло —
За батюшково ли согрешенье,
За матушкино ли немоленье?
А светы вы наши высокие хоромы,
Кому вами будет да владети
После нашего царского житья?
А и светы браныи убрусы,
Береза ли вами крутити?
А и светы золоты ширинки,
Лесы ли вами дарити?
А и светы яхонты сережки,
На сучье ли вас задевати
После царского нашего житья,
После батюшкова преставленья,
А и света Бориса Годунова?

Плачут, надрываются царевнины подруженьки, все ниже и ниже склоняя свои головушки над работою — пеленою церковною золотною,— а жемчужные слезы на эту пелену золотую только кап-кап-кап... О! Сколько жемчугу бурмицкого насыпалось из девичьих глаз!..

А царевна все поет, грустно глядя в оконце:

А что едет к Москве расстрига
Да хочет теремы ломати,
Меня хочет, царевну, поимати,
А на Устюжну на железную отослати,
Меня хочет, царевну, постритчи,
А в решетчатый сад засадити,
Ино охте мне горевати,
Как мне в темну келью ступати,
У игуменьи благословитца...

Ксения остановилась... Все девушки, все ее подруженьки, рыдали навзрыд, громко, неудержимо. Ксения бросилась к ним и сама разрыдалась.

В это время в терем вошла мамушка да так и всплеснула руками... И там-то, в Кремле, и на Красной площади что-то смутное творится, и тут-то,— Господи! — так ноги и подкосились у старушки...

А в Кремле, и на Красной площади, действительно творится что-то смутное, пугающее. Вчера, с самого раннего утра, и стрельцы, и другие ратные люди начали устанавливать пушки по кремлевским стенам. Работа идет как-то тихо, вяло, неохотно — все из рук валится.

И народ со стороны города подойдет к стенам, посмотрит-посмотрит, покачает кто головой или улыбнется как-то нехорошо — и отойдет.

— На кого, братцы, наряд-то ставите — пушечки эти? — спросит кто-либо у стрельцов.

— На воровских казаков,— неохотно отвечают стрельцы.

— Аль они в Кремле-то завелись?

— А тебе какое дело? Корела, слышь, атаман идет на Москву.

— Ну и ладно — добро пожаловать.

Чуют в Кремле и в городе князи, бояре и житые люди, что у черни что-то недоброе на уме.

И сегодня идет та же вялая работа. Рано, а уж жарко. Да и как не быть теплу? Июнь начинается — первое число. А давно ли хоронили царя Бориса Федоровича? Не смолк еще, кажется, и печальный звон колоколов, а уж... Чу! Что это такое? Где это опять звон, да не такой, не погребальный, а страшный, набатный? Это в Красном селе звонит колокол... Что он звонит, что вызванивает-выговаривает? Нет, не пожар, пожару нет, дыму не видать... Народ начинает валить на улицы, на площади. А все молчат — понурые какие-то, ни слова не слышно. Да и как тут говорить? Боязно, страховато... Третьего дни только казнили двух молодцов за то, что увидали за Серпуховскими воротами пыль большую и закричали, что кто-то идет. И теперь, должно быть, идет кто-то?..

Да, точно — идет. Из Красного села толпы валят, провожаемые колокольным звоном. Везут кого-то. Толпы все растут и растут. Народная лавина двигается живою стеною к Кремлю, запружает Красную площадь. Прорывается народ, раскрывается народная глотка, долго молчавшая...

— Буди здрав, царь Димитрий Иванович!

Вот что рявкнула народная глотка!

И все валят и валят толпы на Красную площадь. Все запружено лаптями, сапогами, зипунами, армяками, синими и красными рубахами — от Троицы на рву, вдоль Кремля от Фроловских до Никольских ворот и вплоть до выходов,—«Буди здрав, царь Димитрий Иванович!»— гудит почти неумолкаемо.

Кого-то взводят на Лобное место. Их двое. Народ машет шапками.

— Кто это, робя, на Лобном-от? — кряхтит при-

щемленный в толпе плотник Теренька.— Али ён?

— Гонцы от его,— догадывается стоящий рядом с ним и тоже знакомый уже нам по их недавней работе на этой площади рыжий мужичонко.

Из Кремля протискиваются, не щадя своего дорогого платья, большие бояре, думные дьяки, стрельцы. Они тоже норовят пробраться к Лобному месту.

— Православные! — взывает в голос один из них, высокий, краснощекий боярин.— Это же воровские посланцы — Гаврилко Пушкин да Наумко Плещеев. Они воры.

— Молчи, боярин! К бесу! В шею его! — заорала толпа.

Боярин спустил ноту:

— Братцы! Коли они с челобитной, так ведите их в Кремль, к царю. Милосердый государь все разберет. А вам, братцы, не след скопом собираться.

— Молчи! Растак и переэтак! — застонало скопище.— Читай грамоту! Громче вычитывай! Громче, чтоб до Бога слышно было... Бог разберет. Читай!

Гаврило Пушкин, перекрестясь большим крестом и поклонясь московским церквам и народу на все четыре стороны, стал читать. Рыкающая тысячами глоток толпа словно онемела и не дышала.

— «Мы, Божиею милостию царь и великий князь Димитрий Иванович всея Русии,— разносилось в воздухе.— Ко всем нашим боярам, окольничим, стольникам, стряпчим, жильцам, приказным, дьякам, дворянам, детям боярским, гостям торговым людям, к лутчим и середним и ко всяким черным людям нашим...»

— Слышь, паря,— черным людям... *нашим-ста,*— шепчет радостно Теренька.

— Да ты, чертова перешница, слухай!

— «Целовали есте крест блаженныя памяти родителю нашему царю и великому князю Ивану Васильевичу всея Русии и нам, детям его, на том, чтобы не хотеть нам иного государя на Московское государство, кроме нашего царского роду. И когда судом Божиим не стало родителя нашего и стал царем брат наш Федор Иванович, и тогда изменники послали нас в Углич и делали нам такие тесноты, каковых и подданным делать негоже, и присылывали многажды воров, дабы нас испортить и живота лишить; токмо милосердый Бог укрыл нас от злодейских умыслов и сохранил в судьбах своих до возрастных лет. А вам всем изменники говорили, якобы нас на государст-

ве не стало и якобы похоронили нас в граде Углич, в соборней церкви Спаса Всемилостиваго...»

— Вона куда хватили! — снова шепчет нетерпеливый Теренька.— А ты баишь, у тебя тады гашник порвался, как его зарезали... Ан ево не зарезали.

— Молчи, дурова голова! Гашник... Что гашник? Тут во какое дело — царское, а он — гашник...

А Пушкин все читает. Громче и громче становится его голос, более и более грозные слова несутся с Лобного места... Слова об изменнике Борисе, о Марье, Борисовой жене Годуновой, о том, как они Русскую землю не жалели, как царское и народное достояние разоряли и православных христиан без вины побивали, бояр, воевод и всех родовитых людей поносили и бесчестили, дворян и боярских детей разоряли, ссылками и нестерпимыми муками мучили, гостей и торговых людей на пошлинах тяжко теснили...

— «А мы, христианский государь, жалеючи вас, пишем вам, дабы вы, помятуя крестное целованье царю и великому князю Ивану Васильевичу всея Русии и детям его, добили нам челом и прислали бы к нам, нашему царскому величеству, митрополита и архиепископов, и бояр и окольничих, и дворян больших, и дьяков думных, и детей боярских, и гостей, и лучших людей. И мы вас пожалуем, боярам учиним честь и повышение и пожалуем прежними их вотчинами, да и еще сделаем прибавку и будем держать в чести. А дворян и приказных людей станем держать в нашей царской милости. А гостям и торговым людям дадим льготы и облегчение в пошлинах и податях, и все православное христианство учиним в покое, тишине и благоденственном житии. А будет не добьете ныне челом нам, нашему царскому величеству, и не пошлете милости просить ино дадите ответ в день суда праведнаго, и не избыти вам грозной десницы Господа и нашей царской руки».

Внушительно и страшно выкрикнулись последние слова — «не избыти грозной десницы Господа и нашей царской руки». Страшное зрелище представляла и народная масса, которой предстояло решить государственный вопрос роковой важности. Тысячи глоток страстно, звонко и хрипло вопили: «Буди здрав, царь Димитрий Иванович!» — и кидали вверх шапки, ширинки. Но и в других тысячах — во взорах выражалось тревожное острое опасе-

ние, а если и это обман? Куда ж уйдешь от него?

«Буди здрав! Буди здрав!», «Многая лета!», «Буди здрав!».

— Шуйского! Шуйского давай! — раздался чей-то здоровый бас.

— Ладно! Шуйского! Шуйского! — подхватила громада.— Он розыск чинил в Угличе. Он знает, кого в Угличе похоронили. Шуйского, братцы, тащите!

Этого голоса нельзя не послушаться. Привели Шуйского. Поставили на Лобное место. Как ни хитры были лисьи глаза у Шуйского, но и в них играло что-то особенное, невиданное прежде на лице осторожного, вечно ощупывавшего глазами почву боярина,— что-то такое неуловимое, как сокращение мускулов змеи при движении. И борода, и волосы его, русые, но сильно убеленные временем и думами, гладко причесанные для того, чтобы по волосам, по их свободному расположению на голове никто не мог догадаться, что думает и замышляет эта змеиная головка; и тщательно подобранные углы губ, всегда оставлявших за зубами что-то недосказанное, умышленно припрятанное в запас; и лобные навесы над вечно неоткровенными глазами, свесившиеся, кажется, еще ниже, чтобы поболее оттенить эти, даже на молитве перед одинокою иконою лукавящие глаза,— все говорило, что он вновь готовится слукавить так ядовито, чтоб и убить своих врагов, и столкнуть их трупы с своей дороги, и убить потом того, в чью пользу он теперь слукавит, и затем увернуться от всего так ловко, чтобы впоследствии, в течение целых столетий, история становилась в тупик над вопросом: когда же он не лукавил — тогда ли, когда говорил правду, или тогда, когда лгал, и не была ли его ложь правдой и правда ложью?

Несколько минут он стоял молча, как бы силясь преодолеть волнение.

— Говори! — закричало несколько нетерпеливых голосов.

— Говори!

— Борис велел убить Димитрия-царевича; токмо царевича спасли, а вместо его погребен попов сын,— отвечал он после вторичного возгласа.

Следовательно, теперь он говорил совершенно противоположное тому, что сказал этому самому Борису, возвратившись из Углича, куда Борис посылал его производить розыск, когда получена была весть, что царевича Димитрия не стало. Тогда он сказал: «Царевич со

сверстниками-жильцами тешился — играл ножом в тычку и зарезался в припадке черного недуга».

— Похоронили попова сына — слышь ты, дядя,— ехидно обратился Теренька к своему товарищу.

Тот молчал, видимо, сконфуженный.

— А ты еще сказывал — гашник у тебя тады с испугу порвался. Эх ты, гашник.

«Гашник» лишь головой своей рыжей помотал...

Толпа заревела зверем — плотина прорвалась...

— Долой Годуновых! Всех их друзей и сторонников искоренить! Бейте, рубите их! Не станем жалеть их, коли Борис не жалел законного наследника и хотел его извести в детских летах. Господь нам теперь свет показал — мы доселева во тьме сидели. Засветила нам теперь звезда ясная, утренняя — наш Димитрий Иванович! Буди здрав, Димитрий Иванович!

— Братцы! Православный народ! Милосердные христиане! Послушайте! — неожиданно раздался чей-то голос с Лобного места.

Все невольно оглянулись, как бы смутились. На Лобном месте стоял офеня, суздалец Ипатушка-иконник, которого знала вся Москва и на иконы которого молилась более четверти века.

— Братцы! — говорил иконник трогательно.— Послушайте вы меня, православные христиане,— он низко кланялся на все четыре стороны.— Не убивайте вы их, не проливайте кровушки христианской. Они — робятки еще: они вам зла не делали. Не трожьте младу Оксиньюшку — богоискательная она, иконушки у меня брала да сама ж, матушка, иконами да милостынею нищую братью наделяла. Не трожьте и Федюшку: он дите доброе. Возьмите у него скифетро царское, а ево не изводите — не берите грех на душу. Я от царевича пришел — он не ищет их смертушки: он только скифетро батюшкино ищет. Помилуйте их, православные!

— Ладно! — заревела толпа.— Иконник прав! Рук, робята, кровью не марай, а скифетро возьмем!

И толпа хлынула в Кремль. Виднелись только всклокоченные головы да бороды, да там и сям подымались к небу кулаки с возгласами: «Скифетро, скифетро!», «Скифетро, робята, не трожь... не ломай».

— Что это за скифетро, дядя? — спрашивает Теренька.

— То-то «дядя»!.. А лаяться — лаешься, собачий сын. Гашником назвал.

— Что гашник! Вот скифетро-то... я не знаю.

— А перо такое царское.

Красная площадь и в особенности пространство между Лобным местом, Троицею на рву и Спасскими воротами представляли неописанное зрелище: передние толпы, теснимые задними, не выдерживая напора, падают, ругаются, на них спотыкаются и падают другие; все, что в боярском платье, старается улизнуть, а улизнуть некуда — кругом живые стены колышутся; ущемленные бабы вопят в истошный голос. Испуганная птица — вороны, галки, голуби, воробьи, стрижи,— все это взвилось над бешеной толпой и мечется из стороны в сторону...

— Валяй, робята, разнесем!

— Рук не марай!

— Скифетро не трожь!

Эти голоса уже слышались в Кремле. Гигантский хвост толпы еще колыхался у Спасских ворот. У Спасских же ворот, неизвестно каким чудом уцелевший слепой нищий с чашечкой сидит и слезно причитает:

— Ох, кровушка, кровушка! Ой и течи-течи кровушке во мать сыру-землюшку, течи-течи кровушке семь лет и семь месяцев. Ох и солнышко красное! Сушить тебе, солнышко, сушить землю кровную, на семь пядей смочену кровью христианскою, сушить ровно семь годов да семь месяцев... Ох и Русь ты матушка, ты земля несчастная, земля горемычная, лихом изнасеянная, политая кровушкой — что на тебе вырастет?.. Ох, кровушка-кровушка! Ох, горюшко-горюшко! Ох, слезыньки-слезыньки! Течи вам на сыру землю семь лет и семь месяцев.

XVII. ГИБЕЛЬ ГОДУНОВЫХ

В то время, когда посланец Димитрия, Гаврило Пушкин, читал народу привезенную им грамоту, юный царь, Федя Годунов, еще не развенчанный, был один в своих покоях и, несмотря на горе последних дней, на грозивший ему страшный призрак, под веянье золотых грез своей молодости вспоминал, как недавно, на Духов день, во время его царского выхода, Ирина Телятевская вместе с прочими целовала его царскую руку, целовала жарче, чем все думные бояре, окольничие, стольники, дьяки и весь царский чин, и как ему тогда стыдно стало, и как

ему самому хотелось расцеловать ее, да нельзя — он царь и великий князь Русии. Зловещий говор толпы не достигал его покоев.

Вдруг кто-то входит. Господи! Сама Ириша! Молодая кровь так и прилила вся к сердцу — дух захватило. Девушка бросается на колени и хватает руки Федора, хватает судорожно, безмолвно.

— Оринушка! Светик мой! — обхватывая белокурую головку, нагибается к ней юноша-царь.— Что с тобой?

— Царь-государь! Солнышко незакатное! — безумно лепечет девушка.

Он приподнимает ее к себе, снова обхватывает ее голову, и губы их сливаются...

— Федя!.. Царь... соколик... ох! Солнышко мое... Уйди... схоронись... Бог ты мой...

— Свет очей моих! Ориша!

— Ох, беги... беги! Убьют тебя!.. Там, на Красной площади... мне сенная девушка сказывала... На тебя, царя моего, идут... Ох, смерть моя, хоронись... царь... Федя мой...

Федор сам начал различать словно далекие раскаты грома. Он опомнился. Крепко обняв девушку, которая его крестила и целовала в глаза, он вышел. Он направился в Грановитую палату: он все еще не думал, что дело так далеко зашло.

Вскоре он увидал, что народная волна направляется прямо ко дворцу. Надо принять меры, а никого нет — все бояре исчезли. Приходится самому разделываться — ведаться с народом. Он помнит, что он — царь, надо царем, в царском величии предстать пред народом. Он облачается в царственное одеяние... венец... порфира... скифетро... А народ уже теснится к воротам, стрелецкая стража не выдерживает натиска и отступает. Волна вливается во двор, подступает к Красному крыльцу, заливает ступени, клокочет уже близко, в переходах — и наконец врывается в Грановитую палату.

Молодой царь, бледный как полотно, в полном облачении, словно златокованая икона, сидит на престоле. Молодое личико в массивном, блистающем камнями венце кажется совсем детским.

По обеим сторонам престола, с иконами в руках, стоят мать царя и сестра Ксения: об эту святыню должна разбиться народная ярость.

Нет, не разбилась! Бедные дети!

— А, Федька, воровской сын, отдай царское скифетро! — раздались голоса.

— Долой с чужого места!

И толпа с угрожающими жестами подступила к престолу. С визгом, как укушенная собака, мать-царица, с иконою впереди себя, ринулась на толпу, силясь заслонить собою сына. Несколько здоровых рук словно клещами сжали ее слабые женские руки, и икона с грохотом упала на пол.

— Ой, братцы, образ!..

— Подыми бережно.

— Долой с чужого места!

— Скифетро отдай!

Бедного юношу-царя сволокли с престола; Ксения, стоя в стороне с образом, плакала, дрожа всем телом. Ее никто не тронул.

Мать-царица, освободившись от живых клещей и видя, что сына ее ведут, снова бросилась на толпу и снова была оттолкнута. В ослеплении ужаса она срывает с шеи жемчужное ожерелье и отчаянно вопит:

— Возьмите это! Ох, берите все, только не убивайте его! Батюшки! Светы мои!

— Не бойся, не убьем — рук не станем марать,— огрызнулся кто-то в толпе.

— Не душегубь, робята! — раздается еще чей-то голос.

— Сказано — не будем.

И царя, царицу-мать, и Ксению вывели из Грановитой палаты. Офеня с трудом протискался до Ксении и все шептал тем, которые вели ее:

— Полегше, робятушки, Бога для! Не трожьте ее, не зашибите дитю неповинную... Полегше, голубчики, помягче. Христа ради!

Толпа рассеялась по дворцу. В одной комнате наткнулись на двух прежних посланцев Димитрия: на них были следы пыток и истязаний; тела их были иссечены, изожжены. От этого зрелища народ окончательно озверел, но все-таки не пролил ни одной капли крови.

— А, вот они что делают, Годуновы-то! Людей пекут! Вот какое их царство! И нам бы то же досталось.

— Разноси, робятушки, все по рукам, ломай дочиста. Все это нечистое — Годуновы осквернили.

— Валяй, братцы, не жалей! Новому царю все новое сделаем.

И началось разрушение... Дворец опустошили. Все,

что можно было изломать, уничтожить, разбить, разнести, взломали, уничтожили, разбили, разнесли...

XVIII. ВЪЕЗД ДИМИТРИЯ В МОСКВУ

Двадцатого июня 1605 года вся Москва собралась встречать своего чудом спасенного и словно бы из могилы вышедшего царя. Какой яркий день, какое жаркое солнце, как жарко горят золотые маковки московских церквей, как весело смотрят всегда хмурые кремлевские стены, унизанные народом, словно пестрыми гирляндами цветов! Всюду, куда ни обращается взор, живое колыхающееся море голов человеческих, мало думающих, но жадных ко всякого рода зрелищам. Колышется море этих голов и по улицам, и по площадям, колышутся живые изгороди из голов на стенах, на заборах, в окнах, на крышах домов, даже по карнизам и у самых куполов церквей. А возвышенный берег Москвы, что к Серпуховским воротам, словно вымощен живым булыжником — московскими головами.

Скоро, скоро покажется невиданный, негаданный царь. Москва все глаза проглядела, выжидая его с самого раннего утра и готовая ждать до глубокой ночи.

Тут все наши знакомые — толкаются в живой толчее: и офеня Ипатушка, и толстый купчина с сережкой в ухе, толковавший своему соседу, глуховатому старику, когда еще читали в Лобном месте анафему Гришке Отрепьеву, что орлиное перо — царское перо; и Теренька с рыжим товарищем, рассказывавшим о событии в Угличе и ныне посрамленном; и саженные плечи из Охотного ряда; и рыжий детина из Обжорного...

Офеня, которого неустанные ноги успели за это время сносить в Тулу вслед за выборными от Москвы — князем Иваном Михайловичем Воротынским и князем Телятевским, отцом Оринушки, возившими к Димитрию повинную грамоту от всех московских людей — офеня теперь был центром, около которого теснились любопытствующие москвичи в ожидании царя.

— Так ты его, Ипатушка, чу, и в Туле видал? — любопытствует купец с серьгой.

— Видал, кормилец. Бояр это он на глаза к себе пущал, что с Москвы приехали челом бить да повинную принести — Воротынский князь, да Телятевской, да Мстиславской, да Шуйские. Так маленько он их ошпарил.

— Что ты? Как ошпарил?

— Да вот как. В ту пору с Дону пришел атаман Смага с казаками, так он Смагу-то этого да Корелу-атамана, что в Кромах сидел, допрежь бояр к руке своей допустил... А и так себе — непутящий и народ, казачьи атаманы-то эти: ни князи они, ни бояре; а вон боярам-то нос утерли.

— Ишь ты, вавилония какая! Почто, значит, Бориске служили...

— Верно — вавилония. Так князи-то словно раки печеные стояли. А и сам-от он, царевич, гораздо добер. Сказывал мне Григорий Отрепьев.

— Это Гришка-то расстрига?

— Он самый. При ем он состоит, аки дьяк не то жилец. Так сказывал: привезли это к ему с Москвы грамотку от покойничка, от Федора Борисыча, когда он еще царем был. Пишет это он: «Благоверный-де государь Димитрий Иваныч всея Русии. Прости-де меня, окаянного. Не я-де причинен в кровопролитье российском, а блаженные памяти родитель мой, Борис Федорыч: он-де на тебя зло мыслил, а не я. Я-де уступаю тебе честь и место — ты-де законный царь. А я-де пью чашу смерти — зелье отравное. Бог-де да благословит тебя на царство...» Так чел это он, царевич, грамотку-то эту, а слезы у него в три ручья — так и льют, так и льют, что зачем-де Федор Борисыч живота лишил себя — смертное зелье принял...

— Что ты, дедушка! — вмешались «саженные плечи».— Федор-от не пил смертного зелья, а его удавили.

— Помилуй Бог!

— Верно, дедушка. Мне это дело сведомо — сам стрелец Якунько сказывал. Дело было так. «Приходим-де мы,— сказывает Акунько,— я да еще двое стрельцов, Осипко да Ортемко, да дворяне Михайло Молчанов да Шерефединов,— приходим-де, гыть, к ним, Годуновым, в палаты. Старуха-то, царица Годуниха, и ну-де вопит в истошный голос. Плачет-де и девка, дочка Оксинья. А и красавица-де, говорит, писаная: кровь с молоком да еще и с сахаром... Жалко, гыть, стало ее — дрожит вся, сердешная. Мы ее, гыть, тихонько на руки да словно перышко снесли в другой покой и отдали мамушке — береги-де голубку чистую. А сами к ним — к старухе да к сыну. Развели и их. Старухе-то петлю на шею — так только-де захрипела: «Федюшка»-де да «Оксиньюшка» — на том и отошла. Мы, гыть, к ему, к молодому...

А он, гыть, детина дебелый, сбитень такой, кулачистый гораздо,— да, гыть, в зубы! Осипко-то и свались. Ортемка к ему — он и Ортемку в салазки: и Ортемка тычком. Так я, гыть, по-песьи — как псы медведя берут: я его, гыть, за тайный уд — да и ну давить. Он и посинел. Тут Осипко-то очунил маленько да дубиной его в темя — так и захрипел боровом, вытянулся. Мы, гыть, на его петлю — и довавилонили раба Божия». Так-ту, дедушка, дело было. Годуниху с сыном удавили.

— Мати Божая! Владычица! Господи долготерпеливый! Что твои люди-то делают? — ужаснулся офеня, всплеснув руками.— Так их удавили, баишь?

— Удавили, дедушка.

Офеня заплакал. Мелкие, частые слезы так и потекли по его поседелой бороде.

— Господи помилуй! Господи помилуй! — шептал он, утирая слезы.— Ох, Оксиньюшка, горькая сироточка! Ох, дите бесталанное, горемычное!.. Где ж она ноне, голубушка? — спросил он, немного помолчав.

— Одни сказывают, якобы в Девичьем, другие — кабы у Мосальского, у Рубца-князя,— отвечал купчина с серьгой и потом прибавил: — Вот ты, Ипатушка-друг, плачешь об ей, об сиротке Годуновой. Жалостно — что говорить? А я вот, друг, рыдал, аки баба-кликуша, когда святейший патриарх Иев с нами прощался. Уж и плакал же я, скажу тебе — боровом, кажись, ревел. Да и вся-то церковь плакала — что Боже мой! — ручьем лилась... Как узнал это он, святитель, что царь Димитрий Иванович всея Русии подлинно жив и что он, святитель-то, облыжно его, государя, Гришкой-расстригой облаял, вором поносил да анафематствовал над ево головушкой, так и говорит: «Не быть мне боле святителем — распанагеюсь-де я сам, своими-де святительскими рученьками сыму с себя панагею Божью». Ну, друг, и вошел это он во храм, аки подобает патриарху, облачили ево, чу, во святительские ризы... Ладно. Стоим мы, смотрим, что дальше будет. А он, друг ты мой, возьми да и сыми с себя панагею-то. Мы так и ахнули! Снямши-то ее, друг мой, он и кладет ее перед образом Владимирской Божьей Матери, да эдак ручки-то вздемши горе и говорит: «О, всепетая, говорит, Мати! О, всемилостивейшая пречистая Богородица! Эта, говорит, панагея и святительский-де сан возложены на мя, недостойного, в твоем храме, у твово-де честного чудотворного образа. Возьми же де ее сама теперь, Матушка, панагею-то свою: ноне-де

идет на твою православную веру вера еретича...» И как стали это с ево, друг мой, после панагеюшки-то сымать ризы архиерейски, как стали разоблачать сердешного — так вся церковь в слезы, а бабы — ну те ведь водянистее нас — так те в истошный голос, руки и ноги у ево целуют да воем воют... Уж и поплакали же мы — и Боже мой! Откуда только и слеза бралась!

— Купчина правду говорит — это точно, что все плакали, инда меня слеза прошибла, словно бы кто рогатиной под микитки сунул,— выступил снова оратор из Охотного ряду, с саженными плечами, тот, что особенно интересовался «скифетром» и судьбой Годуновых и рассказывал, как стрельцы Якунько да Осипко да Ортемко покончили с ними.— А ты, дядя, слухай, что опосля было...— обращался он к офене.—Все это не к добру... Как выставили, чу, телеса покойничков — Годунихи старой да сынка ейного, чтоб народ-от посмотрел, так я и видал их тогда... Страшно таково было глядеть на них — не видал я допрежь того удавленников. А там возьми да самого-то Бориса вынули из могилы, из Архангельского-то собора: негоже-де самоубивиц лежит с благоверными царями. Ну, вынули. Как везли-то его гроб к Варсонофью, за Неглинную, так все время, сказывают, на гробе-то ворон сидел и каркал. Сгонют ево с гроба-то, а он опять сядет да крыльями машет да «кар-кар-кар!» — таково страшно... Недаром народ толкует...

— Что толкуют? — с испугом спросил купчина.

— Да что жив он...

— Кто, родимый?

— Да он — Борис. Во место себя, сказывают, он велел похоронить идола — истукан такой, весь в ево, как две капли воды. Немцы ему такой делали.

— А где ж он сам?

— Знамо — хоронится. Вон ворон-то и каркал...

— А как пришли это к ему немцы и в Коломенское — встречать...— снова завладел общим вниманием офеня.

— Каки немцы?

— А здешни, что Борису-то служили.

— Это после-то нашей трепки, как мы у голландца Гнюса тешились...

— Ну? — перебил его купчина с серьгой.

— Ну, так вот и пришли немцы с повинной,— продолжал офеня.— Прости нас, говорят, царь и великий князь Димитрий Иванович всея Русии, не прогневайся,

что мы Борису Годунову служили и супротив-де тебя шли. Мы-де шли по закону, крестному целованью. А как ноне-де Годуновых не стало, так мы тебе крест целуем — ради-де служить и прямить тебе

— То-то... крест... Это после того, значит, как мы немца Гнюса в медовой бочке кстили,— объяснял «Охотный ряд».

— А ты помолчи, парень,— останавливал его купчина.— Что ты ему в рот с ногами лезешь... Ну, и пришли немцы, говоришь? Служить-де и прямить хотим? — наводил он офеню на прерванный рассказ.

— Точно, служить, чу, и прямить хотим. А он им говорит: «Добре,— говорит,— немцы! Вы верно служили Борису и под Кромами не сдались — ушли к Борису. А теперь-де Бориса нет, и вы пришли ко мне с повинной — и за то-де я вас жалую». Да опосля того и пытает у старшего немца: «Кто-де у вас держал стяг под Добрыничами?» — «Я-де,— говорит,— царь-осударь, держал стяг под Добрыничами»,— это немчин-то отвечает, да и вышел из ряду. А Димитрий Иванович всея Русии положил эдак ему руку на голову и говорит: «Памятен-де мне твой стяг, немец. Вы, немцы, мало-мало тогда не пымали меня, да мой конь унес. А досталось бедному коню,— говорит,— он-де и ноне болен. А что,— говорит,— немцы, вы тогда убили бы меня, коли б пымали?» — «Это точно, что убили б»,— говорят. А он-то смеется: «У Бога,— говорит,— в книге не то обо мне написано».

— А что ж там написано? — полюбопытствовал «Охотный ряд».

— А то, что ты дурень,— отвечает «Обжорный ряд»

Трах-тарарах! В зубы! По-московски — и пошла писать...

— Едет! Едет! — прошел говор по толпе.

Задвигалось, ходенем заходило живое море голов человеческих — московских голов,— хоть и расходиться было негде: упади с неба яблоко — так бы и осталось на головах или на плечах.

Заколыхались человеческими головами и кремлевские стены, и ограды церковные, и заборы, и крыши, и карнизы с куполами на церквах, заколыхались, заходили, словно бы они могли сами ходить и колыхаться.

Словно хвостатое и крылатое чудовище двигается по Заречью, отливая на солнце всеми цветами и красками — какие только есть на земле. Впереди идут польские роты

На оружии и латах и шлемах бешено играет солнце, московское солнце, словно удивляясь своему собственному блеску. Да и вычищено же это польское оружие, эти латы — ведь впереди сколько ему предстояло работы, этому оружию, сколько оно должно было иззубриться, кровью позапачкаться, слезами проржаветь! Чисто оно теперь — не работало еще. И колючие копья блестят, остриями обращенные к небу, после они обратятся к земле, к людям, в груди и сердца московские... Польские трубачи и барабанщики бьют палками в барабаны и в трубы трубят так радостно, возбудительно, что и рубить и любить хочется... Тут пан Борша с молодецки закрученными усами, тут и пан Неборский в блестящих «вельких бутах», шитых в самом Кракове, тут и пан Бялоскурский, с дорогою карабелею при боку — сколько изящества и грации среди московской мешковатости, в виду московского зипуна и кики! А какая рыцарская величавость у пана Непомука. Сколько благородной гордости в осанке пана Кубло, которого мы видели в Кракове в женских котах! А вон за польскими ротами мешковато, грузно, аляповато, но стойко колотят Московскую землю огромными сапожищами угрюмые московские стрельцы в длиннополых, словно дьячковские полукафтанья, но — красных зипунах. Широкие бороды, широкие плечи, широкие затылки — нескладно кроены, да крепко сшиты: так и видно, что топором, а не резцом работала над ними матушка-природа, и только под топором эти воловьи шеи и поддадутся. За стрельцами медленно двигаются царские каптаны-колымаги, везомые каждая шестернею отборных коней, воспитанных на царских «кобыличьих конюшнях»: это не кареты, а какие-то ковчеги, изукрашенные золотом, изнавешанные золотыми покровами. От Рюрика все князья и цари российские могли бы поместиться в этих ковчегах... А сколько дворян на конях, боярских детей, блистающих своими азиатского пошиба и цвета кафтанами с шитыми золотом ожерельями, на которых, словно на ризе Иверской Богоматери, золото, камни и жемчуг очи слепят... А эта московская музыка — накры и бубны — захлебываются: и гудут и визжат до того неистово-торжественно, что голова закружиться может... А за музыкантами опять московские воинские люди — те исторически бессмертные воинские люди, которых сама же Россия трепетала: «Как бы де воинские люди не пришли и дурна какого не учинили». И они приходили, и всегда чинили дурно... А за воински-

ми людьми развеваются в воздухе церковные хоругви, на шитье и украшении которых сосредоточено было столько хорошеньких глазок, столько благочестивых помыслов и воздыханий. А вслед за хоругвями и под их сению, аки под крилами ангелов, шествует освященный собор — иереи, протоиереи, архиереи, архиепископы, митрополиты и весь святительский сонм, блистающий лепотою брад честных, нестригомых, убеленных сединою и черных, русых и рыжих и рудо-желтых, сияющий златом и камением риз своих, аки красотою душевною и телесною. А под конец всего сонма несут иконы Спасителя, Богородицы и московских чудотворцев — окованные золотом, унизанные камением многоценным. И шествует за иконами, как нечто живое и видящее, святительский посох — жезл Аарона, несомый посошниками: он шествует отдельно от святителя, как ангел, ведший иудеев в землю обетованную... За посохом — сам святитель, первопрестольник церквей всея Русии.

— Вот он! Вот он, кормилец-поилец наш батюшка! О-го-го! О! О! — застонало море голов человеческих, простонала Москва горластая, плечистая, голосистая.

Это она увидала спасенного, нежданного, негаданного, точно свыше посланного царя.

— Ой, матушки! Ой, голубушки! Ох, молодешенек-то какой! Соколик! Ой, матыньки! Ой! — завыли бабы в голос, в причитанье.— Солнышко ты наше ясное! Звезда незакатная! О-о-о!

А он — на таком коне, какого еще не видывала Русская земля... Раздобыл где-то, выкопал из-под земли Богдан Бельский... Уж и конь же! Ушми ткани прядет, ногами разговоры говорит, глазами ковыль-траву сушит, ржет до неба — уж и конь невиданный, уж и сбруя на нем — и сам черт не разберет, как она изукрашена, чем она изнавешена. На самом на царе — золотный кафтан: ожерелье на нем — в тысячи, а всему кафтану и цены нет.

— Вот он, батюшка, голубчик! Во-на! Ах ты солнце праведное, взошло ты, ясное, над Российскою землею, Свети ты над нами отныне и довеку!

А он едет да на обе стороны кланяется, а Москва так и стонет, так и надрывается.

А тут вокруг него, словно бор золотой с серебром, бояре, князи, окольничие: бородами помахивают, золотым платьем глаза слепят, грузным телом коней томят.

А это что за черти косматые-волохатые, каких Моск-

ва еще и не видывала? Косматые шапки на них — с голов валятся, верхи на шапках — по плечам треплются, маком цветут. Уж и Господи! Что у них за посадка молодецкая, что у них за усищи богатырские, что под ними за кони дьявольские! Это любимцы царевы, баловни его — казаки донские, запорожские, волжские и яицкие. Со всей земли как пчелы слетелись удальцы невиданные... Впереди Корела со Смагою — загорелые, запыленные, словно в аду побывали. Подальше — Куцько в широчайших штаницах, с чубом в девичью косу, с усами пол-аршинными: глядя на него, московские бабы сквозь землю проваливаются, груди надрывают — ахают.

Димитрий поднял голову — перед ним словно вырос Кремль во всем его своеобразном величии. Вздрогнул невольно пришлец, снял шапку, и дрожащие губы его проговорили, как-то выкрикнули:

— Господи Боже! Благодарю тебя! Ты сохранил мне жизнь и сподобил узрети град отцов моих и мой народ возлюбленный!

И потекли у него по щекам слезы умиления.

И Москва не выдержала — зарыдала! — зарыдало море людское... О, бедные люди!

А колокола-то ревут-стонут, Господи! Да от такого рева оглохнуть можно, с ума сойти слабонервному.

Димитрий на Красной площади, у Лобного места, с которого еще так недавно оглашали всенародно его проклятие: «Анафема! Анафема! Анафема!» А теперь людское море стонет: «Многая лета! Многая!..»

Димитрий в Кремле, в Архангельском соборе, у гробов своих прародителей, великих князей и царей московских... Он припадает к гробу Грозного... Трепет охватывает всех при одном воспоминании сухощавой, изможденной страстями фигуры, с лицом безумно бешеного, в костюме юродивого...

— Батюшка! Батюшка! Ты покинул меня на изгнание и гонение... Но ты же и спас меня твоими отеческими молитвами.

И слезы его льются на гроб Грозного...

Как не пошевельнулись кости этого страшного царя, когда на его гроб капали слезы, может быть, какого-нибудь проходимца, сочиненного Богданом Бельским и вымуштрованного иезуитами?

А Богдан Бельский стоит бледный, с безумно обращенными на гроб Грозного глазами. Ух-ух! Что это? Ему кажется, что гроб Грозного шевелится... шевелится... земля ходит...

Бельский ухватился за что-то руками и в ужасе закрыл глаза...

— Свят-свят-свят, Господь Саваоф!

XIX. ЗАГОВОР ШУЙСКОГО

Но не вся Москва ликовала, встречая новоявленного царя. Не ликовала Ксения Годунова, томясь в своем мрачном одиночестве и силясь отогнать от себя светлые воспоминания детства, которые вызывали теперь в ней едкие страдания. А эти страшные образы, которые она вызвать не смеет в своей памяти, потому что образы эти — посиневший труп дорогого отца, удавленная мать, обезображенное смертью лицо брата любимого... Это — и прошедшее, и настоящее. А что в будущем? Боже мой! Лучше и не заглядывать в эту мрачную бездну.

Не ликует и Оринушка Телятевская... Молнией пробежало по ее молодому небу, по душе ее, молодое счастье и этой же молнией расщепало ее надежды, ее сердце, всю ее душу. Все сожгла эта молния — ее счастье, ее Федю-царевича...

Не ликуют... Да, много, много таких, которым не до ликованья. Ведь несчастная земля так устроена, что как ни свети на нее яркое солнце, все же оно будет освещать только часть земной поверхности, и чем ярче освещается та часть земли, которая обращена к солнцу, тем мрачнее тень на противоположной стороне.

Когда Димитрий въехал в Москву, один человек особенно сильно почувствовал, что он очутился в тени. Это был Шуйский, князь Василий. Чего ж ему недоставало? Одного недоставало — счастья. Этот вельможа, у которого всего было вдоволь — и могущества, и богатства, и славы, и родни, и друзей — искренних и не искренних,— этот счастливец не был счастлив. На что ему было все то, чем он обладал, когда он — *не любил*! Прожив более пятидесяти лет, Шуйский не знал, что такое любовь... Так — не пришлось, не выдалось это шальное, слепое счастие, а жизнь-то уплыла... Холодно стало,

любить некого, когда вовремя не любилось, а теперь и детей нет, которых люди обыкновенно начинают любить на счет своего личного счастия уже тогда, когда собственное счастье уже немножко молью тронуто, когда в сердце заводится червоточина и на памяти образуется нечто вроде маленького, а иногда и большого кладбища с дорогими покойниками. А у Шуйского ничего: ни кладбища этого, ни детей, ни любви.

Сидит Шуйский в своих роскошно, по-старинному, немножко по-азиатски, во вкусе золотоордынском убранных палатах — и не весело ему. Тихо в палатах, беззвучно, безжизненно, только с улицы доносятся отзвуки жизни — ночные возгласы ликующей Москвы, веселые, а иногда и бранные пьяные крики.

Шуйский закрывает глаза, и чем плотнее он закрывает их, тем назойливее лезут в очи и развертываются досадливые картины всей его неудачливо сложившейся и прожитой жизни. Вся эта жизнь, вся эта бесконечная лента пути, расстилающаяся позади него, все эти образы прошлого, едкие, режущие, и ни одного светлого, теплого,— все это одна нескончаемая вереница стремлений жгучего сердца и жгучего мозга. Везде удача, везде успех, везде бешеное счастье — и в сумме жизни громадная неудача, страшная пустота и отсутствие любви, отсутствие чувства удовлетворенности, примирения...

— Димитрий! Димитрий! — доносятся с улицы дикие возгласы. И чему радуются люди? Где источник этого довольства? Слабоумие?

И перед Шуйским развертывается пестрый ковер его детства, роскошное цветущее поле — и везде в этих цветах скрытые шипы, острые колючки... А где ж счастье? Нет его! Ум не может быть счастлив, ум — это горе-злосчастие, это мука, вечная пытка... Безумие, слабоумие — вот где счастье.

Молодость, детство, неведение — и там не было счастья!.. Кудреватый, белокурый, малокровный княжич Васюта Шуйский смотрит нелюдимом... Он умен.

«Умен постреленок, княжич мой Васюта, не по летам, да собой-то неказист»,— слышится голос отца, князя Ивана Шуйского,— и слова эти на всю жизнь западают в гордую душеньку княжича Васюты. А мать еще нежнее ласкает его белокурую головку и глядит в его умные голубые глазки: «Дурнушечка мой, умница мой! Васюточка-княжич...» И слова матери колючкой впиваются в гордое сердчишко недотроги-княжича.

«Неказист...» Но он видит, что казистые глупее его, и все же завидует им, все же они становятся ему поперек дороги,— и враждебное чувство питается в нем больше, чем доброе, холодное — заглушает теплое.

С невидимой раной, нанесенной ему отцом, княжич Васюта и в жизнь вступил. Стал он уже окольничим, а из раны все сочится кровь, все где-то саднит горечью.. И княжич Васюта становится все скрытнее и скрытнее, все глубже прячет он от людей свое сердце, свои умные голубые глаза, свои молодые, гордые думы...

А тут и непобедимые потребности молодости вступают в свои права. Голубые глаза становятся еще умнее, еще блестяще — они украдкой заглядываются на миловидное личико, полуприкрытое фатой... И личико украдкой, потупясь, бросает искорками в голубые умные глаза... И — казистые перебивают дорогу, перебивают эти искорки, перебивают женские взгляды — и он, умный, остается в стороне со своим умом... «Проклятый ум! Проклятые лица!.. Нет, не проклятые. Вон какое личико у Машеньки, у дочушки Малюты Скуратова. И личико это обращено на казистого, на ловкого, на красивого Бориску Годунова, на эту татарскую образину... И молодой княжич Васюта Шуйский начинает ненавидеть Бориску Годунова. А Машенька Малюты Скуратова все не замечает неказистого, хотя и умного Васюту Шуйского... Но вот Машенька и под венцом — жена Бориски. И Годунов Бориска в чести и силе у Грозного. Борискина сестра за сыном Грозного — в родство вошли с царями. А неказистый Васюта Шуйский в стороне, в тени...

Не стало Грозного. На троне слабоумный Федор — и Бориска уж у трона, сторожевой собакой стоит, псом смердящим лает... «Царевича не стало! Царевича зарезали!» А! Утопить бы в его крови татарюгу Бориску, чтоб и Машка Малютиха, змея подколодная, захлебнулась кровью. О! Утонет Бориска, утонет, захлебнется Машка! Нет, не утонул он, не захлебнулась она... Не стало слабоумного Федора — и Бориска на престоле: сторожевой пес вскочил на высочайший трон Российского царствия, а рядом с ним Машка Скуратиха, змея подколодная... И все она не замечает неказистого, умного, делового князя Василия Ивановича Шуйского, у которого уж и кудри серебрятся от многоумия, а все нет счастья. Но что это? Из крови царевича выходит зверь дивий. Да, вышел — бродит по Киеву, рычит в Польше, идет на Русскую землю. О! Он пожрет Бориску и Машку. И он

пожрал их. Он, зверь дивий, в виде царевича на престоле... «Убью зверя и из его шкуры сошью себе царскую порфиру. Авось в порфире буду счастлив...»

Вот о чем думает Шуйский, сидя в своих богатых палатах в первую ночь приезда Димитрия в Москву. У него ничего в жизни не оставалось — ни любви, ни воспоминаний, ни детей, а только пятьдесят три года на плечах да седая умная голова. И жажда — жгучая жажда жизни!

В соседней комнате послышались шаги. Шуйский встрепенулся. Вошел мужчина лет пятидесяти, богато одетый, в золотном кафтане с шитым жемчугами ожерельем. Он был, как и Шуйский, белокур, но полнее его и с лицом хотя напоминавшим Шуйского, но более открытым.

— А, это ты, Митя? — сказал Шуйский, как бы ожидая чего-то.— С тобой никого нету?

— Есть, братец,— отвечал пришедший.— Федора Конева привел.

— Ладно, спасибо. Где он?

— А в том покое... в голубом.

— Веди его сюда.

Пришедший — это был брат Василия Шуйского, Димитрий Иванович Шуйский — ввел купчину с серьгой в ухе, того купчину, которого мы уже видели у Лобного места во время оглашения анафемы Гришке Отрепьеву, а потом — с офеней вместе, когда они ожидали въезда в Москву Димитрия.

— Здорово, Федор,— сказал Шуйский ласково.

— Здравствуй, батюшка князь Василий Иваныч.

— Садись, потолкуем.

Купчина, входя к Шуйскому, глянул в передний угол и, увидав там у богатой иконы горящую лампаду, перекрестился истово, тряхнув седоватыми кудрями. Теперь, снова тряхнув головой, он расправил полы однорядки и сел на скамью, покрытую ковром.

— Видал нового царя? — спросил Шуйский, услав свои умные глаза куда-то в другое место.

— Видал, батюшка князь, сподобился.

— Слава Богу, слава Богу, сподобились мы опять природного царя найти. Авось наша вера православная окрепнет, а то шатать ею что-то учали.

— Дай-то Бог!

— Дай Бог, дай Бог... Ну а как он — царь-то наш новый — истово ли крестится? — спросил Шуйский, сно-

ва командировав свои умные глаза зачем-то к образам Я, признаться, в хлопотах-то и не успел заметить. Не отучился ли он, чего Боже храни, там, в Литовской земле?..

Купчина не сразу отвечал. Он припоминал что-то

— Как тебе сказать, батюшка князь, мудреное это, великое это дело перстное сложение. На перстном-то сложении, на персте едином, я так мекаю, весь мир стоит Вот, примером, так...— он поставил прямо свой толстый, как огурец, большой палец правой руки.— А коли ты перст-от этот повернешь не так, как указано, не истово повернешь,— ну, и мир опрокинется, аки ендова. Так я говорю, батюшка князь?

— Так, так, Федор! Такое-то умное слово хоть бы святителю в пору...

— Ну, топерича, примером, он царь...— разглагольствовал купчина.— У ево, у царя, примером, на персте ендова... А ендова-то, батюшка князь, кто? — вдруг озадачил купчина Шуйского.

Но Шуйского нелегко было озадачить. Он только спрятал свои смеющиеся глаза где-то под лавкой и отвечал:

— Ендова — знамо *мир*. Ты ж сам сказал...

— Так, батюшка князь. Ендова — это Росейская земля. Обороти он, царь-ту, перст-от свой книзу — что станет с ендовой?

— Вестимо что... Опрокинется.

— Опрокинется, батюшка князь, опрокинется, прольется!

Купчина даже привскочил. Шуйский изобразил ужас на лице...

— И все это от единого перста, от перстного сложения неистового,— продолжал купчина, радуясь, что пугает Шуйского своим красноречием.— Недаром сказано: *«Перст Божий»*.

— Верно, верно. Ну а как же ты заметил — новый наш царь истово крестится? — сворачивал Шуйский на суть дела.

— Ох, батюшка князь! Страшно и молвить. Волосы у меня дыбом встали, как увидел я, что хоть он и истово слагает персты, да все мизинец-то у него не так смотрит, не истово. Инда в озноб меня бросило, как увидал я это. Мизинец, мизинец не так... Так вот я и думаю ох, батюшки, опрокинется ендова, пропадет земля Росейская.

— Как же ты, Федор, думаешь?
— Да думаю, батюшка князь, что он не истинный царевич Димитрий. Не так слагает персты — не нажить бы нам с ним беды.
— И я так думаю,— загадочно сказал Шуйский.— Обошел он нас всех обманом, и горе Московскому государству!
— Ох, Господи! Что ж с нами будет?
— Не ведаю... Богу единому ведомо.
Шуйский, по обыкновению, не досказывал своей мысли: он всегда только закидывал удочку, и когда рыба клевала, он тогда и дергал удочку — рыба не срывалась. Купчина окончательно опешил и только бормотал: «перст... мизинец... ендова... Российское государство...» Сам же сочинил ужасы и сам их пугался.
— Немцы, поди, и гостиный двор у нас отберут? — тут же наталкивался он на практические вопросы.
— Да,— утверждал его в этой мысли лукавый собеседник.— Он уж и ноне с иноземцами печки-лавочки: без них за столом и ложки не возьмет... Когда он взошел в Архангельский собор, туда ж за ним вошли и псы бритые — попы латинские. Собор, значит, уж осквернен...
— Ох, Господи! Да что ж это такое?
— А за псами бритыми вошли и немцы в храм Божий, и поляки, и литва... Святыни наши поруганы. А дальше еще того хуже будет: он разорит церкви православные и вместо их поставит латинские костелы, и будут у нас попы бритые,— продолжал Шуйский все в том же духе, видя, какое впечатление производят его слова.— Одного наипаче боюсь я...
— Чего, батюшка князь? — с испугом спросил купчина.
— Вот чего, Феодор. Слушай. Коли он проклят собором и анафема с него не снята да коли такой проклятой человек занял место помазанника, так анафема-то переходит с него на всю Российскую землю. Вот что страшно.
Купчина испуганно перекрестился. Ему чудилось, что анафема в виде какого-то чудовища уже подходит к нему, берет его за плечи, шепчет ему в уши: «Я анафема — я за тобой пришла, за детьми твоими, за твоими товарами, за твоею казною, за душою твоею».
— Помилуй, Господи! — крестился он.— Научи же нас, князь-батюшка, что нам делать? Как избыть беды — гнева Божия? Я на все пойду. Всю Москву подниму на

ноги. Москва знает Федора Конева: он крестился всегда истово, строил храмы Божии, нищим не отказывал. Федора Конева Москва послушает.

— Коли так, Федор, то Бог пособит тебе в твоем великом деле для спасения святой православной веры. Только подобает дело сие творити с великою тайною, дабы не проведал о том враг земли Русской. И надо сие дело совершать непомедля, а то, я боюсь, как бы дьявол не осилил нас...

— А что, батюшка князь? Говори — не таи.

— Надо бы все покончить до венчания его на царство.

— Надо, надо. Ах ты, Господи! Вот не чаяли беды. Завтра же поговорю с добрыми людьми, и мы тебе, батюшка князь, доложимся.

— Хорошо. Может, с Божьею помощью наше дело и выгорит...

Нет, не выгорело!

Прошло всего только четыре дня после этого ночного совещания у Шуйского. Утро 25 июня. Красная площадь запружена народом. Вот посылал Бог Москве зрелище за зрелищем! Не успели встретить диковинного царя, как опять есть на что поглазеть. На площади стоит новенькая, с иголочки, плаха — «плаха белодубовая», высокая, красивая и прочная... Далеко можно на этой кобылке уехать,— так далеко, что вымолвить страшно. Свистнул на кобылку, свистнул топор палача — и человек на том свете, а на этом остается только голова да туловище: голова сама по себе, а туловище само по себе.

Кто же это собрался скакать на тот свет? Кому надоело жить на этом?

«Идет! Идет!» — прошел говор по толпе, такой же говор, как тот, который прошел по морю голов человеческих пять дней тому назад, когда в Москву въезжал Димитрий; только тогда слышалось: «Едет! Едет!» — а теперь: «Идет! Идет!»

И действительно — идет князь Василий Иванович Шуйский, бывший белокуренький Васюта-княжич, Васюта-недотрога. А теперь скоро топор дотронется до этой гордой шеи. Но это не тот уже осторожный, уклончивый Шуйский с лукавыми глазами. Этот идет прямо, гордо, словно царь. И глаза у него не те: эти смотрят прямо, открыто, стойко и бесстрашно — и в лицо глазеющей толпы, и в лицо смерти. Его сопровождает Басманов, не

глядя своими татарскими глазами на толпу. А плаха так и блестит на солнце И еще что-то там блестит. Шуйский глянул на это нечто блестящее — это был громадный топор, воткнутый в плаху «Престол»,— мелькнуло в уме Шуйского.

Стрельцы плотно сомкнулись, оцепив Шуйского, палача и исполнителей приговора.

— «Сей великий боярин,— читает знакомый уже нам дьяк с орлиным пером за ухом,— князь Василий Иванович Шуйский изменяет мне, великому государю царю и великому князю Димитрию Ивановичу всеа Русии, рассевает про меня недобрыя речи, остужает меня со всеми вами, с бояры и князи и дворяны и дети боярские и гостьми и со всеми людьми великого Российского государства, называя меня не Димитрием, а Гришкою Отрепьевым. И за то он, князь Василий, довелся смертной казни...»

Тихо, мертво в толпе. Только женские груди тяжело дышат — вздыхают.

Шуйский сам подходит к плахе, не спуская глаз с топора, так много в нем обаятельного! Потом крестится, кланяется на все четыре стороны, на Кремль и на Замоскворечье, и громко возглашает:

— Простите, православные! Умираю за веру и за правду...

Женщины — давно простили. Мужчины — не все.

Подходит палач и срывает с плеч его дорогой кафтан. Хочет снять и рубашку, чтобы толпа увидала голое княжеское тело — не такое ведь оно, как смердье. Да и как не снять рубаху? Ворот у нее такой богатый, весь в жемчуг залит — целую пригоршню жемчугу можно содрать с ворота. Но Шуйский не дает рубаху палачу:

— Не трожь ее. В ней я хочу Богу душу отдать.

— Ничего, боярин, душа без портов ходит.

Вдруг кто-то скачет из Спасских ворот Кремля.

— Вестовой! Вестовой! — проносится говор — то говор радости с одной стороны, то говор разочарования — с другой. Как же? Обидно — не видать зрелища, как голова скатится на помост, очень обидно!

— Милость, милость прислал великий государь! — кричит вестовой.

Толпа заколыхалась. Палач с сожалением посмотрел на дорогую рубаху прощеного князя. Рука Шуйского машинально поднялась к голове, как бы ощупывая — тут ли она.

— Тут... на плечах... без шапки... будет и в золотой шапке с крестом,— пробормотал он. А потом, обратясь к палачу, сказал: — Так... душа без портов ходит? Приходи же ко мне, добрый человек, я отдам тебе эту рубаху.

XX. ЗАГЛАЗНОЕ ОБРУЧЕНИЕ ДИМИТРИЯ С МАРИНОЮ

Мы снова на юге — в Польше. В Кракове, в пышном палаце Фирлея, готовится торжественный обряд обручения царя и великого князя Димитрия Ивановича всея Русии с Мариною Мнишек, дочерью сендомирского воеводы Юрия... Не забыл Димитрий, неведомый калика перехожий, а ныне царь московский,— не забыл гнезда горлинки с осиротелыми птенцами, которых Марина кормила рисовой кашкой. Не забыла и Марина ни этого гнезда с птичками, ни неразгаданных глаз того, кто теперь высоко, очень высоко свил свое орлиное гнездо и хочет взять в это гнездо ее, Марину, чистую горлинку, может быть, затем, чтобы расклевать ее сердце, а пух пустить по снежному полю московскому. А грезы детства? А корона на черной головке? А неведомые народы и цари, преклоняющиеся пред этой черной головкой и благословляющие ее? Холодно, холодно на душе при одном воспоминании о Москве.

В обручальном покое палаца Фирлея, на королевском месте, сидит король Сигизмунд в своей парадной шапке. Так принято — и шапка на голове, королевская надутость на лице и не человеческая, королевская поза.. Около него королевич Владислав, еще не успевший утратить человеческий образ, и сестра короля, тоже метившая замуж за нынешнего московского царя.

Несколько в стороне стоит кардинал Бернард Мацевский, а с ним два прелата в богатейшем церковном облачении. За ним — толпа других церковников в блестящих мишурным золотом и серебром стихарях. Светло, парадно, торжественно! Внушительные минуты, внушительное ожидание: эти минуты, может быть, сделают то, что все Московское царство с его богатствами и неисчислимыми табунами москалей-схизматиков можно будет к рукам прибрать во славу католической церкви и золотой вольности польской. Такая мысль написана на этих лицах, светится в очах.

Вдруг в дверях показалась московская фигура. Кто это? Да это тот подьячий, который еще при Борисе оглашал с Лобного места анафему Гришке Отрепьеву, который потом читал смертный приговор Шуйскому, подьячий или дьяк с орлиным пером за ухом — это знаменитый дьяк Афанасий Власьев, делец старого закала, вроде дьяка Алмаза Ивановича, который мог какое угодно дело запутать так, что его на семи вселенских соборах не распутать, и всякую дьявольскую путаницу распутать, один из тех дьяков-дипломатов, политическое — московское — упрямство которых пушкой прошибить нельзя было. Об этом же дьяке, Власьеве, рассказывали следующее. Еще при Грозном Власьеву, бывшему тогда еще не в важных должностях, выпало на долю одно из самых щекотливых дипломатических поручений — встретить какого-нибудь дипломатического посла. Тут вся трудность дипломатии заключалась в том, чтоб своим поведением не умалить величия своего царя. Для этого, когда встречают посла хоть бы зимой, в пути, в санях, то достоинство государей требовало, чтоб и приезжий посол, и встречающий его боярин или дьяк вышли из саней и ступили ногами на землю *оба в один и тот же момент,* ни тот ни секундой не раньше, ни этот ни секундой не позже. Кто раньше касался земли, тот унижал величие своего государя, кто позже — тот возвышал... Хитрый Власьев прибегнул к такой гениальной дипломатической увертке: когда он съехался с каким-то «честнейшего чину рычардом подвязочным», то есть с кавалером ордена Подвязки, и когда и этого «рычарда» и продувного Власьева холопы высаживали под руки из саней в один и тот же момент, то «рычард» успел ногами коснуться земли, а бестия Власьев на секунду поджал ноги и подрыгал ими в воздухе, желая показать чужому послу, что дипломатическое поле битвы осталось за ним и он возвысил честь своего государя и народа. Этот дипломатический coup d'ètat[1] очень понравился Грозному, и Власьев пошел в гору.

Так вот, этот-то Власьев вступил теперь в королевскую палату, представляя из себя и посла и одновременно особу царя Димитрия, как жениха Марины. За ним холопы несли шелковый ковер — под ноги жениху и невесте.

Власьев, видя, что король сидит в шапке и важно

[1] Военный переворот *(фр.)*

надувшись, сам надулся еще пуще, так что его московское пузо выпятилось еще больше, чем королевское, и, таким образом возвысив величие своего царя превыше величия королишки «Жигимонтишки», произнес, словно протодьякон с амвона:

— Божиею милостию, мы, великий государь цесарь и великий князь Димитрий Иванович, всеа Русии самодержец, били челом и просили благословения у матери нашей великой государыни, чтобы она дозволила нам, великому государю, соединиться законным браком, ради потомства нашего цесарскаго рода, и пожелали мы, великий государь, взять себе супругою, великою государынею в наших православных государствах, дочь сендомирскаго воеводы Юрия Мнишка, для того — как мы находились в ваших государствах, и пан воевода сендомирский нашему цесарскому величеству оказал великие услуги и усердие и нам, великому государю, служил. И ты бы, король Жигимонт, брат наш и сосед и приятель, поволил бы сендомирскому воеводе и его дочери ехать к нашему цесарскому величеству, и для братской любви сам бы ты, король Жигимонт, был у нашего цесарского величества в Московском государстве.

Высокомерная речь Власьева, видимо, не понравилась королю; но делать было нечего — пришлось уступить московскому медведю. Да и панна королевна надула губки: ей бы так самой хотелось быть на месте этой девчонки Марыски, которая только тем и взяла, что у нее кокетливая рожица да хорошенькие глазки. Вот невидаль! А панны королевны вид величественнее, а какая ножка!.. В ее башмачок входит только полбокала венгржина — а он предпочел эту девчонку, неотесанный москаль...

В тот же момент в дверях показалась «эта девчонка» Точно птица белая — именно белою, чистою горлинкою вступала она в это сановитое и родовитое собрание, такая нежная, маленькая, прелестная и с движениями невинного ребенка, с глазами потупленными, с наклоненною головкою... Власьев так и ахнул и прикипел на месте... Это входил бес, восхитительнейший бесенок, которому можно прозакладывать жизнь, царства целые, душу свою... Да, это птица белая — в белом алтабасовом платье, обрызганном жемчугами и брильянтами. На восхитительной головке — неоценимая коронка, а от нее нити золотые, жемчужные и брильянтовые скатываются на волосы, черные как вороново крыло, и смешиваются

с прядями распущенной, роскошной косы, которую даже трудно было поддерживать, как казалось, такой изящной головке и такой нежной шейке... Панна королевна побледнела даже, дух у нее захватило при виде этой прелестнейшей птички — никогда она не казалась так хороша, как в этот роковой момент.

Девчонка взглянула на Власьева — так и осыпала старика рублями и жаром! Нет, это не бес — это ангел чистый, это дитя непорочное. Рядом с нею стала панна королевна — это гусыня рядом с чистой голубицей. Король стал рядом с кардиналом, и оба дулись — вздулся снова и Власьев ради чести великого государя всея Русии. Паны, составлявшие ассистенцию, поместились по бокам. Тут же был и отец Марины: на полном лоснящемся лице его всеми литерами было написано: какова моя цурка! Ведь только у такого отца, как я, и может быть такая восхитительная дочушка.

Как бы отвечая на эту мысль, Власьев обратился к нему с краткой речью и просил благословить свою цуречку, у которой от волнения задрожали губки, как у ребенка, собирающегося плакать. «Татуню...» — прошептала она тоскливо, как бы предчувствуя, что ее ожидает в снежной стороне.

После Власьева говорил пан канцлер, Лев Сапега — Цицерон своего века и своего народа. После него — пан Липский, воевода ленчинский. За ним — кардинал...

— Царь Димитрий,— говорил он,— признательный за благодеяния, оказанные ему в Польше королем и нациею, обращается ныне к его милости королю с своими честными пожеланиями и намерениями, и через тебя, посла своего, просит руки вольной шляхтенки, дочери сенатора знатного происхождения... Хотя выбор царя и желал бы, может быть, направиться в более высокие сферы...

Пан воевода сендомирский при этих словах так звякнул своей караблей и так «закренцил вонца», что кардинал поперхнулся, а панна королевна вспыхнула. Марина стояла бледная.

— Но царь желает показать свою благодарность пану воеводе и расположение к польской нации,— наладился кардинал.— В нашем королевстве люди вольные. Не новость панам, князьям, королям, монархам, а равно и королям польским искать себе жен в домах вольных шляхетских. Теперь такое благословение осенило Димитрия, великого князя всей Русии.

— Царя и великого князя,— неожиданно поправил его Власьев, так что кардинал снова поперхнулся.

— И вас,— продолжал он,— подданных его царского величества, ибо он заключает союз с королем нашим и дружбу с королевством нашим и вольными чинами.

— Veni, Greator![1] — торжественно запели церковный гимн, и все встали на колени, кроме Власьева и панны королевны.

«Veni, Greator»,— зазвучало в сердце Марины, и две крупные жемчужины выкатились из ее глаз.

При пении гимна кардинал приблизился к Марине...

«Veni, Greator»,— колотилось у нее в ушах и сердце. «Да *пришел* он... пришел... ох, страшно».

— Слыши, дщи, и виждь, и приклони ухо твое, и забуди дом отца твоего,— торжественно говорил кардинал.

«Ох, слышу и вижу я,— шепчет Марина не устами, а сердцем,— вижу... но не забуду дом татки моего, никогда не забуду мое золотое детство. Тато, тато. Урсулечка моя... Дольцю бедненький».

«Дольцю...» Это он стоит в отдалении бледный, бледный, это князь Корецкий, друг ее детства, который мечтал вместе с маленькой Марыней открыть новую Америку и посадить свою Марыню на американский престол. Но, увы, Америки новой не нашлось. «Бедный, бедный Дольцю!»

Потом кардинал, следуя обряду обручения, обратился к Власьеву и спросил:

— Не давал ли царь обещания другой невесте, прежде?

— Я почем знаю! Он мне этого не говорил,— обрубил простодушный москаль.

Все рассмеялись. Даже Марина улыбнулась и взглянула на чудака: чудак опять почувствовал, что из глаз панночки посыпались рубли...

Паны ассистенты объяснили русскому медведю, что пан кардинал спрашивает по форме, по обряду — не обещал ли царь кому другому.

— Коли бы кому обещал, так бы меня сюда не прислал! — отрезал медведь и опять всех развеселил своим простодушием.

Тогда кардинал, обращаясь к нему, сказал:

— Говори за мною, посол! — и начал говорить по-латыни.

---

[1] Приди, Создатель! *(лат.)*

Власьев повторял за ним — и с такою удивительною правильностью, с таким знанием латинского языка, что паны рты разинули от изумления.

— А! Пшекленты москаль! Только притворяется простачком, а язык Горациуша прекрасно знает,— шептали они, поглядывая на продувного москаля.

А москаль, показав, что он отлично знает латинский язык, остановил кардинала и сказал:

— Панне Марине имею говорить я, а не ваша милость.

И чистым латинским языком проговорил Марине обещание от имени царя.

Затем кардинал потребовал обыкновенного обмена колец. Власьев, вынув из коробочки перстень с огромнейшим алмазом, величиною в крупную вишню, подал кардиналу. Алмаз молнией блеснул в очи панов. У панны королевны даже ресницы дрогнули при виде такого чудовища.

Кардинал надел перстень на пальчик Марины.

Когда кардинал, сняв с пальчика Марины ее перстенек, хотел было надеть его на толстый, обрубковатый палец Власьева, этот последний с ужасом отдернул свою руку, словно от раскаленного железа. Этим продувной москаль хотел тонко дать заметить панам, что его царь — такое высочайшее лицо, что до перстня его невесты он не смеет дотронуться голой рукой, а не то что позволить надеть его на свою грубую, холопскую лапищу. Напротив, он взял перстень Марины через платок, как что-то ядовитое для него, жгучее и бережно спрятал в другую коробочку. Точно так же Власьев протестовал, когда кардинал хотел, в силу обряда, связывать руку Марины с рукою посла: он потребовал, чтобы ему подали особый платок, и только тогда, когда плотно обмотал им свою руку, осмелился слегка дотронуться до руки царской невесты. Да и что это была за ручка! Власьеву казалось, что она тотчас же, словно сахарная, растает в его горячей и потной ручище.

Обряд обручения кончился, и собрание двинулось в столовую залу к обеду. За московским послом сорок царских слуг-дворян несли чуть ли не сорок сороков подарков от царя невесте и ее отцу. Что за подарки! Какое богатство золота и драгоценностей! И все это ради вон того милого, грустного личика девушки, которую, видимо, тяготила эта показная обрядность и которой сердце, как неосторожно тронутая стрелка компаса, трепетно билось между нордом и зюдом, не зная, на чем

остановиться... Но север, суровый, неприветливый, тянул могучее юга, мягкого, податливого... Паны и пани ахают над подарками, а она глянет на какую-нибудь редкость, чудовищную драгоценность, для нее предназначенную, глянет мельком, зарумянится, потупит глаза и перенесет их то на своего татка, то на Урсулу, то на Власьева, которого от этих взглядов постоянно в жар бросало... «Уж и буркалы ж какие, недаром завоевали Московское царство буркалы эти девичьи...»

Прием подарков кончился. Собрание — за обеденными столами. На первом месте — король, вправо от него — Марина, влево — панна королевна и королевич Владислав. Напротив — кардинал и папский нунций.

Власьев — рядом с Мариной. Но какого стоило труда посадить его рядом! Он шел к своему почетному месту словно на виселицу. Он упирался как вол.

— Не пристало холопу сидеть рядом с царской невестой,— твердил он.

Но его усадили-таки. И зато какой трепет изображал он на своем плутоватом лице, показывая, что боится, как бы ненароком не прикоснуться своею холопскою одеждой к одежде будущей царицы. В продолжение бесконечного обеда он не притронулся ни к одному блюду.

— Что значит, что господин посол ничего не кушает? — спросил король через пана Войту.

— Не годится холопу есть с государями,— отвечал лукавый старик.

И Марина во весь обед ничего не кушала. Великая миссия ее уже начиналась: она уже страдала, не испробовав счастья. Она прощалась с детством своим. Она становилась в фокусе великого народного государственного дела и не могла не видеть, что на нее уже обращены взоры половины вселенной. Ох, страшно у горна кузницы, в которой куется счастье и несчастье миллионов человеческих жизней!.. «Мамо! Мамо!» — молится она своим детским сердцем к матери; но матери нет у нее — она давно в могиле.

— Марина,— говорит старый воевода, взяв свою милую цуречку за руки.— Иди сюда, пади к ногам его величества короля, государя нашего милостивого, твоего благодетеля, и благодари его за великие благодеяния.

Гордый король встает при этих словах. Эта девчонка, стоящая перед ним с смущенною потупленною головкой, в несколько минут выросла — доросла до царского величия.

Но девчонка все еще чувствует себя девчонкой и падает на колени, словно бы это была классная комната, а король — это пани Тарлова, ее бабушка и учительница... а девчонка не приготовила урока.

Король, наклонившись, поднял с полу девочку и, сняв перед ней шапку, чего не делал даже перед царским послом, сказал торжественно:

— Поздравляю тебя, Марина. То, чего ты удостоилась, дано тебе Богом для того, чтобы ты своего супруга, чудесно тебе от Бога дарованного, приводила к соседской любви и постоянной дружбе с нами для блага нашего королевства, ибо если тамошние люди прежде сохраняли согласие и соседственное дружество с коронными землями, то тем более теперь должен укрепиться союз приязни и доброго соседства. Не забывай, что ты воспитана в королевстве Польском; здесь получила ты от Бога свое настоящее достоинство; здесь твои милые родители, твои кровные друзья; сохраняй же мир между обоими государствами и веди своего супруга к тому, чтоб он дружелюбием и взаимным доброжелательством вознаградил отечество твоего родителя за то расположение, какое испытал здесь. Слушайся приказаний и наставлений своих родителей, уважай их, помни о Боге, живи в страхе Божием, и будет Божие благословение над тобой и над твоим потомством, если Бог тебе дарует его, чего мы тебе желаем... Люби польские обычаи и старайся о сохранении дружелюбия и приязни с народом польским.

Король перекрестил трепещущую девочку, которая снова, точно ребенок, упала к ногам Сигизмунда. Она рыдала, захлебываясь слезами.

Даже суровый Власьев не выдержал — у него на глазах показались слезы.

— Ишь, бедного ребенка раскивилили... Статочное ли дело говорить экому младенцу про великие государские дела... Еще занеможет бедное дите, а с меня взыщется, — бормотал он себе под нос.

XXI. ДИМИТРИЙ У КСЕНИИ И КСЕНИЯ У ДИМИТРИЯ

Да, удивительная, непостижимая личность этот царь-бродяга, царь-проходимец, царь, «не помнящий родства»!.. При всей своей кипучей деятельности, которой хватило бы на десять человек, при всем разнообразии

развлечений и удовольствий, на которые также хватало и сил и времени у этого изумительного человека, у этого «беса», каким он после показался москвичам — удовольствий, которым он, как и работам государственным, отдавался со всем пылом молодости и со всею страстностью своей огненной натуры,— при всем этом непостижимое существо, носившее имя Димитрия, сильно скучало по своей возлюбленной, по Маринушке Мнишковой. Это была первая любовь — первая любовь демона.

А между тем и после обручения Марина не ехала к своему коронованному жениху. Старый Мнишек отчасти потому медлил с приездом в Москву, что выжидал, насколько крепко усядется на троне удивительный женишок его красавицы Марыни, а отчасти для того, чтобы побольше выдоить у него денег. А он доил его бессовестно! Он обирал и Власьева, который сыпал батюшке своей будущей царицы золото просто лопатами, словно просо; он обирал московских купцов, заезжавших в Польшу, набирая у них всяких дорогих товаров на сотни тысяч, и в то же время жаловался будущему зятьку-царю, что он разорился на пиры для своей Марыни, для поддержания гонору тестя царя московского.

С другой стороны, хитрый воевода, желая еще дольше подоить московскую коровенку, послал Димитрию такую шпильку, которая попала в самое сердце тому, кому предназначалась. Мнишек сообщал Димитрию в одном письме, что до него дошли невероятные слухи о том, якобы дочь Бориса Годунова, красавица Ксения, «слишком близка к нему...» Старая лиса, специально поставлявшая своему королю любовниц, вроде Барбары Гижанки, ходок насчет женского естества и профессор амурных дел, Мнишек хорошо знал с этой специальной стороны сердце человеческое, не зная его совершенно с другой,— и ударом по столу заставил ножницы отозваться...

Действительно, старый воевода был прав: между Димитрием и Ксениею, как в то время выражались русские люди, «доброе совершилось»... Как оно «совершилось» — сами Димитрий и Ксения не могли бы сказать; но оно совершилось...

В первые дни по вступлении на престол Димитрий, посещая московские соборы и монастыри, отправился молиться и в Новодевичий. После службы он спро-

сил настоятельницу, в церкви ли находится Ксения.

— Она моя племянница,— сказал он.— Хотя отец ее, Борис, и учинился изменником мне, великому государю, и за то погибе лютою смертию, токмо дочь его в том неповинна. Я хочу видеть царевну Аксинью. Здесь она?

— Нет, царь-государь,— отвечала игуменья, низко кланяясь.

— Как нет? Мне доложили, якобы она в Новодевичьем.

— Точно, государь, она в нашей обители, но в храме ее ноне не было.

— Чего для?

— Немощствует она, великий государь.

Действительно, Ксении на этот раз не было в церкви. Узнав, что в монастырь ожидают царя, она сказалась больной и осталась в своей келье.

— Я хочу видеть ее,— сказал Димитрий.— У нее никого не осталось окроме меня — она сиротка.

Игуменья тотчас же послала сказать Ксении, что к ней идет царь... Вышед из церкви, Димитрий прямо направился в келью сиротки, к которой провела его сама настоятельница.

Он вошел в келью один, потому что никто не осмелился следовать за ним без особого приказания. Первое, что он увидел — это медное распятие на черном аналое и стоящую перед ним на коленях женщину, всю в черном. Видна была только часть белой, молочного цвета шеи и большущая черная коса, двумя трубами ниспадавшая до земли... Димитрию почему-то почудилось, что он видит затылок Марины, наклонившейся над гнездом горлинки...

Услышав шаги, Ксения быстро поднялась с колен и обернулась... Перед глазами Димитрия на мгновенье блеснуло что-то белое, необычайно белое и нежное, сверкнули какие-то искры — и странно! — темные искры, словно из темного огня... и тотчас все исчезло... Девушка упала ниц перед царем, перед страшным мстителем, отнявшим у нее отца, мать, брата, счастье.

— Здравствуй, царевна-племянница! — сказал Димитрий ласково.— Я пришел повидать тебя.

Голова девушки лежала на полу и тихо билась о камень.

— Встань, царевна.

В ответ — ни звука, только плечи вздрагивают. Димитрий нагибается и осторожно берет девушку за плечи.

— Встань, бедная сиротка. Встань, Аксиньюшка,—

говорит он еще ласковее.— Я не царь тебе, а дядя твой.

От полу поднялось скорбное, заплаканное лицо девушки. Она стояла на коленях, сжав руки, как перед образом. Современный хронограф, описывая необыкновенную красоту Ксении, прибавляет, что она особенно блистала этою ангельскою красотою, когда плакала... Димитрия поразила эта красота... Странно: ему опять почудилось, что перед ним Марина! Но только больше теплоты и детскости виделось на этом прекрасном, полном личике, в этих больших, робких, младенчески чистых глазах...

— Господь с тобой! — сказал он каким-то упавшим голосом.— Прости меня, не от меня твое горе.

Он растерялся... Первый раз в жизни в голосе его звучала искренность и — трудно поверить! — робость... Робость — в человеке, который из-под забора шагнул на престол, с одною клюкою калики перехожего покорил царство!

— Аксиньюшка! Видит Бог — я не хотел... То Божий суд... Его воля. Встань, родная!

Он нежно поднял ее с колен. Она робко глянула ему в глаза своими большими детскими глазами и снова заплакала.

— Государь, прости меня... я... я...— и она закрыла лицо руками.

Димитрий чувствовал, что и у него слезы подступают к горлу.

— Нет, ты меня прости, голубушка, родная моя, Аксиньюшка.

И, нежно обхватив ее голову руками, он целовал ее в темя, приговаривая: «Дитятко горькое... сиротинушка... дитя Божье, одинокое... нет, ты не будешь одна — я еще остался у тебя, у горькой, я, дядя твой...»

Ксения чувствовала, как на темя ее капают теплые слезы. Это его слезы! Она снова опустилась на пол и, поймав его руки, припала к ним горячими губами... «Нет, это не расстрига... это дядя Митя... подлинно он»,— шепталось в ее добром, растопленном слезами и лаской молодом сердце... А он снова поднял ее, перекрестил, как ребенка, еще перекрестил и еще, и тихо поцеловал в лоб.

— Государь-дядюшка, прости меня, я не знала...— и она опять целовала его руки.

— Сядь, родная, успокойся, поговорим с тобой.

И он усадил ее на широкую лавку, покрытую черным сукном, а сам сел на деревянном, резанном из цельного

дуба сиденье, у стола, на котором лежала раскрытая, писанная уставом книга, а около нее — полуисписанная тетрадка. Тут же стояла и большая, потемневшая от времени медная чернильница, на ручках которой были такие же медные головки с крылышками.

Димитрий обратил внимание на тетрадку.

— Это ты пишешь? — спросил он, рассматривая писанье.

— Я, государь,— отвечала девушка, зарумянившись слегка.

— Какая ж ты искусница книжная, уставом пишешь. А это противень? — спросил он, указав на раскрытую книгу.

— Противень, государь.

— И какая у тебя заставка вышла важная. Вязь зело мудреного узору. И киноварь знатная,— говорил он, любуясь писаньем девушки.— Кому это?

— Матушке игуменье, государь.

Димитрий ласково посмотрел в добрые глаза девушки и задумался. Ему, видимо, хотелось спросить ее о чем-то, но слово не шло из горла — тяжелое слово...

— Ты давно здесь, друг мой Аксиньюшка? — нерешительно спросил он, рассматривая тетрадку.

— Со Предтечина дня, государь.

Нет, не шло из горла то слово... тяжелое слово...

— Тебе не след здесь жить, Аксиньюшка, ты не черница. Не радостна жизнь чернецкая.

Ксения молчала. Какая же у нее могла быть другая жизнь? Что у нее осталось? Дорогие могилы, но и они заброшены, поруганы. Могила и ее ждет — могильная келья монастырская. И в сердце ее невольно заныла ее же собственная песня:

Ино мне постритчися не хочет,
Чернеческого чина не сдержати,
Отворити будет темна келья,
На добрых молодцов посмотрити...

— Я тебя возьму отсюда во двор... твой терем тебе и остался, в нем и будешь жить,— снова сказал Димитрий.

— Спасибо, государь... я не знаю... мне...

— Что, мой друг? Ты будешь не одна — все твои подружки будут с тобою. Мне сказывали, у тебя в приближении была Арина, князя Телятевского дочка, да и других бояр дочери... Возьми их к себе в сенные.

Ксения вспомнила свой терем, своих подружек — и горькая песня снова заныла в сердце:

Ино охте мне молоды горевати,
Как мне в темну келью ступати...

Слезы опять брызнули из добрых глаз — белая грудь ходенем заходила.

— Да Господь же с тобой, родимушка моя! Почто убиваешься? По матушке, по батюшке? Ох, бедная сиротинушка. Да не сироточка ты — я у тебя остался, девынька милая.

И он тихо гладил ей голову, как маленькому ребенку, и, пригнув к себе на грудь, нежно шептал:

— Господь над тобой... Господь над тобой. Я тебя так не оставлю, дитятко горькое.

А она, бессознательно отдавшись этим ласкам, смутно ощущала внутри себя что-то могуче протестующее, и в то же время всем телом чувствовала такую слабость, такую истому, что точно тело это все размякло, осунулось... Она испытывала какое-то смешанное ощущение: то ей чувствовалось, что это она на груди у матери, у брата Феди, то нет — что-то не то, что-то более томительное и ослабляющее... не то сон клонит, голова сама валится с плеч, кружится... сердце не то остановилось, не то замерло, захлебнулось... это от слабости, от головокружения. «Дядюшка... дядя...» — шепчут губы.

— Родная моя, голубушка.

— Слава государю нашему Дмитрей Иванычу — слава!

— Матушке его благоверной государыне царице — слава!

Димитрий опомнился. Это москвичи и подмосковники, узнав, что царь в Новодевичьем, пришли поглазеть на него и покричать. К тому же был праздник, так народу собралось видимо-невидимо. Очнулась и Ксения: она освободилась из объятий своего новоявленного дядюшки — и вся зарделась.

— Так я отдам приказ, Аксиньюшка, чтобы тебе твой терем приготовили,— сказал он, оправившись от волнения.

— Спасибо, государь. Только мне негоже в мир идти — не пристало.

— Для чего не пристало?

— Я сирота, государь, безродная.

— Не безродная ты, Аксиньюшка: мой род — твой род.

— Митрей Иваныч, слава! — ревели голоса.— Многая лета государю-батюшке.

Димитрий должен был выйти.

— Прощай, племянница,— сказал он и, положив руки на полные, круглые плечи девушки, поцеловал ее в лоб и перекрестил.— Будь здрава и помолись обо мне. Готовься в терем свой.

И он вышел. Ксения едва могла прийти в себя — так все это нечаянно случилось, что она даже не могла понять, что ж это такое было. Она ожидала чего-то страшного, чего-то такого, что вызывало в ней ужас смерти и самые мрачные воспоминанья. Она и пришла в ужас, когда вошло к ней это ожидаемое, это *что-то такое,* чего она не могла себе представить. И вдруг, словно заколдованная голосом чудовища, она забыла все, растерялась. Это было не то, чего она ожидала — и это срезало всю ее молодую волю, которая налажена была на протест, на борьбу, на ненависть. Случилось совсем не то: этот ласковый голос, эти добрые, участливые глаза, эти слезы, ласки — все это потянуло к себе одинокую, истосковавшуюся девушку, для которой мир стал пустыней. Это точно Федя приходил — так не страшно с ним — он родной... То несчастье, страшное несчастье — от Бога, от Его святой воли, а этот, что приходил, ни при чем тут — *он* добрый, *он* плакал...

А под окнами, в ограде монастыря и за оградой, гул стоит. Это «ему» кричат, «его» славят. И Ксении вспоминается ее прошлое. «Так и батюшку славили, и Федю, и меня».

Она упала на колени и стала молиться.

Прошло несколько недель. Ксения опять в Кремле, в своем тереме. Это тот же терем, те же стены, те же переходы, но не то кругом, что было еще так недавно: эти «бранные убрусы», эти «золоты ширинки», эти «яхонты сережки», о которых она плакалась в своей песне — это все есть, но это не то... Не так стало и во дворе, в царских теремах, как было при батюшке... Когда-то и при батюшке было шумно, весело, но это было давно, когда она была еще маленькою царевною. А в последнее время и при батюшке, и при Феде — тихо, сумрачно, печаль-

но было... А теперь не то: все новые лица кругом — эти казаки, литовцы, польские панны... И речь-то нерусская, незнакомая слышится... И шумно как — музыка разная, веселости всякие. И на Москве шумно — то скоморохи по городу кричат, то домры и накры гудут, волынки воют, действа всякие на улицах... Ах, если бы так при батюшке с матушкой было да при Феде.

Она была одна в своем тереме. Вечерело. И Оринушка Телятевская и Наташа Ростовская пошли ко всенощной. Завтра, 24 июля, память Борису, отцу Ксении, так и Оринушка и Наташа пошли помолиться, а завтра чтоб панихиду отслужить по покойном Борисе. Самой-то Ксении горько и обидно выходить из терема и показываться в церкви с того дня, как народ выволок их всех, Годуновых, из дворца и надругался над ними.

Душно. Она сняла с себя лишнее одеяние и осталась в одной кружевной сорочке и белом шелковом сарафане. Нет, все еще душно: голове жарко — это от косы — тяжела уж она невмочь, а особливо когда туго заплетена. Ксения и косу расплела — так и укрылась вся косою, словно буркою черною. Только и белеется низ сарафана да часть сорочки на груди.

Она задумалась. Вспомнилось, как торжественно праздновались, бывало, именины ее батюшки царя. Она положила голову на руки, припала к окну, к оконнице, да так и осталась.

Она не слыхала, как кто-то, тихо ступая по коврам, вошел к ней и остановился. Это был царь. Догадавшись, что Ксения опять плачет, он осторожно положил ей руку на голову. Девушка встрепенулась.

— Ах, это ты, государь.

Она растерялась от неожиданности и смутилась, что ее застали не в порядке, с распущенною косою...

— Ты опять в слезах,— сказал Димитрий с нежным укором.

— Прости, государь-дядюшка... я... я вспомнила...

— Что ты вспомнила, Аксиньюшка?

— Ох, прости, государь. Я батюшку вспомнила.

— Что ж, милая? Родителей и Бог велит помнить и молиться о них.

— Я молилась. Завтра батюшкова память, государь.

— А что завтра, друг мой?

— Память святых страстотерпцев российских князей Бориса и Глеба, государь.

— Что ж ты одна? Где твои девушки?

— У всенощнаго бдения, государь. Я... я боюсь, государь. Нас тогда... из терема... ругались над нами...

Она не могла говорить дальше — слезы задушили ее, и она зарыдала. Димитрий бросился к ней, схватил ее за руки, обнял и крепко притиснул к себе, целуя ее волосы, плечи, руки и бессвязно повторяя:

— Полно... полно, мое солнышко... забудь старое... милая моя, родимая моя! Полно же надрываться, Аксиньюшка, золото червонное... Да полно же, полно, светик мой...

И он целовал ее, припав на колени и путаясь головой в ее волосах, снова вставал, целовал ее шею, глаза... А она точно обомлела. Она забыла все, что около нее, где она, что с ней делается. И руки упали, и голова валится с плеч, и сердце замерло. Ей казалось, как будто она сама вся умирает в сладких судорогах. Ох, если б умереть так. Что это? Она никогда этого не испытывала. Она не чувствовала, как запонка ее сорочки выскочила из ворота и упала на пол, как сорочка спустилась с плеч, с груди и как он припал горячим лицом к ее жарким, упругим сосцам.

— Милая, радость моя...

— Ох... государь мой... дядюшка... дядя.

И руки ее сами собой распахнулись широко-широко. Она потянулась вперед и, обхватив его голову, так и замерла.

— Дядя... Митя... голубчик...

Димитрий высвободился из ее объятий, бледный, дрожащий, растерянно обвел комнату глазами и, схватив девушку в охапку, словно маленького ребенка, несмотря на массивность и полноту ее тела, прижал к себе и, шатаясь, понес ее, сам не зная куда... Ксения тихо простонала и обвилась руками вокруг его шеи...

— А мыши-то идут за гробом да горько-прегорько плачут...

> А мышь татарская Оринка
> Дудит на волынке.
> А мышь из Рязани,
> В синем сарафане,
> Идучи, горько плачет,
> А сама вприсядку пляшет..

Это бормотала дурка Анисьюшка, дворская потешница, которая была ко всем вхожа. Войдя в рукодельную

Ксении и не найдя в ней никого, дурка — она была карлица — затопала по ковру маленькими ножками и снова забормотала:

— Ах она стрекоза-егоза, девка-чернавка — на смех мне сказала, что Оксиньюшка в терему... Ан ее нетути... Погоди ты у меня, коза, походит по тебе лоза...

И она вышла на переходы, бормоча:

У дурки Онисьи
Шуба лисья,
Душегрея плисья...

XXII. ИГРА В СНЕЖКИ. ГОРЕ «СВИСТУНУ»

— Уж больно добер наш царь-от,— говорил Корела-атаман, следуя со своим товарищем, атаманом Смагою, и с донскими казаками за город, где Димитрий велел устроить снежную и ледяную крепость, которую, ради упражнения людей в воинском деле, нужно было брать штурмом.

— Чего не добер! — отвечал Смага, коренастый брюнет с волосами в кружало и с южным типом лица.— А поди, себе на беду.

— Да как не на беду — уйму не знают эти польские стрижи: всех задирают, никого знать не хотят, по церквам с собаками ходят.

— Э! Се що! — вмешался Куцько, запорожец, отрывая ледяные сосульки с своих черных усищ.— А ото у недилю, так вони на улици московок ловили та жениха-лись з ними. Так просто оце за цицьку або там за що друге ухопить московску, та й каже: «Мы вам-ка царя дали, так вы нас-ка вважайте, давайте все, що у вас е...» А московски у слезы. Гай-гай. Пиднесут им скоро москали тертого хрину.

— Да и поднесут,— заметил Корела.— Онамедни какой-то панишка Липский наплевал в бороду торговому человеку Коневу и вылаял его матерно. Так московские люди, зело заартачившись, сцапали этого панишку да и повели по улицам, а один парень идет за им да по московскому-то звычаю-обычаю кнутом его, да кнутом и подгоняет: «Но-но, говорит, польская лошадка, не брыкайся!..» Да как прогоняли этого панишку мимо посольскаго двора, и выскочи оттуда польские жолнеры с саблями — ну и пошел разговор: у москалей-то только

кулаки да рукавицы, а у жолнеров-то — матки-шаблюки... Ну, москалей-то и поцарапали, а которых и совсем порешили: «Медведей-де на рогатину да шкуру долой». Довели это до царя... Царь и говорит жолнерам: «Выдайте, говорит, паны, тех, которые моих москалей изобидели, а не выдадите, говорит, добром, так велю подвезти пушку да всех от мала до велика, и с гнездом-то вашим, испепелю». А поляки, знамо, носы задирают, вонсы закручивают: «Так-то де ты, царь, платишь нам за нашу службу? Мы-де за тебя панскую кровь проливали. Ты-де нас пушкой не запугаешь: пущай-де нас побьют, а только-де помни, царь, что у нас есть король и братья в Польше... Узнают, так не похвалят тебя, а мы-де умрем все храбро». И что ж бы вы думали? Еще он же и похвалил их за храбрость: «Молодцы-де, говорит, люблю!» А уже москалям велел выдать зачинщиков, да и посадил их в башню на корточки на целые сутки... Так, на корточках, и высидели, потому ежели который повернулся бы, так прямо бы на острые шпигорья и напоролся... Ну а московские люди, знамо, сердятся за это на царя: выдал-де нас всех ляхам, и с головою.

— О!.. Лях — се така птиця, що зараз очи выдовба, тильки ий палец дай,— пояснил Куцько.— И пидведут вони царя.

— Да он сам идет к беде,— прибавил Корела.— И Бог его знает, что за человек! Ничего и никого не боится. Теперь простил вот этих Шуйских, что ему яму копали! У! Это такая семейка, эти Шуйские, такое зелье, а особливо старый Васька, этот землепроход: и продаст, и купит, и все в барышах останется... Наварят они ему каши...

— Да и Годуновых простил,— прибавил Смага.

— Годуновы что! Этот Ванька Годунов — дурак дураком, хоть он его и сделал сибирским воеводой.

— Гай-гай! Тут не без чогос, тут дивчиною пахне,— лукаво заметил запорожец, у которого всегда на уме было что-нибудь скоромное.

— Какою дивчиною? — спросил Корела.

— А Годунивна ж.

— Это Ксения-то?

— Та вона ж. Дуже, кажут, медом пахне. Он, Тренька ваш, с самого Дону до неи прилинув, щоб хоч оком одним на те трубокосе диво подивиться.

— Так что ж царь-то?

— Э! Що? И вин, мабудь, живый чоловик.
— Мало у него!
— Овва! Який мед...

В это время впереди них, на пригорке, ясно обозначилось какое-то белое чудовищное здание. Это была построенная, по приказанию Димитрия, потешная крепость: стены ее и бойницы сложены были из ледяных глыб, и все остальное было изо льду и снегу, политого водой и замороженного в льдины. Зрелище было поразительное. Вся ледяная громадина сверкала бриллиантами. Солнце, преломляясь в ледяных глыбах и отражаясь от снежных, замороженных крепостных валов, блистало всеми радужными цветами. В амбразурах крепости поставлены были какие-то чудовища, которые изображали собою татарскую силу, этих чудовищ Димитрий собирался громить, как он намерен был разгромить и Крымскую орду.

Над крепостью развевалось знамя: на белом полотне красовался громадный красный полумесяц, а под ним — поверженный и сломанный крест.

Московские войска виднелись на стенах крепости и за валами. Они изображали собой татар, и они же должны были защищать крепость от царя, который командовал немецкими ротами, польскими жолнерами, а равно донскими и запорожскими казаками. Крепостью же и ее войсками командовал князь Мстиславский.

Москва, жадная до зрелищ, привалила на это позорище. Тут толкались и галдели уже знакомые нам лица — и из Охотного ряду великан, и детина из Обжорного ряду, и Теренька, и рыжий его товарищ, и офеня...

— А ты мотри-мотри! — показывал детина из Обжорного ряду на чудовищ, поставленных в амбразурах.— Вот дива! Что оно такое есть?

— А бесы... Али ты не видишь? С хвостами... ишь, хвостища-то какие!

— С нами крестная сила! — ахает баба с горячими оладьями.

В это время показался царь. Он ехал на белом коне, в сопровождении Басманова и других начальников.

— Буди здрав! Слава! — закричали русские.
— Гох! Гох! Гроссер кейзер! — вопили немцы.
— Нех жие! Нех жие! — вторили поляки.
— Ишь залаяли по-собачьи, вертоусы проклятые! —

вставил свое слово «Охотный ряд».— Зудят у меня на вас руки, погодите!

— Что ж, братцы, это наших собираются бить? — любопытствовал «Обжорный ряд».

— Да вестимо нас, дураков... Кто ж нас не бьет?

А дело похоже было на то, что действительно собирались бить русских: так выходило по планам осады.

Царь повел свои отряды на приступ. Битва должна была произойти на снежках, по московскому обычаю. По первому сигналу на осажденных посыпались тучи снежных комьев. Но уж для кого снег составляет родную стихию, как не для русского человека? На этот раз осаждаемые ответили такими снежными митральезами, что осаждающие попятились назад. Многие немцы попадали. У иных, и у немцев, и у поляков, носы оказались разбитыми. В толпе послышался взрыв хохота.

Басманов поскакал в крепость для каких-то переговоров: он повез от царя приказание — не очень упорно защищаться, чтоб не вышло в самом деле драки. Мстиславский должен был повиноваться и укротить воинственный пыл стрельцов и других ратных людей.

Снова приступ — снова тучи комьев. Осажденные подались... по приказу.

— Братцы! Наших бьют! — завопил «Охотный ряд»

— Не давай, робята, наших в обиду!

— Валяй их, вертоусов латинских!

— Немцы, я видела, со снегом камни метали,— вмешалась баба.

— Бей их, гусынных детей! — раздаются крики.

Как бы то ни было, крепость была взята немцами, поляками и казаками. Так было угодно царю. Он поступил так бестактно, не желая никого обидеть и, напротив, желая сблизить русский народ с иностранцами. Он все силы употреблял, чтоб выставить напоказ все лучшие стороны последних, но русские были обижены этой бестактностью юного, пылкого монарха, как он невольно обижал их и в других случаях: что для него казалось глупостью, предрассудком, закоснелостью, то именно и было дорого москвичам.

Шуйский все это видел и все взвешивал на своих аптекарских весах. Молодой, увлекающийся царь простил его, воротил из Вятки, куда он отвезен был прямо от плахи, с Красной площади, и где пробыл всего до октября; мало того, веруя в честность и искренность людей — качества, которыми, к удивлению, наделила природа

этого неразгаданного человека необыкновенно щедро, качества истинно рыцарские, положительно поражающие в этом таинственном, точно с неба свалившемся существе,— веруя исключительно в добрые начала и великодушно прощая злые,— Димитрий возвратил Шуйскому все свое доверие.

И вот сидит этот убеленный коварством Васюта в своих богатых палатах вечером, после взятия Димитрием ледяной крепости, и обводит своими лукавыми глазами собравшихся у него гостей. Тут и братцы его Димитрий и Иван Шуйские, слабые копии своего братца Васюты. Тут и Голицын-князь, и Василий Васильевич и Михайло Игнатьевич Татищевы, и князь Куракин, и Гермоген казанский. Тут и некоторые из стрелецких голов, сотников и пятидесятников. Торчит и почтенная борода купчины Конева с серьгой в ухе.

— Что, Гриша, у тебя фонарь-от под глазом? Али не светло ноне стало в Москве, что московские люди с фонарями под глазами стали ходить,— ехидно обращается Васюта к сотнику стрелецкому, дворянину Григорию Валуеву.— Ишь, фонарище какой.

— Это ноне, как потешную крепость царь брал, так один литовец угодил мне камнем замест снегу.

— И ты ему вонсы его не выдрал?

— Царь не велел.

Такими и подобными шпильками Шуйский подготовлял то, что ему нужно было

— А ты, Федор, почто бороду не сбрил после польской харкотины? — шпигует он Конева.

— За что брить святой волос...— пробурчал Конев

— А коли его опоганили?

— Ну, после освятили.

— Как освятили?

— Знамо как — водой святой. Ведь коли кошку дохлую али собаку вкинут в колодец да тем его опоганят, так после, вынявши падаль, снова крестят и святят колодец. Так и бороду мне отец Николай освятил и окропил.

— Так-то так,— продолжал Шуйский.— А вот коли в Русскую землю, в Москву-матушку, в сей кладезь православия, набросали падали — кошек да псов дохлых, папежской да лютеранской ереси, так от этой падали уж не откропиться нам, не очистить земли Российской. А кто причиною?

— Царь,— угрюмо отвечал Гермоген казанский.

— Истинно глаголешь, отец святой,— поддакивал Васюта.— Да, отцы и братия,— наводил он на свое.— Попутал нас нечистый за грехи наши. Мы вон думали, что спасемся от Бориса, коли признаем царевичем расстригу. Он-де все ж наш, православной, знает истовый крест и не дает в обиду правой веры и обычаев наших. Ан мы обманулись — обошел нас еретик. Какой он царь? Какое в нем достоинство, коли он с шутами-скоморохами да сопельщиками тешится, сам, аки Иродиада-плясавица, пляшет и хари надевает? Это не царь, а скоморох...

— Уж что и говорить, коли хари надевает,— снова вставил богословское замечание купчина.— За это на том свете черти наденут на него огненную железную харю.

— Жупелом его ерихонским! — не утерпел и пятидесятник стрелецкий.

— Жупелом, точно жупелом,— подтвердил Шуйский, подлаживаясь под стрельцов.— Он не русский царь, а польский: больше любит иноземцев, чем русских, о церкви Божией не радеет, позволяет еретикам с собаками в церковь ходить, не соблюдает постов, ходит в иноземном платье, обижает духовный чин, посягает, аки тать, на достояние святых монастырей... Вон арбатских попов выгнал на улицу, аки непотребных каких, а домы их немцам отдал. Чем эта нечисть лучше иереев Божих? А ему не любы они, потому водится с латинами проклятыми да с люторами-нехристями, пьет-ест с ними из одной чашки, как пес со свинией, да еще топерево и женится на нечести, на еретичке — на литовской девке Маришке. Али это не бесчестье всем нашим московским девицам? Али бы у нас ему не нашлось из честного боярского дома невесты и породистее, и телом дебелее, и станом потолще, и лицом краше этой польской выхухоли? А что будет, как он женится на ней, на еретичке! Польский король Жигимонтишка станет помыкать нами, аки своими холопями: мы попадем в неволю к Литве. А вон она, проклятая, как вонсы закренцила, какими велькими бутами по нашей земле стучит: «Наше-де будет!» Теперь он хочет, в угоду Жигимонту, воевать со Свейскою землею, послал уж в Новгород мосты мостить, да он же и крымских татар задирает и с турками воевать хочет. Так он нас вконец разорит. Наша кровь будет литься, наша казна ухнет — а ему что! Это не его, а наше. Доселе он в Киеве милостыней жил, под заборами спал, так ему не в диковинку будет и всю Русь

спустить. Это проходимец, бродяга, не помнящий родства, овца без стада! А он у нас царь! Срам, срам, срам! Мы скоро станем притчею во языцех... Царя из-под забора взяли! Да пусть, и это не беда: из Руси-матушки хоть жилы вымотай, а она все будет жить, двужильная... А вот вера-то святая погибнет, церкви в костелы да в капища перевернутся; вместо иереев в храмах латинския собаки будут выть да скоморохи на сопелях да на гудках играть станут... Вот оно где, горе-то великое.

Гермоген вскочил и застучал своим посохом так сильно, что Шуйский струсил: ему почудилось, что это встал из гроба Грозный и застучал своим железным посохом: «Васютка Шуенин! В синодик захотел!»

— Так прикажи, князь, мы из него самого биток сделаем,— лаконично заявляет Валуев с фонарем под глазом.

— И этот самый биток собакам кинем,— добавляет голова стрелецкий.

— Ну, московские православные собаки еретичьего-то мяса и есть не станут,— поясняет купчина.

— Нет, отцы и братия, это дело надо сделать, подумавши и Богу помолившись,— снова начинает Шуйский.— Мы маленько пообождем... Пускай колос созреет на нашей ниве, а мы тем временем серпы-то наточим да освятим их, тогда и жать пойдем... Вот пущай приедет его невеста-еретичка да со всем своим выхухолевым гнездом, с батюшкой да с матушкой, да со сродничками-то, пущай они привезут с собой все злато и серебро и узорочье всякое, что им наш-то венчанный бродяга надарил, пущай запой свадебный сделают, да звоны всякие по Москве распустят, да вонсы задерут кверху,— так тогда мы всю эту польскую выхухоль и накроем, да и шкурку с нее сдерем...

— Ладно, обождем,— соглашается стрелецкий голова.

— Эх, жаль! Руки-то зело чешутся на этого польского свистуна,— протестует Валуев.

А «свистун», ничего не подозревая, в этот самый вечер о нем же хлопочет, о Шуйском... Узнав от него, что он потому не женился до пятидесяти четырех лет своей жизни, что девушка, которую он любил, вышла замуж за другого, за Бориса именно, а теперь-де за него, за старого, никто не пойдет, энтузиаст-свистун

проведал, что у князя Буйносова-Ростовского есть хорошенькая дочка, приятельница Ксении, и тотчас же приступил к сватовству.

— Так пойдешь за него, княжна Марьюшка? — допытывает ее добродушный «царь-свистун».— Князь Василий Шуйский хороший человек. Пойдешь, черноглазая воструха?

— Пойду, государь, коли батюшка с матушкой благословят да ты укажешь,— отвечает та, краснея как мак.

— Я не указываю, а советую. Он хороший человек.

А этот «хороший человек» нож точит, да чтобы повострей был... Эх, горемычный царь-бродяга!

XXIII. ТЕЛЕГА СО СТРЕЛЕЦКИМ МЯСОМ

Над Москвою висит снежное, темное, метельное, ветрами позевывающее ночное небо. Снегом посыпает это хмурое небо и дома, и церкви, и площади, и улицы с переулочками: Спит Москва; только изредка, словно из боязни, потявкает где-нибудь добросовестный пес-часовой и снова замолчит. Скоро уснул и позевывающий ветер, которому, казалось, скучно было дуть на сонный город, и он сам прикорнул. Уснули и часовые, что оберегали дворец кремлевский и тоскливо посматривали на окна терема, в которых еще блестел огонек.

Это терем Ксении. Там не спят. Молоденькие, свеженькие личики девушек наклонены над ветхой хseратьей-рукописью, пожелтевшей от времени, как желтеет лицо старости. Какой контраст смерти и жизни! — эта ветхая харатья, на которой полууставом начертаны бессмертные слова человека давно умершего, и эти свежие, полные жизни личики, которые в мертвой харатье искали утешенья, ответа на их вопросы жизни и смерти...

— Как же, голубушка-царевна, ты сама прежде сего сказывала, что Даниил Заточник не похваляет монашеской жизни, а теперь что же? — слышится мелодичный голос княжны Буйносовой.

Ксения молча перелистывает рукопись — «Слово Даниила Заточника».

— Прочти то место, царевна, где он говорит о мертвеце на свинии, о бесе на бабе,— слышится другой голос — Оринушки Телятевской.

— Вот то место,— отвечает Ксения, останавливаясь на одной странице.— «Или induced речеши, княже, пострижися в чернцы? Не видал есми мертвеца на свиниях ездячи, ни черта на бабе, ни едал есмь от ивия смоквы. Луче ми есть тако скончати живот свой, нежели, восприимши ангельский образ, Богу солгати. Лжи бо, рече, мирови, а не Богу: Богу нельзя лгати, ни великим играти. Мнози бо, отшедше мира сего, паки возвращаются, аки пси на свои блевотины, на мирское гонение, на играние бесом, беси бо ими играют, яко обешенными птицами. Мнози бо обходят села и домы сильных мира сего, яко пси ласкосердии иде же брани и пирове — ту чернцы и черницы»...

Так как же, голубушка-царевна, ты пойдешь в монастырь? — настаивает княжна Буйносова.

— Да я и не буду такою черницею, чтобы мною бесы играли, яко обешенною птицею,— грустно отвечает Ксения.— Я не возвращусь в мир — не солгу Богови.

— Как же ты сама-то певала, голубушка:

Ино мне постритчися не хочет,
Чернеческого чину не сдержати
Отворити будет темна келья,
На добрых молодцов посмотрити..

Ксения молчит. Только листок «Слова» дрожит в ее руке. Буйносова не выдерживает и обнимает ее молча. Какое-то горе постигло эти молодые существа — вероятно, новое горе.

— И я за тобой постригусь, царевна. Чего мне ждать? — говорит княжна Телятевская в грустном раздумье.

Такой молодой, прекрасной — чего ждать? Да ведь и у нее есть прошлое с его могильным крестом. Федя-царевич... первый поцелуй над чертежом Российского государства.

— Так и я за тобой,— говорит и Наташа Катырева-Ростовская.

— И я,— шепчет и Марьюшка, княжна Буйносова-Ростовская.

— Тебе нельзя — ты помолвлена,— возражает Наташа.

Ксения их не слушает. Она прислушивается к чему-то другому, ей одной слышимому. С самых страстотерпцев Бориса и Глеба стали замечать, что с Ксенией что-то сделалось, с самого кануна этого дня. Когда ее теремные подружки Наташа, Оринушка и Марьюшка воротились

от всенощной, они нашли ее какой-то задумчивою, какою-то необычайною. Она целовала всех как-то особенно горячо и стыдливо, а потом плакала, а потом опять обнимала и целовала... Все дни после этого она как-то расцвела вся — что-то новое прибавилось в ее красоте, в движениях и особенно в глазах: по временам подружки ее видели в этих глазах что-то новое, им незнакомое... Часто она молилась с какою-то страстностью, плакала... А с зимы, особенно с рождественских праздников, стала она что-то задумываться, спадать с лица... Подружки уже было думали, что она сглажена недобрым глазом, испорчена... А там стала она поговаривать о монастыре, о смерти... Во сне иногда она, слышали девушки, шептала, вся разметавшись: «Дядя... Митя... голубчик мой...» А иногда тоскливо повторяла: «Едет она, едет еретичка... приворожила Митю... съест она его...»

Слова эти так и остались тайною Ксении и «дяди Мити».

Спит Москва. Спят часовые. Не спят только девушки в тереме.

Но вот еще кто-то не спит. По заднему дворцовому двору, вдоль ограды, тихо пробираются две тени. Видно, что ночные посетители направляются к терему, руководимые мерцающим в окнах огоньком.

— Эч, не сплять ще дивчата,— шепчет высокая тень своему товарищу, низенькой тени.

— Да не спят же — так и дурка Онисья сказывала.

— А воно ж, Иродово цулиня старе, не зраде?

— Кто?

— Та дурка ж — не обмане?

— Нет — что ты! Не впервой.

— То-то. А ще Тренька казав, що не вкраду трубокосу Оксану.

— Почто не выкрасть? За деньги и у черта хвост украду.

— Та ты, бисив москаль, не кричи. Сторожа почуе.

— Не почуют — дурка их допьяна напоила.

— От Иродове цулиня! Яке разумне.

— Только одно опаско...

— Що опаско?

— Тютю, дурный! А я ж тоби нови чоботы дав. Хиба ты не бачив, що пидошвы их задом наперед пидбити: закаблуками, бач, идемо вперед, а носки назад.

Они приблизились к самому терему. Огибая угол терема, низенькая тень замяукала кошкой — и вдруг попятилась назад. Из-за угла выступило несколько фигур человеческих с завязанными лицами.

— Кто тут?

Нет ответа. Вновь пришедшие нападают на двух первых. Слышится звяканье оружия. Кто-то вскрикивает В тереме движенье... огни... кто-то бежит по переходам

Паф! Паф! Раздаются выстрелы со стороны часовых. Поднимается шум, стук оружия — во дворце просыпаются.

Ночные тени и фигуры с завязанными лицами исчезают в разные места, как привидения. Слышен только говор дворцовой стражи, команда, крик, вопросы, ответы. Кого-то ищут, кого-то спрашивают, кого-то ловят.

— Пымали хоть одного?

— Нет, проклятые ушли. Это были бесы, а не люди.

Когда при помощи фонарей рассмотрели следы на снегу, то, к удивлению, нашли, что два следа вели не то к терему, не то от терема, и что особенно дивно было, так это то, что следы эти были какие-то бесовские: видно, что след к терему вел, судя по положению ступней, а между тем где должны были быть каблуки сапог — там носки, а пятки впереди...

— Вестимо, бесы,— порешил один стрелец.

— Что ты! У них, у бесов-то, курины ноги и куриный след,— возражал другой.

— А ты видал нешто?

— Видал. Было дело...

— Ишь ты! И в церкви черти с копытцами писаны У них, значит, всякие ноги бывают. Это и был бес.

— Да, може, бес Фармагей,— сказал Басманов, поглядывая на терем и что-то обдумывая.

Басманов, начавший розыск, сразу увидел, что тут затевалось что-то двойное: одно, менее серьезное, с участием беса Фармагея, охотника до девок и до женского естества, а другое — очень серьезное, метившее на государственный переворот.

Оказалось, что заговор был — на жизнь царя! Был исполнителем замысла Шерефединов, мастер своего дела, тот самый, который с Молчановым и тремя стрельцами свел с трона в могилу молодого царя Годунова с матерью. Но тут дело не выгорело: заговорщики, пробравшись во дворец, столкнулись там с другими молодцами, которые охотились на менее крупного зверя — на девическую

красоту. Запорожец Куцько еще на Дону забрал себе в упрямую хохлатую голову — «або не бути, або трубокосу Оксану царевну добути». Это был своего рода Гамлет — «Гамлет-Куцько», который задался своим «быть или не быть» — «або не бути, або дивчину добути». Сговорившись с одним московским пройдохой, с Ваською «Мышиным Царем», отчаянная башка которого способна была на все, Куцько задался безумным планом: украсть Ксению «або соби, або Треньци», которого он очень полюбил. Но и это дело не выгорело.

Шерефединова искали, но он словно в воду канул. Дурка Онисья даже уверяла княжон-боярышень, что его черти с квасом съели.

— Была я в ту пору, девыньки-княжонушки, на переходах, не спалось мне, старой крысе,— рассказывала она на другой день в тереме Ксении.— Вот и смотрю я на двор, смотрю и считаю я снежинки, что с Божьяго-то соболья рукава на землю сыплются. И насчитала я, девыньки-княжонушки, до тьмы-тем и до ворона я, дурка, насчитала. Коли и вижу идут два беса: головы рогаты, морды косматы, бороды козлины, буркалы совины, оба хвостаты, а руки когтяты. А ноги у них, девыньки-княжонушки, курины, да только в сапогах, и ноги-то по-куриному пятками вперед, а коленками назад, и назад же сгибаются, аки у зайца. Я так и ахнула, старая дурка! Да коли гляжу — идут по двору, с другого конца, аки человецы, токмо лиц не видать... Идут к царской палате. А бесы-то как побегут за ними, да двух и схватили и унесли. Один-то и был, девушки-княжонушки, Ондрейко Шерефединов, новокщен из татар. Его-то бесы с квасом и съели, пока петухи не запели.

По розыску Басманова открылось, что между стрельцами начался уже ропот, что были крикуны, которые называли царя расстригой. Семерых таких крикунов взяли за приставы — и они повинились.

Это было ударом для Димитрия: великое здание, которое он созидал, с самого основания начинала уже подтачивать червоточина. Вообще ему становилось подчас невыносимо тяжело. Но он продолжал оставаться неизменным — он не ожесточался, а становился еще великодушнее, он думал победить неведение и просветить человеческую слепоту силою своего духа и тем светочем истинного счастья, которое он надеялся дать своему народу. Удивительный мечтатель! В то же время его сокрушала перемена в Ксении, ее тайная грусть,

что-то тоскливое и тревожное в ее еще недавно светлых, детских глазах. А она ему стала дорога, еще дороже после рокового намека старого Мнишка, что девушка эта «слишком близка к нему».

— Что же, государь, укажешь чинить виновным какую казнь? — спрашивал Басманов насчет семерых уличенных в измене стрельцов.

— Не знаю, Петр,— отвечал Димитрий грустно, глядя на обручальное кольцо Марины, которое Власьев недавно прислал к нему.— Хоть бы строку одну, хоть бы одно слово написала... гордая, проклятая полячка! — невольно сорвалось у него с языка.

Басманов не знал, что ему делать. Он видел, что царь грустит, а развлечь его не умел.

— Укажешь, государь, им головы отрубить, или в срубе сжечь, или вырезать языки, колесовать и тела их на колеса положить? А может, повесить? Расстрелять? В землю зарыть живыми?..— допытывался Басманов, желая развлечь молодого царя прелестями разных казней.— А може, собаками затравить, аки волков в овчарне?

— Не знаю, Петр...

— Что скажет о том твое государево сердце, царь, то и повели.

Сердце... да, сердце... У царя не должно быть сердца! — как-то страстно сказал Димитрий.

— Истинно, государь. Писание глаголет: сердце царево в руце Божией,— извернулся Басманов.

— Нет, Петр. У меня бы не должно быть *совсем* сердца. Сердце мое — это великое зло для страны и народа моего. Доброе сердце будет миловать и награждать не по делам и не по заслугам. Злое сердце — карать и мучить народ без вины. Я жалею о родителе моем, блаженной памяти царе и великом князе Иване Васильевиче, всеа Русии... у коего было сердце... У меня вместо сердца должно бы быть всеведение: только тогда я был бы истинный царь. А всеведение — токмо у Бога.

Басманова поразили эти слова. Он не нашелся, что отвечать: он видел что-то необычайное.

— Я — не Бог. Я никогда не буду судить моих подданных: пусть они сами себя судят. Отдай виновных на суд их товарищей — созови стрельцов, и я к ним выйду,— сказал повелительно непостижимый юноша.

Басманов, низко поклонившись, вышел. Непости-

жимый юноша остался один в грустном раздумье.

Он сильно топнул ногой и встал. Глаза его упали на терем Ксении. «Бедная, бедная... И ее велят мне удалить. Велят — мне!.. О, шляхтич, попрошайка! Продал дочь да еще и торгуется. Бедная Ксения... Она сама хочет в монастырь — она не та, что была, бедная! Она узнала об этой шляхтенке. Что ж мне делать? И ту, проклятую, я люблю — или ненавижу? Да, ненавижу, ненавижу! И для того хочу взглянуть в ее змеиные очи. Бедная Ксенюшка — она не такая, голубица кроткая, плачущая...»

Вошел Басманов. Димитрий молча взглянул на него.

— Стрельцы тебя ждут на дворе, государь,— сказал Басманов.

Димитрий вышел на крыльцо, где уже находились Нагие, Мстиславский, поляки и немцы-алебардщики. Стрельцы, без шапок и безоружные, наполняли весь двор.

Увидав царя, стрельцы повалились на землю головами: кто прямо в снег, кто на камень. Димитрий грустно посмотрел на эту новую мостовую из спин, голов, черных, и рыжих, и седых, из затылков и сапог.

Мостовая усиленно дышала, боясь шевельнуться. Одного слова царя, этого рыженького паренька, достаточно было, чтобы вся эта живая мостовая превратилась в безобразные трупы, чтобы кровью и мозгом голов залит был весь двор с его снегом и камнями. Не шевелятся широкие спины стрелецкие, не ворохнутся головы, припавшие к земле, только дыхание их становится слышнее.

Но рыженький паренек не сказал этого страшного слова.

— Умны! — сказал он с улыбкой сожаления.— Встаньте!

Стрельцы встали, такие понурые, растрепанные, со свисшими на глаза волосами, не смея тряхнуть головами по русской привычке, чтобы эти всклоченные волосы привести в порядок. Ух, крикнет рыженький паренек.

Но рыженький паренек не крикнул. Напротив, с грустью и дрожью в голосе он сказал:

— Мне жаль вас, стрельцы. Жаль мне, прискорбно, что грубы вы, аки невегласи, и нет в вас любви. Доколе вы будете заводить смуты, доколе не престанете делать лихо и беды земле своей? Она и без того лихолетствует. Что же! Хотите вы довести ее до конечного разодрания, аки ризу ветхую? Помяните изменников Годуновых — вспомните, как извели они измором опальным, ссылками

и лютыми казнями знатные роды в земле нашей и неправедно, аки воры, похитили престол царский. Какую кару земля понесла! Мало она стонала! Не все слезы выплакала! Чтобы отереть слезы русского народа, меня сохранил Бог. Для вас же Он избавил меня от смертоносных казней, а вы же, несчастные, ищете погубить меня, спрашиваю я вас? Вы говорите: я не истинный Димитрий... Так обличите меня, и тогда вы вольны лишить меня жизни. Мать моя и эти бояре свидетели — они знают, кто я.

Он указал на Нагих, на Мстиславского, на Шуйского: «Невинные» глаза последнего говорили: «Я чист, как младенец. Я сам похоронил в Угличе вместо тебя поповича».

Многие из стрельцов плакали. Эти грубые пальцы, словно обрубки, эти кулаки, словно гири, поднимались к глазам и утирали слезы, может быть, в первый раз в жизни. Ух, легче голову с плеч, чем плакать стрельцу!

А рыженький паренек продолжал:

— Ах, стрельцы, стрельцы! И как могло учиниться такое великое дело, чтобы кто ни на есть, не будучи истинным царем, обовладел таковым могущественным государством без воли народа? Сам Бог не допустил бы до этого. Я жизнь свою поставлял в опасность не для корысти ради, не ради высокости своей, а чтобы избавить народ мой любезный, упавший в нищету и неволю от руки изменников. Перст Божий призвал меня к сему великому деланию. Его всемогущая десница помогла мне овладеть тем, что мне принадлежит по праву моему, по роду отцов моих. Я вас спрашиваю: почто вы умышляете на меня! Говорите прямо! Говорите мне безо всякого страху: за что вы меня не любите? Что я вам сделал?

Глубокая, горькая искренность звучала в голосе. Стрельцы рыдали, как дети: грубые, жесткие, бородатые, суровые, но горько плачущие лица... Одного Шуйского злоба заставила побелеть и позеленеть.

Плачущие бородачи снова повалились на землю.

— Царь-государь, смилуйся! — вопили они.— Мы ничего не ведаем. Покажи нам тех, что нас перед тобой оговаривают!

— Покажи им,— обратился он к Басманову.

По знаку Басманова алебардщики вывели семерых стрельцов, повинившихся в измене.

— Вот они — смотрите! — сказал Димитрий.— Они повинились и показывают, что все вы зло мыслите на вашего государя.

Сказав это, он быстро ушел во дворец, бормоча в волнении:

— Я не могу... у меня сердце есть... мне жаль их...

За минуту до того плакавшие стрельцы — заревели как звери и кинулись на виновных, кто с криком, кто с воплем, кто с визгом каким-то собачьим:

— Га, идолы! Вы остужаете нас с царем-батюшкой!

— Крамольники проклятые! Нас топите!

Двор превратился в кучу тел, метавшихся и напиравших на одно место, взлезавших друг на друга Виднелись только поднимаемые и опускаемые кулаки...

Через несколько минут из Кремля вывезли телегу. На площади телегу эту обступила толпа плачущих и рвущих на себе волосы стрельчих, стрелецких детей и родственников растерзанных. А стрелец, сидя на облучке телеги, покрикивает:

— Эй, тетки-молодки, белые лебедки! Идите своих муженьков ищите, своих судариков распознавайте, слезами поливайте! А не найдете — и так домой пойдете. Но-но! Пошевеливай..

XXIV. ТЕНЬ ГРОЗНОГО НАД МОСКВОЙ

Третьего мая 1606 года над Москвою на ясном голубом небе остановилось и тихо колебалось продолговатое белое облако; своими очертаниями походило оно на человеческую фигуру. Длинное, в виде монашеской рясы, одеяние на длинном тощем корпусе... Лицо у этой фигуры-облака напоминало лицо, слишком многим в Москве еще памятное,— сухощавое, с сухим орлиным носом в профиль, с небольшою, словно выщипанною козлиною бородкою на остром, выдавшемся вперед подбородке. Глубокие впадины для глаз под нависшими, сдвинутыми бровями. На голове — монашеская скуфейка, из-под которой выбиваются небольшие пряди жидких волос. В руке — длинный заостренный посох.

Шуйский, увидев это облако, остолбенел. Ему почудилось даже, что тень стучит по небу железным посохом и хрипит пропавшим от злобы голосом: «А! Васютка Шуенин! В синодик захотел!..»

Это была действительно тень Грозного. Вот уже двадцать третий год со дня смерти страшного царя тоску-

ющая тень его не знает покоя. Тысячи, десятки тысяч замученных им, утопленных, удушенных, зарезанных, повешенных, сожженных в срубах, обезглавленных, затравленных собаками и медведями, уморенных голодом, замороженных, отравленных, напоенных до смерти растопленным оловом и иными бесчисленными муками изведенных — попавших и не попавших в его ужасный синодик, «их же число и имена един Ты, Господи, веси», как он сам же выразился в этом историческом синодике — все эти жертвы его страстей вот уже двадцать третий год не дают успокоения сухим костям умершего царя... И бродит его тень по свету — кается, молится, плачет, босыми ногами исходила эта тень царя, в образе нищего, весь шар земной, и в особенности терлись превратившиеся в камень крепости адамантовой подошвы Грозного о землю святого града Иерусалима и всей Сирии, Палестины и Иудеи; исходили эти «адамантовые подошвы» все те пути и стези, по которым ходили босые ноги Спасителя и Его учеников; исходили они и Аравию, взбирались на горы Хорив и Синай; исходили и землю Египетскую, Фиваиду, Киликию, и Каппадокию, Мидию и Пафлагонию, и Месопотамию, и Грецию, и Македонию, и Италию — все места, грады и веси, по которым ходили ноги апостолов. Но в Москву до сих пор, со дня смерти, тень Грозного не решалась явиться, чувствуя на себе неизглаголанную тяжесть грехов и не смея взглянуть на родные, дорогие места, все избрызганные человеческою кровью.

Неодолимая сила привела теперь эту тень сюда, на Русскую землю, и поставила над Москвою.

И видится Грозному Москва в необычайном оживлении. Та же, да не та же она. Новые дворцы в Кремле — невиданные, а многих палат и следу не осталось. И лица многие незнакомые. Ох, лучше бы в могилу — да могила не принимает.

И видятся Грозному необычайные шатры, разбитые под Москвою, на широком лугу у Вяземы,— невиданные шатры, целый Кремль из шатров, блистающих неизмечтанною красотою и пестротою. И высится над всеми шатрами один громадный и роскошный шатер, словно бы белый лебедь промеж сереньких утяток, и обхватывают его, словно красные девицы и добрые молодцы, играющие в «заплетися, плетень, заплетися», другие, меньшие шатры с полотняною стеною и полотняными на ней башнями

Что же это за шатры и для кого они? И что это за сотни и тысячи народу, конные и пешие, снующие у шатров? И все это не русские люди — в нерусском одеянии, с нерусскими обликами,— и речь слышится нерусская. А какой табор богатых повозок, кибиток и роскошных, разрисованных яркими красками и украшенных золотом и серебром колясок и карет — и все невиданного, нерусского, заморского дела и заморского виду! И валит к тому необычному табору толпами из Москвы и окрестностей ее московский народ. И вокруг табора стоят тысячи конников в богатых кафтанах и с блестящим оружием. А музыка-то заливается...

Тысячи голодных волков, стаи собак и стада кошек не в состоянии были бы заглушить этого рева, лая, воя и мяуканья, издаваемого сурьмами, домрами, бубнами, барабанами, литаврами и накрами, им же несть числа.

И мятется тень Грозного в облаке, на синеве московского неба; трепещет облако, словно бы живое...

И хлынули из Москвы вереницы всадников — бояре и думные дворяне в золотном платье, обрызганном жемчугами и яхонтами, с дорогими перевязями, на дорогих конях в дорогой сбруе, а за ними — толпы холопов изнаряженных, изукрашенных. И едет еще невиданная на сем свете, уму непостижимая по великолепию царская каптана, запряженная десятью царскими аргамаками,— белые в яблоках, лучшие аргамаки, выхоленные на царских конюшнях. И за каптаною ведут коня невиданного — золото на чепраке, золото на узде, золото на нагруднике, золото на наколенках, золото — стремена.

«Куда везут мое добро? Кому ведут моих коней? Кому несут мое золото мои холопишки?» — мятется тень Грозного на синеве безоблачного неба московского.

«А!.. Федька Мстиславской! Федюшка-ротозей, холопишко!,— узнает тень Грозного своего бывшего холопа Мстиславского.— Это ты, вор, тащишь мое добро?»

И облако трепещет — так бы, кажется, и распалось дождем на изменников.

Федька Мстиславской, сойдя с коня и отдав его под уздцы холопу, почтительно входит в самый большой шатер. За ним все бояре и думные дворяне. «Кто такой там в шатре? Не царь ли? О, вестимо, царь. Да кто теперь царь на Москве после меня, Божиею милостию государя и великого князя Ивана Васильевича всеа Русии от востока и запада, севера и юга? Кто ж другой — вестимо, Федька убогий, сын мой. А може, Уарушка уж, Митя

маленькой? Какой махонькой он был, как я в Бозе почил... в Бозе... Ох, тяжко это почиванье в Бозе по грехом нашим...

Кто же это выходит из шатра? Жена лепообразна, вся в злате и каменьях блистающих... в белых ризах, аки одеяние ангела... черноволоса, черноглаза, белолица... Точно моя Василиса Мелентьева, что зарезал я... Ох, много я перерезал... Нет, это не Василисушка... Словно бы моя Марьюшка Темрюкова... А словно бы и моя Машка Долгорукая, что утоплена мною... Кто ж это такая, сия Леповида?..»

И выходят из шатра большого и из шатров малых другие жены, богато одетые, и мужие, златом и сребром окованные. О, как много народу, как много блеску! И Федька Мстиславской выходит без шапки, и бояре, и думные дворяне без шапок — все без шапок... «Словно бы это я сам, царь Иван Васильевич, выходил... Ишь ты, какая Леповида, как важно глядит и никому не кланяется...»

И выходит из шатра лях толстый, много ляхов выходит. «Зачем ляхи в моей земле? Вот я вас, проклятые! Андрюшку Курбского схоронили от меня... А вас всех клюкой железной, идолы!»

И тень Грозного мечется в облаке белом, дрожит, а на землю спуститься не может... Чтобы посохом всех, посохом!

К толстому ляху подводят богатырского коня в невиданной сбруе, и чепрак, и весь набор горят червонным золотом, каменьями и серебром под чернетью.

Федька Мстиславской сажает Леповиду и другую жену изукрашенну в золотую каптану, везомую десятью лошадьми — белые в яблоках. Что за кони! Что за каптана! А сколько сот других каптан и колясок!

Поезд двинулся к Земляному городу. По обеим сторонам пути стоят стрельцы пешие, дьяволы усатые и бородатые, в красных суконных кафтанах, словно в стихарях, с белыми перевязями на груди, и держат длинные ружья с красными ложами... Словно мак, краснеются кафтаны стрелецкие... Дальше стоят, как статуи на конях, конные стрельцы и дети боярские, по одну сторону с луками и стрелами, по другую с ружьями — и все это горит красным цветом и блестит сталью граненою,— инда старым глазам Грозного больно. «Мои стрельцы подлецы! Кому это служат они ноне? А дальше не мои уж — это польские гусары. У, проклятые полячишки! Схорони-

ли моего изменника Андрюшку Курбского...» Гусары на конях с пиками в руках — древка пик красные, а около самых копейных лезвий белые перевязи ветерком колышутся. А музыка-то, музыка гремит и верещит! Трубят трубы на все голоса, бьют литавры, словно бы хотят разрушить стены Иерихона Но это не Иерихон, а Москва белокаменная.

Невиданный поезд вступает в Земляной город, Никитскими воротами вступает в Белый, а там — в Китай-город и, через Красную площадь,— в Кремль.

Волшебный вид! Тень Грозного так и замерла в высоте, взирая на эту картину. Ему вспомнилось его собственное вшествие в Москву после взятия Казани. «О, Господи! Как это давно было и как хорошо было тогда, Боже всесильный».

Вперед идут думные дворяне и дети боярские, и впереди всех Афанасий Власьев, великий дьяк, да князь Василий Рубец-Масальский, да Михайло Нагой... Всех их узнал Грозный. «А! Офонько Власьев — продувная выжига, что ради моей царской чести ногами по аеру дрыгал И Васька Рубец тут, и Мишутка Нагой, сродничек моей Марьюшки Нагой. Ох лепа она была — голенькая. Где-то она, Марьюшка, мотается теперь без меня?»

За детьми боярскими идут пешие польские гайдуки с ружьями за плечами и «шаблюками» при боке. Голубые жупаны на них, словно цвет цикория с васильками в поле, а серебряные нашивки и белые перья на шапках-магирках, словно свет с ковыль-травою по василькам перекатываются... Идут они — в барабаны бьют, на трубах выигрывают... Дальше едут польские гусары, по десяти в ряд, на статных венгерских конях. Что это за дьяволы крылатые! За спинами у гусар крылья развеваются, в руках у них золоченые щиты с драконами и поднятые вверх копья с белыми и красными значками, точно змеи значки эти вьются в воздухе и пугают московских голубей и галок...

— Батюшки светы! взвизгивает баба в толпе зрителей.— Да это бесы!

— Что ты, окаянная, орешь! Али у тебя — повылазили? — осаживает ее детина из Обжорного.— Эти — с усами.

— А крылья-то у них не видишь, пес?

А за этими «бесами с усами и крыльями» ведут под уздцы двенадцать породистых коней, да таких коней, что ногами разговоры говорят, гривы белые — что девичьи косы.

А за этими двенадцатью конями паны едут — князь Вишневецкий, пан Тарло, пан Стадницкий Марцин, пан Стадницкий Андреаш, пан Стадницкий Матиаш, пан Любомирский, пан Немоевский и другие. Уж и что это за паны вельможные! Уж и что у них за посадка молодецкая! Уж и что у них за «вонсы закренцовые»! Уж и что на них за кунтуши за диковинные, что за кони под ними дивные! А около каждого целое стадо панков, полупанков, шляхетской ассистенции,— да все как одето, изукрашено, как дорогим оружием изнавешано! Ах ты Польша, Польша старая, вольная! Умела ты пожить, умела себя показать...

А за этими панами и полупанками едет самый толстый лях — пан Мнишек, один-одинешенек, словно вожак-лебедь впереди стада лебединого, позади стада сероутиного... Под паном Мнишком конь, глядя на которого Грозный свою клюку железную грызет со злобызависти. На пане Мнишке малиновый кунтуш, опушенный черным соболем, которому и цены нет, а на шапке перо птицы невиданной — птицы сирин, коей глас вельми силен, а хвост зело дивен. Шпоры и стремена у пана Мнишка золотые с бирюзою, хоть на шею царской дочери — так впору.

А за паном Мнишком идет мурин — черный арапин в турецком одеянии.

— Батюшки светы! — снова взвизгивает баба.— Да это ж и есть тот эфиоплянин черный, что у Ипатушки-иконника на Страшном суде царицу Анафему, блудницу вавилонскую, за косы тащит!

— Нет... Там — царицу Каиафу, Пилатову жену-самарянку...— осаживает на этот раз бабу кто-то более знающий, чем детина из Обжорного.

А уж за черным арапином едет в дивной каптане сама царевна-несмеяна, Леповида черноглазая панна Марина... Сидит она на подушках, по краям крупным жемчугом унизанных, в белом атласном платье, вся залитая, точно слезами крупными, драгоценными каменьями и жемчугами. А против нее — Урсула.

— Ох, Марыню, голова кружится от всего, что я вижу,— тихо говорит Урсула.— Это какое-то сказочное, волшебное царство, а ты... его царица. У тебя, Масю, не кружится голова от всего этого?

— Нет, не кружится,— отвечает задумчиво Марина.

— О чем ты, Масю, думаешь? О женихе?

- Нет, о том гнезде горлинки, где...

Она не договорила. Она вздрогнула, и глаза ее как-то странно расширились — она не сводила их с одного предмета... за окном каптаны...

У самой каптаны идут шесть хлопов в зеленых рубахах и штанах и в красных, внакидку, плащах, а за ними, по обеим же сторонам каптаны,— московские немцы-алебардщики и московские стрельцы.

Марине кажется, что из-за стрельцов глядит на нее знакомое лицо с глубокими, неразгаданными глазами, то лицо, которое она видела ровно год назад, в Самборе, в родном парке, у гнезда горлинки... Да, это то лицо, те непостижимые глаза... Но Боже! Как изменилось это лицо: оно стало еще неразгаданнее, еще непостижимее... Марина не выдерживает взгляда этих, каких-то нечеловеческих, неизъяснимых глаз — и потупляет свои. Она чувствует, что теперь и у нее начинает кружиться голова... все кружится: люди, небо, весь мир кружится.

Когда она снова подняла глаза — *то* лицо исчезло... торчат только бородатые и усатые головы стрельцов.

За каптаною Марины следует другая каптана, та, в которой она выехала из своего родного далекого Самбора. Эту карету везут восемь лошадей белой масти — белой, как девическая совесть самой Марины. Эта карета снаружи обита малиновым бархатом, возницы — тоже во всем красном, да и сбруя на лошадях вся из красного бархата... Но эта карета — пустая: птичка, что в ней сидела, выпорхнула в другое гнездо.

А поезд все двигается. За красною каретою следует белая с серебром, а на возницах — черные бархатные жупаны с красными атласными ферезями внакидку: из этой кареты выглядывают пани Тарлова, княгиня Коширская, пани Гербуртова и пани Казановская. А там еще кареты и еще коляски — и все это бархат да золото, пурпур да атлас да каменья жемчужные...

А народ-то за ними валит, Господи! Конца-краю ему нет и, кажется, не будет. Как не будет теперь конца торжеству Польши, которая наконец-то прибирала к своим рукам Москву богатую, но — дикую, варварскую, чтоб и ей дать волю, просвещение... Предвкушает это великое торжество Польша, чувствует роковой поворот исторического колеса и — народным гимном, под громы литавров и бубнов,— кричит до самого неба:

W kazdym czasie,
Tak w szcensciu, jako i w nieszensciu[1].

И содрогается тень Грозного от этого гимна. Кто же царица новая? Полячка?.. Еретичка! А кто же царь на моей Москве? Где царевичи... Федька, Митька? Али и их уж нет? Али Андрюшка Курбский сидит на моем престоле, держит мое скифетро, носит барму и шапку Мономахову на холопской своей голове? О! Бесы, аспиды, василиски! Я вас!.. Я опять приду к вам — стережитесь, черви!

А звон-то колокольный! А крики народные! Осатанела Москва.

Поезд останавливается в Кремле, у Вознесенского монастыря. И белое трепетное облако висит над самым монастырем...

— Ох, Господи! Что это такое? Владычица! — с испугом говорит офеня-иконник, поглядывая на небо и крестясь испуганно.

— Что ты? Чего испужался? — спрашивает его Конев, стоя с ним рядом в толпе.

— Знамение Божие! Ох, святители!

— Да где ты знаменье-то видишь?

— А вон на небе... во облаце... видишь?

— Вижу... Что ж там?

— Да облик-то чей? Аль не видишь? Не познаешь?

Конев всматривается.

— А и впрямь он, родной... Ну, живехонек,— шепчет он с испугом.

— Он... Он... истинно он... Это его душенька с неба сошла поближе — поглядеть на сынка-то, на молодого царя, на Митрей Иваныча, и благословить его.

— Полно, так ли? — недоверчиво замечает Конев.

— Почто не так? Знамо, сынок-от посягает в браке, ну, батюшка-то родимый и хочет благословить...

— А клюки коли не видишь? У его вон в руке-то клюка железна, посох. А это не к добру.

— Сохрани Бог, отврати.

Марина выходит из каптаны, поддерживаемая отцом и Мстиславским. Урсулу поддерживает дьяк Власьев. Марина всходит на ступеньки крыльца под звон всех московских колоколов — окна монастырские дрожат от этого звона, воздух содрогается, птицы мечутся в испуге...

Из монастыря выходит мать-царица Мария, ныне

[1] В каждое время, как в счастье, так и в несчастье (*польск.*).

старица Марфа, чтоб принять свою дорогую невестушку. Что написано на лице у старицы Марфы — этого никто не прочитает.

Белое облако так и затрепетало: «Ох, это Марьюшка моя, царица Марья... Ох, да какая же она стала старая, скверная... гриб грибом... мухомор эдакой... Господи! А я-то какой... и костей, поди, не осталось во гробу... одна тлень-мерзость запустения да затхлость могильная... О, где же мое царское величие, моя красота, молодость моя?.. Отдайте мне жизнь мою — пусть я буду смердом последним, только бы жить, жить, жить!..

И облако распалось. Москвичи с удивлением посмотрели на небо — солнце горит, на небе ни облачка, а как будто дождик брызнул... Власьев схватился за лысину: «Что за диво! Откуда это дождь — вот чудо невиданное».

— Пропало...— говорит офеня, крестясь.

— Пропало, исчезе яко дым,— вторит Конев.

— Не дым, а слезою сошло на землю — на Русь святую.

— К худу, ох, к худу знамение сие.

XXV. СМЕРТЬ В ОЧИ ГЛЯНУЛА

Как ни было воображение Марины настроено на что-то необычайное, фантастическое, но то, что она видела в течение последних дней, особенно со вступления в Москву,— этот какой-то сказочный мир, эти богатства, какие-то подавляющие, гнетущие, все это в каких-то невиданных формах и размерах, каких представить себе нельзя было, эта поражающая громадность всего, начиная от колокола, который ревет где-то над ее ухом и пугает ее, и кончая золотой солоницей величиною в ведро, которую поднесли ей на хлебе величиною с колесо,— эти стены, эти люди, это море голов, колыхавшихся вокруг нее,— все это скомкало ни во что ее прежние представления, захлестнуло ее каким-то могучим валом и унесло в неведомое море, разбило, утопило, разбросав в стороны, как щепки, ее мысли, ее чувства... А *он* не потерялся в этом омуте — *он* взял в свои руки все,— все это страшное царство, этих страшных людей, и ее самое взял, ее душу, ее волю...

Но... и Марина почувствовала словно кусок льда у сердца... Он не только взял ее, Марину, но и *ту*... *ту*, неведомую ей, но ненавистную... эту татарку... дочь этого царя-татарина, царя-узурпатора, эту противную дочь

Бориса... Он к ней прикасался, к этой татарке, ее ласкал... Ксения... какое холопское имя...

— Ах, Марыня, как долго *он* не является к своей невесте с утреннею визитою,— говорит Урсула на другой день утром, после въезда Марины в Москву.

Марина и ее свита ночевали в Вознесенском монастыре, в особо отведенных им и богато убранных покоях рядом с покоями царицы-матери.

— Панна цезарина и не ожидает так рано его величество,— отвечает за Марину пани Тарлова, догадывающаяся, что невесте что-то не по себе.— Пан воевода говорит, что царь собирается принимать великих послов Речи Посполитой и потому занят теперь государственными делами.

— А все же! — возражает нетерпеливая Урсула.— Мы только вчера приехали, а уж он забывает нас.

— Он не в Самборе, моя милая,— старается остановить болтунью пани Тарлова. Она видела, что разговор этот производит неприятное впечатление на Марину.— От его воли зависит жизнь миллионов: он все сам должен решать в таком громадном царстве.

В это время доложили, что от царя прислан великий канцлер, дьяк Афанасий Иванович Власьев, видеть ее высочество, панну цезарину, и узнать о ее здоровье. Искры брызнули из глаз Марины, и она потупилась.

Власьев вошел, низко поклонился Марине и сказал:

— Наияснейшая и великая государыня цесаревна и великая княгиня Марина Юрьевна всеа Русии! Наияснейший и непобедимый самодержец великий государь Димитрий Иванович, Божиею милостию цесарь и великий князь всеа Русии, указал спросить тебя о здоровье и способно ли тебе будет принять великого государя на пару слов?

— Милостию Божиею я здорова и буду рада видеть государя,— коротко отвечала Марина, скрывая блеск глаз.

Власьев вышел. Урсула не вытерпела и захлопала от радости в ладоши, а пани Тарлова только покачала головою.

— Мы должны оставить панну цезаревну,— сказала она.— Мы не смеем здесь быть.

— Вот еще! — возражала Урсула.— Хоть бы в щелочку посмотреть, как *он* будет объясняться в любви. Ах, как смешно должно быть: в короне — и на коленях!

Они вышли. Марина осталась одна и нервно мяла

в руках батистовый платок с гербом Мнишков... Царь не заставил себя ждать. Он вошел быстро и на мгновенье остановился. Как ни коротко было это мгновенье, но Марина успела скользнуть своими глазами по его глазам, которые напомнили ей не те глаза, что она видела когда-то у гнезда горлинки, а те, что смотрели на нее из-за голов алебардщиков и стрельцов. Ее поразил и костюм царя: красный бархатный опашень, усаженный жемчугом и опушенный соболем; из-под опашня виден был край бархатного кафтана, тоже залитого жемчугом, с двуглавыми орлами и коронами; в руке шапка с пером и блестящей запоной; красные бархатные же сапоги звякают золотыми подковками... Не он... не тот... Хоть все он же, тот же...

— Панна Марина-цезарина! Я исполнил свое обещание, данное панне у гнезда горлинки,— быстро проговорил он, подходя к девушке.— Я добыл престол моих предков моим мужеством. За панной цезариной очередь — исполнить свое слово.

— И я свое исполнила, государь: я отдала вам свою руку,— отвечала Марина, не глядя на него.

Что-то такое звучало в ее голосе, как будто что-то режущее, холодное, и Димитрий невольно отшатнулся. Широкие ноздри его расширились, как бы силясь забрать в грудь больше воздуха.

— Но, панна Марина, я имею, кажется, право надеяться на большее! — сказал он сдержанно.

— На что же, государь? — был ответ.

— На сердце панны Марины...

— Руку мою, ваше величество, вы завоевали мужеством. Недостаточно одного мужества, чтобы победить сердце женщины.

Словно гальванический ток прошел по телу Димитрия. Перо на шапке, которую он держал левою рукою, задрожало — ток через сердце прошел к оконечностям.

— Что же для этого нужно, панна Марина? — спросил он еще более сдержанно, еще тише.

— Сердце, такое же верное, как то, которое ваше величество желали бы победить.

— Такое сердце и бьется в моей груди, панна цезарина.

— Сердце женщины, ваше величество, прозорливее ума и сердца мужчины и царя...

Она говорила все это ровно, словно отчеканивая каждое свое серебряное слово. Это была уже не девочка, не та, что кормила горлинок рисовой кашкой. Это был какой-то мрамор — от него и веяло холодом.

— Панна цезарина, что с вами? Я не понимаю вас,— быстро заговорил Димитрий, стараясь взять девушку за руку, которую она отвела в сторону.

— Ваше величество! Можно управлять целыми царствами, когда подданные верны своему государю, но не так легко управлять сердцем женщины: там подданные должны быть верны государю, здесь государь должен быть *верен* тому, кого он желает иметь своим подданным — сердцу женщины и ей самой...

Димитрий догадался. Ему чувствовалось, что он краснеет — краснеет в первый раз в жизни. «Ксения... бедная... что-то она?»

— Панна Марина, на все мои письма вы не удостоили меня ни одним словом ответа. Я тосковал по вас... я гонца за гонцом гнал с письмами к вам, для вас я забывал управление моим государством... А вы не вспомнили обо мне ни разу.

— Вы этого не можете знать, ваше величество. Если бы я не помнила вас, я не была бы здесь.

— Марина! Звезда моя! — заговорил он страстно.

— Ваше величество говорили мне это и в Самборе, в парке...

— Я повторяю.

— Ничего в жизни не повторяется.

Мрамор, гранит, пень какой-то, а не девушка! Нет, это — укушенная женщина, укушенная за сердце.

— Марина! Царица моя! И это — первое свиданье после целого года разлуки! Я не узнаю вас!

— *Забыли*... отвыкли...

Димитрий не выдержал. Он упал на колени, так что звякнули золотые подковки. Шапка с пером отлетела в сторону.

— Марина! Жизнь моя! Сердце мое! — и он схватил ее за край платья, припал к нему губами.— Ты моя! Я умру здесь...

— Встаньте, Димитрий,— я еще не царица,— говорила девушка несколько ласковее, поднимая его.— Коронованной голове неприлично быть у ног простой девушки.

Он хотел обнять ее — она отстранилась.

— О, гордая полячка! Ты не хочешь дать мне поцелуя...

— Царь может получить его только от царицы. Не забывайте, что я должна быть «женою Цезаря»!

Димитрий был окончательно ошеломлен: Марина взяла его руку и поцеловала!

— А теперь до свиданья, ваше величество. Я иду к тому, кто выше вас, кто дал вам корону: я иду молиться Ему о вашем здоровье.

И она вышла.

Заряженным сидит Димитрий на троне в Золотой палате после первого свиданья с Мариной. «А, гордые полячишки! Я осажу вас... я собью с вас гонор. Вы у меня и *ее* подстроили — так я покажу вам себя!»

Обаятелен вид неразгаданного проходимца — на троне. Трон — весь из чеканенного серебра, точно оклад на гигантском образе, так и отливает блестящим инеем. Над троном балдахин из четырех громадных щитов, таких же блестящих, расположенных в виде креста. На щитах золотой шар, а на нем двуглавый орел, золотыми когтями впившийся в этот золотой арбуз-державу и разинувший два золотых рта с золотыми языками и с золотыми коронами на обеих головах — так, кажется, и готов броситься на врагов Русской земли, заклевать их золотыми клювами, растерзать золотыми когтями... Над спинкой трона икона Богородицы в кованом золотом окладе, испещренном дорогими камнями. Балдахин поддерживается колоннами, как сень над церковным алтарем, а от щитов спадают вниз змеи-нити из жемчуга и драгоценных камней — и все это массивно, тяжело, величественно: виднеются алмазы в грецкий орех!.. У колонн два гигантских, серебряных, до половины вызолоченных льва — они держат золоченые, на серебряных ногах подсвечники, а на подсвечниках — грифы: один держит кубок, другой — меч. Мир и война, жизнь и смерть, пир и разрушение.

По сторонам трона стоят четверо рынд — неподвижны, как мраморные статуи, и только молодые, почти детские лица и живые глаза, глаза изобличают, что это живые люди, царские телохранители: рынды в высоких меховых шапках, в длинных белых одеждах и белых сапогах, со стальными блестящими бердышами в руках. Плечи и груди их крестообразно обвиваются золотыми цепями.

По левую сторону царя стоит великий мечник, юный князь Михайло Васильевич Скопин-Шуйский. На нем кафтан темно-каштанового цвета с золотыми цветами, подбитый золотом. В обеих руках — обнаженный царский меч с богатейшею рукоятью, на которой блестит золотой крест. Крест и нож — как это совместимо! Но

так должно быть. Тут же стоит молодой стряпчий, Власьев, сын великого дипломата, дрыгавшего по аеру ногами ради государевой чести и славы. Власьев держит царский платок — ради его, государевой, нужды.

Сам царь одет в белые ризы, сверху донизу залитые жемчугами и чудовищными камнями. На шее — отложное ожерелье, унизанное алмазами и рубинами, так и ломит, кажется, молодую, здоровую шею проходимца. На груди у проходимца — большой яхонтовый крест на кованой золотой цепи. В правой руке скипетр — «скифетро» — дрожит оно немножко — заряжен проходимец. На круглой голове проходимца плотно сидит массивный царский венец... О, проходимец, проходимец! Какая мать тебя выродила, на чьих грудях вспоилось такое удивительное детище! Молодое лицо подергивается. Глаза, немножко стоячие, словно бы остекленели. Настоящая икона в ризе, а не человек. Нет, не икона: словно от нетерпения, он попеременно берет в правую, белую с веснушками руку то «скифетро», то государственное «яблоко» с крестом — державу... Целое царство в руке, и он, подержав его, нетерпеливо передает в руки Шуйскому.

В правую сторону от Димитрия сидит освященный собор весь: патриарх Игнатий, посаженный этим мальчишкой на патриарший престол вместо старика Иова, восседает на чернобархатном троне, и сам — в чернобархатной рясе, по разрезу и по подолу усыпанной в добрую ладонь шириною жемчугами бурмицкими и камнями самоцветными — как огонь горят они на черном бархате. В правой руке святителя посох высокий с золотыми змиями на верхушке и с крестом. Перед ним рясофорец держит массивное серебряное блюдо, а на блюде золотой крест с мощами и камнями и серебряный сосуд с святою водою и кропилом в золотой рукоятке. Дальше — святые отцы: епископы, архиепископы, митрополиты. Сколько золота на ризах, сколько серебра в бородах, сколько кротости и благочестия на лицах, сколько лукавства в сердцах! А там снова золото и серебро, да седые бороды, да лукавые головы — бояре, окольничие да думные дворяне.

В Золотую палату, в это сонмище бояр, входят польские послы. Их вводит окольничий Григорий Микулин — русая борода, рысьи глаза, медовые уста... Послы низко кланяются.

— Его королевского польского величества великие послы пан Микулай Олесницкий, староста малогосский,

и пан Александр Корвин-Гонсевский челом бьют великому государю Димитрию Ивановичу, цесарю, великому князю всеа Русии и всех татарских царств и иных подчиненных Московскому царству государств государю, царю и обладателю,— возглашает Микулин — медовые уста.

Димитрий не шелохнется — только глаза изобличают, что это не икона в окладе. Вперед выступает Олесницкий.

— Его королевское величество, государь мой и повелитель, Сигизмунд, Божиею милостию король польский и иных, посылает поздравление, изъявляет братскую любовь и желает всякого счастия великому князю московскому...

«Великому князю... только!..» Молния пробегает по стоячим глазам проходимца — он приподнимается на троне, вскидывает нетерпеливо вверх глазами — Шуйский снимает с его головы корону. Старый Шуйский знает, что это значит: обожженный царь хочет сам говорить — вступит в прение с послами, осадит их, а в короне ему говорить нельзя.

Пока Олесницкий говорил дальше, Димитрий лихорадочно брался то за державу-яблоко, то за скипетр, так что Шуйский не успевал подавать ему то и другое. «А, обожгли, обожгли молодца»,— злорадно думала старая лиса с лицом агнца пасхального.

Олесницкий кончил и подал старику Власьеву грамоту. О! Не провести этого продувного старика: он видит подпись на грамоте — «описка в титуле... не весь титул...» Подходит к царю и показывает эту надпись царю, не распечатывая пакета. Снова молния в глазах проходимца. Он отворачивается от грамоты — и Власьев уж знает, что ему делать.

— Николай и Александр, послы от его величества Жигимонта, короля польского и великаго князя литовскаго, к его величеству непобедимому самодержцу! — громко, отчетливо возглашает он.— Вы вручили нам грамоту, на которой нет цесарскаго величества. Эта грамота писана от его величества короля Жигимонта к какому-то князю Русии. Его величество есть цесарь на своих государствах, и вы везите эту грамоту назад и отдайте его величеству королю Жигимонту обратно.

«Яблоко» и «скифетро» так и ходят то к проходимцу, то к Шуйскому. Быть буре!

— Я принимаю с должным почтением грамоту в том виде, в каком дал ее в руки Афанасья Ивановича, и возвращу ее королю, которым ваше величество пренебрегае-

те, отказываясь принять его грамоту,— гордо отвечал Олесницкий.— Это первый случай во всем христианском мире, чтоб монарх не оказал справедливого уважения королевскому титулу, признаваемому много столетий всеми государствами света, и не принял королевской грамоты. Ваше господарское величество не воздаете должного его величеству королю и Речи Посполитой, сидя на том престоле, на котором вы посажены, при дивном содействии Божием, милостию польского короля и помощию польского народа. Ваше господарское величество слишком скоро забыли эти благодеяния и оскорбляете не только его королевское величество, всю Речь Посполитую и нас, послов его величества, но и тех честных поляков, которые стоят пред лицом вашего величества, и все отечество наше. Мы не станем далее излагать цели нашего посольства и просим приказать проводить нас к нашему помещению.

Яхонтовый крест на груди царя усиленно поднимался и опускался. Грудь дышала тяжело — воздуху не хватало... обида... не полный титул... попрек... А давно ли под заборами ходил? О! Это так скоро забывается.

Нет, не вытерпел! Заговорила живая икона:

— Неприлично монархам, сидя на троне, вступать в разговоры с послами,— заговорила икона на троне.— Но нас приводит к тому уменьшение титулов наших со стороны польского короля. Объявляю и повторяю: мы не князь, не господарь... Мы — император и цесарь на своих пространных государствах! Мы приняли этот титул от самого Бога и пользуемся им не на словах, *как некоторые делают* (о! поляки поняли, куда послан удар), а на самом деле. Ни ассирийские, ни мидийские монархи, ни римские цезари не имели более справедливого права на свой титул, как мы. Не только мы не были князем либо господарем, но, по милости Божией, имеем под собою, у стремени нашего, служащих нам князей, господарей и даже царей. Нет нам равного в краях полуночных. Здесь нами повелевает один Бог. И мы сами так себя именуем, и все монархи и императоры писали к нам с таким титулом, только его величество король Жигимонт уменьшает нашу честь. Мы не потерпим этого! Свидетельствуемся Богом, что не от нас, а от вины польского короля может возникнуть вражда и кровопролитие между нами. Помните это!

Послы хотят откланиваться. Димитрий опять не выдерживает — он еще не разрядился.

— Пан староста малогосский! — возвышает он голос. — Я помню доброжелательство ваше ко мне в землях его королевского величества, государя вашего. Вы оказывали расположение ко мне. Потому не как послу, а как нашему приятелю я желаю оказать вам честь в моем государстве: подойдите к руке моей не как посол!

И он протягивает свою царственную руку. Олесницкий отказывается подойти — «не как посол»...

— Я не могу этого сделать, — отвечает упрямый лях.

«Га! И здесь упрямство!.. И здесь проклятая польская гордость, как и *там*».

— Подойдите как посол! — кричат с трона, так что вся зала вздрагивает, и святые отцы в душе крестятся, и даже Шуйскому показалось, что он слышит голос Грозного: «Васютка! В синодик!»

— Подойдите!

— Подойду, если ваше господарское величество возьмете грамоту его величества короля, — невозмутимо отвечает Олесницкий.

— Возьму!

Послы подходят к руке проходимца и целуют ее. Рука холодна, как у мертвеца. Точно в самом деле это тот, зарезанный...

«А проклятое племя!.. И все ради нее... Погодите, погодите — я ссажу вашего Жигимонтишку — вешалку королевского сана... Я не буду вешалкой — я приберу вас к рукам, табунное королевство...»

— Возьми грамоту, Афанасий!

Власьев взял грамоту и стал бережно распечатывать ее дрожащими руками. Да и как не дрожать рукам старого дипломата, когда первый раз принимается грамота с неполным титулом. Этого не бывало, как и земля стоит...

— Венец, князь Василий!

Шуйский надел венец и пристально всматривался в молодое лицо царя, в глубине своей лукавой души думая: «А что, коли во место сего младого лица под сею шапочкою будет лицо старое... мое лицо?..» И он вздрогнул: смерть стала за плечами... в очи глянула...

XXVI. СВАДЬБА-ПОХОРОНЫ

— И на кой им пес, этим нехристям, скифетро-то наше понадобилось, дядя? Ну, ин свое бы сделали али бы там купили у кого...

— Купили! Ишь ты ловкой какой! Да где ты его купишь?

Так рассуждает «Охотный ряд» с «Обжорным», кучами толкаясь в Кремле около царских теремов в день коронования Марины и в день свадьбы ее с Димитрием, 8 мая, через пять дней по въезде Марины в Москву.

А в теремах кипят приготовления к царской свадьбе. Назначают дружек, свах, тысяцкого. Готовят каравай.

Марине готов под венец богатый русский сарафан — редкостного вишневого бархату, до того залитóй жемчугами бурмицкими и скатными да камнями самоцветными, что трудно даже различить цвет материи... И откуда бралось это богатство, как хватало золота и драгоценностей, откуда шли не пригоршнями, а четвериками да ковшами жемчуга да камни на эту роскошь? Откуда?.. А блаженной памяти царь Иван Васильевич всея Русии накопил: все те душеньки бояр богатых, князей, окольничих, что записаны были у него в синодике для поминовенья, и их же имена и число ты един, Господи, веси,— все эти казненные душеньки уходили на тот свет, оставляя свои богатые животы на царя — все шло в его казну... Вот откуда набралось это дикое, поражающее богатство...

Ведут Марину из ее покоев в столовую избу. Невеста покрыта фатою, а из-под фаты горят два черных глаза, словно те камни, что в золотой, в виде коронки, повязке на черной головке... Одной этой повязке — цены нет... Черные косы переплетены жемчугами — словно горох жемчуг! Из-под сарафана выглядывают крошки-ножки: они тоже все в жемчуге... Ведут ее боярыни — Мстиславская княгиня и княгиня Шуйская, жена Димитрия Шуйского.

Что написано на лице у Марины — трудно прочитать...

«Дольцю... Дольцю...» — шепчет ее сердце, глаза которого отвернулись назад, в прошедшее... А сама она глядит вперед — и идут послушные голове, а не сердцу ноги, идут вперед... При входе в столовую избу русский священник благословляет ее крестом... На столе каравай и сыр... «Это я, мое тело, мое сердце... Дольцю, Дольцю...»

Выходит и *он* — не Дольця, а *сам*, страшный, обаятельный Димитрий, который вырвал у Дольци чужое сердце и заковал в золотую корону. На нем — те же богатые царские ризы, на голове — венец, по бокам скипетр и держава, золотой арбуз с крестом. Холодом веет на Марину от этого величия, дрожь пробегает по телу, по волосам, по сердцу, но что-то неудержимо тянет ее вперед, в этот холодный омут величия. Как оно обаятельно!

Их опять обручают. Они меняются кольцами, как там, в Кракове, с Власьевым; но не те ощущенья теперь: не на палец наделось кольцо, а словно на сердце — и кольцо холодное, как холоден блеск короны и державы... Они глянули друг другу в глаза — ни те, ни другие глаза не потупились, только ему показалось, что из-за ее глаз, из глубины зрачков, выглянула Ксения!.. Мимо... мимо, доброе, плачущее лицо.

Их ведут в Грановитую палату. И Мнишек идет, стараясь уловить взгляд дочери. «Что с татуней? Он бледен». А у «татуни» конь упал, когда подъезжали ко дворцу, тот дивный конь, что вчера царь подарил. Дурной знак.

Он — на троне... венец... скипетр... яблоко державное. А это кто с обнаженным мечом перед ним? А эти юноши в белом во всем и с бердышами? Точно ангелы. Блеск — блеск — блеск... У Марины голова кружится. Нет, это сердце дрожит, а голова бодро сидит на точеных плечах, на лебединой шее.

Он на троне, а она стоит... подданная она... «Я — шляхтянка... Дольцю! Дольцю!»

К ней подходит боярин — седой, почтенный, а лицо моложавое,— а глаза —«Боже! Езус Мария: глаза того волка, что у татки на цепи был».

Это — Шуйский, его глаза... Шуйский говорит:

— Наияснейшая и великая государыня цесаревна и великая княгиня Марина Юрьевна всеа Русии! Божьим праведным судом, за изволением наияснейшего и непобедимого самодержца, великого государя Димитрия Ивановича, Божиею милостию цесаря и великого князя всеа Русии и многих государств государя и обладателя, его цесарское величество изволил вас, наияснейшую великую государыню, взяти себе в цесаревну, а нам, хлопем его государевым, в великую государыню. И как Божиею милостию ваше цесарское обручение совершилось ныне, и вам бы, наияснейшей и великой государыне нашей, по Божией милости и изволению великого государя нашего,

его цесарского величества, вступити на свой цесарский престол и быти с ним, великим государем, на своих преславных государствах.

«Волк... волк... волчьи глаза... а лицо такое доброе, мягкое...»

И священник опять благословляет ее крестом. Вот и татко тут, и княгиня Мстиславская — берут они ее под руки и взводят на тронное место. У татки руки дрожат. Ух, как она высоко сидит!

Слышатся шаги — много шагов, шорох платьев, бряцанье оружия, шпор. Входят пан Олесницкий, пан Гонсевский, пан Тарло, пан Стадницкий, Сульця, бабуня Тарлова, пани Стадницкая, пани Гербуртова — паны и пани, пани и паны — все свои, вся Польша сошлась взглянуть, как их Марыня сидит на «москевскем» троне, в «москевскем» сарафане. Легче стало на душе у Марины при виде своей Польши, а то все какие-то иконы в ризах около нее стояли, мертвецы какие-то бородатые да с волчьими глазами... Нет только Дольци. Где-то он теперь? Думает ли о своей маленькой Марынюшке?

Входит Михайло Нагой, тот Нагой, что в Угличе, когда зарезали Димитрия-царевича, кричал к народу, указывая на Битяговского: «Вот лиходей царевичев, православные! Убейте Битяговского».

Теперь Нагой принес знаки царского достоинства — корону и диадему, а также крест. Кому он принес их? Своему племяннику? Но ведь он сам хоронил его в Угличе... Дивны дела, дивны дела твои, Господи!

Царь берет и целует корону, диадему, крест. Целует их и Марина. Какое холодное золото!

Сходят с трона и рука об руку выходят из дворца: его ведет под правую руку татуня, ее под левую — княгиня Мстиславская. Впереди идет священник и кропит путь святой водой. По сторонам — рынды в белых кафтанах, в высоких шапках и с серебряными бердышами на плечах... Всё — идет в Успенский собор между шпалерами стрельцов и алебардщиков. Тут же несут скипетр и державное яблоко.

А народу-то, народу — кажется, Кремль весь провалится под топотом ног человеческих, стены и храмы распадутся от звона колокольного и сдержанного рокота тысяч народных глоток...

— Вон она, матыньки, царская невеста. Ох, в сарафанике, касатая.

— Цыпочка-то какая, матушка Богородушка! Уж и цыпочка — ах, святители!

— А скифетро-то, скифетро, паря. Вон оно! Вон оно, ах ты, Господи!

— Где скифетро-то? Покажь, покажь, ради Христа!

— Да вон оно, черт! Вон, на шапке-то, ишь перо какое! Ай-ай-ай! Уж и скифетро!

— Ай, батюшки, и Литва-то в церковь идет... Ай, грех какой!

— Что ты врешь?

— Вот те крест честной — так-таки и вошли своими погаными ногами.

— Ай-ай-ай! Ну и пропало же наше скифетро, братцы, плакало... Пропало...

А с обоих клиросов при вступлении в собор жениха и невесты гремят и заливаются сотни голосов· «Многая лета! Многая лета! Многая лета!..» Да, многая.. от 8 мая до 17-го...

«Многая лета, многая...— мысленно повторяет Шуйский,— до седьмого — надесять маия... память преподобнаго Стефана, архиепископа цареградскаго... ох как много еще ждать... девять ден! Дождусь ли? Многая, многая лета... Пятьдесят четвертый год... Вот он — одних подошв не износил — дошел до престола, а я бы и железные, адамантовые, кажись, подошвы протер, а все не добрел».

Марина чувствует, что ее увлекают какие-то волны: эти громовые возгласы: «многая лета», этот целый лес зажженных свечей у образов и во всех паникадилах, эти блестящие ризы всего церковного клира и всего освященного собора, церемония целования образов и мощей— все это как будто отняло у девушки последнюю волю, и она машинально ходила от образа к образу, от мощей к мощам, поддерживаемая отцом и княгинею Мстиславскою.

Ей бросается в глаза трон, два, три трона. Подходит патриарх и, взяв царя и ее за руки, возводит куда-то высоко, на чертожное место, через двенадцать ступенек, к этим самым тронам.

Один трон стоит посредине возвышения, он весь золотой, усыпанный каменьями,— шестьюстами алмазами, шестьюстами рубинами, шестьюстами сапфирами, шестьюстами бирюзовыми камнями. По сторонам — два малых трона: один для Марины, другой для патриарха, весь черный.

Царя сажают на большой трон, Марину — на малый, патриарх занимает черный трон...

К патриарху подносят крест, потом бармы и диадему, потом корону. Патриарх дает все это целовать Марине, возлагает на нее руку, творит молитвы и коронует ее.

Марина коронована.

Она опомнилась, когда почувствовала что-то холодное на лбу — это был золотой обод короны!

Так вот оно, коронование! Как легко, кажется, сделаться коронованною особою. И из-за того только, чтобы чувствовать у себя на лбу холод золотого ободка, проливается столько крови...

А Шуйский смиренно стоит у подножия чертожного места и чувствует, что гвоздем сверлит у него под черепом неотвязчивая мысль: «Двенадцать ступенек всего, а как высоко! А если из-под того венца будет смотреть сюда другое лицо? Золото на седых волосах, а это, молодое лицо,— в гробу».

— Князь Василий, поправь ноги мне и царице,— тихо говорит царь.

Шуйский вздрагивает. Потом быстро поднимается к тронам и переставляет ноги сначала у Димитрия, потом у Марины. «Уж и ножки же... На чем только она ходит? Словно у малого ребенка».

— Ах, Езус Мария! — ужасается Урсула.— Срам какой: старик за ноги берет.

— Конечно, пани, приятнее, если б молодой взял...— вмешивается пан Стадницкий.

Пани Тарлова грозит ему пальцем.

Марина, заметив перешептыванье и догадываясь, что это на ее счет, стыдливо опускает глаза.

А служба идет своим чередом...

После херувимской патриарх возлагает на Марину Мономахову цепь.

Начинается обряд венчания.

Чем-то необычайным отдает от всего этого для непривычных глаз, а для Марины это имеет еще и роковой смысл: совершается победа, выигранная ценою всей жизни.

Но это только личная победа. А от нее весь Запад ждет мировой победы — победы Запада над Востоком.

В ее сердце и в мозгу словно наросли из живого мяса слова самого святого отца:

«Мы оросили тебя своими благословениями, как новую лозу, посаженную в винограднике Господнем... Да будешь

дщерь Богом благословенная, да родятся от тебя сыны благословенные, каковых надеется, каковых желает святая мать наша — церковь, каковых обещает благочестие родительское». Страшные, огненные слова — великое заклятие.

А там слух поражают громовые возгласы: «Исаия, ликуй!» Какое тревожное, острое ликованье сердца и нервов — до боли, до боязни острое. Нет, это не ликованье, а трепет.

«А зачем он велел этому старику с волчьими глазами переставить мне ноги?»

— Гляди-тко, гляди-тко, отец Мардарий, литва-то сидит в храме, вон на полу уселись, окоянные,— шепчет один монах другому на клиросе.

— Ай, грех какой! Да это хуже, нежели бы пса в церковь пустить.

— Что пес! Пес — зверина немысленая, а это сквернее, чем бабу к алтарю подпустить: опоганили совсем дом-от Божий нехристи.

— И чего царь-от смотрит?

— И не говори! Князь Василий Иваныч только головой помавает...

И он «помавал». Ему это было на руку: царская-де роденька храмы оскверняет... Какой же он царь?

Венчание кончилось. Царь и царица выходят из собора. Колокола задыхаются от звону...

На паперти князь Мстиславский осыпает золотыми монетами новобрачных, вместо хмелю — пусть-де весь жизненный путь ваш будет усыпан золотом. А дьяк Власьев да дьяк Сутупов бросают золото в народ. Куда девалось и «скифетро» — не до него теперь! Куда упадет горсть монет, там сотни голов стукаются одна о другую и тысячи рук вцепляются в волосы счастливцев, на которых угонит этот золотой дождь.

Когда толпа отхлынула от собора вслед за новобрачными, отец Мардарий, вышед из собора и увидав, что вся площадь устлана волосами из голов и бород православных, даже руками развел.

— Сигней, а Сигней! Посмотри-кось! — звал он сторожа соборного, Евстигнея.— Волос-то что надрали православные!

— Что говорить, отец Мардарий, много волос: и черные, и рыжие, и всяки... Вся площадь волосатая стала.

— Что же ты с ими делать будешь?

— Не впервой народ-от скубется: вот когда блаженной памяти царь Иван Васильич брал себе в супруги

царицу Марфу Васильевну Собакину, так волос христианских было поболе надрано.

— Еще боле? Что ты!

— Боле не в пример. Та свадьба, правду сказать, православнее была.

— Православнее. И я та́к мекаю.

— Много православнее! Тогда мы с женой волос-то хрестьянских намели здесь на полтретья перины, а ноне и на две перины, поди, не будет. Народ-от при литве мене веселится — и волос мене скубет.

— Не к добру это, Сигней.

— Где уж к добру...

— Это не свадьба, а похороны.

В это время от толпы отделились двое... Это наши знакомцы плотники, те, что мастерили смертные горенки для врагов Годунова...

— Ну, Тереня, волос-от у тебя что надергали — полголовы очистили,— говорит один из них, рыжий мужичонко.

— Что волосы!.. Волосы вырастут. А вот у меня, брат, золота гривенка в кармане — это почище волос!

— Ой ли? Врешь?

— Не вру! Вот она — с двухголовой пичугой...

— Ай-ай-ай! И впрямь с птицей — ишь, пичуга какая! Две головы.

— Две — значит двужильная... В две цены.

— А царапнуть бы, Теренюшка, во царевом кабаке за царево здравие?..

— Можно. А то на... в Угличе, слышь, зарезали... Нет, шалишь, не таковский он. Даром только гашник у тебя, брат, пропал.

Рыжий только махнул рукой.

XXVII. НАД МОСКВОЙ ТУЧИ СОБИРАЮТСЯ

Брачное торжество Димитрия и Марины было началом целого ряда небывалых в Москве пиршеств, продолжавшихся вплоть до последнего кровавого пира, который прямо с брачного ложа свел этого неразгаданного сфинкса-человека в могилу... нет! — не в могилу даже... Человек этот не имел и могилы,— и история одинаково затруднилась отвечать на вопрос: «Где могила этого сфинкса?» — как и на вопрос: «Где была колыбель этого удивительного феномена?»

В четверг было венчанье, а в пятницу с утра уже

гремел Кремль от трубных звуков, от колокольного звону, от неистового битья в бубны и накры и от неумолкаемой пушечной пальбы.

— Уж я так жарил во все колокола, что от звону-то этого все голубиные выводки на колокольне поколели,— говорил отцу Мардарию сторож Сигней, слезая с колокольни.

Обед был в Грановитой палате; а вечером танцы в новом дворце царицы.

— Уж и плясавица же наша новая царица, такая плясавица, что и Иродиаду-плясавицу за пояс заткнет,— говорила дворским бабам и девкам дурка Онисья.

— И сама таки, мать моя, плясала? — ужасаются дворские бабы и девки.

— Сама... сама... да еще эдак плечиками поводит, очами намизает, хребтом вихляет, а они, нехристи-то, ляхи, на нее, аки жеребцы, взирают.

В субботу опять содом в Кремле, и опять пир и танцы. В воскресенье — тоже. В понедельник... ну, в понедельник случилось уж нечто необыкновенное.

У Успенского собора, там, где недавно площадь была усеяна клочками волос с голов и бород москвичей, снова толпится разношерстный люд. Тут же невдалеке, на устроенном из дерева помосте, тридцать четыре трубача дудят в трубы, а другие тридцать четыре музыканта, все из поляков, бьют в бубны и другие звонкие инструменты.

В толпе толкаются какие-то белые фигуры в белых колпаках... Один толстяк в белом — особенно жестикулирует.

— Снаряжал я всякие яства и блаженная памяти для царя Иван Васильевича с его супругой Василисою Мелентьевною, а потом и с супругою его Марьею Федоровною, готовил яствия всякие и царю Федору Иванычу с супругою, и царям Годуновым... а такой скверны, как ноне, готовить не приходилось. Бог миловал,— ораторствовал он.

— Да что же стряпать-то ноне тебе пришлось, дядя? — любопытствовал знакомый нам детина из Обжорного ряда, которого все, что касалось еды, особенно занимало как специалиста.— Али конину?

— Хуже, православные,— отвечал толстяк, выражая на своем жирном лице омерзение и ужас.

— Так, може, кошек али собак?

— Хуже того, православные, и не угадаете.

Православные действительно растерялись. Что ж мо-

жет быть хуже кошки? Кто ее ест?

— Телятину! — сказал толстяк трагически.

Все остолбенели. Царь ест телятину! Царь велит для своего царского стола готовить телятину! Да этого не бывало, как и Москва стоит. Телятина самим Богом запрещена!

— Иоанн Богуслов говорит... аще, говорит...— философствовал немножко выпивший стомаха ради отец Мардарий.

— Батюшки светы! Грех-от какой! — ахает баба.

— Аще, говорит, телятина...

— Вот те и скифетро, паря!

Волнение в толпе необычайное. Сообщенные царскими поварами вести о телятине смутили москвичей больше, чем если б им объявили, что царь приказал десятого из всех обывателей Московского царства повесить: на то он царь — и в жизни и смерти своих холопей он волен. Но есть телятину — это... это такой ужас, от которого у Москвы волос дыбом становился. Уж коли сказано — «аще» — ну и делу конец, тут ложись да и умирай.

— А все это ляхи наделали,— пояснил сторож Сигней.— Они царя в соблазн вводят. Вот когда он венчался, так я своими ушами слышал, когда у Казанской Богородицы, в правом приделе, свечи оправлял,— слышал, православные, как дьяк Афанасий Иванович Власьев говорил ляхам, что в соборе-то при венчанье были: «Царь-де осударь указал мне объявить вам, паны, что, по нашему-де закону, в храме Божьем ни сидеть, ни разговаривать не годится». Так они, проклятые, не послушались указу царского: кои из них садились на пол под иконами, чтоб царю не видно было, а кои так спинищами своими погаными к святым иконам прислонялись — и как их, нехристей, Бог за это громом не погромил!

— Царь что! Знамо, млад вьюнош, отвык от своих-то обычаев на чужой стороне, дома-то приобыкнет... а вот уже самих поляков и росным ладаном не выкуришь,— соглашались другие слушатели.

— Мы их выкурим вот чем! — показывал «Охотный ряд» свой кулачище величиною с доброе копыто ломового жеребца.

— Мы им покажем кузькину мать! — добавлял с своей стороны «Обжорный ряд».

Как бы то ни было, в народе уже бродило неудовольствие на поляков. Но Димитрий не мог заметить этого.

Он не замечал, что и его трон начинает пошатываться именно со дня роковой свадьбы. Он слишком верил в свое могущество, в обаяние своего имени и в преданность народа. Да другого ничего он и думать не мог: он действительно показал себя великодушным государем; он простил всех своих прежних врагов; он был милостив необыкновенно: по его повелению не было пролито ни одной капли крови его подданных с тех пор, как он был призван царем. Между тем и он думал о величии России: он за сто лет до Петра уже задумал прорубить окошко в Европу завоеванием Нарвы. С весной, после свадьбы, он думал идти добыть южные моря и уже отправил артиллерию в Елец, чтобы оттуда спустить ее по Дону. Этот юноша задумал пересадить европейское образование на русскую почву...

Были и около Димитрия люди, которые понимали это и предупреждали его; но он постоянно отвечал им: «Не бойтесь, я не Борис...» Это прежде всего был — Григорий Отрепьев. Принадлежа к тем москвичам, надо признаться, очень редким экземплярам, как дьяк Власьев, которые уже вкусили и эллинской и латинской мудрости, Отрепьев не мог дышать в затхлой атмосфере старины и через это должен был показаться чернокнижником, магом, еретиком и — совсем проститься с Москвою, сделаться эмигрантом, подобно Курбскому. Явление необыкновенного юноши под именем Димитрия и отожествление этого имени с его собственным именем, с именем Григория Отрепьева, заставили этого последнего снова воротиться в Москву. Воротившись со своим другом Треней, он увидел, что Москва — все та же и что Димитрию нелегко будет повернуть ее воловью шею так, чтобы она глядела на Запад, к солнцу знания, а не рылась, как свинья под дубом, добывая только желуди, когда там, на Западе, можно было добыть и апельсины. Отрепьев видел, что едва Димитрий начинал оглядываться на Запад, как на него уже начали набрасывать тень подозрения... Отрепьев не раз намекал об этом Димитрию, но тот, в упоении первых дней любви, ласково отвечал ему:

— Не бойся, Григорий, я не Борис. Ты человек книжный, много знаешь, много думаешь, даже больше, чем следует, и оттого горчишное зерно тебе кажется арбузом. Знай свои книги, а кормило правления оставь мне — мой корабль пойдет шибко...

Вот почему торжество молодого царя не радовало Отрепьева... В то время, когда перед дворцом гремели бубны и литавры, а царские повара рассказывали ужасы о телятине, Отрепьев и его друг Треня сидели в келье Чудова монастыря и грустно разговаривали...

— Так как же ты, Юша, мыслишь — опять кинуть Москву?

— Так намыслил, Тренюшка-друг: идти за море, потолкаться по чужим землям, поглядеть, что там делается.

— Ну, и в какие ж страны ты намыслил, Юша?

— Сказывал мне французин Яков Маргаритов, дружинник царев, что можно-де по сухопутью дойти до францовского до стольного града, Паризием именуется, а в том-де граде дива неисповедимая. А из Паризия-де града по сухопутью ж идти через горы великие в шпанскую землю, где град Мадрид дивный и монастырей много. Да из францовской же земли проход есть и до Рима-града, в коем в ино время, как Господь наш Иисус Христос по земле ходил, Август-кесарь царствовал и мощи апостола Петра обретаются. Да из францовской же земли морем недалече добежать и до аглицкой земли, а кораблем можно дойти и за океан, в землю америкийскую... И, Господи!.. Чего-чего нет под солнцем, и все сие возможно человеку узрити. Вот хоть бы америкийская земля — ведаешь, где она обретается?

— А где, Юша? В том «Космографионе», что мы с тобой когда-то в этой келейке читывали, сказано, якобы америкийская земля лежит от аглицкой и от французской и от шпанской земель к западу, за великим окианом, а где — не ведаю.

— Вот где она, Тренюшка.

— Как, Юша? — с удивлением спросил Треня.

— Так под сим полом.

— Что ты, Юша, шутишь?

— Не шучу я, друг мой. Земля круглая, аки яблоко. Так вот на сей стране яблока обитаем мы,— аки мухи ползаем по яблоку, а на той стране яблока — америкийские люди... И выходит, что их подошвы супротив наших подошв. Вот куда душа меня тянет, Тренюшка-друг.

— А Настеньку Романову вытравил из души? — немного помолчав, спросил Треня.

— Ее не вытравить мне и могилою. С собою унесу ее

обличье кроткое — в сониях буду видеть ее; я — не суженый для сей птички райской. Я — ворон и сам занесу мои кости за тридевять земель. А ты что мыслишь с собой делать?

— Думаю взглянуть еще раз на Ксению, а там опять понесу мою буйную голову на тихий Дон. Из монастырской кельи, все едино, что из темной могилы, ей уж нету другого выходу, как к Богу на небо. Ипатушка-иконник сказывал мне, что видел ее на Беле-озере, во инокинях: из Оксиньи она стала старицею Ольгой... Пытала, сказывает Ипат, про Москву, про царя, про нас — и плакала, говорит. Эх, хоть одним глазком взглянуть бы на нее — да тогда и опять на Дон.

— Брось ты эту думу, Треня.

— Как бросить-то? Это не скорлупа орехова.

— Пойдем со мной — по сказке французина Якова Маргаритова: размычем наше горе по свету.

— Нет, Юша, не пойду я, не то я задумал.

— А что?

— Большое дело задумал я, Юша. Недаром мы с тобой книгу «Космографион» читывали. Видишь, Юша, тесно и душно на Москве, и мне тесно в ней стало. За чем я шел сюда с Дону, того не нашел, и Москва мне опостылела: тоска такая, что хоть руки на себя наложить, так впору. И замыслил я такое дело: есть у нас на Дону старый казак, Верзигой зовут, и был он в неволе у бусурман. Взяли его в подъезде ногайские татаровья, годов двадцать тому назад, и продали его в кизылбашскую землю, а из кизылбашеской земли торговые люди выторговали его и увели за реку Тигр и Ефрат, где был рай земной. А из-за Тигровой-реки увели его торговые люди в индийскую землю за Гангову-реку. И жил он в индийской земле лет десять, а то и боле. Золота в индийской земле видимо-невидимо, и овощ всякий, и зверь пушной. А царь в Индийском царстве не один, а все царики, и у цариков промеж себя частое розратье бывает, и на слонах бои бывают... А Индийское царство супротив Сибирского царства богаче и люднее не в пример... Вот я и думаю, Юша, коли Ермак Тимофеевич с товарищи Сибирское царство разгромил и подклонил, так для чего не разгромлю я с войском Донским царство Индийское? Пройти можно тою дорогою, коею он из Индийского царства вышел из полону: сперва идти на Волгу, а с Волги на Яик, а с Яика на Сырь да на Аму-реку, а с Сырь да Аму-реки степью на верблюдах да на конях степью, а там горами, а за горами и Индийское царство живет.

Отрепьев грустно слушал смелую фантазию своего друга и тихо качал головой.

— Что, Юша, качаешь головой? Не веришь?

— Верить-то верю, да несбыточное это дело, чтоб до индийской земли дойти.

— Почто несбыточное? Али мы не читывали с тобой, как Александр, царь Македонский, в оную индийскую землю прошел?

— Ты опять, Треня, за Александра Македонского...

— Что ж! И он был человек. А как покорю Индийское царство, так тогда не стыдно будет и царскую дочь за себя взять. Тогда и возьму я из монастыря Ксению Борисовну царевну, и будет она у меня индийскою царицею, как Марина Юрьевна стала царицею московскою и всея Русии. Вот тогда и приходи к нам в гости.

Отрепьев продолжал качать головой, с грустной улыбкой глядя на своего друга.

— Эх, Треня, Треня, донской казак!.. Ты остался все тем же, каким был: аки сокол, реешь думами по поднебесью — и легче тебе оттого. Когда-то ты загадывал гроб Господень достать, как раньше того искал жар-птицу да царевну Несмеяну.

— Что ж, Юша, царевну-то я нашел: чем Оксинья Борисовна не Несмеяна-царевна?

— Да ты-то, Треня, не царевич.

— Не царевич, а буду индийским царем!

Отрепьев встал и, положив руки на курчавую голову друга, тихо проговорил:

— Да ниспошлет Господь Бог свою благодать на эту хорошую голову! Думай, Треня, об Индийском царстве, ищи его, и ты обрящешь царствие Божие — душу свою соблюдеши в чистоте и в вере. Никогда в жизни не ищи малого, а ищи великого — и найдешь великое.

— Буду искать, и Бог мне поможет найти,— сказал Треня, глубоко растроганный.— И ударю я тогда челом всем Индийским царством царю московскому Димитрию Ивановичу всея Русии.

Хотя мечтатели и сознавали смутно, что около Димитрия творится что-то неладное, однако они и не подозревали той глубины пропасти, которую успела тайно выкопать под их юным царем лопата лукавого Шуйского, а лопата эта под корень копала дерево, которое, казалось, пускало корни в московскую почву...

В этот самый вечер, когда Треня мечтал об Индийском царстве и об «индийской царице Ксении», а Отрепьев, по сказке французина Якова Маргаритова, мечтал пройти на нижнюю половину земли, за великий океан, и когда Димитрий пировал в покоях царицы в обстановке, перенесшей поляков во дворец их короля (так все устроено было «по-польску»),— в эти самые часы вот что творилось в богатых палатах Шуйского, именно со вторника на среду...

В уединенном покое, скорее похожем на образную, чем на жилую комнату, происходило тайное совещание соумышленников Шуйского. Тут — высшие бояре Московского царства: старейший всех родов, но — не заслугами, недалекий князь Мстиславский, Шуйский с братьями, Дмитрием и Иваном, князь Василий Голицын с братьями; тут веднеется и грубое, дубоватое лицо Михайлы Татищева, и орлиный нос Григория Валуева, и плешивая голова дьяка Тимофея Осипова, великого постника и святоши, который даже сахар считал скоромным на том основании, что его будто бы пропускают для очистки чрез жженые кости; тут же серебрится и седая борода купчины Конева с серьгой в ухе; тут и некоторые из стрелецких голов, которых Димитрий отправлял в Елец для предстоящего похода на Азов, сотники и пятидесятники... Все слушают Шуйского, который говорит медленно, но с необыкновенным для него воодушевлением.

— Припомните, князи, бояре, думные, гостиные и ратные люди лучшие! Еще в прошлом году я говорил, что царствует у нас не сын царя Ивана Васильевича, и за то мало головы не потерял. Тогда Москва меня не поддержала.

— Москва не поддержала, это точно,— сказал Мстиславский.

— Что ж! Пущай бы он был не настоящий царевич, да человек хороший, а то видите сами, что это за человек, до чего он доходит. Женился на польке — и возложил на нее венец. Некрещеную девку ввел в церковь и причастил! Роздал казну русскую польским людям — отдаст им и нас в неволю!

— Отдаст, отдаст в неволю,— повторяет Мстиславский.

— Уж и топерево поляки делают с нами что похотят — грабят нас, ругаются над нами, насилуют женщин, оскверняют святыни. Теперь собираются за город с наря-

дом и с оружием ради якобы воинской потехи, а доподлинно затем, чтоб нас всех, лучших людей, извести и забрать всю Русь в свои руки. А там придет из Польши большая рать — и тогда искоренят нашу веру, разорят церкви Божии.

— Разорят, это точно, что разорят,— повторяет Мстиславский.

— Князи и бояре и все лучшие люди! Помните мое слово: буде мы не срубим сие пагубное древо в летораслии, то оно вырастет до небес и под ним Московское государство погибнет до конца! Погибнет — и наши малые детки, подымаючи ручки в колыбельках своих к небу, будут плакать с воплем великим и жаловаться Отцу небесному на отцов своих земных за то, что они в пору не отвратили беды неминучей. Возьмем же топор и срубим дерево погибельное: либо нам погубить злодея с польскими людьми, либо самим загинути. Пока их немного, а нас много, и они пьянствуют, ничего не подозревая,— теперь мы должны собраться и в одну ночь вырубить их. Готовьте топоры! Точите топоры, братцы!

— Они наточены, наточены остро на шеи еретицкие! — отзывается все собрание.— Веди нас, князь Василий Иванович!

— Ради веры православной я принимаю начальство,— говорит лисица, превращающаяся в волка.— Идите и подбирайте людей. Ночью с пятка на субботу, чтобы были помечены крестом дома... где живут поляки. Рано утром в субботу, когда заговорит набатный колокол, пускай все бегут и кричат, якобы поляки хотят убить царя и думных людей и Москву взять в свою волю. Пускай кричат так по всем улицам. Когда народ бросится на поляков, мы тем временем, якобы спасаючи царя, бросимся в Кремль и... покончим с еретиком. Если наше дело пропадет, пропадем и мы, то купим себе венец непобедимый и жизнь вечную, а не пропадем — так вера православная будет спасена навеки!

— Аминь! — мрачно произнес Гермоген, митрополит казанский.

— Благослови, владыко, на святое дело,— сказал Шуйский.

Все встали и наклонили головы. Гермоген взял со стола крест и, трижды осенив им наклоненные головы заговорщиков, передал этот крест Шуйскому, говоря:

— Буди благословен путь ваш! Идите на дело святое за сим крестом — Христос будет впереди вас. Аминь...

XXVIII. «СПИ, СПИ, РУССКАЯ ЗЕМЛЯ!»

Прошел еще день. Поляки ликовали. С великою торжественностью и великою пышностью справили они в четверг «боске цяло». Им казалось, что вольная, счастливая, блестящая Польша переселилась в хмурую, холодную Московию и согрела ее своею вольностью, осветила своим блеском, оживила мелодиею польской речи, польской песни...

Ксендз Помасский был так величествен во время богослужения — особенно когда, благословляя царицу Марину, на голове которой горела бриллиантовая коронка, говорил:

— Благословенная из благословенных дщерей святой матери нашей, Церкви апостольской, великая царица московская! Над коронованною главою твоею блестят лучи славы бессмертной — это святая непорочная Дева Мария осеняет своею божественною дланью. Она через божественного Сына своего возвела род человеческий от смерти к жизни, вывела из геенны огненной: ты выводишь народ московский из мрака неведения, варварства и рабства к свету истинной веры и просвещения. И будет имя твое славно и честно из века в век: оно станет наряду с именами первых апостолов, и цари земные придут и поклонятся тебе... О, Самбор! Ты будешь новым Назаретом.

Паны и пани тают от удовольствия! Сама Марина глубоко взволнована.

— Ах, Марынцю, вот смешно будет, когда в костеле поставят твой образ и заставят молиться тебе,— шепчет ей Урсула, когда ксендз кончил свою речь.

— Перестань, Сульцю, все ты со своими глупостями,— отвечает Марина, отворачиваясь.

— А я, ваше величество, буду молиться вам усерднее, чем всем другим святым,— шепчет паж Марины, юный панич Осмольский.

На улицах Москвы и в Кремле также ликует вольная, беззаботная Польша. То и дело слышатся выстрелы — это холостые салютации к празднику,— и как ни невинны эти забавы беззаботных панов и их гулливых гайдуков, однако москвичей это тревожит и раздражает...

— И какого беса они все стреляют, нехристи? Только детей пужают.

— Да вон там за городом опять крепость потешную ставят — отнимать будут у нас...

— Держи карман! Дадим мы им!

— Вон и пушки повезли.

— То-то! Пущай везут на свою голову. А вон, сказывал Конев, царь-пушка не пошла.

— Как не пошла?

— Да так — уперлась, голубушка, да и ни с места.

— А они нешто и ее хотели взять?

— Как же... Да она у нас, матушка, не дура.

— А вот звонарь на Успенской колокольне про чудо сказывал...

— Ой ли? Какое чудо?

— А во какое: на Миколу стали звонить к утрене, а колокол не звонит...

— Что ты? Как не звонит?

— Так и не звонит — немой стал, аки бы человек, и язык есть, да не звонит — на-поди!

— Что ж это с ним сталось?

— А осерчал на нехристей. Как он осерчал-то да перестал звонить, так звонарь мало с ума не сошел со страху. Да к патриарху, слышь: так и так — большой колокол наш-де от сердцов... Так уж сам-от патриарх насилу отчитал его да водой откропил от немоты.

— Ну и зазвонил?

— Зазвонил.

— Ах они, проклятые! Ишь усищи, словно кнуты подвитые.

Это замечание относилось к знакомым нам краковским панам — к пану Непомуку и к пану Кубло, которые важно проходили в это время по Красной площади, неистово звякая саблями и гордо поглядывая по сторонам. Им казалось, что вся Москва разинув рот любуется ими. Да и как не любоваться, пане, этакими молодцами? Одеты они богато: на пане Непомуке голубой кунтуш с зелеными шароварами и красная магирка, на пане Кубло — красный кунтуш с желтыми, канареечного цвета, шароварами и синяя магирка; на ногах у первого сафьяновые сапожки, у пана Кубло — «вельки буты», вместо женских стоптанных котов.

В это самое время через площадь проезжала каптана, по обыкновению завешенная цветной материею.

— Подайте Христа ради, поминаючи родителей своих,— проскрипел голос нищего, сидевшего у дороги.

Занавес каптаны приоткрылся, и оттуда выглянуло

хорошенькое женское личико, полное и румяное. Такая же полная белая рука бросила нищему медную монету.

— За здравие царевны Ксении,— послышалось из каптаны.

Увидев хорошенькое личико, пан Кубло приосанился: руки, ноги, голова, усы — вся фигура его и движения напоминали кобеля, рисующегося перед своими «дамами»; недоставало только хвоста бубликом, но у пана Кубло хвост заменяла сабля, торчавшая сзади и бившая его по ногам.

Когда женское личико вновь выглянуло из каптаны, чтобы бросить монету другому нищему, пан Кубло подскочил козелком к самой каптане и послал воздушный поцелуй неизвестной красавице. Это увидели узнавшие царевну москвичи:

— Ах ты гусынин сын! Нехристь эдакая! Вот мы тебя!..— закричало сразу несколько человек.

А между тем Димитрий — не замечал... Хотя уже многие — и вовсе не враги ему — обращали внимание на вспышки, на глухие подземные удары, которые обнаруживали присутствие подземного огня, готового пожрать нарождающееся царственное величие этого необыкновенного юноши с его грандиозными планами, с его дерзкою решимостью изумить весь мир. Упоенье любовью не отвлекало его от кипучей государственной деятельности: Басманов, Власьев, Сутупов, Рубец-Мосальский и князь Телятевский постоянно призываемы были для представления докладов, для подачи к подписанию указов, грамот, законов и для выслушивания разных именных повелений...

— Как ты много работаешь, милый,— говорила ему Марина утром в пятницу, когда он пришел к ней после занятий.— Ты похудел даже.

— Это ничего, сердце мое коханое, я похудел от счастья,— отвечал он задумчиво.— Мы теперь не в Самборе, не в парке у гнезда горлинки. Помнишь?

— Помню, милый. Думала ли я тогда, что так выйдет?

— Да. А как дрожали твои руки, сердце мое, когда ты тех птичек кормила. Но ты не видела, как мое сердце дрожало.

— Я слышала его, когда ты наклонился ко мне. А знаешь, когда это было, милый?

— Как — когда? Я ли не помню!.. Как сегодня все...

— Сегодня ровно два года. Это было шестнадцатого мая, после того как татко праздновал день твоего спасе-

нья в Угличе... И как тогда противный пан Непомук велел зарезать к столу бедную горлинку.

Димитрий задумался — не то он вспомнил о неразгаданном своем прошлом, не то слова Марины разбередили в нем другие воспоминанья.

— Два года... ровно два года... пятнадцатое — шестнадцатое мая. А сколько пройдено в эти два года! До трона дошли,— говорил он как бы сам с собой.— До трона... А как невысоко до трона. Сердце мое! Радость моя! Так надо праздновать этот день — первые именины нашей любви.

— Да. Еще когда пришла Ляля потом...

— Кто это такая Ляля, сердце мое?

— Ляля — покоювка моя, девочка, что влюблена была в пахолка Тарасика. Как увидала она меня после твоего ухода из парка, так и руками всплеснула. «Ах, панночка! — говорит.— Яки у вас очи велики стали — ще бильши и краще як були... Таки очи... як у Богородици, що з Рима привезли — Мадонною зовут...»

— Ах ты моя Мадонна! Ляля эта правду сказала в невинности сердца — ты Мадонна. Отпразднуем же сегодня именины нашей любви, а завтра за дело.

— За какое дело, милый? Точно ты мало делаешь?

— О! У меня много дела впереди, сердце мое, много, так много, что во всю жизнь не переделаешь. Теперь уж готовятся рати и стягиваются к Ельцу. Когда прибудет весь наряд и обозы с кормом и припасами, тогда я сам вместе с тобою, сердце мое, поведу мои рати к Азову. Возьму Азов — это у меня будет первая дверь в море. Через эту дверь я выведу мои рати в море, да в союзе с королем Жигимонтом, да с королем Генрихом Четвертым французским (к нему я посылаю послом, сердце мое, Якова Маржерета), да с цесарем римским ударю на Царьград и изгоню турок из Европы, освобожу святую Софию, гроб Господень...

— Ах, милый мой! Великий мой! Какой ты великий! — обнимала его восторженная Марина, мечты детства которой, казалось, уже сбывались и она подносила ключи от гроба Господня святому отцу, папе...

Но этой последней своей мечты она не доверила пока Димитрию.

— Мой великий! Мой славный! — шептала она.

— Мое величие и моя слава впереди, сердце мое. Потом я хочу воротить Русской земле то, что принадлежало моим прародителям — Рюрику, Синеусу, Труво-

ру, князьям киевским, галицким, полоцким. Все это должно быть моим — от северных морей до южных. Я хочу, чтобы мои корабли ходили вокруг света. Потом я намерен заложить в Москве университет.

— Такой, как в Гейдельберге, милый, куда уехал...

Она не договорила и покраснела. Димитрий заметил это.

— Кто уехал в Гейдельберг, сердце мое? — спросил он.

— Мой знакомый... знакомый татки... Урсулочки...

— Да кто же, кто, друг мой?

— Он... ты дрался с ним... ранил его...

— А! Князь Корецкий, что вздыхал по тебе.

Тень пробежала по лицу Димитрия. Но он в то же время почему-то вспомнил Ксению... вечер 23 июля. «Митя... Митя мой!» — отозвалось у него в сердце — и он молча обнял Марину, не смея взглянуть ей в глаза.

— А помнишь, душа моя, нашу охоту в Самборе? — сказал он, стараясь скрыть свое смущение.

— Когда ты ходил на «медведя Годунова»? Помню, еще бы не помнить этого дня!

— А что, испугалась разве?

— Да, милый. Ох, как было страшно! Но главное не то, не это я помню.

— Что же это такое другое, сердце мое?

— А то, что тогда в первый раз я почувствовала, что люблю тебя. За тебя-то я и испугалась, милый.

В это время вошел старый Мнишек. Он был встревожен. Димитрий заметил даже, что у него дрожала рука, когда, в знак благословения, он положил ее на голову дочери.

— Что скажет пан отец? — спросил царь.

— Сын мой! Тебе угрожает опасность. Сегодня пришли ко мне жолнеры и говорят, что вся Москва поднимается на поляков. Заговор, несомненно, существует.

Царь хладнокровно заметил:

— Удивляюсь, как ваша милость дозволяет жолнерам приносить всякие сплетни.

— Ваше величество,— отвечал воевода,— осторожность никогда не заставит пожалеть о себе — и потому будьте осторожны!

— Ради Бога, пан отец, не говорите мне об этом больше. Иначе нам это будет очень неприятно. Мы знаем, как управлять государством. Нет никого, кто бы мог что-нибудь сказать против нас — мы никого не казнили, никого не наказали, ни одна слеза не упала еще

из глаз моих подданных мне на совесть. Но если б мы увидели что-нибудь дурное — в нашей воле лишить жизни виновного.

Он говорил медленно, строго, царственно. Живые глаза его сделались какими-то стоячими, глубокими, бесцветными. Потом он прибавил:

— Хорошо. Для вашего успокоения я прикажу стрельцам ходить с оружием по тем улицам, где поляки стоят.

Вошел Басманов. Лицо Димитрия прояснилось.

— Что, мой верный? — спросил он ласково.

— Небезопасно в городе, царь-осударь,— тихо отвечал Басманов.

Димитрий нетерпеливо махнул рукой. Марина подошла и ласково положила ему руку на плечо.

— Выслушай его,— шепнула она, глядя ему в глаза.

— Ну?..— обратился он к Басманову.

— Которые, царь-осударь, шесть человек были взяты ночью на твоем дворе — воры, злодеи твои.

— Ведь трех положили на месте?

— Точно, царь-осударь. А которые трое остались, и те пытаны накрепко, и с пытки ничего не сказали, да так в расспросе и подохли.

Димитрий задумался. Глаза его опять были бездонные, бесцветные.

— Хорошо,— сказал он мрачно,— завтра мы сделаем розыск. Дознаемся, кто против нас мыслит зло. А ноне я хочу быть добрым. Ради моей царицы. Спасибо, мой верный друг!

Басманов низко поклонился и вышел.

Прошел и этот день — первые именины первой любви загадочного человека.

Вечером в новом дворце были танцы. Гремела музыка, звенели шпоры панов, шуршали, раздражая мужские нервы, шелковые платья хорошеньких пани... Носились, словно херувимчики, миловидные пахолята в цветных изящных костюмчиках, прислуживая Марине и другим дамам. Паж Осмольский, стоя за стулом царицы, тайком целовал ее роскошную, распущенную по плечам и перевитую золотыми нитями и жемчугом косу. Счастье, счастье, без конца счастье!

Теперь все утихло. Гости разошлись. В дворцовых сенях остались только пахолята и несколько музыкантов — и все спят, разметавшись где попало.

Не спит один Димитрий на своем роскошном ложе рядом с Мариной. Он слышит ее ровное, тихое, как у ребенка, дыхание, чувствует теплоту ее разметавшегося на подушках молодого тела. Почему-то в эту ночь перед ним проходит вся его жизнь, полная глубокого драматизма, поразительных воспоминаний.

Углич... не то он сам помнит себя в Угличе, не то ему кто-то рассказывал об этом. А кто? Где? Когда? Темно... темно там, в далеком детстве... пропасть какая-то глубокая... ничего не видать.

А там монастыри какие-то... черные рясы... книги пожелтелые и воском закапанные... старцы ветхие... и — «царевич»! Да, это в крови сидело, под черной рясой и скуфьей колотилось царское сердце, текла царская кровь, колотился под черепом этот мозг, беспокойный, царский.

«И отчего Богдан Бельский никогда мне прямо в глаза не смотрит, когда я расспрашиваю его о своем детстве?.. А кто этот княжич Козловский, о котором он раз проговорился? Кто он? Где пропал?..

Днепр широкий... Киев... пещеры... мощи угодников... Гоща... Брагин... Самбор... Краков... Путивль... Москва... Экая лента какая перед глазами!.. И все чужие люди назади... Хоть бы один друг детства...

Как тихо кругом... как тихо в Москве.

«Эх, Москва! Москва! Эх, Русь моя дорогая! Возвеличу я тебя, просвещу светом учения, раздвину тебя от моря до моря, и будешь ты богатая и могучая, будешь ты царицею цариц».

— Ох, милый, где ты? — с испугом шепчет Марина.

— Что ты, сердце мое?

— Ах, как страшно! Дай взглянуть на тебя.

И Марина обвилась вокруг его шеи, глядела ему в очи. На дворе светало уже.

— Да, это ты, мой милый, мой царь... а я видела во сне не тебя... не здесь... другого... И он говорит, что он — ты... Как страшно...

— Ну, спи же, спи, дорогая моя.

Марина опять уснула. А он опять остался со своими думами.

«Да, я чужой им всем... И мать моя какая-то чужая мне... Ах, детство! Детство мое! Да что мне на него оглядываться? Впереди еще целая жизнь — целый океан жизни... Как тихо в Москве — вся уснула... Один царь ее не спит... Спи, спи, Москва! Спи, Русская земля великая! Скоро я разбужу вас...»

Что это?.. Издали, откуда-то из города, прокатился по небу набатный звон... Что это такое?!

Мы знаем, что это такое... Это Шуйский выступает на сцену.

XXIX. РУССКАЯ ЗЕМЛЯ ПРОСНУЛАСЬ

Москва взялась за нож да за рогатину. В пятницу уже на глазах этой Москвы поляки видели что-то зловещее. Паны и гайдуки бросались по лавкам и пороховым складам покупать порох — на случай самозащиты, но везде натыкались на эти зловещие глаза и слышали в ответ:

— Нет у нас зелья.

По змеиному шипу Шуйского часть войска, что готовилась идти в Елец, окружила Москву змеиным кольцом, чтоб не выпустить того, кого обрекли на смерть...

— И сорока будет лететь из Москвы — и сороку бей,— шепнул Шуйский стрелецкому голове, участвовавшему в заговоре.— То, може, не сорока, а он — бесеретик.

В роковую ночь, после пира, когда поляки и москвичи спали и когда Димитрий, лежа рядом с Мариной, мысленно переживал всю свою загадочную жизнь и заглядывал в темное будущее, не спали змеиные глаза Шуйского, отдававшего разные приказания, да некоторые из его сподручников тихо прокрадывались по спящим улицам Москвы и отмечали черными крестами дома, в которых жили поляки...

— Да почернее, братцы, мажьте, не жалейте киновари этой латынской, еретической.

— Подпустим, подпустим киновари, батюшка князь, у нас богомазы на этот счет есть знатные.

— А вы, братцы, расправляйте резвы ноженьки да как учуете колокол полошной — это заговорит святой Илья-пророк на Ильинке,— так и пойте по улице в истошный голос: «Литва царя хочет убить! Литва Москву берет!..» Да кресты-то им и укажьте — нашим-то православным, где крест — там литва...

Полошный, набатный колокол на Ильинке ударил в тот самый момент, когда край солнца только что коснулся горизонта, первый солнечный луч брызнул на ко-

локольню и, скользнув по роковому колоколу, осветил и озолотил рыжую бороду звонаря...

На этот удар ответили соседние церкви — в самом звоне слышалась тревога, испуг, какой-то странный металлический призывный крик, и стон, и вопль... Нет ничего страшнее набатного звона многих церквей. Теперь этот звон вывелся; но кто слышал пожарный набат, тот знает, что колокольный крик — самый страшный крик, доводящий до ужаса, обезумливающий людей... Это крик стихийного отчаянья...

Скоро закричали все церкви московские с их тысячами колоколов, дрогнули все колокольни и, словно вся Москва,— и дома, и улицы, и стены Кремля, и площади — все задрожало... Ужас, неизобразимый ужас!..

Москва как ошалелая металась по улицам, по площадям — искала крестов — и уже кое-где трещали и ломились ворота, звенели окна, падали ставни... Ближайшие валили в Китай-город, к Кремлю... Всполошенная птица, как и люди, металась из стороны в сторону, кричала, каркала, боясь сесть на крыши, на заборы, на церкви,— все кричало и стонало...

А Шуйский уже на Красной площади, на коне... Только что выглянувшее солнце золотит его серебряную бороду, искрится на седых волосах, на кресте, который он держит в одной руке, а в другой — голый, сверкающий каким-то холодным светом меч... Он — на коне — такой бодрый, величественный... Куда девались его лисьи прячущиеся глаза? Они смотрят открыто, строго, зло, не боясь света солнца... Да и чего им теперь бояться? Кого? Прежде Шуйский боялся царей и лукавил перед ними, пряча свои лукавые глаза: лукавил перед Грозным, лукавил перед убогим Федей-царем, лукавил перед Борисом Годуновым, лукавил перед Федей Годуновым, лукавил до сегóдня и перед *этим,* что там, в Кремле, спит, может быть, лукавил и обманывал.

Тут же, около Шуйского, на площади, Голицыны, Татищев — тоже на конях, в боевом виде... Тут же и толпа пеших, большею частью тех, лица которых виднелись на последнем вечернем собрании у Шуйского: Григорий Валуев, Тимофей Осипов и другие... Это они — только те да не те лица: что-то особенное на них написано. И блестят на солнце ножи, топоры, стволы ружей, острия копий, рогатин...

А колокола захлебываются — гудят и ревут... Ревет и народ, заполняя своими телам Красную площадь.

— Кого бьют? За кого стоять?

— Царя бьют.

— Царя! О...— стонет площадь.— Кто бьет?

— Литва!

— О! Литву... Литву бить! Литву топить!

И обезумевшая от колокольного звону и от собственных криков городская толпа рванулась в разные стороны искать поляков.

— Кресты, братцы! Кресты ищи! Помни кресты!

И толпа отхлынула в город — искать кресты... Тогда Шуйский с кучею заговорщиков двинулся в Кремль — ему не Литва нужна была, а голова рыжая...

А рыжая голова не спала... точно она предчувствовала, что ей уж больше не придется вспоминать свою жизнь — и вспоминала в последний раз.

Услыхав набатный звон, Димитрий тихонько встал с постели, боясь разбудить Марину, наскоро оделся и быстро направился на свою половину дворца... В дверях он столкнулся с Димитрием Шуйским.

— Что это за звон?

— Пожар в городе, царь-осударь.

— Так я сейчас еду.

И он воротился к Марине, чтобы взглянуть на нее, на сонную, и успокоить, если она проснется.

Но звон становился ужасен. Словно волна, он приблизился к Кремлю, заливал уже Кремль, гудел над самым ухом — гремел на Успенском. Во дворе голоса, угрожающие крики... «А! Рабы ленивые!.. Это вы о биче соскучились. Я был слишком добр для вас. Так я буду для вас Ровоамом: отец мой бил вас жезлом, а я буду бить скорпиями — вы сами этого хотите».

А вот и Басманов — тревожный, испуганный.

— Что там? Поди узнай!

Басманов отворяет окно на двор. На дворе уже сверкают секиры, ножи, торчат рогатины.

— Что за тревога? Что вам надобно? Эй! — кричит Басманов стальным голосом.

— А отдай нам своего царя-вора! Отдай, тогда поговоришь с нами! — отвечает толпа.

— Подавай его сюда.

Басманов бежит к Димитрию. «Загула струна — загула — и лопнет... Лопнула!» — заколотилось у него в груди.

— Ахти мне, государь! Сам виноват — не верил своим верным слугам. Бояре и народ идут на тебя,— говорил он, наскоро опоясывая саблю.

«А! Холопье семя!.. А если я в самом деле не тот? — мелькнуло у него в уме.— Нет! Нет!»

В дверях толпились немцы-алебардщики — они защищали вход.

— Запирайте двери, мои верные алебардщики!.. Если я голыми руками взял целое царство Московское, то с вашей помощью я удержу эту ошалелую клячу. О! Горе изменникам!

Но ошалелая кляча была сильнее, чем он думал. Еще с вечера Шуйский именем царя приказал дворцовой страже, алебардщикам и стрельцам, разойтись по домам, так что из всего караула, состоявшего из ста человек одних алебардщиков, осталось на страже человек до тридцати. С Шуйским же явилось ко дворцу более двухсот заговорщиков.

Мастерски задумал Шуйский свой роковой ход, мастерски и делал его — ступал уверенно, рассчитанно: семь раз примеривался, чтобы один раз отрезать ненавистную ему рыжую голову.

Когда его молодцы приблизились ко дворцу, он слез с коня, набожно взошел на ступени Успенского собора и набожно поцеловал соборные двери.

— Кончайте скорее с вором, с Гришкою Отрепьевым! — сказал он, указывая на дворец крестом — тем, что дал ему Гермоген казанский.— Кончайте! Коли не убьете его — он нам всем головы снимет.

Толпа ломилась бешено, дико. Алебардщики не выдержали и подались назад. Раздались выстрелы...

— Государь, спасайся! — кричит верный Басманов.— Я умру за тебя!

Но упрямая рыжая голова еще верила в себя. Бесстрашно, с закушенными от злости губами, Димитрий выступает вперед и громко требует своего меча...

— Подайте мне мой меч!

Но где царский меч? Куда девался мечник? Нет его. Ведь он тоже Шуйский-Скопин — лукавой крови и в него попала капля. Нет великого мечника князя Михайлы Васильевича Скопина-Шуйского — и нет налицо царского меча.

Царь выхватил алебарду у Вильгельма Шварцгофа и, показавшись в наружных дверях, закричал к толпе резко, отчетливо:

— Я вам не Борис!

Толпа прикипела на месте. Да, это царский голос, страшный, как погребальный звон, резкий, как свист секиры палача. Ни с места — замерли, закоченели, на зверей напал страх...

Из толпы просвистала пуля, грянуло... Но толпа ни с места... страшно... это царь... надо падать ниц...

Но Басманов испортил все дело. Он вздумал защищать того, чей голос заставлял трепетать... Он бросился вперед, заслонил собою того, кто ужас наводил на толпу.

— Братцы,— говорил он,— бояре и думные люди! Побойтесь Бога, не делайте зла царю вашему, усмирите народ, не бесславьте себя!

Дурак! Погубил все дело... Татищев сразу понял это и, сказав крепкое слово, такое крепкое, какое в состоянии выговорить только рот русского человека, ударил Басманова ножом прямо в сердце... Басманов, как сноп, с хрипом скатился с лестницы.

Кровь пролита, крепкое слово сказано — для толпы уже не было страха. Толпа зарычала. Раздались выстрелы, крики, полилось резкое крепкое русское слово, не стало удержу ярости русского человека...

Царь отступил — перед ним уже были не подданные. Алебардщики заперли двери, но ненадолго: треск и грохот падающих половинок показал, что все разрушается легче, чем создается.

Димитрий дальше отступил. О! Давно ли он только наступал, но не отступал? А теперь приходилось отступать. Куда? С трона? В могилу?..

Дрожит от ударов и следующая дверь... это трон дрожит... порфира спадает с плеч, корона валится с головы... держава, скипетр — все вываливается, расступается земля... шатается мир...

Димитрий схватился за голову — рвет рыжие волосы... За что?.. О! Он знает за что... За веру в людей! Он им верил, им... О! Да скорее зверям можно верить, чем им... Рви же, бедный, рви до последнего свои рыжие волосы!..

А вот... Господи! А крики,— да это небо взбесилось, земля обезумела, медь на колокольнях взбесилась — и звонит, звонит!

А Марина... Боже мой! Да к ней пройти нельзя... началась разлука...

— Зрада! Зрада! Сердце мое! Зрада!

Точно и голос-то не его... Да, не его — не своим голосом кричит иногда человек, истинно не своим... У него взяли и царство его, и его Марину, и — его голос!

Нет спасенья... Бежать? Позор — бежать!.. Но и бежать-то уж некуда... А надо бежать... Вон окно, вон спасенье... На эти леса, что поставлены для иллюминации... иллюминация *будет* в воскресенье — это завтра — *будет*...

Он прыгнул на леса, как собака прыгает из окна, прыгнул, споткнулся на лесах и полетел на землю, с высоты тридцати футов. «О, зачем я не жулик, не вор — я б не споткнулся...»

В этот же момент, когда он пожалел о том, что он не жулик и не умеет из окон прыгать, он потерял сознание. Москва, трон, царство, Марина, свет Божий — все исчезло — и сам он исчез...

— Милый! Милый! Где ты? — спрашивала Марина, проснувшись и не видя около себя мужа.

Никто не отвечал. Слышался только набатный звон. Марина вскочила с постели и подошла к окну: в городе слышался страшный шум, заглушаемый ревом колоколов.

— Пани гофмейстерина! Пани гофмейстерина!

Но рев колоколов заглушал даже ее собственный голос — пани гофмейстерина не откликалась... Напротив, слышались голоса извне... грозные возгласы... «О, Езус Мария!..— молнией прорезала ее страшная догадка.— Так скоро!..»— в одной сорочке, простоволосая, бросилась в нижние покои, под своды, никого не встречая на пути... Слышны уже были крики и выстрелы в самом дворце... Страшно, о как страшно!.. «Где он? Что с ним?.. Татко...»

Она бросилась опять наверх... Слышит стук оружия, человеческих ног... Валит какая-то толпа, страшные лица, страшные возгласы...

— Ищи еретика!

— Давай его сюда, вора!

Марина прижалась... «Его ищут... он еще жив... Боже!» Толпа, не заметив своей царицы, сталкивает ее с лестницы... Бедная!.. Она закрыла лицо руками — и тихо заплакала, прижавшись в уголок...

Вдруг кто-то схватил ее за руки.

— Ваше величество,— это был ее паж, юный Осмоль-

ский, который искал ее,— ваше величество! Зрада! Спасайтесь!

— А мой царь? Мой муж?

Осмольский махнул рукой.

— Спасайтесь! Умоляю вас! — и он силой увлек ее во внутренние покои, прикрывая своим плащом ее голые плечи и грудь. А давно ли он стоял трепетно за ее стулом и украдкой целовал ее роскошные волосы? Теперь они без жемчуга и золота — разметались по белой сорочке и по голой спине.

— О, Боже! Царица! Где вы были? Я искала вас! — вскричала гофмейстерина.

Комната, куда Осмольский ввел Марину, была наполнена придворными дамами. Картина была неуспокоительная: на лицах у всех был ужас. Та в отчаянье ломала руки, другая молилась, распростершись на полу. Между ними был один только мужчина — и тот почти мальчик, верный паж царицы, Осмольский. Слыша приближение врагов, он запер двери и с саблею наголо оберегал их.

— По моему трупу злодеи пройдут до моей царицы! — говорил бедный юноша, сверкая глазами.

Дверь грохнула... Грянули ружейные выстрелы — и труп был готов: как подкошенная травка, упал честный юноша на пол, раскинув руки и глазами ища свою царицу. Если кто верно и искренно любил ее, так это он, этот честный мальчик.

Его изрубили на куски, как капусту.

— А! Змееныш литовский! Секи мельче змееныша — оживет! — кричит бритая голова — только что вырвавшийся из тюрьмы колодник.

Женщины, как ягнята среди волков, сбились в кучу, и ни слова, ни крика — только дрожат. В стороне лишь одна женщина — пани Хмелевская. Она тоже вздрагивает, но — истекая кровью. Вздрагивают руки, старое лицо подергивается смертными судорогами... В нее угодила пуля.

В этот момент снизу, со двора, послышались крики:

— Нашли, нашли еретика!

Все поняли, кого нашли. Марина даже не вскрикнула — напряглась так, что хрустнули челюсти.

— Прощай, мой милый! Прощай, мой царь...

И она вспомнила самборский парк, гнездо горлинки... О! Зачем было все то, что было?

XXX. ВЕРНАЯ СОБАКА НАД ТРУПОМ ДИМИТРИЯ. МОСКВА СТРЕЛЯЕТ ПЕПЛОМ ОТ СОЖЖЕННОГО ЦАРЯ

Как жалобно где-то воет собака... Ноет, плачет — буквально плачет бедный пес, словно Богу на людей жалуется, оплакивая кого-то. Кого он оплакивает?

— О, armer Hund![1] — бормочет сердобольный немец, алебардщик Вильгельм Шварцгоф. Ему, несмотря на совершающиеся кругом ужасы, стало жаль бедной собаки. Да, верно, и недаром воет...

Подходит немец — и между лесами, под окнами дворца, видит распростертого на земле — кого же? — царя! Которого он еще недавно защищал от разъяренных зверей, но — не смог защитить... О, бедный царь!

Так это над ним, над царем, раздается собачий плач!.. Никого не нашлось, кроме собаки, кто бы его оплакал, и она плачет... Это его собака — она, голодная деревенская собака, как-то пристала к нему на охоте, под Москвою, и с тех пор не оставляла его. Да, это она оплакивает московского царя, такого же, как и сама она, приблуду. То начнет лизать ему руки, лицо, то опять ударится в слезы — воет, воет, так что сердце надрывается.

Заплакал и добрый немец — честный слуга своего господина. Собака плачет!.. А люди... о, порождение скорпиев! Люди или пресмыкаются, ползают в ногах, или топчут ногами...

Добрый немец бережно приподнял несчастного царя. Он жив еще, он дышит...

— Господи, да, никак, это царь-батюшка?

— Он и есть! Ахти, родимые! Что с ним? Убит?

Это стрельцы увидали своего царя и бросились к нему.

— Он упал, знать, сердешный, расшибся... Ахти, горе какое!..

— На ветер его, братцы, на ветер — он маленько оклемает...

Подняли на руки. Несчастный только стонал в беспамятстве. Немец-алебардщик дал ему понюхать спирту, потер виски. Мало-помалу он начал приходить в себя, осматриваться. Его положили на плащ.

— Где я? Что со мной?

---

[1] О, бедная собака! *(нем.)*

Собака с радостным визгом лизала ему руки, заглядывала в глаза. Он узнал собаку, узнал алебардщика, стрельцов. Вспомнил... все вспомнил разом! Да и нельзя было не вспомнить: крики, звяканье оружия, выстрелы, беготня — все говорило само за себя. Стрельцы жалостно смотрели на своего злополучного царя. Он жалобно стонал.

— Ох... спасибо, мои верные... Что царица?

— Не ведаем, царь-осударь, мы только что пришли к тебе — услыхали сполох и пришли.

Из окон дворца кто-то крикнул:

— Вон он, еретик!

Димитрий услыхал этот крик и затрепетал всем телом.

— Братцы! Ох, обороните вы меня от злодеев, от Шуйских, обороните, Господа ради, милые мои, православные!.. Ведите меня к миру — на площадь — перед Кремль. Братцы вы мои! Милые! Я вознесу вас выше всех, озолочу вас... боярских жен и дочерей отдам вам в неволю — все добро их ваше будет... Несите меня...

В это время послышались яростные крики заговорщиков:

— Вон он! Вон он! Нашли еретика! Давай его сюда!

Заговорщики наступали. Стрельцы, сомкнувшись в строй, прикрыли своего царя.

— Стой! Ни с места!

Заговорщики не слушались. Стрельцы дали залп по дворянам — некоторых положили на месте. Заговорщики дрогнули, попятились назад.

— Заряжай! — командуют стрельцы.— Стреляй их, лизоблюдов!

Но в это время показался сам Шуйский, верхом на коне и с крестом.

— Стойте! Стойте! — кричал он пересохшим горлом.— Куда бежите? От него не спрячетесь — он не таковский, чтоб забыл обиду. Это не простой вор — змий свирепый! Душите его, пока он в яме, а выползет — то и нам горе, и женам нашим, и детям.

Заговорщики воротились. Стрельцы опять приложились к ружьям. Критическая минута! Вся Россия на волоске — на волоске несколько столетий, целая будущая история страны — на одном тонком волоске: уцелеет или не уцелеет этот неразгаданный «змий»?

Но — лопнул волосок!.. Кто-то, гениальный, закричал в толпе заговорщиков:

— Коли так — так идем, братцы, в Стрелецку слободу, побьем их сук-стрельчих со щенятами-стрельчатами. Пущай они берегут вора, обманщика, злодея! Идем!

Стрельцы не выдержали. Сами бы они готовы были умереть, вынести великие муки, но детки их, жены... Нет, это было выше их сил. Для детей и жен — они отступились от царя... Опять осталась около него одна Приблуда: ни у него, ни у нее никого не было на свете...

Подошли заговорщики вместе с боярами и думными людьми. По лицам их видел несчастный, что его ожидало.

— Батюшка! — вскричал он, поднимая руки к небу.— Батюшка мой! Отец! Царь Иван Васильевич!.. Погляди на меня, на своего сына... Погляди, что со мной делают! Батюшка! Родитель мой! Защити меня...

— Какой он тебе батюшка, еретик окаянный! — закричал Григорий Валуев.— Пес твой батюшка, сука твоя матушка...

Приблуда кинулась на оскорбителя и чуть не схватила его за горло.

— Цыц, дьявол, цыц! Вот отец твой, окаянное отродье! — и он ножом отсек ухо у собаки.

Димитрия подняли и потащили во дворец, в новый «парадиз» его. Сам он не мог идти: когда сорвался с лесов, то вывихнул себе ногу, зашиб голову, расшиб грудь... Он был несказанно жалок... Рыжая, угловатая, так крепко сидевшая на плечах голова, еще недавно украшенная короной, дрожала. Лицо подергивало. Глаза искали своих в толпе, но никого не находили... Только голубые, добрые глаза немца Шварцгофа глядели участно... Вон труп Басманова, распростертый на земле: открытые глаза, остеклевшие, глядят на небо, на солнце... Нет и там, в небе, нет ни жалости, ни правды...

Парадиз весь окровавлен, загрязнен — все в нем разбито, растащено...

Бедные алебардщики... они обезоружены... они не смеют поднять глаз на своего царя... Только добрый Шварцгоф проскользнул вслед за думными людьми, и, видя, что царю опять становится дурно, что его поразила эта картина разрушения,— сердобольный немец хотел снова дать страдальцу понюхать спирту... Несчастный! Не успел он поднести роковой пузырек к страдальцу, как над головой его свистнула алебарда, и сердобольный немец упал с рассеченным надвое черепом...

— Собаке собачья и смерть!.. Эти собаки-иноземцы и теперь не оставляют своего воровского государя! Надо всех их побить!

— За что их бить? Не они причины, а вот он... он всему злу корень.

— А! Еретик окаянный! — кричат московские люди.— Что, удалось тебе судить нас в субботу?

— А! Ты Северщину хотел отдать Польше!

— Ты латынских попов привел!

— А зачем ты взял нечестивую польку в жены — некрещеную в церковь пустил?

— Казну нашу московскую в Польшу вывозил!

И при этом один бьет его по голове, приговаривая: «Вот тебе венец!» — другой тычет пальцем в глаза, поясняя: «У, буркалы воровски!» — третий щелкает его по носу, прибавляя: «Вот тебе трынка: вот тебе хлюст!» — четвертый дергает за ухо... Несчастный молчит: унизительно было бы перед таким «народом» даже стонать... и он не стонет, он не хочет даже видеть этих зверей... Он закрыл глаза — он переживал, что должен был переживать некогда его предместник, юный Годунов...

— А отгадай-ка, еретик, в которую щеку я тебя ударю? — говорит свирепый Валуев и бьет его в обе щеки.

Срывают с него кафтан и надевают снятую с одного каторжника дырявую гуньку кабацкую, а на каторжника надевают царский кафтан.

— Смотрите, братцы, каков царь-осударь, всеа Русии самодержец! Вот так царь! — кричат изверги.

— Да у меня такие цари на конюшне есть,— издевается боярин, о котором Димитрий как-то неосторожно выразился, что его лошадь умнее своего седока. Боярин этот был Мстиславский.

Наконец начинается формальный допрос. Григорий Валуев подходит, снова бьет несчастного в щеку и спрашивает:

— Говори, бл... сын, кто ты таков? Кто твой отец? Как тебя зовут? Откуда ты?

— Вы знаете,— тихо отвечает страдалец.— Я - царь ваш и великий князь Димитрий, сын царя Ивана Васильевича... Вы меня признали и венчали на царство... Коли и теперь еще не верите — спросите у моей матери — она в монастыре... Спросите ее — правду ли я говорю... А то вынесите меня на Лобное место и дайте говорить...

Где уж тут говорить! Не этого хотят его враги. Если б тут был народ, он разорвал бы бояр; но бояре знали народ — они натравили его на поляков.

— Несите меня к матери, к народу.

— Сейчас я был у царицы Марфы,— кричит князь Иван Голицын во всеуслышанье.— Она говорит, что это не ея сын. Она-де признала его поневоле, страшась смертного убийства, а ноне отрекается от него!

Эти слова передаются на двор, в толпу. Ведь суд идет якобы всенародный.

На дворе и Шуйский Василий. Он все по-прежнему на коне, с крестом и мечом. Как ни много у него лукавства и силы воли, но его бьет лихорадка: «змий» еще не задушен, может выползти из ямы, и тогда — горе, горе Шуйскому! Да и народ — это морские волны: в момент захлестнут и разобьют все, на что бы их ни направили...

— Мать, вона, слышь, отрекается от него,— говорит он толпе.— Да и как не отречься? Царевича-то я сам видел в гробу в Угличе. Кончать бы с этим змием...

— Бей! Руби его! — ревут на дворе.

— Что долго толковать с еретиком! — решает Валуев.— Вот я благословлю этого польского свистуна!

И выстрелом из ружья разом убивает несчастного...

Но людям мало простого, хотя бы самого бесчеловечного убийства.

Надо насладиться еще своим позором, надо надругаться над трупом — вот где наслаждение человека, неизвестное зверю. Что ж, что труп не чувствует? Все-таки надо бить его, терзать; повторять свое наслаждение, отдаваться иллюзии убийства.

И к ногам обезображенного трупа привязывают веревку... Труп влекут по лестнице... Колотится рыжая, раздробленная голова о дворцовые ступеньки, о те ступеньки, по которым ноги этого рыжего человека еще так недавно взбирались на трон. Колотится рыжая голова, а москвичи приговаривают:

— Но-но, литовская лошадка! Вези еретицкую душу к сатане в ад.

Тащат его через весь Кремль к Красной площади. Шуйский, увидев труп, невольно вздрогнул от ужаса: «Да это не он — не его тащат... Не его убили... Он опять придет...— Смертная бледность покрыла лицо зачинщика всего этого дела, и крест задрожал в его ру-

ке...— Ох, это не он — не он!.. Он змий... Он в Угличе из гроба выполз... он опять выползет...»

Труп тащат мимо Воскресенского монастыря, где жила царица Марфа.

— Показать его царице! — кричит кто-то.

— Вызвать царицу!

Останавливаются... Царица выходит... При виде того, что лежало на земле, старуха в ужасе закрывает глаза...

— Говори, царица Мария, твой ли это сын? — кричат убийцы.

Старица Марфа открывает глаза, с содроганием смотрит на кучу безобразного мяса и говорит загадочно:

— Это — не мой. Было бы меня спрашивать, когда он жив был... А теперь, как вы его убили, он уже не мой!

Шуйский, услыхав это, взглянул на царицу такими «добрыми» глазами, что белый голубь, которого старуха прикормила к себе и он всякий раз садился ей на плечо, как она показывалась на дворе, и который сел и теперь ей на плечо в ожидании корма,— даже глупый голубь с испугу улетел на колокольню.

Но слово — сказано!

Обезображенный труп волокут далее, и на пути измышляют невозможное...

В довершение надругательства москвичи колотят в разбитые чугуны. «Колокольный звон, братец ты мой! Знатный звон!..» Тешится дикий народ, тешится боярская, торговая и холопья Москва, не умея измыслить ничего лучше этого...

Другая толпа тащит за ноги же труп Басманова, менее обезображенный. Бешеная оргия с этой дикой процессией останавливается на Красной площади.

Труп царя кладут на маленький столик, на котором обыкновенно мясники резали печенку для кошек Охотного ряда. Стол был длиною не более аршина, и потому царевы ноги свисали с него...

— По одежке протягивай ножки! — острит «Обжорный ряд».

Под ноги царя кладут труп Басманова.

— Ты любил его живого, пил и гулял с ним вместе — не расставайся с ним и после смерти!..

— Православные! Православные! — кричал Григорий Валуев, верхом скачущий из Кремля.— Еретичьяго бога нашел: вот он, его бог!

— Покажь! Покажь!

Валуев показывает маску, найденную в покоях Ма-

рины, которая к завтрашнему дню готовила маскарад.

— Вот смотрите! Это у него такой бог, а святые образа лежали под лавкой.

И маску кладут трупу на грудь. Достают какую-то дудку после убитого музыканта и всаживают в рот мертвому царю.

— Подуди-ка, подуди! Ты любил музыку — подуди-ка нам! Допрежь сего мы тебя тешили — теперь ты нас потешь!

На грудь царя кладут медную копейку.

— Это ему плата, как скоморохам дают...

К трупу валит еще новая, опьяневшая толпа... Это те, которые «работали» в городе — били, резали и грабили поляков... Покончив «работу» и накачавшись в польских погребах «венгржину» и «старей вудки», москвичи идут тешиться к трупу Димитрия:

— И моя-де денежка не щербата.

— А вот и я! Знай Кузьму Свиной Овин!

— А вот и я руку приложил! Помни Тереньку-плотника! А я еще спорил с дядей из-за гашника... А дядя-то прав! Точно царевич в Угличе зарезан...

Тешилась Москва весь день... Ночью, мертвецки пьяная, уснула мертвым сном...

Пуста Красная площадь — ни души, ни звука — точно вся Москва вымерла.

Около трупа неразгаданного исторического сфинкса оставалось ночью одно только живое существо — собака Приблуда... Как жалобно воет бедный пес!

Прошло несколько дней. Москва маленько отдохнула после своей «работы», проспалась после кровавого пира. Теперь она готовит что-то новенькое. За Серпуховскими воротами, на Котлах, разложен огромный костер. Около него москвичи толпятся, словно около водосвятия. Как ни жарок майский день, но москвичи все больше и больше разжигают костер. Кто несет охапку дров, кто бревно, кто доску, кто старую рогожу — и все валят в огненную кучу... «Чтобы жарче, братцы, было...» Для чего? Зачем этот костер?

— И кинулись мы, братец ты мой, на дом-ат самово воеводы, на Мнишков дом, этой самой Маришки-еретички отца,— разглагольствовал, поглядывая на огонь костра, стрелец Якунька, тот самый, что с Молчановым, да Шерефединовым, да с стрельцами Осипком, да Ортемкою

удушили молодого Годунова-царя с матерью.— И шарахнули мы с молодцами на этот самый на дом на Мнишкин. Наперли это на ворота, понатужились, ухнули дубинушку — трах! — высадили ворота вчистую... А Мнишкин-воевода заперся в каменных палатах, что за каменной стеной стоят. Мы — и ну лупить в стены, а которые из молодцов и через стену перебираться стали, по плечам... Ну, думаем, знатной ухи наварим... Коли глядь — бояре едут... «Стойте,— говорят,— православные! Нечего-де их бить: мы-де их еретицкого царя уж сверзли — придушили... аки пса...» Ладно — придушили так придушили. Мы дальше... Так-ту до самой ночи и работали...

— Уж и страхи же, мать моя, были, как его-то, еретика, покончили,— говорила тут же у костра баба другой бабе, по-видимому деревенской.— Как оставили его, мать моя, ночью на Красной площади, так всее-то ноченьку бесы вокруг него короводились: то псом воют, то в бубны бьют, в сопели играют...

— А мне, родимушка, звонарь сказывал...— повествовала другая баба.— Всее ноченьку около него, еретика, огоньки бегали...

— Ой ли? Свечечки, должно?

— Нету, родимушка: язы́цы огненны, бесы, значит... У беса-то вить язык огненный.

— Ох, владычица, страсти какия!

— Везут! Везут! — прошел говор по толпе.

Это везут вырытый из могилы труп неразгаданного человека... Все от него отказались — и земля отказалась: земля не принимает его трупа... И для земли он неразгаданное нечто, как был неразгаданным для людей... Надо сжечь его — огонь все принимает...

Привезли останки трупа... В рогоже он... Из-под рогожи выскользнула белая рука, белая, как мрамор... Часть рыжих волос виднеется из-под рогожки...

Бросили в костер труп... Не горит — только темный дымный столб поднимается к небу... И огонь не берет его... Ужас нападает на толпу... Господи! Кто ж он? Святомученик или сам сатана?..

«Сатана!» — решила Москва. Так и царь решил — новый царь, Василий Шуйский...

Вынимают труп из костра баграми — не сгорел, обуглился только... Рубят труп на мелкие части. «Руби мельче!» — настаивает обезумевшая толпа. Изрубили мелко, мелко... Швыряют куски в костер, ждут... Шипит человеческое мясо, шкварчит, словно на сковороде...

Все сгорело. Потух костер. Осталась одна зола. Пушкари собирают эту золу и всыпают в заряженную пушку...

— Повороти жерлом в ту сторону, откуда пришел *он*,— командует пушкарский десятник.

Поворачивают. Напряженно ждет Москва...

— Пали!

Вместе с дымом вылетает из жерла пушки пепел и вместе с дымом исчезает...

— Погибе память его с шумом — исчезе аки дым,— говорит Конев, осеняя себя крестным знамением.

— Этот дым... всей Российской земле глаза выест,— глухо произносит кто-то в толпе... И толпа — вздрагивает!

Откуда ни возьмись выбегает собака — это Приблуда — и, обнюхивая воздух и землю, начинает жалобно выть...

— К худу, к худу... К худу! — слышится говор в толпе.

А худо тут же — в глаза глядит Русской земле...

ДЕРЖАВНЫЙ ПЛОТНИК

Исторический роман

То академик, то герой,
То мореплаватель, то плотник,
Он всеобъемлющей душой
На троне вечный был работник.

Пушкин

Часть I

I

В глубокой задумчивости царь Петр Алексеевич ходил по своему обширному рабочему покою, представлявшему собою, в одно и то же время, то кабинет астронома с глобусами Земли и звездного неба, с разной величины зрительными трубами, то мастерскую столяра или плотника и кораблестроителя, с массою топоров, долот, пил, рубанков, со всевозможными моделями судов, речных и морских, со множеством чертежей, планов и ландкарт, разложенных по столам.

Что-то нервное, скорее творческое, вдохновенное светилось в выразительных глазах молодого царя.

Была глубокая ночь. Но сон бежал от взволнованной души царственного гиганта. Он часто, подолгу, останавливался в раздумье перед разложенными ландкартами.

— Морей нет,— беззвучно шептал он, водя рукою по ландкартам.— Земли не измерить, не исходить... От Днестра и Буга до Лены, Колыми и Анадыри моя земля, вся моя!.. И у Александра Македонского, и у Цезаря, у Августа, у всего державного Рима не было столько земли, сколь оной подклонилось под мою пяту, а воды токмо нет, морей нет... Нечем дышать земле моей... Воздуху ей мало, свету мало... Так я же добуду ей воздуху и свету и воды, воды целые океаны!

Он с силою стукнул по столу так, что юный денщик его, Павлуша Ягужинский, приютившийся за одним из столов над какими-то бумагами, вздрогнул и с испугом посмотрел на своего державного хозяина.

Но Петр не заметил того. Ему вспомнилось все, что он видел во время своего первого путешествия по Европе. Это был какой-то волшебный сон... Корабли, счету нет кораблям, которые бороздят воды всех океанов, гордые, величественные корабли, обремененные сокровищами

всего мира... А у него только неуклюжие струги да кочи, да допотопные ушкуи...

— У махонькой Венецéи, кою всю мочно шапкой Мономаха прикрыть, и у той целые флотилии... Голландерскую землю мочно бы пядями всю вымерить, а на-поди! Кораблям счету нет! — взволнованно шептал он, снова шагая по своему обширному покою.

Добыть моря, добыть!.. Не задыхаться же его великой земле без воздуху!.. На дыбу, духовно, поднять всю державу, весь свой народ, и добыть моря, чтоб протянуть державную руку к околдовавшей его Европе... Через Черное море, через Турскую землю — далеко, это не рука... А там, за Новгородом и Псковом, где его пращур, Александр Ярославич, шведскому вождю Биргеру «наложил печать на лице острым мечом своим», там, где он же на льду Чудского озера поразил наголову ливонских рыцарей в Ледовом побоище, там ближе к Европе...

— Токмо б морей добыть! — повторил царь.

А корабли будут! Лесу на корабельное строение не занимать стать, всю Европу русским лесом завалить хватит... Корабельное строение уже кипит по всем рекам... Все корабельные «кумпанства» уж к топору поставлены, горит работа! На рубку баркалон в шестнадцать с лихвой сажен длины и четырех ширины ставят топор да пилу бояре да владыки казанский и вологодский... К баркалонам чугунных пушек льется от двадцати шести до сорока четырех на каждое судно. На барбарские суда ставят топор и пилу гостиные кумпанства. А там еще бомбардирский да галеры... А орудий хватит...

Вдруг царь как бы очнулся от всецело поработивших его государственных дум и взглянул на Ягужинского, которого, казалось, только теперь заметил, и был поражен его необыкновенной бледностью и выражением в его прекрасных черных глазах чего-то вроде немого ужаса.

— Что с тобой, Павел? — спросил он, останавливаясь перед юношей. — Ты болен? Дрожишь? Что с тобой?

— Государь!.. Я не смею, — бормотал юный денщик бледными губами.

— Чего не смеешь? Я к тебе всегда милостив.

— Не смею, государь... но крестное целованье... моя верность великому государю...

— Говори толком! Не вякай.

— Царь-государь!.. На твое государево здоровье содеян злой умысел... хульные слова изрыгают...

— Знаю... не впервой я, чать... От кого? Как узнал?

— Приходила ко мне, государь, попадья Степанида, в Китай-городе у Троицы, что на рву, попа Андрея жена, и отай сказывала, что, пришед-де в дом певчего дьяка Федора Казанца, зять его, Федора, Патриаршей площади подьячий Афонька Алексеев с женою своей Феклою и сказали: живут-де они в Кисловке, у книгописца Гришки Талицкого, и слышат от него про тебя, великого государя, непристойные слова, чево и слышать невозможно.

Павлушка говорил торопливо, захлебываясь, нервно теребя пальцы левой руки правою.

— Ну?

— Да он же, государь, Гришка,— продолжал Ягужинский,— режет неведомо какие доски, а вырезав, хочет печатать, а напечатав, бросать в народ.

— Ну?

— Да он же, государь, Гришка, те свои воровские письма, да доски, да и *тетрати* отдал товарищу своему Ивашке-иконнику.

— Ну? И?

— И та, государь, попадья Степанида сказывала мне, что оный Гришка Талицкий составил те воровские письма для тово: будто-де настало ныне последнее время и антихрист-де в мир пришел...

Ягужинский остановился, боясь продолжать.

— Досказывай!— мрачно проговорил царь.

— Антихристом,— запинался Павлушка,— он, государь, Гришка, в том своем письме ругаясь, писал тебя, великого государя...

— Так уж я и в антихристы попал,— нервно улыбнулся государь,— честь немалая.

— Да он же, государь, Гришка, также-де и иные многие статьи тебе, государю, воровством своим в укоризну писал: и народом-де от тебя, государя, отступиться велел-де и слушать-де тебя, государя, и всяких податей тебе платить не велел.

— Вот как!— глухо засмеялся Петр.— С сумой меня пустить по миру велит! Вот тебе и «корабли»... Ну?

— А велел-де, государь, тот Гришка взыскать, вместо тебя, царем князя Михайлу Алегуковича Черкасского...

— Ого! Ну, ну!

— Через того-де князя хочет быть народу нечто учинить доброе.

— Так, так... Будем теперь в ножки кланяться

Михайле Алегуковичу... Ну!

— Да он же, государь, вор Гришка, для возмущения к бунту с тех своих воровских писем единомышленникам своим и друзьям давал-де письма руки своей на столбцах, а иным в тетратях, и за то у них имал-де деньги.

Теперь Петр слушал молча, величаво-спокойно, и только нервные подергивания мускулов энергичного лица, оставшиеся у него еще с того времени, когда он совсем юношей, чуть не в одной сорочке и босой, ночью ускакал из Преображенского в Троицкую лавру от мятежных приспешников его властолюбивой сестрицы Софьи Алексеевны, которая давно сидела теперь в заточении тихих келий Новодевичьего монастыря.

— Все? — спросил он.

— Нет, государь. Попадья сказывала, что он же, Гришка, о «последнем времени» и о антихристе вырезал две доски, а на тех досках хотел-де печатать листы и для возмущения же к бунту и на твое, государево, убийство...

— Убийство!..

— Так, государь, та попадья сказывала...

— Ну?

— Он-де, государь, Гришка, писал оное для того: которые-де стрельцы разосланы по городам, и как-де государь пойдет с Москвы на войну, а они, стрельцы, собрався, будут в Москве, чтоб они-де выбрали в правительство боярина князя Михайлу Алегуковича Черкасского для того-де, что он человек добрóй и от него-де будет народу нечто доброе.

— Так... Дай Бог,— иронически заметил Петр.— Все?

— Нету, государь! Оная попадья еще сказывала, будто-де тамбовский епискуп Игнатий, будучи в Москве, с Гришкой-де о последнем веце, и о исчислении лет, и о антихристе...

— Это обо мне-то?

— О тебе, государь, разговаривал и плакал и Гришку целовал...

— Так уж и архиереи... Вон куда яд досягает!.. А сие что?— спросил Петр, указывая на лежавшие на столе тетради.

— Попадья тож принесла.

Царь взял тетради.

— А! «О пришествии в мир антихриста и о летах от создания мира до скончания света»,— прочитал он.—

Так, так... А вот и «Врата»... Вижу, вижу... Это «врата» в Преображенский приказ, в застенок, на дыбу,— качал он головой.— Все?

— Все, государь.

Заметив, что его юный денщик от страху едва стоит на ногах, царь отрывисто сказал:

— Спасибо тебе, Павлуша, за верную службу. А теперь ступай спать... Я сам просмотрю сии тетрати... Да! Для чего твоя попадья к тебе заявилась с своим изветом, а не в Преображенский приказ, к князю-кесарю?

— Боялась, государь.

— Ну, ступай[1].

II

Царь, оставшись один, стал просматривать обличительные тетради.

Долго в ночной тишине шуршала грубая бумага писаний фанатика. Петр внимательно прочитывал и перечитывал некоторые места. Он не мог не сознавать, что Талицкий с усердием изувера рылся в старинных книгах. Страницы постоянно пестреют ссылками на «Ефрема Сирина об антихристе», на «Апокалипсис», на «Маргерит». Фанатик всеми казуистическими изворотами старается доказать, что ожидаемый антихрист и есть Петр Алексеевич.

— Что он все твердит об «осьмом» царе?— сам с собой рассуждал Петр.— «Осьмый царь — антихрист... А Петр «осьмый»: он и есть антихрист...» По какому же исчислению я осьмой царь?.. А! От Грозного... Царь Иван Грозный, царь Федор, царь Борис Годунов, царь Шуйский, царь Михаил Федорович, царь Алексей Михайлович, царь Федор Алексеевич... Да, я осьмой. Что ж из сего?

И опять зашуршала бумага, долго шуршала.

— Что за безлепица! И сему бреду пустосвята верят архиереи. О, бородачи! А они — пастыри народа!

И он вспомнил случай с епископом Митрофаном...

Царь приехал в Воронеж для наблюдения за стройкою кораблей для предстоящего похода под Азов.

Архиерей встретил царя с крестом. Народные толпы заняли собою всю площадь у собора. Но внимание народа было, по-видимому, больше сосредоточено на маленьком, худеньком, тщедушном Митрофане.

---

[1] Изложенное в I главе извлечено из дела бывшего Преображенского приказа о Григории Талицком (*здесь и далее примеч. авт.*).

Наскоро осмотрев корабельные работы, которыми Петр очень торопил, чтобы с полой водой двинуться в поход, он, возвратясь во дворец, послал Павлушу Ягужинского просить к себе Митрофана для переговоров о том же кораблестроении, так как Митрофан не только жертвовал Петру значительные суммы на постройку кораблей, но сам соорудил, оснастил и вооружил роскошное судно лично для царя.

Когда Ягужинский явился к Митрофану с царским приглашением, Митрофан тотчас же пошел ко дворцу. Народ, увидав любимого святителя, который кормил всю бедноту не только Воронежа, но и соседних селений, массами обступил своего любимца, теснясь к нему под благословение.

Петр видел из окна, как Митрофан повернул к фасаду и к крыльцу дворца и вдруг не то с испугом, не то с гневом остановился.

Народ тоже как бы с испугом шарахнулся назад.

И Митрофан не вошел во дворец. Он быстро, насколько позволяли ему старческие силы и слабые ноги, повернул назад. Народ за ним.

— Что случилось? Беги, Павел, узнай, в чем дело?

— Государь! Его преосвященство сказал: «Не войду во дворец православного царя, когда вход в оный дворец оскверняют поставленные там еллинские идолы, и притом обнаженные».

— А!.. Он осмелился ослушаться моего приказа!.. Так поди и скажи сему попу: если он не явится ко мне, то как преступника царской воли его ждет казнь!

Возвратился Ягужинский бледный, растерянный.

— Что? Скоро явится ослушник?..

— Нет, государь... Он сказал: прийму смерть, но не оскверню сан архиерея Божия,— с дрожью в голосе отвечал Ягужинский.

— А! Так будет же смерть!

...И там так же, как теперь здесь, в Кремле, глухо простонал соборный колокол. Долго, долго стоит в воздухе медленно затихающий стон меди... За ним другой, более отдаленный, но такой же зловещий, похоронный, доносится от другой церкви... Замер и этот в ночном воздухе... Ему отвечает откуда-то третий... Стонет и этот... Ясно, звонят по мертвому, только не по простому...

В полумраке сумерек царь видит в окно, что толпы народа поспешно и, видимо, тревожно, крестясь, стремятся

к архиерейскому дому. Слышится смутный говор. По временам доносятся отдельные фразы.

— Ох, Господи! По мертвому звонят...

— На отход души...

— С чего бы это с ним?.. Давно ли видели его!..

— Архиерей-батюшка помирает...

— Не умер ли уж, поди... О, Господи!

Прибежал Ягужинский, весь растерянный, бледный, дрожащий...

— Что там? Что случилось?

— Он в гробу, государь... в крестовой...

— Кто в гробу?

— Его преосвященство епископ Митрофан.

— Помер? Преставился?

— Нету, государь, жив...

— Как жив! А в гробу?

— В гробу, государь... Говорит: царь изрек мне смерть, казнь... Слово царево не мимо идет... Сейчас буду служить себе отходную, на отход души.

— Подай шляпу и палку.

Сквозь расступившуюся толпу Петр быстро вошел в крестовую и невольно остановился, полный изумления и суеверного страха...

Он увидел гроб, мертвое, бескровное лицо... Простой сосновый гроб... Голова мертвеца покоится на белых сосновых стружках...

Откуда-то слышатся стоны, плач...

Свет от зажженных свечей и паникадил так поразительно отчетливо вырисовывает мертвое лицо и сложенные на груди бледные, худые руки с четками.

Вдруг мертвец открывает глаза...

— Государь!— силится приподняться в гробу и в изнеможении опять падает на опилки.

Петр быстро подходит...

— Прости меня, служитель Божий!

Он осторожно берет Митрофана за руку и помогает ему приподняться.

— Прости... Я в сердцах изрек слово непутное... На сей раз пусть мимо идет слово царево... Я каюсь... Благослови меня, святитель...

Все это вспомнил Петр в уединении и тишине ночи и улыбнулся:

— Переклюкал, переклюкал меня Митрофан.

Он остановился перед подробною картою Швеции и обоих побережий Балтийского моря, внимание его особенно приковали устья Невы.

— Дельта Невы, как дельта Нила... Александр Македонский основал свою новую столицу, Александрию, в дельте Нила, а я свою новую столицу водружу в дельте Невы!

И Петр стал по карте изучать эту дельту.

— Всё острова... А коликое число рукавов!.. Сии все имеют быть дыхательными органами для моей земли.

Затем глаза его остановились на Ниеншанце, шведской крепости, стоявшей на месте нынешней Охты:

— Худо место сие выбрали для крепости... Я не тут ее воздвигну...

III

Разоблачения попадьи Степаниды, доведенные Павлушей Ягужинским до сведения царя, возбудили страшное дело в царстве застенка и пыток, в Преображенском приказе, где над жизнью и смертью россиян властвовал наш отечественный Торквемадо, свирепый князь-кесарь Ромодановский.

Одновременно с попадьей к князю-кесарю явился и придворный певчий дьяк Федор Казанец и поведал Ромодановскому то же самое, что попадья поведала Павлуше Ягужинскому, и страшное дело началось.

Не далее как через две недели, приехав в Преображенский приказ, князь-кесарь спросил главного дьяка приказа:

— По делу Гришки Талицкого все ли воры пойманы?

— Все, княже-боярин,— ответил дьяк.

— Вычти, кто имяны,— приказал Ромодановский.

Дьяк принес «дело» и, перелистывая его, докладывал:

— Книгописец Гришка Талицкий, иконник Ивашка Савин, мещанской слободы церкви Адриана и Наталии пономарь Артамошка Иванов да сын его Ивашко да Варлаамьевской церкви поп Лука.

— Вишь, все одного болота кулики-пустосвяты,— презрительно пожал плечами князь-кесарь.

— Боярин князь Иван Иванович Хованской,— продолжал докладывать дьяк.

— Ну, это старая боярская отрыжка, из «тараруевцев»,— с улыбкой заметил князь-кесарь,— пирог на старых дрожжах... Ну?

— Церкви входа в Иерусалим, в Китай-городе у Тройцы на рву, поп Андрей и попадья его Степанида,— вычитывал дьяк.

— Степаниде, по закону, первый бы кнут, да ее государь не велел пытать, коли утвердится на том, о чем своею охотой донесла Ягужинскому,— заметил Ромодановский.— Чти дале.

— Кадашевец Феоктистка Константинов,— продолжал дьяк,— племянник Талицкого Мишка Талицкой, садовник Федотка Милюков, человек Стрешнева Андрюшка Семенов, с Пресни церкви Иоанна Богослова распоп Гришка...

— Кулик мечен — расстрига,— процедил сквозь зубы князь-кесарь.— Ну?

— Хлебного дворца подключник Пашка Иванов...

— Пашку я знавывал. Дале.

— Чудова монастыря черный поп Матвей, углицкого Покровского монастыря дьячок Мишка Денисов.

— Опять кулики пошли. Ну?

— Печатного дела батырщик Митька Кирилов да ученик Талицкого Ивашка Савельев.

Дьяк кончил и ждал приказаний.

— Ныне жду я набольшого кулика, Игнашку, тамбовского архиерея... Быть ему на дыбе,— покачал головою Ромодановский.

Епископ Игнатий действительно был привезен из Тамбова в тот же день, но не в Преображенский приказ, а, по духовной подсудности, на патриарший двор.

Патриархом в то время был престарелый Адриан.

Прямо с дороги конвойные ввели тамбовского архиерея в патриаршую молельную келью. Дело было слишком важное, высшей государственной важности: не только хула на великого государя, но, страшно вымолвить! проповедь о нем как об антихристе. Поэтому и расследование дела производилось с особенной экстренностью и строгостью.

Когда Игнатия ввели к патриарху, Адриан встал и сделал несколько шагов к вошедшему.

— Мир святейшему патриарху и дому сему,— тихо сказал Игнатий и сделал земной поклон.

Потом он приблизился к Адриану и смиренно протянул руки под благословение.

— Благослови, отче святый.

— Во имя Отца и Сына и Святаго Духа.

Патриарх сел. Игнатий продолжал стоять.

— Ведомо ли тебе, архиерей, по какому «государеву слову и делу» привезен ты на Москву? — спросил Адриан.

— Не ведаю за собою, святейший патриарх, никакого государева слова и дела,— отвечал Игнатий.

— А знает ли тебя на Москве книгописец Григорий Талицкий? — снова спросил патриарх.

Вопрос был так неожидан, что Игнатий точно от удара в лицо пошатнулся и побледнел. Он сразу понял весь ужас своего положения.

«Антихрист, антихрист»,— трепетало в его душе.

Патриарх повторил вопрос.

— Книгописца Григория Талицкого я видел,— дрожащим голосом отвечал Игнатий.

— А где?

— На Казанском подворье перед поездом моим с Москвы в Тамбов, в Великий пост.

— А о чем была твоя беседа с ним, Гришкою?

— О божественном и о писании Григорием книг.

— А что тебе, архиерей, говорил Гришка о великом государе? Не износил ли он хулу на великого государя?

Игнатий еще больше побледнел.

— От Гришки Талицкого хулы на великого государя я не слыхал,—почти шепотом проговорил он.

— И ты, Игнатий, на сем утверждаешься? — строго спросил Адриан.

— Утверждаюсь,— еще тише отвечал допрашиваемый.

Патриарх подошел к двери, ведшей в приемную палату, и, отворив ее, сказал приставу:

— Привести сюда Гришку Талицкого.

Талицкий был уже доставлен из Преображенского приказа.

Немного погодя послышалось глухое звяканье кандалов, и Талицкий с оковами на руках и ногах предстал пред патриархом.

— Знаем тебе сей инок-епискуп? — спросил колодника Адриан, указывая на Игнатия.

— Тамбовский епискуп Игнатий мне ведом,— отвечал Талицкий.

— И ты, Григорий, утверждаешься на том, что показал на епискупа Игнатия в расспросе с пыток? — был новый вопрос.

— Утверждаюсь.

— И поносные слова на великого государя при нем, епискупе, говорил ли?

— Говорил.

Положение архиерея было безвыходным. Запирательство могло еще более запутать и привести в застенок, на дыбу.

— Каюсь,— сказал он упавшим голосом,— те поносные слова он, Григорий, на словах при мне точно говорил, и те слова я слышал, и к тем его, Григорьевым, словам я говорил: видим-де мы и сами, что худо делается, да что ж мне делать? Я-де немощен, и поперечневатее тех тетратей велел ему написать, почему бы мне в том деле истину познать.

Он остановился. Казалось, в груди ему недоставало воздуху.

Патриарх молча перебирал четки. Талицкий стоял невозмутимо, и только в глазах его горел огонек не то безумия, не то фанатизма.

Архиерей как-то беспомощно поднял глаза к образам, а потом робко перевел их на патриарха. Адриан ждал.

— И он, Григорий, тетрати мне принес,— продолжал Игнатий с решимостью отчаяния.— Денег ему за них два рубля я дал, а увидев в тех тетратях написанную хулу на государя, те тетрати сжег, токмо того сжения никто у меня не видел.

Патриарх видел, что дело слишком далеко зашло и без суда всего архиерейского синклита обойтись не может. Признание сделано. Епископ, слышавший хулу на великого государя и не заградивший уста хулителю, не отдавший его в руки правосудия, является уже сообщником хулителя. Мало того, он не только слушает хулу на словах, но велит изложить ее на бумаге, а за это еще дает деньги тому, кто изрыгает страшную хулу на помазанника Божия.

«Антихрист — великий государь, помазанник Божий — антихрист! Экое страховитое дело, внушенное адом!— содрогается в душе патриарх.— И кто же в сем адовом деле замешан? Архиерей Божий, его ставленник!»

IV

Через несколько дней князь-кесарь Ромодановский, проезжая во дворец мимо ворот патриаршей крестовой палаты, увидел съехавшихся у тех ворот нескольких

архиереев и остановился, чтобы спросить, по какому делу собирается синклит высших сановников церкви.

— По делу Гришки Талицкого, книгописца, купно с тамбовским епископом Игнатием,— отвечал один из архиереев.

— Добро, святые отцы,— сказал князь-кесарь,— после вашего праведного суда Игнатью, куда ни поверни, не миновать Преображенского приказу... Архиерей, епископ, на дыбе!

Эти зловещие слова привели в ужас архиереев. Но Ромодановский ничего больше не сказал и поехал во дворец.

Он застал царя и Меншикова над раскрытою картою.

Петр водил острием циркуля по дельте Невы. Нева и ее дельта стали с некоторого времени преследовать его как кошмар.

— Великому государю здравствовати!— приветствовал царя Ромодановский.

Он видел, что государь в хорошем расположении духа.

— Эх, князюшка!— махнул рукою Петр.— Моя песенка спета.

— Что так, государь?— притворился удивленным князь-кесарь.

— Так... Не строить уж мне больше корабликов, не видать мне Невы, как ушей своих,— продолжал Петр.— Снимут с меня, добра молодца, и шапочку Мономахову, и бармы и наденут на меня гуньку кабацкую да лапотки-босоходы.

— Где ж это птица такова живет, котора б заклевала нашего орла, что о дву голов?— улыбнулся князь-кесарь.

— Да вот новый Григорий Богослов, а може, и Гриш ка Отрепьев...

— Что у меня в железах сидит?

— Да, может, и тамбовский, а то и вселенский патриарх Игнатий: они не велят народу ни слушаться меня, ни податей платить... Прости, матушка-Нева со кораблики!

— К слову, государь,— сказал Ромодановский,— в те поры, как я это спешил к тебе, к патриаршей крестовой палате съезжались все архиереи, чтобы судить Игнашку, «вселенского патриарха», как ты изволил молвить.

Глаза царя метнули молнии.

— И обелят пустосвята долгогривые! — гневно сказал царь.— Знаю я их!.. Один токмо Митрофан воронежский другим миром мазан, да те, что из хохлов — Стефан Яворский да Димитрий Туптало, как мне ведомо, это люди со свечой в голове... А те, что из российских, все вспоены кислым молоком от сосцов протопопа Аввакума.

— Не обелят, государь,— уверенно сказал Ромодановский,— повисит он, сей Игнашка, у меня на дыбе! Улики налицо.

— Так, говоришь, судят?— уже спокойно спросил царь.

— Судят, государь.

— Не заслоняй мне Невы, Данилыч, своими лапищами,— сказал Петр Меншикову, снова наклоняясь над картой.

Над Игнатием действительно совершался архиерейский суд с патриархом во главе.

Адриан и все архиереи сидели на своих местах, по чинам, а перед ними стоял аналой с положенными на нем распятием и Евангелием.

Игнатий стоял опустив глаза и дрожащими руками перебирал четки. Лицо его было мертвенно-бледно, и бледные, посиневшие губы, по-видимому, шептали молитву.

— Во имя Отца и Сына и Святаго Духа,— тихо провозгласил маститый старец, патриарх.

— Аминь, аминь, аминь,— отвечали архиереи.

— Епискуп тамбовский Игнатий,— не возвышая голоса, продолжал патриарх,— пред сонмом тебе равных служителей Бога живого, перед святым Евангелием и крестом распятого за ны, говори сущую правду, как тебе на Страшном суде явиться лицу Божию.

Игнатий молчал и продолжал только шевелить бескровными губами. Было так тихо в палате, что слышно было, как где-то в углу билась муха в паутине. Где-то далеко прокричал петух...

«Петел возгласи»,— бессознательно шептали бескровные губы несчастного.

— Призови на помощь Духа Свята и говори... Он научит тебя говорить,— с видимой жалостью и со вздохом проговорил Адриан.

Дрожащими руками Игнатий поправил клобук.

— Скажу, все скажу,— почти прошептал он.— Против воровских писем Григория Талицкого...

— Гришки,— поправил его патриарх.

— Против воровских писем Гришки,— постоянно запинаясь, повторил подсудимый,— в которых письмах написан от него, Гришки, великий государь с великим руганием и поношением. У меня с ним, Гришкою, совету не было; а есть ли с сего числа впредь по розыскному его, Гришкину, делу явится от кого-нибудь, что я по тем его, Гришкиным, воровским письмам великому государю в тех поносных словах был с кем-нибудь сообщник или кого знаю да укрываю, и за такую мою ложь указал бы великий государь казнить меня смертию.

Пальцы рук его так хрустнули, точно переломились кости.

— И ты, епискуп тамбовский Игнатий, на сем утверждаешься?— спросил патриарх.

— Утверждаюсь,— шепотом произнесли бескровные губы.

— Целуй крест и Евангелие.

Шатаясь, несчастный приблизился к аналою и, наверное, упал бы, если бы не ухватился за него. Перекрестясь, он с тихим стоном приложился к холодному металлу такими же холодными губами.

Тут, по знаку Адриана, патриарший пристав отворил двери, и в палату, гремя цепями, вошел Талицкий.

Взоры всех архиереев с испугом обратились на вошедшего. Это было светило духовной эрудиции москвичей, великий ученый авторитет старой Руси. И этот твердый адамант веры, подобно апостолу Павлу,— в оковах!

Некоторые архиереи шептали про себя молитвы...

Но когда Талицкий, уставившись своими глазами в мертвенно-бледное лицо Игнатия, смело, даже дерзко отвечал на предложенные ему патриархом вопросные пункты, составленные в Преображенском приказе на основании показаний прочих привлеченных к делу подсудимых, и выдал такие подробности, о которых умолчал Игнатий, архиереям показалось, что Талицкий и их обличает в том же, в чем обличал тамбовского епископа.

И многие из сидевших здесь архиереев видели уже себя в страшном застенке, потому что и они глазами Талицкого смотрели на все то, что совершалось на Руси по мановению руки того, чье имя, называемое здесь Талицким, они и в уме боялись произносить.

Наконец, затравленный разоблачениями Талицкого до последней потери воли и сознания, Игнатий истерически зарыдал и, закрыв лицо руками, хрипло выкрикивал, почти задыхаясь:

— Да!.. Да!.. Когда он, Григорий...

— Гришка!— вновь поправил патриарх...

— Да! Да! Когда он, Гришка... те вышесказанные тетрати... «О пришествии в мир антихриста» и «Врата»... ко мне принес... и, показав... те тетрати передо мною... чел и рассуждения у меня... просил в том... Видишь ли де ты, говорил он, Григорий...

— Гришка!— строго остановил патриарх.

— Да... видишь ли де ты, что в тех тетратях писано... что ныне уже все... сбывается...

«Воистину сбывается»,— мысленно, с ужасом, согласились архиереи.

Игнатий, обессиленный, остановился, но пристав заметил, что он падает, и подхватил несчастного.

По знаку патриарха молодой послушник принес из соседней ризницы ковш воды и поднес к губам Игнатия. Тот жадно припал к воде.

«Жажду!»— припомнились не одному архиерею слова Христа на кресте.—«Жажду!..»

— Ободрись, владыко,— шепнул пристав несчастному, поддерживая его,— Бог милостив.

Слова эти слышали архиереи и сам патриарх.

«Добер, зело добер пристав у его святейшества»,— мысленно произнесли архиереи.

Игнатий несколько пришел в себя и перекрестился.

— Господь больше страдал, владыко,— снова шепнул пристав.

Игнатий глубоко передохнул, и, обведя глазами архиереев, он увидел на лице каждого глубокое к нему сочувствие и жалость. Это ободрило несчастного.

«Они все за меня»,— понял он и облегченно перекрестился.

Теперь он заговорил тверже:

— За те его, Григорьевы, слова и тетрати...

— Гришкины,— автоматически твердил патриарх.

Талицкий презрительно улыбнулся и переменил позу, звякнув цепями.

— И за те его, Гришкины, слова и тетрати,— продолжал Игнатий,— я похвалил его и говорил: Павловы-де твои уста...

«Воистину, воистину Павловы его уста, апостола Пав-

ла, такожде страждавшего в оковах»,— повторил мысленно не один из архиереев.

— Павловы-де твои уста,— продолжал Игнатий,— пожалуй, потрудись, напиши поперечневатее.

«Именно поперечневатее,— повторил про себя простодушный пристав,— экое словечко! Поперечневатее... Н-ну! Словечко!»

— Напиши поперечневатее, почему бы мне можно познать истину, и к тем моим словам он, Григорий...

— Гришка! Сказано, Гришка.

— И к тем моим словам он, Григорий, говорил мне: возможно ль де тебе о сем возвестить святейшему патриарху, чтоб про то и в народе было ведомо?

Слова эти поразили патриарха. Мгновенная бледность покрыла старческие щеки верховного главы всероссийского духовенства, и он с трудом проговорил:

— Ох, чтой-то занеможилось мне, братия архиерееве, не то утин во хребет, не то под сердце подкатило, смерть моя, ох!

— Помилуй Бог, помилуй Бог!— послышалось среди архиереев.

— Не отложить ли напредь дело сие?— сказал кто-то.

— Отложить, отложить!— согласились архиереи.

По знаку старшего из епископов тотчас же увели из крестовой палаты и Игнатия, и Талицкого.

V

Патриарху Адриану не суждено было докончить допрос тамбовского епископа Игнатия.

Не «утин во хребте», или попросту «прострел», был причиною его внезапной болезни, а слова Игнатия о том, что Талицкий советовал ему через патриарха провести «в народ», огласить, значит, на всю Россию вероучение Талицкого о царе Петре Алексеевиче как об истинном антихристе. Адриан знал, что слова Игнатия дойдут до слуха царя, да, конечно, уже и дошли со стороны Преображенского приказа на основании вымученных там пытками признаний Талицкого. Старик в тот же день слег и больше не вставал.

Петр, конечно, знал от Ромодановского, что фанатики и поборники старины, опираясь на патриарха, могли посеять в народе уверенность, что на московском престоле сидит антихрист. А духовный авторитет патриарха в древней Руси был сильнее авторитета царского.

Петр не забыл одного случая из своего детства. Присутствуя при церемонии «вербного действа», когда патриарх, по церковному преданию, должен был представлять собою Христа, въезжающего в Иерусалим, то есть в Кремль, «на жеребяти осли», и когда царь, отец маленького Петра, Алексей Михайлович должен был вести в поводу это обрядовое «осля» с восседающим на нем патриархом, маленький Петр слышал, как два стрельца, шпалерами стоявшие вместе с прочими по пути шествия патриарха на «осляти», перешептывались между собою:

— Знамо, кто старше.

— А кто? Царь?

— Знамо кто: святейший патриарх.

— Ой ли? Старше царя?

— Сказано, старше: видишь, царь во место конюха служит святейшему патриарху, ведет в поводу осля-то.

— Дивно мне это, брат.

— Не диви! Святейший патриарх помазал царя-то на царство, а не помажь он, и царем ему не быть.

Это перешептыванье запало в душу царевича-ребенка, и он даже раз завел об этом речь с «тишайшим» родителем.

— Скажи, батя, кто старше: ты или святейший патриарх?

— А как ты сам, Петрушенька, о сем полагаешь?— улыбнулся Алексей Михайлович.

— Я полагаю, батя, что святейший патриарх старше тебя,— отвечал царственный ребенок.

— Ой ли, сынок?

— А как же онамедни, в вербное действо, ты вел в поводу осля, а святейший патриарх сидел на осляти, как сам Христос.

Теперь царь припомнил и перешептыванье стрельцов, и свой разговор с покойным родителем, когда узнал от князя-кесаря о замысле Талицкого циовестить народ о нем, как об антихристе, через патриарха.

— Нет,— сказал Петр,— ноне песенка патриархов на Руси спета. В вербное действо я ни единожды не водил в поводу осляти с патриархом на хребте, как то делал блаженной памяти родитель мой.

— Точно, государь, не важивал ты осляти,— сказал Ромодановский.

— И никому из царей его больше напредки не водить, да и патриархам на Руси напредки не быть!— строго про-

говорил Петр.— Будет довольно и того, что покойный родитель мой короводился с Никоном... Другому Никону не быть, и патриархам на Руси — не быть!

— Аминь!— разом сказали и Меншиков, и Ромодановский.

Когда происходил этот разговор, последний на Руси патриарх находился уже в безнадежном состоянии. В бреду он часто повторял: «Павловы уста, Павловы...» Это были горячечные рефлексы последнего допроса тамбовского архиерея Игнатия... «Павловы уста, точно...» Старик в душе, видимо, соглашался с Игнатием, и духовное красноречие Талицкого казалось ему равным красноречию апостола Павла.

Петру не долго пришлось ждать уничтожения на Руси патриаршества: 16 октября того же 1700 года Адриана не стало.

На торжественное погребение верховного на Руси вождя православия и главы российской Церкви съехались в Москву все архиереи и митрополиты, и в том числе рязанский митрополит Стефан Яворский, старейший из всех.

Похороны патриарха совершены в отсутствие царя, которому не до того было. Петр с начала октября находился уже под Нарвой и готовился к осаде этого города.

После похорон Адриана Стефан Яворский, перед отъездом в Рязань, посетил в Чудовом монастыре могилу бывшего своего учителя Епифания Славинецкого. С ним был и Митрофан воронежский, которого рязанский митрополит уважал более всех московских архиереев.

Оба святителя долго стояли над гробом Славинецкого.

— Святую истину вещает сие надписание надгробное,— сказал рязанский митрополит, указывая на надпись, начертанную на гробе скромного ученого.

И он медленно стал читать ее вслух:

Преходяй, человече! зде став, да взиравши,
Дондеже в мире сем обитавши:
Зде бо лежит мудрейший отец Епифаний,
Претолковник изящный священных писаний,
Философ и иерей в монасех честный,
Его же да вселит Господь и в рай небесный
За множайшие его труды в писаниях,
Тщанно-мудрословные в претолкованиях
На память ему да будет
Вечно и не отбудет.

— Воистину умилительное надгробие,— согласился Митрофан,— и по заслугам.

— Истинно по заслугам, ибо коликую войну словесную вел покойник с пустосвятами! — сказал Стефан Яворский.— Вот хотя бы, к примеру, о таинстве крещения: Никита Пустосвят в своей челобитной обличает Никона за то, будто бы тот не велит при крещении призывать на младенца беса, тогда как якобы церковь повелевает призывать.

— Как призывать беса на младенца? — удивился Митрофан.

— В том-то и вся срамота! В обряде крещения, как всякому попу ведомо, возглашает иерей: «Да не снидет со крещающимся, молимся Тебе, Господи, и дух лукавый, помрачение помыслов и мятеж мыслей наводяй».

— Так, так,— подтвердил Митрофан.

— А Никита кричит, подай ему беса!

— Не разумею сего, владыко,— покачал головою Митрофан.

— Никита так сие место читает: «Молимся Тебе, Господи, и дух лукавый», якобы и к «духу лукавому», к «бесу», относится сие моление. Теперь вразумительно?

— Нет, владыко, не вразумительно,— смиренно отвечал Митрофан.

Воронежский святитель не знал церковнославянской грамматики и потому не мог отличить именительного падежа «дух» от звательного: если бы слово «молимся» относилось и к «Господу» и к «духу лукавому» также, то тогда следовало бы говорить: «Молимся Тебе, Господи, и дýше лукавый». Этого грамматического правила воронежский святитель, к сожалению, не знал. Тогда Стефан Яворский, учившийся богословию и риторике, а следовательно, и языкам в Киево-Могилянской коллегии, и объяснил Митрофану это простое правило:

— Если бы, по толкованию Никиты Пустосвята, следовало и Господа, и духа лукавого призывать и молить при крещении, тогда подобало бы тако возглашать: «Молимся Тебе, Господи, и душе лукавый...» Вот посему Никита и требует молиться и бесу, а его якобы в новоисправленных книгах хотя оставили на месте, а не велят ему молиться.

— Теперь для меня сие стало вразумительно,— сказал Митрофан.

— У сего-то Епифания и Симеон Полоцкий сосал млеко духовное и, по кончине его, выдавал за свое молоч-

ко, но токмо оное было «снятое»,— улыбнулся Стефан Яворский.

— Как, владыко, «снятое»?— удивился Митрофан.— Я творения Полоцкого: и «Жезл Православия» и «Новую Скрижаль» чел не единожды и видел в них млеко доброе, а не «снятое».

— Что у него доброе, то от Епифания, а свое молочко — жидковато... Вот хотя бы препирание сего Симеона с попом Лазарем о «палате».

— Сие я, владыко, каюсь, запамятовал,— смиренно признался воронежский святитель,— стар и немощен, потому и память мне изменяет.

— Как же! Лазарь безлепично корил церковников за то, что на ектениях возглашают: «О всей палате и воинстве...» Это-де молятся о каких-то «каменных палатах»... Сие-де зазорно — молиться о камне, о кирпиче.

— Так, так... теперь припоминаю,— сказал Митрофан.

— Так и сие претолкование Симеон похитил у Епифания,— настаивал рязанский митрополит.— Сего-то ради и в зримом нами ныне надгробии Епифания сказано, что был он «претолковник изящных священных писаний» и что «труды» его были «тщанно-мудрословные в претолкованиях».

Поклонившись в последний раз гробу ученого, святители возвратились в свои подворья и в тот же день выехали из Москвы: Стефан Яворский в Рязань, а Митрофан — в Воронеж.

Они потому поспешили оставить Москву, что им не хотелось присутствовать при архиерейском расследовании дела тамбовского епископа Игнатия и книгописца Григория Талицкого. Страшное это было дело!

VI

Дело Талицкого росло подобно снежной лавине.

Игнатий-епископ все еще сидел в патриаршем дворе «за приставы», а в Преображенском приказе работали дыба и кнут.

После похорон Адриана архиереи опять собрались в патриаршей крестовой палате и велели привести Талицкого и Игнатия.

После возглашения первоприсутствующим архиереем обычного «во имя Отца и Сына и Святаго Духа» первоприсутствующий, напомнив Игнатию его показание, что

Талицкий просил его провести в народ весть об антихристе через патриарха, приказал допрашиваемому продолжать свое показание.

— Когда Григорий посоветовал мне возвестить о том святейшему патриарху,— тихо заговорил Игнатий,— и я ему, Григорию, сказал: я-де один, что мне делать? И про книгу «О пришествии в мир антихриста и падении Вавилона», в которой написана на великого государя хула с поношением на словах, он, Григорий, мне говорил...

Видя, что первоприсутствующий не останавливает его при слове «Григорий», как останавливал патриарх, и не велит говорить «Гришка», Игнатий понял, что судии относятся к нему милостивее патриарха.

И он продолжал смелее:

— И после взятья тех тетратей я с иконником Ивашком Савиным прислал к нему, Григорию, за те численные тетрати денег пять рублев, а перед поездом моим в Тамбов за день он, Григорий, принес ко мне на Казанское подворье написанные тетрати и отдал мне, а приняв тетрати, я дал ему, Григорию, за те тетрати денег два рубля.

В это время патриарший дьяк, в стороне записывающий показания подсудимых, встав с места и поднеся исписанные столбцы к первоприсутствующему, что-то тихонько ему шепнул. Тот, взглянув на столбцы и возвращая их дьяку, сказал:

— Блажени милостивии...

Дьяк поклонился и опять сел на свое место.

Игнатий понял недосказанное и продолжал:

— А преж сего в очной ставке Григорий сказал, как-де те тетрати он, Григорий, ко мне принес и, показав, те тетрати передо мною чел, и рассуждения у меня просил, и я, слушав тех тетратей, плакал и, приняв у него те тетрати, поцеловал.

Дьяк глянул на Талицкого, и тот утвердительно кивнул головой.

Дьяк что-то отметил на столбце.

Игнатий продолжал:

— Подлинно, те тетрати я слушал, а плакал ли и, приняв их, поцеловал ли, того не упомню.

Талицкий опять кивнул дьяку. Игнатий это заметил и, став вполоборота к Талицкому, сказал:

— Он, Талицкий, тетрати «О пришествии в мир антихриста» и «Врата» хотел, пришед в Суздаль, дать и суздальскому митрополиту.— И, обратясь к первоприсут-

ствующему, добавил:— А в Суздаль он, Григорий, ходил ли и те тетрати дал ли, про то я не ведаю, ведает про то он, Григорий.

Теперь все обратились к Талицкому. Он смело выступил вперед.

— В Суздаль к митрополиту Иллариону для рассуждения тех тетратей я точно хотел идти,— сказал он,— да не ходил, затем что в дороге питаться мне было нечем, денег не было, просил я денег у тамбовского епископа, да он не дал, и своих тетратей к митрополиту я не посылал. А знаком мне тот митрополит потому, что я напред сего продал ему книгу «Великое Зерцало».

Он замолчал и, звякнув кандалами, гордо отошел в сторону.

— И ты, Григорий Талицкий, утверждаешь на всем том, что сказал?— спросил первоприсутствующий.

— Утверждаюсь! И на костре возвещу народу, что настали последние времена и что на Москве...

Но пристав силою зажал рот фанатику.

— Отвести его в Преображенский,— сказал первоприсутствующий.

Талицкого увели; но с порога он успел крикнуть:

— Не потеряй венца ангельского, Игнатий. Он ждет нас на небесах, а здесь...

Голос его еще звучал за дверями, но слов не было слышно.

Тогда первоприсутствующий обратился к Игнатию:

— Игнатий, епискуп тамбовский, утверждаешься ли ты на всем том, что показал здесь?

— Утверждаюсь, в трикраты утверждаюсь.

— Иди с миром,— сказал первоприсутствующий.

Увели и Игнатия.

Архиереи переглянулись.

— Вина его велика... но... блажени милующие,— тихо сказал один из них и взглянул на первоприсутствующего.

— Лишению архиерейского сана повинен,— проговорил последний.

— И лишению монашеского чина,— добавили другие.

— Обнажению ангельского лика, но не смерти,— заключил первоприсутствующий.

Прошло несколько дней.

Мы в Преображенском приказе, в застенке.

Перед князь-кесарем Ромодановским и перед заплечными мастерами стоит епископ Игнатий...

Но он уже не епископ и не Игнатий...

Он — Ивашка Шалгин, и не в епископской рясе и не в клобуке, а совсем голый и с бритою головой.

— Стоишь на своем, Ивашка? — спрашивает его князь-кесарь.

— Стою.

Ромодановский глянул на палачей.

— Действуйте... да чисто чтоб!

Палачи моментально схватили бывшего архиерея, скрутили и подняли на дыбу.

Послышался страшный стон, и плечевые суставы рук выскочили из своих мест.

Мученик лишился сознания.

— Жидок архиерей,— презрительно кинул князь-кесарь приказному, записывающему «застенное действо».— Снять с дыбы!

Несчастного сняли и положили на рогожу. Он казался мертвым.

— Вправить руки в плечевые вертлюги,— приказал Ромодановский.

При ужасающем крике очнувшегося страдальца палачи, опытные хирурги, вправили то, что вывихнула дыба.

Страдалец опять был в обмороке.

— Отлить водой! Оклемает.

Стали несчастному лить воду на лицо, на голову, против сердца.

Когда немного погодя он несколько пришел в себя и открыл глаза, Ромодановский сказал палачам:

— Подбодрите владыку «теплотой».

Тогда «заплечные мастера» силою открыли рот и влили в него целую косушку водки.

— Разрешение вина и елея...— злорадствовал князь-кесарь.

Водка быстро подействовала на ослабевший организм расстриженного архиерея, и он привстал на рогоже.

— Сможешь теперь говорить? — спросил Ромодановский.

— Смогу,— был ответ.

— Говори, да токмо сущую правду, а то «копчению» предам.

...Что означало в древней судебной терминологии слово «копчение», неизвестно: может быть, это и было сожжение на костре, которому был подвергнут в Пусто-

зерске знаменитый протопоп Аввакум, самый энергичный и неустрашимый расколоучитель.

Тогда бывший епископ заговорил:

— Которые тетрати я у Гришки Талицкого взял и те тетрати на Москве сжег подлинно...

— Ну!— торопил князь-кесарь.

— А как те тетрати сжег, того у меня никто не видал, и тех тетратей я никому не показывал и о них никому не говорил и списков с них никому не давал.

Он говорил медленно, заплетающимся языком и часто останавливался для передышки.

— Все?— спросил Ромодановский.

— Нет... В совет к себе к тем воровским письмам никого я не призывал и советников его, Гришкиных, и единомышленников на такое его воровское дело никого не знаю.

Он остановился в полном изнеможении.

— Все?

— Все,— был ответ.

Но Ромодановский не удовлетворился этим.

Как он далее истязал свою жертву, отвратительно и омерзительно рассказывать, и мы покроем эту мерзость нашего прошлого всепрощающим забвением.

VII

Совершая в застенке приказа все ужасы пыток над бывшим епископом, князь-кесарь не забывал, что сегодня он должен поспеть на веселую свадьбу.

Пользуясь отсутствием грозного царя, стоявшего с войском под Нарвою, москвичи спешили сыграть несколько пышных свадеб «по старине», чего царь, при себе, не позволил бы, особенно в боярских домах.

На одну из таких свадеб и должен был поспеть князь-кесарь, в угоду старой боярыне Орлениной, которая хотя и имела большую силу при дворе, но у себя дома упорно придерживалась старины. Она же своим влиянием дала ход Меншикову, а потом выдвинула и Ягужинского, благодаря его замечательной красоте.

Поэтому и князь-кесарь не смел ни в чем перечить властной старухе.

Орленина выдавала свою красавицу внучку Ксению за молодого князя Трубецкого, сына князя Ивана Юрьевича, Аркадия.

Приготовления к свадебному торжеству были покон-

чены раньше: был уже назначен и тысяцкий — главный чин при женихе; избраны были со стороны жениха и невесты: «сидячие бояре и боярыни», «свадебные дети боярские», или «поезжане»; назначены к свадебному чину из челяди —«свещники», «коровайники» и «фонарщики»; наконец, избран был и «ясельничий», который должен был оберегать свадьбу от колдовства и порчи.

Накануне самого бракосочетания жених, по обычаю старины и по указанию своей матери, княгини Аграфены, прислал невесте дорогой ларец, в котором находились подарки: шапка, сапоги, а в другом отделении ларца — румяна, перстни, гребешок, мыло, зеркальце и принадлежности женских работ — ножницы, иглы, нитки и лакомства — изюм, фиги и в придачу ко всему — розга, чтоб жена боялась мужа.

Утром же свадебного дня сваха невесты начала готовить брачное ложе, или «рядить свадьбу». С пучком рябины в руках, это от порчи, она обходила хоромину брачного торжества и кровать, где постилалось брачное ложе. Все относившееся к брачной хоромине, то есть к «сеннику», принесла из дома невесты многочисленная челядь ее знатной бабушки. Сваха распорядилась, чтобы на потолке сенника не было земли.

— Это не могила, чтоб над ней земля была,— пояснила она,— так закон велит.

Потом сенник обили по стенам и по помосту коврами. По четырем углам сенника воткнули по стреле, на которые повесили по сороку соболей.

— А ты, Марьюшка, взоткни на стрелы по калачу,— сказала сваха подручной сидячей боярыне.

— Уж и дотошная у нас сватьюшка! — с умилением сказала сидячая боярыня, натыкая на стрелы калачи.

Затем на лавках по углам, поставили по оловяннику сыченого меду, а над дверьми и окнами прибили по кресту.

— Все по-Божески, чтоб порчи не было,— пояснила сваха.

Когда в сенник вносили принадлежности брачной постели, то впереди несли образа Спаса и Богородицы, а также большой золоченый крест.

— А снопы готовы?— спрашивала сваха.

— Готовы, боярыня,— отвечали челядинцы.

— Все сорок, по закону?

— Все, боярыня, счетом.

— Так, укладывайте снопы на кровать ровнехонько.

— Знаем, боярыня.

Потом на снопы положили дорогой персидский ковер, а на ковер три перины. На подушки натянули шелковые «атлабасовые» наволоки и застлали постель шелковою же белою простынею...

— Чтоб на белом «доброе» виднее было,— пояснила сваха.

— Ох, дотошна ты, сватьюшка,— удивлялись сидячие боярыни, убиравшие постель.

Поверх простыни постлали холодное одеяло.

— По закону теплого не кладут,— пояснила сваха,— да и сенник чтоб не топлен был.

— И без теплого князю и княгине жарконько будет,— хитро улыбались сидячие боярыни.

— А шапка где?

— Вот она.

— Клади на подушку.

Тогда над постелью повесили образа и крест и задернули их убрусами, а самую постель задернули тафтяным пологом.

После того челядинцы внесли в сенник кади с пшеницею, рожью, овсом и ячменем и поставили у изголовья постели.

— Все, кажись, наладили по закону,— сказала подручная сидячая боярыня.

— Все, Марьюшка, экое гнездышко перепелиное!

— Не соколиное ли, полно? Женишок-ат соколом смотрит.

Между тем в доме невесты тоже вся челядь была на ногах. Под наблюдением самой боярыни-бабушки готовили все к приему жениха в парадной хоромине: ставили столы, накрывали скатертями, уставляли уксусницами, солоницами и перечницами.

Затем на просторном «рундуке» (возвышении) убрали сиденье для жениха и невесты, положили камчатные золотные изголовья, а сверху покрыли их соболями. Тут же положили и соболя для «опахивания» новобрачных. Перед сиденьем жениха и невесты поставили стол и накрыли его тремя дорогими скатертями, одна скатерть на другой.

На них поставили солоницу золоченую и положили калач-перепечу и сыр.

— Теперь, кажись, все по закону,— сказала боярыня-бабушка, топчась на месте.— Пора и невесту снаряжать к венцу.

Наконец все было готово, невеста одета, а хорошенькая белокурая головка ее украшена изящным маленьким золотым венцом, символом девичества.

Тогда последовало торжественное шествие невесты с женской половины в парадную хоромину, куда уже собрались родные невесты и приглашенные.

Шествие невесты в парадную хоромину открывали женщины-«плясицы», которые плясали и пели обрядовые песни. За плясицами коровайники несли на палках, обшитых богатыми материями, короваи. На короваях лежали золотые «пенязи». За коровайниками следовали «свещники» со свечами и «фонарщики» с фонарями. Так как женихова свеча, величиною с бревно, весила три пуда, а невестина два, то их несли по два свещника. На свечи были надеты золоченые обручи и подвешены атласные кошелки. Потом, за фонарщиками, шел «дружка» и нес «опахало». То была большая серебряная миса, в которой на трех углах лежали: хмель, собольи меха, золотом шитые ширинки и червонцы. Справа и слева невесты «держали путь» двое ее молодых родственников, чтоб никто не перешел дороги «княгине», а уже за ними две свахи вели невесту в венце и под густым покрывалом. За невестой следовали сидячие боярыни, две из которых держали по мисе: на одной мисе лежала «кика»— головной убор замужней женщины, с «волосником», гребешком и чаркою с медом, разведенным на вине. На другой мисе лежали убрусы для раздачи гостям. Оба блюда — первое с «осыпалом», то есть с хмелем, ставили на стол, где уже лежала перепеча с сыром.

Когда коровайники, свещники и фонарщики остановились по бокам стола, невесту свахи посадили на брачное сиденье, а рядом с нею ее маленького братишку.

Тогда дружка тотчас же поехал к жениху известить, что «княгиня на посаде».

Аркадий никогда не видал своей невесты. Их сосватали строго «по старине». Старая боярыня Орленина берегла свою внучку как зеницу ока, чтоб на нее ни ветром не пахнуло, ни солнышком не обожгло ее нежных щечек. Но больше всего старуха укрывала ее от глаз постороннего мужчины.

— Что хорошего, коли мужчина общупает своими зенками девушку с пят до маковки?— говорила боярыня.

Да и мать жениха блюла старину.

— Говорю тебе, что Ксенюшка — раскрасавица, видеть ее до венца не моги, да и бабка ее до того не допус-

тит: змеем-горыничем она стережет свою внучку,— говорила и княгиня Трубецкая своему сыну.

И вот, вот, может быть, он сейчас ее увидит, ее, свою «суженую», которую ему другие «присудили»... может быть, увидит... Когда он и она будут сидеть «на посаде», хотя рядышком, но разделенные друг от друга тафтяным покровом, и когда ее станут расчесывать, то, может быть, когда им позволят через тафту приложиться друг к дружке щеками... Да, да! щеками через тафту, то, может, перед нею будут держать зеркальце так, что он увидит ее!..

Княгиня Трубецкая и, за нахождением князя при войске под Нарвой, посаженый отец после возглашения священника «достойно есть!» благословили жениха, и торжественное шествие двинулось к дому невесты.

И здесь, как у невесты, впереди «поезда» шли коровайники с короваями, свещники со свечами и фонарщики с фонарями. За ними священник с крестом, бояре, а за ними уже жених, которого тысяцкий вел под руки. Затем, наконец, «поезжане», иные на санях, другие верхами на конях.

А вот и ворота невестина дома...

Вот и парадная хоромина... В глазах рябит у жениха... Он машинально молится и кланяется на все четыре стороны...

На возвышении сидит она... Такая крохотная... но личика не видать, густо закрыто... Только видно, как маленькая ручка под покрывалом украдкою делает крестное знамение... Около нее, рядом, сидит Юша, ее братишка.

«Выкупать надыть у Юши»,— соображает княжич. Дружка подводит его.

Дрожащей рукой жених кладет на протянутую ручку Юши золото...

Он рядом с н е ю, на одной подушке...

«О н рядом со мною, на одной подушке!» — трепетно колотится девичье сердчишко.

И он, и она почти ничего не видят, как слуги ставят на стол «яства»...

— Отче наш, иже еси на небеси,— как будто откуда-то издали доносятся до них слова священника.

— Благословите невесту чесать и крутить.

Это они явственно слышат, и о н а вздрагивает.

— Благослови Бог!

VIII

После того как сваха должна была начать чесать и крутить невесту, свещники последней, зажегши свадебные свечи «богоявленскими свечами» и поставив их, тотчас протянули... увы! между женихом и невестою занавесь из алой тафты.

Это делалось для того, что при чесании волос с лица невесты сваха снимала покрывало, а лица ее ни жених, ни его поезжане не должны были еще видеть.

Так делалось и тут, и невеста скрылась за занавесью.

«Когда же велят приложиться нам с нею щеками к тафте?»— волновался в душе жених, посматривая на зеркальце, которое держала в руках перед невестой сидячая боярыня.

Жених чувствует, что там, за занавесью, уже распускают косу Ксении.

«А зеркальце... покажется ли она в нем?»— думает жених.

— Приложитесь щеками к тафте,— говорит сваха.

Аркадий пригибается к занавеси так, чтобы его щека, он был гораздо выше Ксении, прикоснулась непременно к ее щеке.

Он приложился... Он чувствует за тафтой щеку девушки, горячее, сквозь тафту жгущее огнем лицо Ксении, ее тело, ее плечо... Он прижимается еще крепче, крепче...

«И она жмется ко мне... ох, чую, жмется!»

Кровь у него приливает к сердцу, ударяет в голову...

И вдруг в зеркальце отражается ангельское личико!.. Ангельское!.. Ангельское!..

Но длинные иглы ресниц опущены в стыдливой скромности...

Вдруг ресницы вскинулись, и его ожгли две молнии... душу ожгли... огнем опалили его всего... и, подобно молнии, неземное видение исчезло!

Тут приблизилось к ним что-то странное, лохматое, все в шерсти, и проговорило, видимо, поддельным голосом:

— Мир да любовь князю и княгине!.. Да молодой княгинюшке народить бы деток столько, сколько шерстинок на моей шкуре.

Это был поддружье, наряженный в вывороченную наверх шерстью шубу.

— Ах, кабы и впрямь твоя внучка нарожала столько пареньков, сколько шерсти на шубе!— шутя шепнул боярыне-бабушке князь-кесарь, сидевший с нею рядом.

— Полно тебе, старый греховодник!— накинулась на него старуха.— Это дело Божеское.

— И государево, матушка,— подмигнул Ромодановский.

— Поди ты с государем-ту твоим!— огрызнулась бабушка.— От него-то кроючись и свадьбу торопим без женихова родителя.

Между тем, пока продолжалось укручивание невесты, сидячие боярыни и девицы пели свадебные песни:

А кто у нас холост,
А кто у нас не женат?

Дружка в это время резал на мелкие куски перепечу и сыр, клал все это на большое серебряное блюдо вместе с ширинками — подарками для гостей, а поддружье разносил это по гостям. Сваха же «осыпала» свадебных бояр и всех участников торжества, бросая им все, что было на «осыпале»,— хмель, куски разных материй и деньги.

Наконец невесту «укрутили», надели на голову кику.

— Уж и молодайка же у нас!— любовалась юным детским личиком, выглядывавшим из-под кики, старшая сваха.

— В куклы играть и то в пору,— шепнула Марьюшка.

Молодые встали с сиденья и пошли к родителям под благословение.

— Благослови Бог!

У молодых обменяли кольца, а отец Ксении, передавая жениху плеть, сказал:

— По этой плетке, дочушка, ты знала мою власть над тобой; теперь этой плетью будет учить тебя муж.

— Не нуждаюсь я, батюшка, в плетке,— горячо возразил жених,— а беру ее, как подарок твой.

И он засунул плеть за пояс.

Затем процессия двинулась из дому.

— Птичка улетает из гнездышка,— шепнул Ромодановский бабушке.

— Она мне роднее родной дочери!— И старушка заплакала.

Коровайники и свещники уже вышли, а за ними по устланному яркими материями полу двинулись жених и

невеста. Невесту, все еще закрытую, вели под руки обе свахи. У крыльца уже стояли невестина «каптана» и тут же оседланные кони для жениха и поезжан.

На седле женихова аргамака важно восседал Юша.

— Уступи мне место, Юшенька.— улыбнулся Аркадий.

— Не уступлю, я за сестрой поеду,— храбрился Юша.

— Уступи, миленький! Вот тебе золото на пряники.

Юша взял золото, и его ссадили с седла.

Жених ловко вскочил на аргамака и, сопровождаемый своими поезжанами, обогнал невестину каптану. В то время, когда он поравнялся с окном каптаны, оттуда выглянуло прелестное личико, и без кики...

— До венца личиком засветила! Ах, сором какой! Ох, срамотушка!

— А ежели люди увидали! Пропали наши головушки!

Но люди не увидали. Видел только Аркадий, как «светило» для него его солнышко...

— Свадьба! Свадьба!— кричали уличные мальчишки, завидев каптану невесты.— Вот под дугою висят лисьи да вольчи хвосты.

Волчьи да лисьи хвосты под дугою действительно были обрядовые признаки старорусской свадьбы.

Но вот и жених и невеста уже в церкви, а ясельничий и его помощники остались на дворе стеречь женихова коня и невестину каптану, «чтобы лихие люди не перешли между ними дороги». А то разом напустят на новобрачных «порчу».

Как долго, казалось Аркадию, тянулось венчание! Он почти ничего не видел и не слышал: он ждал только, когда с лица Ксении снимут покрывало.

Но вот его сняли!.. Аркадию показалось, что в церковь глянуло весеннее солнце. Мало того, он целует это солнце, но робко.

— Раба Божия Ксения,— говорит священник,— кланяйся мужу в ноги.

Она покорно кланяется, и Аркадий с нежностью покрывает ее голову полою своего богатого кафтана, знак, что он всю жизнь будет защищать дорогое ему существо.

Тогда священник подал им деревянную чашу с вином.

— Передавайте друг дружке трикраты чашу,— говорил священник.

Когда новобрачные отпили, князь-кесарь Ромодановский, быстро подойдя к молодой, на ухо шепнул ей:

— Ксеньюшка! Живей кидай чашу об пол и топчи ее ножками.

Это было поверье, что, когда кто из новобрачных первым станет на брошенную на пол чашу ногою, тот и будет главою в доме.

Ксения бросила чашу и вся зарделась, но на чашу не становилась ногою.

— Топчи, топчи, Ксеньюшка!— не отставал князь-кесарь.

Аркадий смотрел на свое сокровище и тоже не топтал чаши.

— Топчи, Ксеньюшка,— подсказала и сваха.

Тогда Ксения с улыбкой поставила ножку на чашу, но раздавить ее не хватало силенки.

— Все ж ты первая,— шепнула сваха.

Тогда Аркадий, когда Ксения сняла свою маленькую ножку с чаши, придавил ее каблуком, и чаша была раздавлена.

— Пущай так будут потоптаны нашими ногами те, кои станут посевать меж нами раздор и нелюбовь,— сказал он торжественно.

— Аминь!— провозгласил князь-кесарь.— А паче чаяния,ежели лихие люди дерзнут помыслить что-либо худое против моей крестницы Ксеньюшки, то быть им у меня в застенке!

После того как поздравления кончились, сваха, при выходе из церкви, осыпала их семенами льна и конопли.

— Лен — на ребяток, конопля — на девочек,— повторяла она.

— Не жалей, сватенька, льну... Льну сыпь поболе!— весело говорил Ромодановский.

Он очень легко выбрасывал из головы подробности тех ужасов, какие он совершал в застенке Преображенского приказа...

Ромодановский при выходе новобрачных из церкви продолжал шутить и, лукаво подмигивая молодым поезжанам, шептал:

— Умыкайте, добрые молодцы, молодую, умыкайте!

Это был обычай: при выходе молодой из церкви ее старались будто бы «умыкать», отбить, похитить у мужа, и молодая, боясь «умычки», теснее прижималась к мужу.

— А вот, сунься кто!— вынимал Аркадий плеть из-за пояса и энергично махал ею в воздухе.

Поезд скоро двинулся к дому Трубецких.

При входе в дом молодых ясельничий командовал потешникам:

— В сурьми да бубны, потешные! Да играйте чинно, немятежно, доброгласно!

Под эту музыку молодые сели за стол. Но есть за общим столом они, по обычаю, ничего не ели.

Когда же гостям подали третью перемену — лебедя, то перед молодыми поставили жареную курицу, которую дружка тут же завернул в скатерть, и обратился к матери Аркадия и к посаженому отцу:

— Благословите молодых вести опочивать.

— Благослови Бог! — отвечали те.

И молодых повели. Но прежде чем они дошли до дверей, дружка понес впереди завернутую в скатерть курицу, предназначенную для ужина молодым в сеннике, а за ним пошли коровайники и свещники.

Когда молодые приблизились к дверям, то посаженый отец, взяв Ксению за руку, проговорил обрядовые слова Аркадию:

— Сын наш! Божиим повелением и благословлением матери твоей велел тебе Бог сочетатися законным браком и поять в жены отроковицу Ксению. Приемли ее и держи, как человеколюбивый Бог устроил, в законе нашей истинной веры, и святые апостолы и отцы предаша.

У дверей сенника молодых встретила сваха в шубе, вывороченной кверху шерстью, и снова осыпала их льняными и конопляными семенами:

— На ребяток, на девочек... на ребяток, на девочек...

А в сеннике дружка и свещники уже успели поставить венчальные свечи в кади с пшеницею — у самого изголовья брачного ложа.

С лихорадочным трепетом вступили молодые в сенник, где их тотчас же стали раздевать: жениха — дружка, а невесту — сваха.

— Не надо! Не надо! — отбивалась бедная Ксения, закрывая вспыхнувшее личико руками.

— Ах, мать моя! Срам какой! Не дается! Да это по закону, по-Божьи... — возилась около нее сваха.

— Не надо! Не надо! Пусти!

— Ах, озорница! А потом сама будешь благодарить...

— Не надо! Пусти! Пусти!

Напрасно! Сваха была не такая женщина, чтоб отступить от закона.

Она сделала свое дело... и — «чулочки сняла».

Дружка и сваха тотчас оставили сенник.

— ...В застенок повели Ксеньюшку,— сострил князь-кесарь, когда молодых повели в сенник.

В доме идет пир горой.

Но на дворе тихо-тихо. Только безмолвные звезды с высокого неба смотрят на сенник да ясельничий с обнаженным мечом ездит верхом около сенника для предотвращения всякого лиходейства, пока там совершается «доброе».

Когда в доме свадебный пир достиг апогея, к дверям сенника подошел дружка.

— Все ли в добром здоровье? — громко спросил он.

— Все в добром здоровье,— послышался ответ через дверь.

— Слава Богу! — прошептал дружка.

Через минуту он торжественно входил в пиршескую хоромину. Все воззрились на него вопросительно.

— Возвещаю! — торжественно произнес он.— Между молодыми доброе совершилось![1]

IX

В то время, когда на Москве, в доме Трубецких, справлялась веселая свадьба, а в Преображенском приказе, в застенке, кнут и дыба справляли свое страшное дело, в это время Державный плотник делал первые, к несчастью, неудачные попытки царственным топором «прорубить окно в Европу».

Оставив свое тридцатипятитысячное войско у стен Нарвы под начальством герцога фон Круи для возведения укрепленного лагеря и для приготовления осады города, царь Петр Алексеевич, в сопровождении Александра Данилыча Меншикова и неразлучного Павлуши Ягужинского, отправился на не дававшее ему спать Балтийское море «взглянуть хоть одним глазком».

— Ох, глазок у тебя, государь!— сказал Меншиков, следуя верхом около царского стремени.

— А что, Данилыч,— окликнул его царь,— что мой глазок?

— Да такой, что хоть кого сглазит! Вон под Азовом салтана сглазил, а теперь, поди, и Карлу сглазит,— отвечал Меншиков.

---

[1] Обрядовые подробности свадьбы в главах VII и VIII переданы с документальной точностью, исключая циничные нескромности старинного ритуала свадьбы.

— Помоги Бог,— задумчиво сказал Петр,— с ним мне еще не приходилось считаться.

— Тебе ли, батюшка государь, с мальчишкой счета сводить!.. Розгу покажи, тотчас за штанишки схватится, как бы не попало,— пренебрежительно заметил Меншиков.

— Не говори, Лексаша: вон и Христиан датский, и Август польский почитали его за мальчишку, а как этот мальчишка налетел орлом на Копенгаген, так и пришлось Христиану просить у мальчишки пардону, а мальчишка с него и штаны снял,— говорил Петр, вглядываясь в даль, где уже отливала растопленным свинцом узкая полоса моря.

— Штаны,— улыбнулся Меншиков,— это Голстинию-то?

— Да, Голстинию.

— Да и Александр Македонский был мальчишкой восемнадцати лет, когда при Херонее наголову разбил греков и спас отца,— проговорил как бы про себя молчавший доселе Павлуша Ягужинский.

— Ты прав, Павел!— горячо сказал царь, и глаза его загорелись.— Я плакал от зависти к этому Александру, когда в первый раз чел про дело у Херонеи: отец его Филипп и все македонское воинство уже дали тыл грекам, когда на союзников оных, фифанцев, налетел Александр с конницей, мигом смял их, а там ударил и на победителей отца и все поле уложил их трупами! Таков был оный мальчишка!

— А что потом в Афинах было!— тихо заметил Павлуша.— Я тоже, государь, чел когда-то сие описание и плакал, токмо не от зависти, где мне!.. Афин мне было жаль, государь.

— Точно, Павлуша: афиняне в те поры объяты были ужасом... Афинянки выбегали из домов и рвали на себе волосы, узнав о павших в бою отцах, мужьях, братьях, сыновьях. Старики словно безумные бродили по стенам города... Старец Исократ с отчаяния уморил себя голодом... А вот и море!

Петр с благоговением снял шляпу перед обожаемою им могучею стихией и набожно перекрестился.

Меншиков и Ягужинский, видя, что царь молчит, тоже молчали, не смея нарушить торжественность минуты.

А минута была действительно торжественная. Он продолжал стоять, как зачарованный видением, видением будущего величия России... И видение это как бы реаль-

но вставало перед его духовными очами... Ни Ассирии и Вавилонии, ни монархии Кира, ни монархиям Македонской и Римской не сравняться с тою монархиею, которая назревала теперь в великой душе.

А оттуда, справа, чуть-чуть двигались чьи-то корабли под белыми парусами, чьи!.. Конечно, его, того, который там, за этим морем, и двигались эти корабли по его же морю и из его же реки!

Бледность проступила на щеках великана, и он все молчал.

«Новгородцы сим морем владели... Александр Ярославич ставил свою пяту на берег Невы... А мои деды лентяи все сие проспали».

Теперь краска залила его щеки.

— Так я же добуду, я верну!— вдруг с страстным порывом сказал он.

— Добудешь, государь; тебе ли не добыть чего!— согласился Меншиков, угадав мысль Петра.— Добудешь всего. Вон Азов живой рукой добыл.

При напоминании об Азове взор царя еще больше загорелся.

— Точно, Азов с Божьей помощью добыли... А не мало в оной виктории нам помогли черкасские люди — хохлы... Жаль, что не вызвал их регимента два-три под Нарву,— говорил царь, что-то ища в боковом кармане своего кафтана.

— Ты что, государь, ищешь?— спросил Меншиков.

— Да выметку из походного журнала, что прислал мне гетман Мазепа.

— Она у меня, государь, с письмом Кочубея.

При имени Кочубея у Ягужинского дрогнуло сердце. Он вспомнил его дочь, Мотреньку, которую видел три года тому назад в Диканьке и которой образ, прекрасный, как мечта, запечатлелся в его душе, казалось, навеки.

— Ты велел мне спрятать ее, чтоб прочесть на досуге. Изволь, государь, вот она.

И Меншиков подал Петру выписку из походного журнала малороссийских казаков, участвовавших в осаде Азова.

Царь развернул бумагу и стал читать вслух:

— «Року 1696 его царскаго величества силы великия двинулись под Азов землею и водою, и сам государь выйшол зимою, и прислал указ свой царский до гетмана запорожскаго, Ивана Мазепы, жебы войска козацкого стал туда же тысячей двадцать пять, що...»

— Наш да не наш язык,— остановил себя Петр,— год у них «рок», да эти «жебы», да «що», да «але»...

— С польским малость схоже, государь,— заметил Меншиков.

«Нет, не с польским,— думал Ягужинский, вспоминая певучий говор Мотреньки Кочубеевой.— Музыка, а не язык... А как она пела!

Ой, гаю, мий гаю, зеленый розмаю!
Упустыла соколонька — та вже й не пиймаю!..»

Царь продолжал читать:

— «...що, на росказания его царского величества, гетман послал полковников, черниговского Якоба Лизогуба, прилуцкого Дмитра Лазаренка Горленка, лубенского Леона Свечку, гадяцского Бороховича и компанию, и сердюков, жебы были сполна тысячей двадцать пять. Которые в походе том от орды мели перепону але добрый отпор дали орде, и притянули под Азов до его царского величества. Где войска стояли его царского величества под Азовом, достаючи города и маючи потребу з войсками турецкими на море, не допускаючи турков до Азова, которых на воде побили...»

— То была первая морская виктория твоя, государь,— сказал Меншиков,— и виктория весьма знатная.

— Будут, с Божьей помощью, и более знатные, да вот здесь!..

И царь указал на море, как бы грозя рукою.

А в душе Ягужинского звучала мелодия: «Упустыла соколонька — та вже й не пиймаю!..»

— «...опановали козаки вежу, которая усего города боронила,— читал Петр,— и из тоей вежи козаки разили турков в городе, же не могли себе боронити, которые и мусели просити о милосердии, и сдали город; тилько тое себе упросили турки у его царского величества, жебы оным вольно у свою землю пойти, на що его царское величество зезволил, отобравши город зо всем запасом, строением градским, и оных турков-обложенцев казал забрати у будари на килькадесять суден и отвезти за море Азовское, у турецкую землю».

Петр остановился и взглянул на Меншикова.

— Полагаю, запись учинена с обстоятельствами верно,— сказал он.

— Верно, государь,— отвечал Меншиков.

— У черкас, я вижу, письменное дело зело хорошо налажено.

— Черкасы, государь, ученее нас.

— Подлинно... Да и свет учения и книгопечатное дело от них же, от черкас, идет к нам, на Москву.

А Павлуша Ягужинский, прислушиваясь к разговору царя с Меншиковым о черкасах, думал о своей «черкашенке» из Диканьки, и в душе его продолжала петь дивная мелодия:

Ой, гаю, мий гаю, зеленый розмаю!
Упустыла соколонька — та вже й не пиймаю!..

X

Между тем, пока царь на берегу «чужого моря» волновался великими государственными думами, под Нарвой его преображенцы и другие воинские люди, большею частью, кроме преображенцев и семеновцев, состоявшие из неопытных новобранцев, продолжали возводить укрепления своего лагеря, готовясь к скорой осаде.

Время стояло осеннее, ненастное. То хлестал дождь, то слепил глаза мокрый снег, и северное пасмурное небо не располагало к энергичной работе. Даже любимцы царя, преображенцы, чувствовали себя как бы покинутыми своим державным вождем.

— Не любы, что ли, мы стали батюшке царю? Из царей разжаловал себя в капитаны бомбардерской роты... Простой капитан!

— Да и прозвище свое родовое переменил: стал Петром Михайловым.

— А видели, как он онамедни шанцы копал да сваи тесал? Топор у него ажно звенит, щепы во каки летят!

Кто-то затянул вдали:

На Михайловский денечек
Выпал беленький снежочек.

— И точно, братцы: завтра Михайлов день, и снежочек идет...

— Како снежочек! Просто кисель с неба немцы льют.

— Да и кисель-ту не беленький, а во какой, с грязью.

Разговор переходил на то, что неладно-де... немца над войском поставили начальником. Всех удивляло, что командование войском поручено герцогу фон Круи.

— Ерцог!.. Да у нас на Руси ерцогов этих и в заводе не было.

— И точно, немец на немце у нас в войске...

— Один такой вон уже и тягу дал, в Нарву убег.

Это говорили о Гуммерте, которого обласкал царь, а он перебежал к Горну, коменданту Нарвы.

— Эй, братцы! Слышь ты? Велят веселей работать... чтобы с песеньем... пущай-де там, в Нарве-ту, слышали чтоб... это чтоб страху на них напустить.

— А коли нет, так и запоем.

И один преображенец, опираясь на заступ, визгливым фальцетом запел:

Задумал Теренька жаницца,
Тетка да Дарья браницца:
Куда тебя черти носили?
Мы б тебя дома жанили.
Или-или-или-или или.
Мы б тебя дома жанили.

Дружный хохот наградил певца.

— Ну и тетка Дарья у нас!.. Жох-баба!

— А ты что ж, Терентий? — спросили добродушного богатыря, который продолжал железной лопатой выворачивать огромные глыбы сырой земли с каменьем.

— Что Терентий? Он не дурак до девок: он во как отрезал тетке Дарьюшке.

И другой преображенец, подбоченясь и скорчив ужасную рожу, запел:

Построю я келью со дверью,
Стану я Богу молицца,
Чтоб меня девки любили —
Крашоные яйца носили.
Или-или-или-или-или.
Крашоные яйца носили.

— Что, братцы, слышно в Нарве? — спросил певец.

— Должно, слышно: вон и вороны тамотка раскаркались на Тереху.

В это время к работавшим у шанцев подъехали князь Иван Юрьевич Трубецкой и заведовавший укреплением лагеря саксонский инженер Галларт.

— Бог в помощь, молодцы! — поздоровался Трубецкой с солдатами.

— Рады стараться, боярин! — гаркнули молодцы.

— Старайтесь, старайтесь. А завтра, ради Михайлова дня, я вас угощу большой чарой, — сказал князь.

— Покорнейше благодарим на милостивом слове!

«Большой чарке» солдаты особенно обрадовались, потому что ненастная, сырая погода требовала чего-нибудь согревательного, бодрящего организм.

А князь Трубецкой тут просто придрался к случаю.

Его очень обрадовало письмо из Москвы, извещавшее его о женитьбе сына на Ксении Головкиной. От жены он знал, что Ксения — редкая девушка и по красоте, и по душевным качествам. Кроме того, ему лестно было породниться с Головкиным, которого царь заметно приближал к себе и отличал от других.

— А кто из вас так весело пел? — улыбнулся он.

Солдаты замялись было, но простоватый богатырь Теренька выступил вперед и сказал:

— Это они меня передразнивали, ваша милость.

И он указал на певцов.

— За что ж они тебя передразнивали? — засмеялся князь.

— Что я бытта хочу женитца.

— Что ж, дело доброе, добудем Нарву, тогда и женим тебя. Прощайте, молодцы, — сказал князь, удаляясь, и прибавил: — Песельникам по две чары, а жениху — три.

Солдаты были в восторге.

— Ну так, братцы, пой! Боярин похвалил, да и спорей работа пойдет.

— Ин и вправду, заводи, Гурин.

— Какую заводить-то?

— Ивушку, чтобы горла-те мы все опростали.

И Гурин «завел» высоко-высоко:

Ивушка, ивушка, зеленая моя!

Солдатские «горла» подхватили, голоса все более и более крепли, и воодушевление особенно охватило всех, когда дело дошло до «бояр, ехавших из Новагорода».

Ехали бояре из Новагорода,
Срубили ивушку под самый корешок,
Сделали из ивушки два они весла —
Два весла-весельца, третью лодочку косну,
Взяли-подхватили красну девицу с собой...

— Ну, братцы, в Нарве, поди, всех воробьев распужали, — сказал, подходя, один семеновец.

— Да мы не даром поем: за пенье зелено вино жрем, — сказал Гурин.

— Ой ли! На каки таки денежки? Да тута и кружала нету.

— Мы завтрея гуляем у самово боярина, князь Иван Юрьевича Трубецкова.

— Поддай, поддай жару, Гуря!

Гурин поддавал с высвистом:

Стали оне девицу спрашивати —
Спрашивати, разговаривати:
«Что же ты, девица, не весела сидишь...»

— Бояре, бояре едут! Как бы не тово,— убежал к своим семеновец.

Это ехали осматривать работы князь Яков Федорович Долгорукий, имеретинский царевич Александр и Автаном Михайлович Головин.

Вдруг среди работавших послышались голоса:

— Государь едет, государь едет!

Петр возвращался с морского берега радостный, возбужденный.

— Государь в духе, море видел,— улыбнулся Яков Долгорукий.

— Ему бы хоть поглядеть на море, и то сыт по горло,— заметил Головин.

— Ну, не говори, Автаном Михалыч,— сказал царевич Александр своим несколько гортанным говором,— от погляденья на море государь пуще распаляется; он бы все моря, кажись, выпил.

Царь увидел своих вождей и направился к ним.

XI

На Москве тем временем князь-кесарь продолжал свое застеночное дело.

Одним из наиболее крупных зверей, уловленных князь-кесарем, оказался упоминаемый в предыдущих главах друг Талицкого, тоже из ученых светил школы знаменитого протопопа Аввакума, иконник Ивашка Савин. У него при обыске найдены и подлинные сочинения Талицкого.

Привели Ивашку пред светлые очи князь-кесаря. Сухое лицо иконника, напоминавшее старинный закоптелый образ, и стоячие глаза выдавали упорство фанатика.

— С вором Гришкой Талицким в знаемости был ли?— спросил Ромодановский.

— Был, не отрекаюсь; вместе Богу работали,— отвечал иконник.

— И с оным Гришкою в единомыслии был же?

— Был и в единомыслии.

Ромодановский глянул на иконника такими глазами, которых в Преображенском приказе никто не выдерживал. Иконник Ивашка выдержал.

— И слышал от Гришки воровские его на великого государя с поношением хульные слова?

— Слышал,— не запирался допрашиваемый.

Ромодановского поразила смелость иконописного лица.

— И воровские его, Гришкины, тетрати чел?

— Чел.

— И усмотря в воровских его тетратех государю многие укорительные слова, государю и святейшему патриарху не известил?

— Точно, не известил.

Князь-кесарь начал терять терпение:

— И ты его, Гришку, поймав, ко мне не привел по «слову и делу»?

— Не привел... И то я учинил для того, чтоб он, Григорий, от меня не заплакал, и в том я перед государем виноват.

Ромодановский порывисто встал.

— С ним, я вижу, всухомятку негоже разговаривать,— обратился он к сидевшему за одним с ним столом Никите Зотову.

— Что ж, можно и маслицем сухомятку сдобрить,— улыбнулся циник Зотов.

— Все записал?— спросил князь-кесарь приказного.

— Все до единой литеры,— отвечал приказный, кладя перо за ухо.

— В исповедальню!— кивнул Ромодановский приставам на свою жертву.

Иконника увели в застенок.

— Подвесить,— сказал князь-кесарь, входя в свой «рабочий кабинет».

Заплечные мастера тотчас подняли несчастного на дыбу. Тот молчал. Палачи подтянули еще свою жертву. Руки несчастного сразу были вывихнуты из суставов, и хилое тело его опустилось.

— Винишься в своих воровских помыслах?— спросил Ромодановский.

— Не винюсь. Оный Григорий дал мне те написанные столбцы о пришествии в мир антихриста и о летах от создания мира до скончания света для ведомства ради того, что «любы Божия всему веру емлет», и он, Григорий, в тех письмах писал все правду от книг Божественного писания и не своим вымыслом, а от которых книг, и то в тех письмах написано именно.

Ромодановский презрительно пожал плечами:

— Вишь, богослов какой выискался! И про великого

государя в тех книгах Божественного писания сказано именно?

— Сказано, точно.

— Так и сказано, государь-де, царь Петр Алексеевич всея Русии?

— Нет, сказано не так, а сказано: восьмой царь и будет антихрист, а он и есть восьмой царь.

— Ну, придется, видно, «коптить» тебя.

— Ради мученического венца и «копчение» претерплю — Христос и не то терпел.

— Добро-ста, приравнивай себя ко Христу,— пробормотал князь-кесарь.

Далее в «розыскном деле» Преображенского приказа по делу Талицкого в «расспросных речах» записано:

— «Он же, Ивашка-иконник, в расспросе и с третьей пытки говорил: кроме-де Гришки Талицкого и пономаря Артемошки Иванова, иных единомышленников никого нет, и тех писем, которые у него взяты, никому он не показывал и на список за деньги и без денег никому он не давал и у иных ни у кого в доме таких писем не видывал».

Привели в застенок пономаря Артемошку. Снова в ход пошли кнут и дыба...

И приказный строчит в «расспросных речах»:

«Артемошка в расспросе и с пыток говорил:

— Про письма, которые взяты у Ивашки Савина, я ведал и в совете с Гришкою и с Ивашкою Савиным был, и разговоры у нас об антихристе бывали.

После третьей пытки пономарь Артемошка молвил:

— Он, Гришка, со мною, Артемошкою, и с Ивашкомиконником бывал у тамбовского архиепископа (иногда он записан «епископом»), и Гришка ему, архиепископу, книги писал, и как он, Гришка, ту книгу об антихристе к нему, архиепископу, принес, а архиепископ, приняв ту книгу, говорил: «Бог-де весть, правда ль то письмо».

Мало трех пыток! Повели к четвертой...

Записано:

«Артемошка с четвертой пытки говорил:

— В тех воровских письмах советников нас было трое: Гришка Талицкой, я, Артемошка, и Ивашка-иконник, и те письма толковали мы вместе, а пуще у нас в том деле, в толковании, был Гришка Талицкой, и я, по тем его словам, в том ему верю...»

— Веришь!— даже вскрикнул Ромодановский.— Веришь, что великий государь, царь Петр Алексеевич всея Русии антихрист! Веришь!

— Верю: антихрист.

Ромодановский вышел из застенка в приказ, просмотрел допросы других привлеченных к делу и снова вернулся в застенок.

Пытаемый продолжал висеть на дыбе с вывихнутыми руками.

— Кто был твоим духовным отцом?—спросил князь-кесарь.

— Варламьевской церкви поп Лука,—был ответ.

— И он ведал про твое воровство?

— Ведал... на духу я ему про антихриста исповедовал.

— И что же он?

— Он сказал: времена-де и лета положил Бог своею властию и тебе-де и Гришке про те лета почему знать?

— А ты ему что ж на то?

— Времена и лета, говорю, исчислены в книгах.

— В каких?

— В «Апокалипсисе», у Ефрема Сирина, и Талицкий все сие на свет вывел.

XII

В дело об антихристе, кроме тамбовского архиепископа (или епископа) Игнатия, была замешана еще одна видная, по своему общественному положению, родовитая личность.

Это «боярин, князь Иван, княж Иванов сын, Хованской», как он записан в деле об антихристе.

Князь Иван Хованский, знаменитый «Тараруй», кровавым метеором пронесся над Москвою во время малолетства будущего творца новой России, стоя во главе стрелецких смут. Стрельцы намеревались даже возвести его на престол!

Голову этого Хованского, которая мечтала о царском венце, в последний раз Москва видела на плахе, откуда она скатилась на помост эшафота...

Теперь сын этого Хованского сидел в отдельном каземате Преображенского приказа, ожидая своей очереди.

Сидя в одиночном заключении, он невольно вспомнил страшные картины, которых он был зрителем.

Он видел, как подвезли отца к царскому дворцу села Воздвиженского. Несчастный претендент на царский венец был связан. В воротах показались сановники и уселись на скамьях... Шакловитый читает обвинение. Обви-

няемый что-то говорит... Но ему не дают оправдаться... Стрелец стремянного полка на полуслове отрубает ему голову... За головою отца падает под топором и голова брата...

Вспоминается узнику еще более страшная, потрясающая картина... По Москве двигается похоронная, невиданная процессия... На санях-розвальнях, в которых вывозят из Москвы снег и сор, стоит гроб, и гроб волокут свиньи, запряженные цугом в мочальную сбрую, с бубенчиками на шеях и в черных попонах с нашитыми на них белыми «адамовыми головами»... Около свиней идут конюхи, в «харях»... Свиньи визжат и мечутся, и конюхи их бьют...

Это везли в Преображенское вырытый из могилы гроб Милославского...

Впереди процессии и рядом с свиньями в черных попонах идут факельщики с зажженными просмоленными шестами, а вместо попов палачи с секирами на плечах... Тут и скороходы, наряженные чертями, рога у них и хвосты, и черти погоняют визжащих свиней, а другие пляшут вокруг гроба... Вместо погребального перезвона «на вынос» черти колотят в разбитые чугунные котлы... Ко гробу, во время остановок, вместо совершения литии, подходил сам Асмодей с кошельком Иуды в руках, позвякивая «тридесятью сребрениками» и колотя по крышке гроба жезлом с главою змия, соблазнившего Еву в раю...

Процессия приближается к Преображенскому, где уже возвышается плаха... Несколько в стороне от эшафота высится на коне великан... Это он сам... Около него Меншиков, Голицын Борис, Ромодановский, Лефорт, Шеин...

Гроб подкатывают под навес эшафота, и палачи топорами отдирают крышку от гроба... Оттуда выглядывает ужасное лицо мертвеца... К гробу подходит Цыклер, за ним — седой как лунь Соковнин, тоже друзья его отца...

Дьяк что-то читает... Мало что слышно... Кругом оцепенелая от ужаса толпа...

— Вершить!..— прорезывает воздух голос самого...

Палачи подходят к Цыклеру, но он тихо отталкивает их и сам всходит на эшафот.

— Православные!— кричит он.— Рассудите меня...

Но дробь барабана заглушает его слова...

— Вершить!..— пересиливая грохот барабана, как удар кнута, потрясает воздух опять его голос...

Палачи бросили осужденного на плаху...

— Верши! — его страшный голос...

В воздухе сверкает топор, и голова Цыклера, страшно поводя глазами, скатывается прямо в гроб Милославского...

На эшафоте и Соковнин...

— Верши!

Опять топор... опять кровь...

Все это вспоминается теперь Хованскому в его одиночном заключении...

— Господи! Камо бегу от лица его,— стонет несчастный.— Аще возьму криле мои рано и вселюся в последних моря, и тамо бо рука его сыщет мя.

Он поднялся с рогожки и подошел к тюремному окну, переплетенному железом. За окном сидел воробей и беззаботно чирикал.

— Это душа отца моего, посетившая узника в заточении,— шепчут его губы.

Под окном прошел часовой, и испуганная птичка улетела. Узник стал на колени и поднял молитвенно руки к окну, в которое глядел кусок тусклого ноябрьского неба:

— Боже мой! Боже мой! Вскую мя еси оставил!

Под окном прокричал петух.

— И се петел возгласи,— бессознательно шептали губы.

Взвизгнул ключ в ржавом замке, и тюремная дверь, визжа на петлях, растворилась. Это пришел пристав вести узника к допросу.

Едва он вошел в приказную комнату, как дьяк, по знаку князь-кесаря, развернул допросные столбцы и стал читать:

— «На тебя, боярин князь Иван, княж Иванов сын Хованский, Гришка Талицкий показал: на Троицком подворье, что в Кремле, говорил ты, боярин, Гришке: бороды-де бреют, как-де у меня бороду выбреют, что мне делать? И он-де, Гришка, тебе, князь Ивану, молвил: как-де ты знаешь, так и делай».

— Подлинно на тебя показал Гришка? — спросил уже Ромодановский.— Не отрицаешь сего?

— Подлинно... не отрицаю,— покорно отвечал князь.

— Чти дале,— кинул Ромодановский дьяку.

— «Да после-де того,— читал дьяк,— он же, Гришка, был у тебя, князь Ивана, в дому, и ты-де, князь Иван, говорил ему, Гришке: Бог-де дал было мне мученический венец, да я потерял: имали-де меня в Преображен-

ское, и на генеральном дворе Микита Зотов ставил меня в митрополиты, и дали-де мне для отречения столбец, и по тому-де письму я отрицался, а во отречении спрашивали, вместе веруешь ли, пьешь ли? И тем-де своим отречением я себя и пуще бороды погубил, что не спорил, и лучше б де было мне мучения венец принять, нежели было такое отречение чинить»[1].

— Говорил ты таковые слова? — спросил князь-кесарь.

— Говорил, — не запирался и тут Хованский.

— И все это из-за бороды?

— Из-за бороды и из-за кощунства его, Микиты Зотова: «пьешь ли» вместо «веруешь ли».

— Да сей чин ставления сочинил сам великий государь, и за те слова твои ты учинился перед великим государем виноват.

— Те слова я Гришке говорил для того, что он меня словами своими обольстил, — растерянно оправдывался Хованский.

Ничто не помогло.

— Приходится и сего допросить «с подъему», — кивнул Ромодановский дьяку.

«С подъему», «с подвесу» — это значило: поднять на дыбу и подвесить.

XIII

Едва Ромодановский воротился из приказа к себе, как ему доложили, что его желает видеть «государев денщик».

— Проси, проси.

Князь-кесарь давно не имел вестей от царя и потому интересовался узнать о ходе дел на войне.

Денщик государев вошел.

Это был Орлов Иван, атлет и красавец. Что был он атлет и силач, это знала и испытала знаменитая царская

---

[1] Это место в розыскном деле о Талицком не совсем понятно. Вероятно, знаменитый старик Никита Моисеевич Зотов, приближенное лицо к царю и носившее сан «патриарха всепьянейшего и всешутейшего собора», ввиду раскольничьих убеждений князя Хованского, «шутейно», в качестве шутовского патриарха, возводил Хованского в чин шутовского митрополита и велел ему совершить от чего-то отречение. Тот и прочел отреченный «столбец». А затем Зотов и спрашивал его по сочиненному самим царем чину посвящения в члены «всепьянейшего и всешутейшего собора».

дубинка, которая не раз прохаживалась по несокрушимой спине Орлова, как по деревянному брусу, не вредя ему. А красоту его хорошо ценили молоденькие «дворские девки», как тогда называли фрейлин. Не у одной из них глаза и сердце рвались за богатырем «Иванушкой», а нередко хорошенькие глазки и подушки по ночам обливали «горючими слезами» по «изменщике». А одну из них, прелестную Марьюшку Гамонтову, или фрейлину Гамильтон, красота «дворского сердцееда» довела впоследствии до эшафота, когда гнусный поступок Орлова довел бедную девушку, любимицу самого царя, до того, что она, желая скрыть свой девичий стыд, вынуждена была прибегнуть к преступлению...

Громкая и страшная история о найденном тогда в Летнем саду, «на огороде», мертвом ребенке, завернутом в салфетку с царской меткой, которого подняли у фонтана, и о публичной казни на эшафоте, в присутствии царя, красавицы Гамильтон, отрубленную головку которой царь поцеловал перед всем народом,— эта история слишком хорошо известна всем.

— Откелева Бог принес, Иванушка?— спросил Ромодановский.

— Из-под самой Нарвы.

— Из-под Ругодева?— поправил князь-кесарь.

— Точно так, из-под Ругодева,— поправился и Орлов.

Нарву в то время русские больше называли Ругодевом.

— В своем ли здравии обретается великий государь?

— Государь Божиею милостию здравствует.

— А дубинка ево стоеросовая гуляет?

— Неустанно.

— И по тебе гуляла небось?

— Гуляла онамедни.

— А за что?

— За государев же грех.

— Как?

— Да рубил он себе онамедни хижу, домишко: морозы-де наступают, так в палатке нетопленной зябко:

— Сам рубил?

— Сам, грелся. И стало ему от топора-то жарко. Он и сыми с себя кафтан да и дал мне подержать. В те поры один свейский немец, перебежчик, принес ему выкраденный план Ругодева. Государь мельком взглянул на него и отдал мне. Положи, говорит, в карман моего камзола,

ночью-де, говорит, рассмотрю план. Я и положил в карман... А ночью все и стряслось... Не приведи Бог что было!

— Ну?— Глаза у князя-кесаря разгорелись.

— Ночью я просыпаюсь от страшного гласа государева... Я вбегаю к нему... «Где план?»— изволит неистово кричать. «В кармане твоего камзола, государь»,— говорю... «Нет его там!— кричит.— Украли, продали — меня продали! Ты недоглядел!..» Да за дубинку и ну лущить, ну лущить!.. Хоша и у меня спина стоеросовая, как и ево палица-дубинка, одначе стало невтерпеж — сталь и то гнется...

Глаза у Ромодановского все больше разгорались восторгом.

— Ну? Ну?

— Да что ж! План-ат нашелся.

— Где? Как?

— У государя ж в камзоле... Карман сбоку по шву разошелся, план и завалился за подкладку.

— Ха-ха-ха! Ха-ха-ха!— радостно залился князь-кесарь.

— Да, смейся, князь... Я ж оказался виноват: зачем, говорит, ты не починил камзола? А как ево починишь? Ину пору кричит: не смей по карманам лазить!

Ромодановский раскатывался и за бока брался, точно Орлов принес ему величайшую неожиданную радость.

Нахохотавшись вдоволь, князь-кесарь перешел к делу.

— Зачем же государь прислал тебя ко мне?— спросил он, вдруг став серьезно-деловым царедворцем.

— И к тебе, государь князь, и к другим милостивцам,— отвечал Орлов.

— А ко мне-ту с чем именно?

— По воровскому делу об антихристе.

— Сие дело у меня зело знатно налажено: все мыши в моей мышеловке... Ноне князя Хованского щунял, да еще малость придется, и тогда с тобой к государю выметку из дела пошлю.

— Буду ждать,— сказал Орлов.— Да надоть завернуть мне в Немецкую слободку.

— К зазнобушке государевой?

— К ей, к Аннушке Монцовой... Соскучился по ей государь.

— Али к войску хочет взять?

— Нет... по вестям от нее заскучал.

— Не диво... Молодой еще человек, в силе...

— Да еще в какой!— вспомнил Орлов цареву дубинку.

— А!— засмеялся опять князь-кесарь.— Ты про свою спину?

— Не про чужую, батюшка князь.

— То-то я говорю: человек в силе, в полном соку, а жены нету... Ни то он вдов, ни то холост... Жена не жена, а инокиня... Вот тут и живи всухомятку... А Аннушка — девка ласкательная... Ну, а как дела под Ругодевом?

— Копаем укрепу себе, откудова б добывать город... А государь ходит заряжен нетерпением, море ему подай!

— Что так?

— Море видел... Сам с Данилычем да Павлушей Ягужинским изволил ездить к морю. Оттеда воротился, во — каки глаза! Распалило его море-то.

— Охоч до моря, точно,— согласился Ромодановский.— А сам не командует?

— Нету: войска сдал этому немцу, фон Круцу, а сам только глазами командует.

— А князь Трубецкой Иван Юрьевич что?

— Своею частью правит.

— А мы тут без него Аркашу его окрутили с Оксиньей Головкиной.

— Дошла ведомость о том и к нам.

— То-то дошла... А небось не дошло, что мы их окрутили по старине.

— Ну, за это государь не похвалит.

— Так приказала старая бабка, а она, что твой протопоп Аввакум, все: так угодно-де Владычице Небесной, Ее воля... Точно она у Богородицы сбитень пила.

Когда Орлов стал прощаться, чтобы ехать в Немецкую слободку к Анне Монс, Ромодановский спросил:

— А когда к государю отъезжаешь?

— Непомедлительно: денька через два, как с делом управлюсь,— отвечал Орлов.

— Добро... К тому времю я успею передопросить князя Ивана «Тараруевича» и выметку из дела государю изготовлю. Так я жду тебя,— сказал на прощанье князь-кесарь.

— Буду неупустительно,— сказал Орлов.

— Ах, да!— спохватился князь-кесарь.— Я приготовил для государя такой анисовки, какой и премудрый Соломон не пивал.

— Это, чаю, государю любо будет: зело охоч до анисовки.

— Так заезжай.
— Заеду неупустительно.

XIV

Князь Ромодановский видел, что надо было торопиться с розыском по делу об антихристе. Дело бессмысленное! Но оно касалось имени государя. В темном народе и в невежественном духовенстве бродило глухое недовольство: народ удручали усиленные рекрутские наборы, купечество — особый налог на бороды, которые дозволялось носить только тем, которые, уплатив особую пошлину за позволение не брить «честной брады», получали из казны особый металлический знак или медаль, на которой вычеканена была борода с надписью: «Деньги за бороду взяты». Раскольники уходили в леса, в скиты и «сожигали» себя иногда целыми массами. Невежественное духовенство роптало на «новшества», видело посягательство на религию и на церковь.

И вдруг в народ хотят бросить страшное слово: государь — антихрист!.. Надо немедленно затушить страшную искру, пока еще тлевшую под землею, в казематах и в застенке Преображенского приказа... А если эту искру в виде пока невидимой головни уже перебросило в сухую солому, в хворост, легко воспламеняющийся — в народ?..

Надо, надо спешить! Затоптать искру!

На другой же день князь Ромодановский приступил к передопросам.

Надо было свести на очную ставку Талицкого, этого «злу заводчика» с князем Хованским.

— Это семя Милославского, стрелецкая отрыжка!— говорил государь, отъезжая с войском под Нарву.

Привели в приказ Талицкого.

— Говорил тебе князь Хованский Иван: Бог-де дал было мне мученический венец, да я-де потерял его?— спросил князь-кесарь.

— Говорил подлинно,— отвечал таким тоном Талицкий, точно ему было все равно.

Да это и правда: он уже видел вблизи свою смерть, так ему было все равно... Сорвалось! Не подняться ему и его делу! А как, казалось, широко и глубоко было оно задумано!.. Он чаял-видел себя спасителем народа... Народ, облагодетельствованный им, воскликнет: на руках возьмут тя, да не преткнеши о камень ногу твоею...

И вот впереди Аввакумов престол, костер да венец ангельский...

— И то Хованской говорил после первого взятья ево в Преображенское по выпуске из оного? — продолжал Ромодановский.

— По выпуске, у себя на дому.

— А касательно ставленья ево Микитою Зотовым в митрополиты?

— Князь Иван, будучи спрошен на ставленье: «пъешь ли?» заместо «веришь ли?», уразумел, что то творил Микита Зотов надругательство и кощунство над освященным собором... То Зотов изблевал хулу на святую православную Церковь.

Князь Ромодановский сам очень хорошо понимал, что сочиненный самим царем устав «всепьянейшего и всешутейшего собора» и чин ставления в «шутейшие патриархи» и в такие же митрополиты не что иное, как насмешка над идеею патриаршества в России, которое Петр и похоронил со смертию последнего на Руси патриарха Адриана. Князь-кесарь отлично понимал, что, с точки зрения религии, это — кощунство и надругательство над церковною обрядностью, как смотрел на это и допрашиваемый и пытаемый им в застенке книгописец Талицкий; но Ромодановский также не мог не сознавать, что гениальный преобразователь России кощунствовал не для кощунства, не для забавы, а ради высших государственных интересов; князь Ромодановский видел, что царь прибегал к этим крутым и даже рискованным мерам для того, чтоб умалить влияние невежественного духовенства на темные массы. Что могло быть гибельнее для государства внушения народу каким-то «книгописцем», да не только народу, но и епископам и архиепископам, что в России глава государства, помазанник — сам антихрист!.. И вот тот, кого называют антихристом, отвечает своим клеветникам, сочинив знаменитые «пении» и «кануны», распевающиеся на этих соборах, хотя бы «Канун Бахусов и Венерин», такого содержания:

Бахусе, пьянейший главоболения,
Бахусе, мерзейший рукотрясения,
Бахусе, пьяным радование,
Бахусе, неистовым пляс велий,
Бахусе, блудницам ликование,
Бахусе, хребтом вихляние,
Бахусе, ногам подъятие,
Бахусе, ледвиям поругание,
Бахусе, верним тошнота,

Бахусе портов пропитие,
Бахусе пьянейший, моли Венеру о нас!

Князь Ромодановский продолжал допрашивать Талицкого:

— «И тем-де своим отречением я себя и пуще бороды погубил, что не спорил, и лучше б де было мне мучения венец принять, нежели было такое отречение чинить...»— Эти ли слова говорил князь Иван?

— Подлинно сии слова,— апатично отвечал Талицкий.

По знаку князя-кесаря ввели Хованского для очной ставки.

— Вычти последние Гришкины расспросные речи,— сказал дьяку Ромодановский.

Тот «вычел».

— Твои это речи?— спросил князь-кесарь Хованского.

— Не мои... То поклеп Гришкин,— отвечал последний,— не мои то слова.

Напрасное упорство! И Талицкого и Хованского повели в застенок.

Подняли на дыбу последнего.

В застенке на очной ставке и с подъему князь Иван говорил:

«Теми словами Гришка поклепал на меня за то: говорил мне Гришка о дьяконе, который жил в селе Горах, чтобы его поставить в мою вотчину, в село Ильинское, в попы, и я ему в этом отказал... А что я сперва в расспросе против тех Гришкиных слов винился, и то сказал на себя напрасно, второпях».

Чуть живого сняли Хованского «с подъему».

Вместо него подвесили Талицкого.

— О том диаконе, чтобы ему быть в вотчине князя Ивана в селе Ильинском, в попах, я говорил, и князь Иван его не принял.

После обморока, вспрыснутый водою, Талицкий продолжал:

— А вышесказанными словами я на князя Ивана за того диакона не клепал, а говорил на него то, что от него слышал...

Когда на другой день, утром, вошли в каземат князя Хованского, то нашли его уже мертвым.

XV

Наступило 17 ноября 1700 года. В русском лагере под Нарвой заметно особенное движение. Между солдатами из уст в уста передается тревожное известие.

— Сам Карла прет к Ругодеву на выручку.

— Видимо-невидимо их валит, наши сказывали.

— Стена стеной, слышь.

— Не диво, братцы, что наш набольший, Шереметев Борис, лататы задал.

Действительно, в этот день боярин Борис Петрович Шереметев, посланный с частью войска к Везенбергу, поспешно воротился под Нарву и известил, что сам король спешит с войском на выручку своего города, защищаемого небольшим гарнизоном под начальством коменданта Горна.

Тогда русские тотчас приступили к усиленной канонаде Нарвы.

Но что могла сделать даже усиленная канонада из плохих орудий? Ведь бомбардирование длилось уже почти целый месяц — с 20 октября, а осада не подвинулась ни на шаг. Наши пушки напрасно тратили заряды. Пожар хотя и вспыхивал в городе, но его тушили, а стены стояли нетронутыми.

В ту же ночь царь покинул войско. Для чего? Чтобы не мешать распоряжениям опытного вождя фон Круи? Или спешить за сбором нового войска?

Но как бы то ни было, уход Петра из-под Нарвы удручающе подействовал на русское войско, и без того не доверявшее военачальникам-немцам. Говорили даже, втихомолку, будто бы государь бежал.

— Сказывают, убег государь-ат.

— Ври больше! Не такой он, батюшка, чтоб бегал от деток своих.

— И впрямь не такой: вон под Азовом-ту словно стяг воинский маячил перед нами, за версту его видно было.

— Точно: когда эти хохлатые черти, черкасы, добывали вежу, дак батюшка царь с ними на вежу кинулся было, да только сами черкасы не пустили его.

— Знамо, оберегаючи его царское пресветлое величество.

— А то «убег»! Ишь, како слово ляпнул!

— А что... Сказывали другие-прочие...

— Слякоть болтает, новобранцы, а ты и слухачи развесил.

Однако сомнение закрадывалось в душу каждого, и воодушевление падало в рядах русских. И лица офицеров, казалось, выдавали общую тревогу.

И неудивительно: войско поневоле чувствовало себя как бы покинутым. Присутствие царя являлось большою силою для армии.

Так прошел весь день 18 ноября. Нарва не сдавалась, хотя пожары в ней от русских брандкугелей не прекращались.

19 ноября шведы сделали стремительное нападение на русский лагерь, который ослаблен был тем, что его растянули на семь верст.

Юному шведскому королю военный гений подсказал воспользоваться союзом природы, союзом стихийных сил. Шел сильный, косой от ветра, снег. Карл так расположил ряды своего, ничтожного сравнительно с русским, войска, не достигавшего 2000, тогда как у нас было 35 000, расположил так, что снег гнал его солдат в тыл, а русским буквально залеплял глаза.

Отчаянный потомок Гаральда, этот последний «варяг», ураганом, вместе с снежною вьюгой, ворвался в русский укрепленный лагерь.

Русские с ужасом видели, что какой-то великан, весь облепленный снегом, сорвал с лафета одно полевое орудие, сделав этим бревном-пушкой целую улицу из мертвых тел, точно так, как делал когда-то сказочный Васька Буслаев.

Это был поразительный силач Гинтерсфельд, любимец Карла. Чтобы судить о его силе, напомним два случая из его жизни. Однажды в Стокгольме, въезжая вместе с другими всадниками в каменные сводные ворота замка, Гинтерсфельд схватился рукою за железное кольцо, вбитое в свод, и, сжав ногами бока своего коня, приподнял его вместе с собою, словно бы это была игрушечная деревянная лошадка.

В другой раз, накануне уже битвы под Нарвой, он, будучи часовым у палатки короля, ночью несколько отошел от своего поста поболтать с приятелем, а ружье прислонил к палатке, что ли. Вдруг он, к ужасу своему, заметил, что король лично проверяет бдительность часовых, и очутился около палатки. От неожиданности и с испугу Гинтерсфельд так растерялся, что забыл даже, где поставил свое ружье, и, моментально схватив с лафета пушку, отдал ею честь королю! Пушкой на караул!

При виде такого чудовища, швыряющего осад-

ными орудиями, как поленьями, русские пришли в ужас.

— Батюшки! Пушками лукается!

— Нечистая сила!

— С нами крест!.. Свят, свят!

Ряды наших дрогнули. К несчастью, тут находился и боярин Шереметев. Услыхав о нечистой силе, он, полный суеверия сын своего века, первым обратился в бегство, крестясь и творя молитвы. За ним ринулись ближайшие части войск.

Произошло смятение по всей линии, и паника охватила весь лагерь.

— Спасайтесь, православные!— крикнул кто-то.

Все бросились к мосту, перекинутому через Нарову. Лагерь, орудия, военные запасы, провиант, палатки, обоз — все брошено. На мосту ужасающая давка. Кто падал, того свои давили ногами. Офицеры смешались с солдатами, конные с пешими.

И вдруг рухнул мост. Безумные, нечеловеческие крики потрясли воздух.

Живые и мертвые запрудили Нарову, так что вода вышла из берегов, поглощая и унося живых и мертвых к морю — к тому морю, которое еще так недавно возбуждало великие, гордые думы в царственной голове того, которого постигло теперь первое великое несчастие...

Упавшие в воду, спасая себя, топили и душили других в последних предсмертных объятиях. Ржание лошадей, тоже тонувших с всадниками или топивших их в борьбе с волнами Наровы, дополняло всеобщий ужас.

А шведы были беспощадны. Одних убивали, других сталкивали с обрывистого берега в бушующие волны, третьих захватывали в плен и, лишая оружия, гнали назад, как стада баранов.

Трубецкой, князь Иван Юрьевич, отец княжича Аркадия и тесть Ксении, князь Яков Долгорукий, Автаном Михайлович Головин и имеретинский царевич Александр отдались неприятелю, выговорив себе свободный выход на Русь.

А снежный ураган продолжал свирепствовать. Казалось, что настал конец света и небесные силы отвернулись от побежденных.

В этом хаосе преображенский богатырь Лабарь, тот самый силач Теренька, над простотой которого потеша-

лись товарищи, что будто бы — «задумал Теренька жаницца» — этот Теренька, колотивший кулаками направо и налево, словно гирями, вдруг нечаянно наскочил на великана Гинтерсфельда, стоявшего на своем коне недалеко от самого короля, у ног которого русские военачальники складывали свое оружие. Лобарь узнал шведского богатыря...

— А, чертов сын! — закричал он. — Ты пушками лукаться! Вот же тебе, н-на!

И он, нагнув свою несокрушимую, точно из чугуна вылитую голову, ринулся вперед подобно стенобитному тарану.

...Карл пришел в величайшее недоумение. Его богатыря, его непобедимого Гинтерсфельда вместе с конем какое-то рассвирепевшее чудовище опрокинуло словно ударом молнии!

Шведский богатырь, сброшенный падением лошади с седла, с обнаженным палашом кинулся на своего противника. За ним и другие шведы устремились с саблями наголо на безоружного русского вепря.

— Vade! Vade! Ни шагу! — крикнул король.

Русские вожди, слагавшие оружие перед Карлом, узнали своего вепря. Он стоял, тяжело дыша, готовый снова ринуться на всех: все равно пропадать!

Но шведский король приказал пощадить «чудовище Русской земли» — из любопытства.

Несчастный для России кровавый день 19 ноября 1700 года наконец кончился с закатом на прояснившемся западе багрового солнца.

А трупы русских бурная Нарова продолжала нести в «чужое море»...

XVI

Поражение русских под Нарвой совершилось главным образом по вине их военачальников.

Первым обратился в постыдное бегство боярин Шереметев.

Главнокомандующий и его свита, то есть герцог фон Круи и его штаб с прочими иноземцами, сами побежали в объятия шведов и сдались. Около восьмидесяти офицеров русской службы взяты военнопленными и отправлены за море, в Швецию.

Одни преображенцы и семеновцы с генералом Адамом Вейде держались стойко, но и их поколебала паника

остального войска, и они, наполовину перебитые, положили оружие. До шести тысяч русских погибло на пути к Новгороду из числа тех, которым удалось перебраться через Нарову: они погибли от голоду и холоду.

Где же в эти несчастные для России дни находился ее вождь, ее державный начальник?

Петр покинул осаждаемую его войском Нарву в ночь на 18 ноября и вместе с неразлучными денщиками своими, Орловым и Ягужинским, поспешил в Новгород для подготовления возможно широких и верных средств к успешному продолжению неизбежной борьбы с сильным врагом.

Нужно было поторопить усиленным набором ратников, укрепить пограничные, важные в стратегическом отношении пункты, как Новгород и Псков, а главное, создать артиллерию, которая стояла бы на высоте своего назначения. Под Азовом и теперь под Нарвой Петр лично убедился, как жалки были в деле орудия его войска. Русские пушки могли пробивать бреши только в деревянных частоколах, а перед каменными стенами они были бессильны: от стен Нарвы русские ядра отскакивали как горох... Позор! Это царь видел и негодовал — негодованием сгоняя краску стыда со своих щек... Позор!

Из Новгорода царь немедленно разослал указы собирать к весне новое войско со всех концов России и к весне приготовить его к военным действиям.

— За медлительность и нерадение — виселица!— велел он объявить гонцам, посылаемым с указами.

В Новгород же он вызвал думного дьяка Виниуса, энергия и расторопность которого были ему известны.

— Высылай непомедлительно на работу поголовно все население Новгородской и Псковской земель: солдат, крестьян, попов, причетников, баб! — сказал он Виниусу.— Ныне земле Русской, ее городам и храмам Божиим грозит нашествие иноплеменников, то я повелеваю духовенству закрыть на время церкви, прекратить служение в оных и отдать все свое время и рачение укреплению Новгорода и Пскова... Понял?

— Понимаю, государь,— отвечал Виниус.

— Землекопов, каменщиков пригнать со всей земли, слышишь?

— Слушаю, государь.

— А ты сам неукоснительно приступи к литью мед-

ных пушек нового образца... Чертежи я тебе дам.

— Медные, государь! А где взять меди?

— У меня меди с серебром хватит на триста пушек.

— А где эта медь, осмелюсь спросить, государь?

— В церквах, в монастырях, по колокольням!

— Как, государь, колокола?..

— Да, колокола! Оставь им по малому колокольцу, и того довольно, а все остальные, большие и малые, на пушки!.. Всевышний не нуждается в их трезвоне: Он Божественным слухом своим слышит вздох души, биение сердца, рост травы!.. На что Ему колокола!.. В них ты найдешь преотменную медь, о какой и не помышляет мой заносчивый брат Карл, медь с примесью знатной доли серебра, и пусть сия медь кричит и глаголет во славу Всевышнего Бога и для благоденствия России!

— Слушаю, великий государь!

— Монахов и черниц, сих дармоедов, попов, дьяконов и причетников заставить молиться святою молитвою — работою во славу Святой Руси, а не поклонами, в коих Вседержитель не нуждается... Ты читал когда-либо пророка Исаию? — вдруг оборвал он себя, остановившись перед изумленным Виниусом.

— Читал, государь...— недоумевал последний.

— Читал? Так помнишь, что говорит Вседержитель всем попам и архиереям устами пророка?

— Не памятую, государь... Библия так пространна...

— А я помню. «Что Ми множество жертв ваших? — говорит Вседержитель попам и архиереям.— Исполнен есмь всесожжений овних и тука агнцев и крови юнцов, и козлов не хощу... кадило мерзости Ми есть...» Слышишь?

— Слышу, государь.

— «Кадило мерзости Ми есть»,— глаголет Адонай Господь; а попы только и знают, что кадят...

— Точно... только кадят, государь.

— А Бог говорит дальше попам: «Новомесячий ваших и суббот, и дне великого не потерплю, поста и праздности, и новомесячий ваших, и праздников ваших ненавидит душа Моя...»[1] Вот что Он говорит.

Винису, изумленному, даже испуганному, казалось, что сам пророк гремит над ним.

— Так лопаты, заступы, кирки, топоры им в руки, а не кадила!.. И посты и праздники ненавидит душа

[1] Пр. Исаии. I, 11—15.

Его, ненавидит!.. А кадила их — мерзость для Него!

Вдруг он оглянулся, услышав, что кто-то сморкается в углу. Там стояли Орлов и Ягужинский, и последний торопливо утирал слезы.

— Ты о чем это?— спросил царь.

Павлуша потупился и конфузливо молчал.

— О чем, спрашиваю, или кто тебя обидел?

— Государь... я... я,— лепетал Павлуша,— я... от изумления...

— Какого изумления?

— От зависти, государь!— выпалил Орлов и засмеялся.— Если б, говорит, я все так знал и помнил...

— Это похвальная зависть,— серьезно сказал государь.— И я от зависти чуть не плакал, взирая на все то, что я видел у иноземцев и чего у нас нет.

— Да он, государь, всему завидует...— продолжал улыбаться Орлов.

— А ты, чаю, завидуешь токмо красивым дворским девкам, бабник.

И государь снова обратился к Виниусу.

— Будучи под Ругодевом, я оттедова к морю ездил,— сказал он, и глаза его вновь загорелись вдохновенным огнем.— Сколько там простору и утехи для глаз! Вот коли ты мне к разливу реки изготовишь пушек добрых ста три, то мы с Божьей помощью и до моря променад учиним.

— Пошли-то, Господи,— поклонился Виниус.

— Так долой с колоколен колокола, и переливай в пушки! А я рала все перекую в оружие, дабы возвысить Россию... А после и рала вновь заведем, и пахать станем.

— Аминь!— взволнованно проговорил Виниус.

XVII

Время шло, а вестей из-под Нарвы к царю все еще не было. Ни один гонец не пригнал в Новгород.

Прошло и 18, и 19 ноября, а вестей нет. Уже на исходе и день 20-го, а все никого нет от войска.

Чего ждут эти увальни, Головин, Трубецкой, Борька Шереметев? Да и немчура этот, «фон Крой», должен знать воинские порядки. Как третий день не доносить царю, что у них тама творится?

— Иван! Снаряжайся и в ночь гони под Нарву.

— Слушаю, государь... Живой рукой привезу вести... Ничего особого не изволишь приказать, государь?

— Нет... Надоть допрежь того узнать, что там...

Через несколько минут Орлов уже мчался ямским трактом к выходу Наровы из Чудского озера.

Петр тревожно провел остаток дня 20 ноября и ночь на 21-е.

Рано же утром он вместе с Виниусом и Ягужинским отправился на работы по укреплению города.

На дороге им встретился странного вида старик, почти в лохмотьях, но в собольей шапке. Он стоял посередине улицы и, притоптывая ногами, пел старческим баском, задрав голову кверху:

А бу-бу-бу-бу-бу.
Сидит ворон на дубу,
Он играет во трубу,
Труба точеная,
Позолоченная.

— Скорей, скорей летите, а то немецкие вороны да собаки все поедят и кровушку всю вылакают,— выкрикивал он, махая руками.

Этот старик обращался к летевшим по небу стаям птиц. То были целые тучи воронья.

Это заметил и царь с своими двумя спутниками.

— Куда это летит столько птицы?— дивился государь.— И все на северо-запад.

— Лети, лети, Божья птичка!— продолжал странный старик.— Боженька припас тебе там много, много ествы, человечинки.

— Я догадываюсь, государь, что сие означает,— с тревогой сказал Виниус,— птица сия чуткая... Она учуяла там корм себе... Битва была кровавая, птица проведала о том Божьим промыслом...

Слова Виниуса встревожили царя.

— Ты прав,— задумчиво проговорил он,— птица чует... Бой был, в том нет сумления... А был бой, и трупы есть... Но чьих больше?

— Будем надеяться,— нерешительно сказал Виниус,— Божиею милостью и твоим государевым счастьем...

— Но почему вестей доселе нет? Ни единого гонца!

Уже издали доносился голос странного старика:

А бу-бу-бу-бу-бу,
Сидит ворон на дубу,
Он играет во трубу...

— Киш-киш, вороны! Киш-киш, черные!

Около стен ближнего монастыря копошились, словно муравьи, какие-то черные люди. То были монахи и монастырские служки. Они укрепляли обветшалые стены. За работами наблюдал сам престарелый игумен.

Старый инок нет-нет да и поглядывал на небо, качая головой в клобуке.

Увидев царя, он издали осенил его крестным знамением.

— Дело государское блюдешь, отче?—спросил царь, подходя.

— Блюду, с Божьей помощью, великий государь,— отвечал старец и взглянул на небо.

Птица продолжала лететь на северо-запад, перекликаясь гортанным карканьем.

— Удивляет тебя птица?—спросил Петр.

— Смущает, государь... Враны сии смущают... К кровопролитью сие знамение.

— Сколько у тебя колоколов в монастыре?—спросил Петр.

— Колоколов, государь, нечего Бога гневить, достаточно.

— Так я велю перелить их в пушки,—сказал царь.

Старый инок, казалось, не понял государя. Виниус не успел еще сообщить ему волю царя относительно церковных колоколов.

— Все колокола велю перелить в пушки,— повторил государь,— понеже приспе час, когда пушки стали для святых церквей надобнее колоколов.

Игумен онемел от изумления и страха...

«Последние времена пришли,— зароилось в его старой голове,— храмы Божьи лишить благовествования... глагола небесного...»

— Так ты, отче, распорядись приготовить все потребное для спуска колоколов на землю,— сказал Петр, проходя дальше,— слышишь?

— Воля царева,— уныло проговорил старик.

Он долго потом с ужасом смотрел на удалявшуюся исполинскую фигуру государя, опиравшегося на свою дубинку.

— Времена и лета положил Бог своею властию,— покорно пробормотал старец, подняв молитвенно глаза к небу.

Он никак не мог опомниться от слов царя.

— Святые колокола на пушки!.. Остается ризы с чудотворных икон ободрать... О, Господи!

Старик подозвал к себе отца эконома.

— Ты слышал, что повелел царь? — шепотом спросил он.

— Ни, отче, за стуком не слыхал.

— Велит спущать с колоколен все колокола.

— На какую потребу, отче?

— Велю-де, сказывал, все колокола перелить на пушки.

Отец эконом не верил тому, что слышал.

— Сего не может быть! Обнажить храмы Божии от колоколов!.. Да это святотатство!

— Подлинно, страшное святотатство, какого не было на Руси, как и Русь почалась.

— Как же быть, владыко?

— Уж и не придумаю... Царь он над всею землей, и выше его один токмо Бог... К небу возопиет обида сия храмам Божиим... Тебе ведом, я чаю, его нрав жестокий: суздальского Покровского монастыря архимандрита и священников били кнутом в Преображенском приказе за то, что убоялись незаконного деяния — постричь насильно царицу Евдокию, жену его, голубицу невинную.

— Ох, слышал, слышал, владыко.

В это время из-за монастырской ограды послышался жалобный крик.

— Никак, этот голос отца казначея? — прислушивался старый игумен.

— Ево! Ево!..

— Царь бьет... Верно, согрубил ему отец казначей, строптивый инок.

— Бьет... бьет... Ох, Господи! И кричит: «Лентяи все, дармоеды! Я вас!»

— О, Господи!..

XVIII

Царь показывал Виниусу чертежи и описания новых пушек, когда на дворе послышалось какое-то движение.

— Гонец пригнал, — донеслось со двора.

Царь вскочил. В дверях стоял Орлов, страшный, исхудалый, весь в грязи, с искаженным лицом и трясущеюся челюстью.

Увидев царя, он крыжом упал к его ногам.

— Вели, государь, казнить гонца своего за недобрые вести! О! О! — стонал он.

Лицо Петра было страшно, оно все судорожно дергалось.

— Встань, Иван,— тихо, глухо сказал он.

— О, Господи! Не родиться бы мне на свет Божий!— стонал Орлов.

— Встань! Говори все,— приказал царь.— Я не баба, не сомлею.

Орлов приподнялся. Виниус так же дрожал. Ягужинский забился в угол и плакал.

— Сказывай! Я на все готов... я жив еще! А там посмотрим.

— Великая беда постигла твое войско, государь, под Нарвой,— начал Орлов, стараясь не сбиваться.— Уже в пути я повстречал боярина Бориса Петровича Шереметева... С им была махонькая горстка ратных людей, да и те с голоду и холоду мало не помирали наглою смертию.

— Для чего ж он гонца не прислал ко мне?

— Некого было, государь... Которые были с им конники, и те все в пути обезлошадели, все от бескормицы пали кони под ними.

— А фон Круи?..

— «Фон Крой», государь, и все его иноземцы, как только увидали беду, все до единого убегли к королю...

— Га!— вырвалось у великана — и больше ни слова.

— Вейде Адам, государь, с преображенцами да семеновцами еще держались, крепко бились, пяди земли не уступали...

— Молодцы!— лицо Петра просветлело.— Ну?..

— Да и те, государь, почти все полегли костьми за тебя, государь.

Петр перекрестился, грудь его вздымалась.

— А Трубецкой Иван, Долгорукой Яков, Головин Автаном?

— Все в полон попали, государь... Взят в полон и царевич имеретинский... Мост на Нарове, государь, подломился, и убечь не могли, а которые, може тысячами, в реке потонувши...

— Кто ж из полковников остался?

— Никого, государь, все офицеры взяты.

— А артиллерия?

— Вся, государь, досталась врагу.

Петр глянул на Виниуса. Того била лихорадка.

— Не дрожи, старик!— сказал ему царь.— У нас будет артиллерия, да не такая... А как же Шереметев уцелел?

— Он, государь, со своими полками отступил...

— Бежал Борька!

— Отступил, государь... помилуй... Отступил, чтоб спасти остатки... Опосля уж мост на Нарове подломился.

— А много у Бориса уцелело?

— Горсть одна, государь... В пути погибло тысяч до шести... Я видел, государь, по всей дороге встречаются мертвые кучами... с голоду и холоду... Птица и зверь ими кормятся... О, Господи! Таково страшно!

И Орлов, этот богатырь, заплакал.

— Вон куда птица летела,— глянул Петр на Виниуса.— Все?— спросил он Орлова уже спокойным голосом.

— Все, государь.

— Так поди подкрепись и отдохни.

Орлов пошел было к двери...

— Постой, Ваня, погоди малость,— остановил его Петр,— не слышно ли было тебе чего про короля? Собирается он на нас — или идет уже?

— Нету, государь... Которые наши из преображенцев убегли из полону на походе, те сказывали, что король, покинув Ругодев, поворотил с войском назад и, слышно, пошел против короля Августа.

Государь облегченно вздохнул.

— Так мы еще успеем приготовиться,— и он погрозил пальцем невидимому врагу.— Спасибо, Ваня, на твоих вестях... А теперь ступай отдохни.

Орлов ушел шатаясь.

Весть о нарвском погроме быстро облетела весь Новгород. О погроме узнали от ямщиков, ездивших с Орловым.

Хотя весть эта и поразила новгородцев, но они считали поражение под Нарвой явлением неизбежным, естественным. По мнению новгородцев, в особенности же новгородского духовенства и монашеского сословия, это была кара Божья, грозное предостережение свыше царю за его безбожные действия, за лишение храмов их священного достояния — колоколов, за прекращение богослужения в храмах и за обращение людей «ангельского чина», то есть монахов и монахинь, в чернорабочих, в поденщиков и поденщиц... Не то еще ожидает Россию за колокола!

По городу разнеслась весть страшная, неслыханная! О том, что «Богородица плачет»... Рассказывали, что отец казначей, которого царь накануне поучил своею

дубинкой, сам видел, молясь вечером у Святой Софии,— «своими глазыньками видел», передавали бабы, как с иконы Богородицы «в три ручья текли слезы».

— Так, мать моя, и льются, так и льются!

— А я, сестрички, ноне ночью, наведаючись до стельной коровушки, видела, как в трубу того дома, где остановился царь, огненный змий влетел... Вижу это я, летит он по небу, хвост так и пышет! У меня инда поджилки затряслись, и бежать не смогу...

— А ты б перекстилась, голубка.

— Кстилась, ягодка... А он, змий-ат, как глянет на меня, так еле-еле в коровник вползла... А он как зашумит, зашумит! Я — глядь, а он в трубу, инда искры полетели.

— То-то ноне у нас всю ноченьку собака выла,— воет, воет!

— Ох, последни, последни денечки подошли, милые мои, о-о-хо-хо!.. Прощай, белый свет!

Но нарвскому поражению положительно радовались попы и черная братия.

— Сказано бо в «Апокалипсисе»,— ораторствовал отец казначей, почесывая все еще болевшую от царевой дубинки спину: «И видех, и се конь бледь, и сидящий на нем, имя ему смерть, и ад идяше в следе его, и дана бысть ему область на четвертой части земли убити оружием и гладом, и смертию, и зверьми земными...»[1]

— И птицами небесными,— добавил отец эконом,— вон и ноне все еще летят туда птицы,— указал он на небо.

В это время за монастырской оградой послышалось:

А бу-бу-бу-бу-бу,
Сидит ворон на дубу,
Он играет во трубу...

— Вон и Панфилушка, человек Божий, про воронье поет,— пояснил отец эконом.

— А все-таки, отцы и братия, надоть сымать колокола,— сказал отец архимандрит.

Но едва услыхали об этом бабы, плач раздался по всему городу.

XIX

Мрачный сидит у себя князь-кесарь. Перед ним доверенный дьяк из приказа.

---

[1] Апокалипсис. VI, 2.

— Вон пишет из Новгорода сам,— вертит в руке князь-кесарь бумажку.

— Сам государь-батюшка?— любопытствует дьяк.

— Он!

— Ну-кося, батюшка князь?..

— Пишет мне: «Пьяная рожа! Зверь! Долго ль тебе людей жечь? Перестань знаться с Ивашкою Хмельницким...»

— Это то есть хмельным заниматься?

— Да, пьянствовать... «Перестань, пишет, знаться с Ивашкою Хмельницким: быть от него роже драной...»

— Ахти-ахти, горе какое!— испуганно говорит дьяк.— Как же это?

— Да как! Я вот и отписываю ему: «Не́коли мне с Ивашкою знаться, всегда в кровях омываемся...»

— Подлинно «в кровях омываемся»,— покачал головою дьяк.

— «Ваше-то дело,— продолжал читать князь-кесарь,— на досуге стало держать знакомство с Ивашкою, а нам недосуг...»

— Так, так... По всяк день «в кровях омываемся»,— продолжал качать головою дьяк.— Вот хуть бы сие дело, с Гришкою Талицким, во скольких кровях омывались мы!

— Побродим и еще в кровях... На сие дело и намекает он... А скольких еще придется нам парить в «бане немшенной и нетопленной» (так называли застенок).

— Многонько, батюшка князь.

— Так назавтрее мы с Божьей помощью и займемся, Онисимыч.

— Добро-ста, батюшка князь,— поклонился Онисимыч, мысленно повторяя: «Подлинно в кровях омываемся».

Итак, с утра «с Божьей помощью» и занялись.

В приказ позваны были сергиевский поп Амбросим да церкви Дмитрия Солунского дьякон Никита и объявили в един голос:

— Когда мы по указу блаженные памяти святейшего патриарха Адрияна обыскивали в своем сороку вора Гришку Талицкого и пришли в дом попа Андрея, церкви Входа в Иерусалим, что в Китае у Тройцы на рву, и попадья его Степанида нам говорила: не того ль де Гришки ищут, который к мужу моему хаживал и говорил у нас в дому: как-де я скроюсь, и на Москве-де будет великое смятение, и казала тетрати руки его, Гришкиной.

Это та самая попадья Степанида, что первая открыла,

по знакомству, Павлуше Ягужинскому о заговоре Талицкого и его преступных сочинениях.

Поставили и попадью пред очи князя-кесаря и Онисимыча.

— Тот Гришка,— смело затараторила попадья, ободренная в свое время Ягужинским, что царь-де не даст ее в обиду за донос,— тот Гришка в дом к моему мужу захаживал и, будучи у нас в доме, при муже и при мне великого государя антихристом называл, и какой-де он царь? Мучит сам. И про сына его, государева, про царевича говорил: не от доброго-де корения и отрасль недобрая, и как-де я с Москвы скроюсь, и на Москве-де будет великое смятение.

Кончила попадья и платочком утерлась.

— Все?— спросил Ромодановский.

— Все... Я про то и денщику цареву Павлу сказывала и тетрати ему дала Гришкины... А денщик Павел мне знаем во с каких лет (попадья показала рукой не выше стола): коли просвирней была, просфорами ево, махонького, кармливала.

— Что же мне первому не сказала обо всем?— спросил князь-кесарь.

— Боялась тебя, батюшка князь.

Попадью отпустили и ввели ее мужа.

Этот стал было запираться, но пытка вынудила признание.

— От того Гришки, слышав те слова про великого государя,— чуть слышно проговорил истязаемый,— не известил простотою своею, боясь про такие слова и говорить, да и страха ради, авось Гришка в тех словах запрется.

После попа Андрея, уведенного из застенка полуживым, ввели в «баню» запиравшегося кадашевца Феоктистку Константинова.

— У Гришки Талицкого,— показывал этот, вися на дыбе,— я книгу «Хрисмологию» купил на продажу... дал три рубля... И Гришка в разговоре говорил, чтоб я продал имение свое и пошел в монастырь для того, что пришла кончина света и антихрист настал... и антихристом называл великого государя... и просил у меня себе денег на пропитание... Пришло-де время последнее, а вы-де живете, что свиньи... А что я в тех словах на Гришку простотою не известил, в том пред великим государем виноват... А про воровство Гришкино и про воровские письма я не ведал.

Сегодня, после гневного царского письма (князь-кесарь никак не мог забыть «пьяной рожи» и «рожи драной»), застенок действовал особенно энергично. Долго не допрашивали, а сейчас сдавали на руки «заплечным мастерам» и на дыбу.

После кадашевца тотчас подвесили, и подвешивали три раза, племянника Талицкого, Мишку, который помогал ему писать книги.

Третье подвешивание дало такие разультаты:

— Когда скрылся дядя,— говорил Мишка,— я на другой день, пришед к тетке, взял из черной избы тетрати обманом, чтоб про те тетрати известить в Преображенском приказе, только того числа известить не успел.

Затем введен был в застенок садовник Федотка Миляков.

После неоднократного подвешивания и встряски на дыбе пытаемый говорил:

— Однова пришел ко мне Гришка Талицкой с портным мастером, Сенькою зовут, а чей сын и как слывет, не помню, и поили меня вином, и в разговоре Гришка говорил мне: хочу-де я писать книгу о последнем веце и отдать в Киев напечатать, и пустить в мир, пусть бы люди пользовались, да скудость моя, нечем питаться. И я Гришке говорил: как он такую книгу напишет, чтоб дал мне, и я-де ему за труды дам денег, и в пьянстве дал десять рублев. И после того я Гришке говорил, чтоб мне дал ту книгу или деньги, и Гришка мне в книге отказал: нельзя-де мне тебе той книги дать, человек ты непостоянный и пьяница. А про то, что в той книге на государя написаны у Гришки хулы с поношением, не сказывал.

И этого чуть живого вынесли из застенка, окровавленного ударами кнута.

Истинно сегодня князь-кесарь и Онисимыч «в кровях омывались»...

В застенок введен был оговоренный Талицким человек Стрешнева Андрюшка Семенов и с подвеса показал:

— Тот Гришка в доме у себя дал мне тетратку в четверть, писана полууставом, о исчислении лет, и я прочел ту тетратку, отдал Гришке назад и сказал: я-де этого познать не могу. И Гришка мне говорил: ныне-де пришли последние времена, настанет-де антихрист, а будет-де антихрист великий государь... И от него я пошел домой, а про Гришкины слова не известил потому, что был болен.

Увели и этого.

Пот градом лил с дьяка от усердного записывания показаний пытаемых.

— Много ль еще осталось допросить? — спросил Ромодановский, видя, что его неутомимый Онисимыч совершенно изнемог.

Дьяк просмотрел столбцы.

— С Пресни церкви Иоанна Богослова распоп Гришка Иванов.

— Сего распопа надоть передопросить,— сказал князь-кесарь.— Кто еще?

— Хлебенного дворца подключник Пашка Иванов да с Углича Покровского монастыря диакон Мишка Денисов, да печатного дела батырщик Митька Кириллов, да ученик Гришки Талицкого Ивашка Савельев.

— Добро-ста,— решил князь-кесарь,— этих мы оставим на завтра, на закуску.

В эпоху преобразований, начатых царем Петром Алексеевичем, как уже и при «тишайшем» отце его, Алексее Михайловиче, Малороссия являлась светом, откуда обильно изливались осветительные лучи на Великороссию с остатками косной ее старины. (Подобными тем, за которые теперь так горько платится униженный карликом великан: маленькою Япониею — неизмеримый Китай.)

То же могло быть и с Россиею — этим великаном, в сравнении со Швециею: карлик Швеция, нанесший первый удар великану России под Нарвою, мог довести ее до конечного унижения и, быть может, до расчленения под Полтавой.

Пойди за предателем Мазепою и за Карлом весь малороссийский народ, и последствия для России были бы неисчислимы, в смысле ее ослабления и унижения: вся Малороссия отошла бы от нее, как и порешили Карл и Мазепа, и от России отхвачена была бы целая ее европейская половина; Новороссия и Крым с Черным морем не принадлежали бы России; Балтийское море по-прежнему осталось бы «чужим морем», Нева —«чужою рекою»... Не было бы и Петербурга.

Следовательно, Малороссия в то время являлась для своей младшей сестры, России, не только духовным светочем, но и спасительницею, хранительницею ее целости...

Светочем для России явилась в свое время типография, вывезенная в Москву из Малороссии. Светочами для России явились такие малороссы, как Галятовский, Радивиловский, Лазарь Баранович, Епифаний Славинецкий, Симеон Полоцкий, Стефан Яворский, Дмитрий Туптало-Ростовский, Феофан Прокопович...

Гениальный Петр понимал это и потому даже сибирским митрополитом поставил «хохла» — Филофея Лещинского.

Оттого даже такой обскурант и изувер, как книгописец Григорий Талицкий, изобретший «антихриста», видел в Малороссии «окно в Европу», там он думал напечатать свои сумасбродные сочинения, потому что в Москве вместо типографского станка и шрифта он мог найти только «две доски грушевые», на которых он «вырезал» и напечатал свои раскольничьи бредни, как печатают на вяземских пряниках вяземские Гутенберги: «францускй букеброт»...

О таком же московском Гутенберге мы узнаем на пятнадцатом «подъеме» (пятнадцать пыток на дыбе — это ужасно! И все это Талицкий вытерпел...) Григория Талицкого. «Гутенберг» этот был «с Пресни церкви Иоанна Богослова распопа Гришка Иванов»...

С этого пятнадцатого «подъему» Талицкий вещал:

— Как я те свои воровские письма о исчислении лет и о последнем веце и о антихристе составил и, написав, купил себе две доски грушевые, чтоб на них вырезать — на одной о исчислении лет, на другой о антихристе и, вырезав, о исчислении лет хотел печатать листы и продавать. А сказали мне на площади, что тот распопа режет кресты, и я пришел к тому распопе с неназнамененною доскою и говорил ему, чтоб он на той доске о исчислении лет вырезал слова, и тот распопа мне сказал: без знамени-де резать невозможно, чтоб я ту доску принес назнамененную.

«Знамя» на грушевой доске — это было тогда то, что ныне «печать» и разрешение духовной цензуры. «Назнамененная» доска — значит: дозволенная цензурой...

Такова была тогда, когда нас разбили под Нарвой, московская пресса — «грушевые доски», продаваемые в щепном ряду вместе с лопатами и корытами.

Итак, ловкий «распопа» не принял нецензурную доску.

Далее, на этой же пятнадцатой пытке, Талицкий показывал:

— И распопа Гришка мне говорил, чтоб я те тетрати к нему принес почесть, однако-де у меня будет человек тех тетратей послушать. И после того к тому распопе я пришел хлебенного дворца с подключником с Пашкою Филипповым, а с собою принес для резьбы доску назнамененную, да лист, да тетрати, и те тетрати я им чел, и приводом (то есть с учеными цитатами!) называл государя антихристом: в «Апокалипсисе» Иоанна Богослова, в семнадцатой главе, написано: антихрист будет осьмой царь, а по нашему-де счету осьмой царь он, государь, да и лета-де сошлись...

После этого очередь дошла и до московского Гутенберга, до распопа Гришки.

— Я,— показывал он,— Гришке о том, чтоб он те тетрати ко мне принес почесть и что будет у меня человек тех тетратей послушать, не говаривал, а после того Гришка пришел ко мне сам-друг и принес доску назнамененную да лист, а сказал, что на том листу написано из пророчества и из бытей. Да принес он с собою тетрати и те тетрати при мне чел, и про антихриста говорил, и приводом (доказательно) антихристом называл государя, и именем его не выговаривал... А в те числа у меня посадской человек в доме кто был ли и тех тетратей слушал ли, того я не помню... И те тетрати Гришка оставил у меня.

А когда «Гутенберга с Пресни» спросили вообще о «воровстве» Талицкого и о его дальнейших намерениях, то он стал видимо увертываться и настойчиво повторял:

— Про воровство Гришкино и про состав писем его, и для чего было ему те доски резать, и что на них печатать, и куда те печатные листы ему было девать, того я не ведал, и до тех мест у меня с Гришкою случая никакого не бывало. А как Гришку стали сыскивать, то я, убоясь страху, что у меня те тетрати остались, спрятал оные у себя в избе, под печью, под полом.

Ромодановский покачал головою.

— Быть тебе второй раз на дыбе. Ты показал с первого подъему на дыбу, будто в воровских письмах Талицкого о великом государе имянно не написано, а там же в первой тетрате, во второй главе, на седьмом листу написано: третье сложение Римской монархии царей греко-российских осьмый царь Петр Алексеевич щнейший брат Иоанна Алексеевича, по первее избран на царство... Как же так?

Допрашиваемый так смешался, что ничего не мог ответить.

— Ну, ин быть тебе вторично в подвесе... Увести его до завтра!— закончил князь Ромодановский, вставая.

Дьяк дописывал свои столбцы.

— Допишешь,— сказал ему князь-кесарь,— приходи ко мне обедать.

— Благодарствуй на твоей милости,— поклонился дьяк.

— А успеем завтра же и царю отписать?

— Надо бы успеть... Отпишем.

— Ладно... Да и послезавтра можно.

— Как прикажешь, батюшка князь.

— Ну, над нами не каплет.

— А дубинка?..

XX

Князь-кесарь Ромодановский исполнил свою угрозу.

На другой день «распопа» Григорий, вися на дыбе, упрямо отрицал показание Талицкого о том, что антихристом он называл именно царя Петра Алексеевича и распопа это слышал.

— Как Гришка Талицкой...— почти кричал с дыбы упрямый распоп,— о последнем веце и про государя хульные слова с поношением прикрытно, осьмый-де царь — антихрист говорил...

— Прикрытно?— переспросил Ромодановский.

— Прикрытно,— отвечал упрямец,— а именем государя не выговаривал, и я Гришке молвил: почему ты о последнем веце ведаешь? Писано-де, что ни Сын, ни ангели о последнем дне не ведают, и в том я ему запрещал. А в тех тетратях государь осьмым царем написан ли, того не ведаю, потому что я после Гришки тех тетратей не читал... А что я от Гришки такие воровские слова слыша, не известил (не донес) и Гришки не поймал и не привел и письма его у себя держал, то учинил сие с простоты, и в том пред государем виноват.

Распоп не без причины отрицал, что слышал от Талицкого имя государя, и твердил, что Талицкий говорил об имени государя будто бы «прикрытно», анонимно. Он знал, что в противном случае наказание его усугубилось бы.

Его снимают с дыбы, и опять очная ставка с Талицким.

— Сему распопу,— говорит последний,— я про последнее время и про государя хульные слова с поноше-

нием на словах прикрытно, осьмый-де царь будет антихрист, говорил, а именем государя выговаривал ли, про то не упомню...

Он вдруг остановился... «Прикрытно»... Его, вероятно, в ужас привела мысль шестнадцатый раз висеть на дыбе и испытывать терзания от палачей, и он спохватился.

— Я,— поправился он,— при распопе приводом (с доказательствами, «приводил» доказательства) называл государя антихристом — имянно...

Распопа в третий раз поднимают на дыбу. Но он с прежним упрямством продолжает стонать.

— Как Гришка государя антихристом и осьмым царем называл, то я сие слышал, только он, Гришка, государя именем не называл. И в тетратех, которые были у меня, где государево имя написано, я не дочел...

Поставил-таки на своем — и от четвертой пытки, по закону, вывернулся.

Его и Талицкого увели из застенка, а туда ввели следующую жертву, хлебенного дворца подключника Пашку Иванова, который во всем запирался, пока дыба не развязала ему язык.

— От Гришки Талицкого,— сознавался он теперь,— про то — «в последнее-де время осьмой царь будет антихрист» и считал московских царей, и про государя сказал, что он осьмый царь, и антихристом его называл, то я слышал. А те слова Гришка говорил со мною один на один. А что в тех словах я на Гришку не известил, чая то, что он те слова говорил, с ума сошед, и, боясь розыску, если Гришка в тех словах запрется, и меня запытают, да и для того не известил, что я человек простой.

Слова его были подтверждены Талицким, сказавшим, что у него «с Пашкой в его воровстве совету не было», и Пашку уже вторично не пытали.

На смену им введен был «с Углича Покровского монастыря диакон Мишка Денисов». В расспросе и с пытки говорил:

— Гришка мне чел тетрать о исчислении лет и о последнем веце, и о антихристе, и в разговоре говорил мне на словах: ныне-де последнее время пришло и антихрист народился; по их счету, антихрист осьмой царь Петр Алексеевич. И я Гришку от тех слов унижал: что-де ты такое великое дело затеваешь? И Гришка дал мне тетратку в четверть и говорил: посмотри-де, у меня о том

имянно написано. И я, взяв у него ту тетратку, поехал в Углич и, приехав в монастырь, чел тое тетратку у себя в келье один, а силы в ней не познал, и иным никому той тетрати не показывал и списывать с нее не давал. А что я, слыша от того Гришки про государя такие непристойные слова, по взятье его в Преображенский приказ, той тетратки нигде не объявил и о тех его словах не известил и сам не явился, и то я учинил простотою своею, и в том я пред великим государем виноват.

И это показание Талицкий не опровергал. Пятнадцать пыток, по-видимому, разбили всю его непреклонную волю.

Теперь ввели к допросу печатного дела батырщика Митьку Кириллова.

— К Гришке в дом я хаживал,— показывал этот,— и Гришка в доме у себя читал мне книги Библию да толковое Евангелие и всякие печатные и письменные книги о последнем веце, а о пришествии антихристове разговоров у меня с Гришкою и совету не было.

Тут Талицкий, увы! назло себе, стал оспаривать показание батырщика.

— Митька приходил ко мне сам-друг,— утверждал он,— и я о последнем веце и о антихристе, и о исчислении лет тетрати ему читал, и осьмым царем и антихристом государя называл при них имянно, без Митькина спроса, собою. А в моем воровстве Митька мне советником не был, и про воровство мое не ведал.

Снова запахло застенком и кровью... Передопрос!

— В дом к Гришке я приходил с нищим Федькою,— признался батырщик,— я словес не упомню, приходил я для покупки хором его.

Талицкий опять в застенке, шестнадцатый раз!

— Батырщику Митьке,— говорил он «с пытки»,— о последнем веце и о исчислении лет я говорил и антихристом государя называл, и то Митька слышал!

— Как Гришка об оном толковал и государя антихристом называл,— признавался батырщик уже с дыбы,— то я слышал, а что не извещал, в том виноват.

Ввели, наконец, последнюю жертву дела об антихристе, ученика Талицкого, Ивашку Савельева... Снова пытка!

— В том письме,— показывал Ивашка с дыбы,— что писал Гришка тамбовскому епископу, я силы не знал, а

писал тетрати по Гришкину велению. Да Гришка ж мне сказывал, да и тамбовский-де епископ тех писем не хуливал. А после того приходил я к Гришке на двор и сказал: патриарша-де разряду площадного подьячего Федькина жена Дунаева Феколка сказывала теще моей: пишет-де Гришка неведомо какие книги про государя, и она-де сказала брату своему, певчему Федору Казанцу, а он, Федор, хотел по Гришку из Преображенского приказу прийти с подьячими. И я, пришед к Гришке, про то ему сказал, и Гришка с того с Москвы ушел, и я проводил его за Москву-реку, до Кадашева, и спросил: куды-де ты идешь? И он мне сказал: пойду-де я в монастырь, куда Бог благоволит.

Талицкий подтвердил это показание, и на том страшное дело кончилось.

Но долго еще пришлось сидеть по казематам Талицкому и его жертвам, пока им не прочитали приговора:

«1701 году, ноября в 5-й день, по указу великого государя и по боярскому приговору велено Гришку Талицкого и единомышленников его, Ивашку Савина и пономаря Артемошку, за их воровство и за бунт, а бывших попов Луку и Андрюшку и Гришку за то, что они про то его, Гришкино, воровство и бунт слышав от него, не известили, казнить смертию; а жен их, Гришкину и Ивашкину, и Артемошкину, и Лучкину, и с Пресни Гришкину ж, сослать в ссылку в Сибирь, в дальние городы, а животы их взять на великого государя; а Андрюшкину жену освободить, потому что он, Андрюшка, сыскан и в том деле винился по ее улике; кадашевца Феклиста Константинова, батырщика Митьку Кириллова, садовника Федотку Милякова, хлебенного дворца подключника Пашку Филиппова, распопа Мишку Миронова, с Углича Покровского монастыря дьячка Мишку Денисова, Иванова человека Стрешнева Андрюшку Семенова, за то, что они, от того Гришки слыша бунтовые слова, не извещали; племяннику его, Гришкину, Мишке, за то, что он у тетки своей выманил воровские письма, не известил же, Гришкину ученику Ивашке Савельеву, что он тому Гришке сказал про извет на него и он с Москвы бежал,— вместо смертной казни учинить жестокое наказание — бить кнутом и, запятнав, сослать в Сибирь.

Да по именному великого государя указу, бывшего тамбовского епископа Игнатия, что потом расстрига Ивашка, вместо смертные казни велено послать в Соловецкий монастырь, в Головленкову тюрьму, быть ему в

той тюрьме за крепким караулом по его смерть неисходно, а пищу ему давать против таких же ссыльных»[1].

Талицкого и Савина велено было казнить копчением; но во время казни они покаялись и были сняты с копчения. По преданиям раскольников, Талицкого сожгли на костре.

Одна попадья Степанида не пострадала.

Часть II

I

Прошло около двух лет после погрома русского войска под Нарвою.

И отплатили же русские за этот погром! Вот уже второй год Шереметев мстит за свой нарвский позор...

— Усердствует Борька,— улыбнулся государь, прочитав донесение Шереметева и обращаясь к князю-кесарю, докладывавшему ему по своей «кнутобойной» специальности,— пишет, что при Гумельсгофе Шлиппенбах мало штаны не потерял.

— За Нарву это, государь...— рассеянно пробормотал Ромодановский.

— За Нарву, точно! Это мои колокола так громко звонят там,— сказал государь и пристально посмотрел на Ромодановского...

— Что с тобой, князь?— спросил он.— Попритчилось тебе что?

— Уж и не ведаю, государь, как быть,— смущенно отвечал князь-кесарь.

— Что такое? Неладно у тебя в кнутобойне что?

— Нету, государь, твоим государевым счастьем у меня все обстоит благополучно.

— Так что ж! Кажи.

— И ума не приложу, государь.

— Ну, так я, може, приложу.

Князь-кесарь нерешительно полез в карман и вытащил из него кожаную калиту. Потом вынул из калиты несколько монет одного образца и положил перед царем.

---

[1] Есипов Г. Раскольничьи дела XVIII столетия. Спб., 1861.

— Что это? Монеты совсем незнакомые, таких я не видывал,— говорил Петр, рассматривая одну монету.

Ромодановский внимательно наблюдал за выражением лица царя.

— Город вычеканен довольно искусно.

— Точно, государь, искусно.

— Да это в Нарву палят.

— В Нарву и есть, государь.

— Да это и я тут вычеканен... моя персона и стать...

— Твоя, государь.

— Я на огонь протягиваю руки.

— Точно... греешься, государь.

Царь вгляделся в подпись на монете и прочел:

— «Бе же Петр стоя и греяся»...

Государь весело рассмеялся.

— Искусно, зело искусно! Это я руки грею у Нарвы... искусно!

Он перевернул монету и стал вглядываться.

Ромодановский побледнел.

— А!— протянул государь уже другим голосом.— «И исшед вон, плакася горько»,— прочел он, не отрывая глаз от монеты.

На этой ее стороне было изображено: русские бегут из-под Нарвы, а впереди всех — сам царь: он потерял шпагу, и шляпа с него свалилась.

— Откуда это?— сурово спросил Петр.

— Не наше, государь... от твоих супостатов, чаю... издевка,— несмело отвечал Ромодановский.— Не наша чекань.

— А как к тебе они попали?

— Подметом, государь... подметные они... Воры неведомые и ко мне подмет учинили, и к тебе, в твой государев двор.

— А кто поднял?

— Мои, государь, ребята, сыщики.

— Но кто дерзнул подметывать?— спросил царь.

— Какой ни есть неведомый вор, а може, и не один... Я вот и ищу их, государь,— говорил смущенно Ромодановский.

Он не мог себе простить, что до сих пор не напал на след дерзких подметчиков. Это была первая его неудача в сыскном деле. Срам какой! Всевидящий и всеслышащий князь-кесарь нагло одурачен! Под самые его ворота подкинули! И как же он драл подворотного караульного!

— Под землей сыщу и розыск учиню,— бормотал он.

— Это Карлово действо, его, его,— говорил царь.

— Больше некому, государь,— подтверждал князь-кесарь.

— За действо — действо; за Борькино Шереметево действо — Карлово действо... Это мне за Ливонию медаль,— говорил царь, все еще рассматривая монеты,— заслуженная медаль.

В это время Павлуша Ягужинский, исполнив одно личное поручение царя, вошел в комнату, где находился Петр с Ромодановским.

— Справил дело, Павел?— спросил царь.

— Справил, государь.

Ягужинский держал что-то зажатое в кулаке. Увидав на столе подметные медали, он с изумлением воскликнул:

— И у меня, государь, такая ж... Вот,— и он положил медаль на стол.

— Где взял?— спросил царь.

— Нашел, государь.

— Где?

— Под Фроловскими (ныне Спасскими) воротами.

— Давно поднял?— подступил к нему Ромодановский,

— Вот сейчас, когда возвращался в Кремль.

Князь-кесарь побагровел от гнева.

— Так воры здесь,— почти крикнул он,— все время были на Москве... Я боле недели их ищу... Того ради долго и не докладывал тебе, государь, про сию издевку.

Царь посмотрел на Ягужинского.

— Ты разглядел все тут?— спросил он, взяв одну медаль.

— Разглядел, государь,— смущенно отвечал молоденький денщик.

— И уразумел силу сего измышления?

— Уразумел, государь,— с вспыхнувшими щеками отвечал юноша.— Сила, значит, не берет, так хоть комаром в ухо льву жужжат.

Царь встал и подошел к висевшей на стене большой карте Швеции и Балтийских побережий.

— Изрядно, изрядно, Борька, хвалю,— проговорил он, проводя рукой от устья Невы до Рогервика, видимо возбужденный донесением Шереметева,— это теперь наше, и Петр «погреет еще руки» на ливонском костре, а токмо про кого потом скажут: «И исшед вон, плакася горько»?

II

Перенесемся же теперь на Балтийское побережье и познакомимся с молоденькой девушкой, которой суждено было связать своё скромное имя с грядущими судьбами России.

Под разоренным Везенбергом, который усердием «Борьки» Шереметева недавно был обращен в развалины, лагерем расположился, после взятия Мариенбурга, полк русского корпуса под командою полковника Балка.

Август 1702 года. Время стоит, сверх чаяния, жаркое. Полковые «портомои», или прачки, между которыми были и ливонские женщины, выстирав офицерское и солдатское белье, развешивают его на протянутых между кольями веревках для просушки. Одна из прачек, молодая бабенка с подоткнутым подолом и засученными рукавами, визгливым голосом тянет монотонную песню:

Ох-и-мой сердечный друг меня не любит,
Он поить-кормить меня, младешеньку, не хочет...

— Да и кому охота любить-та сороку бесхвостую,— ядовито подмигнул другим портомоям проходивший мимо солдатик.

— Ах ты охальник! Шадровитая твоя рожа!— огрызнулась певунья.

Солдатик был сильно рябой, «шадровитый». Однако его ядовитое замечание лишило бабу охоты тянуть свою песню.

— Как же ты, Марта, говоришь про себя, я и в толк не возьму?— обратилась она к развешивавшей рядом с нею белье другой портомое, миловидной девушке лет семнадцати, с нежным румянцем на пухленьких щечках.— Ты и не девка и не молодуха, и замужня-то ты и не замужня.

— Да так, как я сказала,— улыбнулась девушка,— ни жена, ни девка.

В произношении ее был заметен нерусский акцент.

— Вот загануда загадку!— развела баба руками.— Хоть убей меня, не разганю... Да ты, може, тово, без венца?

— Нет, милая, я венчана в церкви, в кирке, по-нашему.

— Стало быть, ты замужня жена.

— Нет, милая, дело было так,— серьезно молвила та, которую баба назвала Мартой,— был у меня жених, из наших же, и был он ратный, капрал. Когда настал день нашей свадьбы, мы поехали в церковь, как водится,

и пастор обвенчал нас, по нашему закону. А едва мы вышли из кирки, как тут же, около кирки, выстроилась рота моего жениха.

— Мужа!— поправила ее баба.— Коли под венцом с тобой стоял, так уж, стало быть, муж.

— Добро... В те поры, как нас венчали, ваши ратные люди осадили наш город, громили из пушек... Наши спешили отбивать ваших, и мой муж прямо из кирки попал в свою роту, и в ту же ночь его убило ядром.

— Ах, матиньки! И ноченьки с ним не проспала, сердешная!— всплеснула баба руками.— Уж и подлинно ни жена, ни вдова, ни девка.

— Вдовая девка, милая, вот кто я,— вздохнула Марта.

— Ну, у нас, Бог даст, выйдешь замуж за хорошего человека: вишь какая ты смазливая,— успокаивала ее баба.— Да у меня есть на примете женишок про тебя: мой кум, полковой коновал.

— А что это такое, коновал?— спросила Марта.

— Лошадиный рудомет, руду лошадям пущает и холостит,— объяснила портомоя.

Но Марта все-таки ничего не поняла.

В это время в лагерь полковника Балка вступил небольшой отряд преображенцев, прибывших из Вольмара.

Проходя мимо прачек, некоторые из преображенцев заговаривали и заигрывали с бабами. Портомои отшучивались.

— Эх, сколько тут баб и девок, вот лафа!— заметил веселый Гурин, запевала преображенцев.— Есть из кого выбирать невест. Тут мы и Тереньку жениим.

Эти слова относились к тому богатырю Лобарю, который своей чугунной башкой опрокинул под Нарвой силача Гинтерсфельда вместе с конем на глазах у короля. Лобарю удалось на пути бежать из полона.

— Э! Да вот и Теренькина невеста,— указал Гурин на Марту,— писаная красавица! Кабы я не был женат, сам бы женился на ней.

Марта, кончив развешивать белье, молча удалилась с двумя полонянками, взятыми вместе с ней в Мариенбурге.

Никто, конечно, не знал, какая судьба ожидает эту девушку, с которой так смело разговаривали и заигрывали солдаты. Не знала и сама она, что по мановению ее руки, теперь стирающей белье, целые полки с их генералами будут идти на смерть во славу бывшей портомои.

Да, удивительна судьба этой девушки, поистине нечто сказочное, поразительное и почти невероятное...

Произошло это совершенно случайно, как и многое очень важное совершается случайно не только в жизни отдельных людей, но и в жизни целых государств.

Царь, желая проверить донесения своих полководцев, Шереметева и Апраксина, об успехах русского оружия в Ливонии и Ингрии, отправил туда Меншикова, которому он доверял больше всех своих приближенных и практический ум которого давно оценил. По пути из Ингрии в Ливонию Меншиков не мог миновать Везенберга. Там он на некоторое время остановился у полковника Балка.

Балк предложил обед Александру Даниловичу. Оказалось, что за обедом прислуживала Марта, которую старый Балк взял к себе за ее скромность, немецкую чистоплотность и за то, что она умела хорошо готовить, научившись этому в семействе пастора Глюка.

Меншиков внимательно вглядывался в девушку, когда она подавала на стол и ловко, умело прислуживала.

— Те-те-те!— покачал он головою, когда Марта вышла.— Ну, господин полковник, вон он как! Ай-ай!

— Что так, Александр Данилыч?— изумился старик.

— Скажу, непременно скажу твоей полковнице, как только ворочусь на Москву.

— Да о чем скажешь-то?

— Ах, старый греховодник! Он же и притворяется.

— Не пойму я тебя, Александр Данилыч,— пожимал плечами Балк,— в толк не возьму твоих слов.

— То-то,— смеялся Меншиков,— завел себе такую девчонку да как сыр в масле и катается.

— А, это ты про Марту?

— А ее Мартой звать?

— Мартой. Она полонянка из Ливонии, полонена при взятии Борисом Петровичем Шереметевым Мариенбурга и отдана мне.

— При чем же она у тебя?

— Она состоит в портомоях, а у меня за кухарку; и чистоплотна и скромна и варит и жарит, как сам изволишь видеть, зело вкусно.

— И точно: рябчика так нажарила, что и на царской поварне так не сумеют. Она, кажись, и по-русски говорит.

— Зело изрядно для немки.

— Где ж она научилась этому?

— У одного пастора там али у пасторши в Мариенбурге.

— Скажу, скажу твоей полковнице,— смеялся Меншиков, запивая рябчика хорошим красным вином, добытым в погребах Мариенбурга,— вишь, Соломон какой, добыл себе царицу Савскую да и в ус себе не дует.

В это время Марта внесла сладкое и стала убирать тарелки.

— Погоди, милая, не уходи,— ласково сказал ей Меншиков,— мне бы хотелось порасспросить тебя кое о чем.

III

Меншиков залюбовался глядевшими на него детски наивными прелестными глазами и ясным полненьким личиком.

— Мне сказали, что тебя зовут Мартой?— сказал Меншиков.

Девушка молчала, переводя вопрошающий взор с Меншикова на Балка.

— Откуда ты родом, милая Марта?— спросил первый.

— Из Вышкиозера, господин, из Ливонии,— тихо сказала девушка, и на длинных ее ресницах задрожали слезы.

Мысль ее мгновенно перенеслась в родное местечко, к картинам и воспоминаниям не далекого, но, ей казалось, далекого детства... И вот она здесь, среди чужих, в неволе, полонянка...

— Кто твой отец, милая?— еще ласковее спросил царский любимец.

— Самуил Скавронский,— был ответ.

— Ливонец родом?

— Ливонец, господин.

— Сколько тебе лет, милая?

— Восемнадцать весной минуло.

— Ты девушка или замужняя?

Марта молчала, она взглянула на Балка, как бы ища его поддержки.

— Странная судьба сей девицы,— сказал полковник,— она замужняя, а остается девкой.

— Как так?— удивился Меншиков.

— Дело в том,— продолжал Балк,— что едва ее обвенчал пастор с ее суженым, как она тут же, около кирки, стала вдовой: ни жена она, ни девка.

— Да ты что загадками-то меня кормишь?— нетерпеливо перебил полковника царский посланец.

— Какие загадки, сударь!.. Как раз в те поры, что ее венчали, мы почали добывать их город. А ее жених был ратный человек, и,заместо того чтобы вести молодую женку к себе в опочивальню, он попал на городскую стену, где ему нашим ядром и снесло голову... Такова моя сказка,— закончил Балк,— такова ее горемычная доля.

Марта плакала, закрывшись передником... Невольница, горькая сирота, на чужой стороне — ныло у нее на сердце.

Горькая судьба бедной девушки тронула Меншикова. Он подошел к ней и нежно положил ей руку на голову.

— Не горюй, бедная девочка, не убивайся,— ласково говорил он.

От ласковых слов девушка пуще расплакалась:

— Перестань, голубка... Что делать! Не воротить уж, стало, твоего суженого, на то Божья воля. Ты молода, еще найдешь свою долю. А у нас тебе хорошо поживется. И семья твоя, отец и мать, к тебе приедут, будете жить вы у нас в довольствии, я за это ручаюсь. Наш государь милостив, и особливо он добр к иноземцам, жалует их, всем наделяет, и тебя, по моему челобитью, всем пожалует... Не убивайся же,— говорил Александр Данилович, продолжая гладить наклоненную головку девушки.

Марта несколько успокоилась и открыла заплаканное личико.

— О, господин!— прошептала она и поцеловала у Меншикова руку.

Кто мог думать, что у той, которая теперь робко поцеловала руку у царского посланца, высшие сановники государства будут считать за честь и милость поцеловать царственную, самодержавную ручку!..

Портомоя! Солдатская прачка и кухарка!..

А разве мог думать и Меншиков, что та скромная девочка-полонянка, которая теперь робко целует его руку, сама впоследствии вознесет его на такую государственную высоту, с которой до престола один шаг!..

Судьба предназначала этой бедной девочке быть не только царицей, супругой царя, но и самодержавной императрицей и дать России новых царей... Это ли не непостижимо!

— Будь же благонадежна, милое дитя, я все для тебя сделаю, что в моих силах,— сказал наконец Меншиков.

Потом он обратился к Балку.

— Отселе я поеду дальше,— сказал он,— повидаюсь с Шереметевым и скажу ему, чтобы он распорядился отыскать семью этой девицы.

— И пастора, добрый господин,— робко проговорила Марта.

— Какого пастора, милая?— спросил Меншиков.

— Глюка, господин.

— Это того самого, у коего она проживала и который научил ее по-русски,— объяснил Балк.— Марта привязана к нему как к отцу родному. Он человек зело достойный, много ученый, сведущ в языках восточных, изучил языки и русский, и латышский, и славянский, с коего и переводит Священное писание на простой российский язык.

— О, да это клад для нас,— обрадовался Меншиков.— Государь будет рад иметь при своей особе такого нарочито полезного человека.

Марта, видимо, повеселела.

— О, господин!— могла она только сказать.

— Так вот что,— снова заговорил Меншиков к Балку,— мне недосуг здесь мешкать, мне спешка великая. Я поеду теперь дале, а ты оставь, до времени, сию девицу при себе и уж не наряжай ее порты стирать.

— И то не пошлю,— сказал Балк,— у меня работных людей и баб и без нее довольно. Марта же и швея изрядная.

— Добро. Так я на возвратном пути заеду сюда,— сказал Меншиков,— и возьму девицу с собой на Москву. Поедешь со мной, Марта?

— Воля ваша, господин,— отвечала девушка.

— Я не то говорю, милая,— перебил ее Меншиков.— А своею ли волею поедешь на Москву, на глаза к великому государю?

Последние слова, казалось, испугали девушку.

— Я простая девушка... я не достойна быть на глазах великого государя,— смущенно проговорила она.

— Твоя скромность похвальна, милая; а мне ближе знать, чего достойна ты,— успокаивал ее Меншиков.

Марта снова поцеловала его руку.

Меншиков отпустил ее. Судьба девушки была решена.

— Да! Запамятовал было,— спохватился Меншиков, вынимая из кармана своего камзола бумагу.— Ведомо мне, что в прибывшей сюда первой роте Преображенского полка состоит некий ратный, именем Терентий Лобарь.

— Есть таковой,— отвечал Балк,— я его лично знаю.

— Так прикажи выстроиться неподалеку этой роте, и мы выйдем к ней.

Балк распорядился, и они с Меншиковым вышли. Рота стояла под ружьем.

Поздоровавшись с нею, Меншиков громко сказал:

— Великий государь изволил приказать мне: первой роте Преображенского полка за молодецкую стойку под Нарвой объявить царское спасибо!

— Ура великому государю!— загремели преображенцы.

— А который из вас Терентий Лобарь?— спросил Меншиков.— Выступи вперед!

Товарищи выдвинули вперед богатыря.

— Ты, Лобарь, под Нарвой, на глазах шведского короля, сбил вместе с конем его ординарца, великана Гинтерсфельда?— спросил Меншиков.

— Я малость толкнул его,— смущенно отвечал богатырь.

— За сие великий государь тебя милостиво похваляет и жалует чином капрала,— провозгласил Меншиков.

Богатырь только хлопал глазами.

— Говори, дурак: «Рад стараться пролить кровь свою за великого государя»,— шептали ему товарищи,— говори же, остолоп.

— Рад стараться пролить за великого государя...— пробормотал атлет-младенец и остановился.

— Что пролить?— улыбнулся Меншиков.

— Все!— был ответ, покрытый общим хохотом.

IV

Не один Север и дельта Невы поглощали внимание Державного плотника. Упорная борьба велась со всем обветшалым, косным строем внутренней жизни государства. Многое давно отжившее приходилось хоронить, и хоронить при глухом ропоте подданных старого закала, но еще больше — создавать, создавать неустанно, не покладая рук.

От Севера, от невской дельты, приходилось перено-

сить взоры на далекий юг, на поэтическую, заманчивую Малороссию, на беспокойный Крым и на все могучее наследие Магомета, волосатые бунчуки которого и зеленое знамя пугали еще всю Европу.

А сколько работы с этим повальным взяточничеством, с насилиями, с открытыми грабежами населения своими подданными!

Вот в кабинет к царю входит старый граф Головин Федор Алексеевич, первый андреевский кавалер в обновленной России, он же ближний боярин, посольской канцелярии начальный президент и наместник сибирский.

— Что, граф Федор Алексеевич, от Мазепы докука?— спрашивает царь входящего с бумагами старика.

— От Мазепы, государь.

— Что, опять запорожцы шалят, ограбили кого, задирают татар и поляков?

— Нету, государь, гетман жалуется на твоих государевых ратных людей.

— Все это старая закваска, перегной старины, которая аки квашня бродит!— с досадой говорит Петр.— Садись, Федор Алексеевич. Выкладывай все, что у тебя накопилось.

— Да вот, государь, гетман Иван Степанович доносит Малороссийских дел приказу, что твой государев полуполковник Левашов, идучи с твоими государевыми ратными людьми близ Кишенки, через посланца своего приказывал оным кишенцам, дабы его встретили с хлебом-солью и с дары, аки победителя, и за то обещал никакого дурна жителям не чинить.

— Каков гусь!— заметил государь.

— Кишенцы и повиновались незаконному приказу,— продолжал Головин,— вышли к Левашову с хлебом-солью, вывезли навстречь твоим государевым ратным людям целый обоз с хлебом, со всякою живностью, куры, гуси, да со всякими напитками, да еще в особую почесть поднесли твоему государеву полуполковнику пятнадцать талеров деньгами.

— А! Каков слуга России!— вспылил государь.— Я его, злодея!.. Ну? А он?

— А он, государь, не токмо обещания не исполнил, а, напротив, ввел ратных людей в Кишенку, где оные всевозможные дурна чинили, жителей объедали, подворки и овины их наглостно обожгли, огороды разорили. Мало того, государь, давши кишенцам руку, что впредь никакого дурна им чинить не будет, однако, дойдя до Пере-

волочны, послал к кишенцам забрать у них плуги и волов, кои кишенцы и должны были выкупать за чистые денежки. И когда один кишенец сказал полуполковнику, что великий государь так чинить не велит, то Левашов мало не проколол его копьем и кричал: «Полно вам, б...ы дети, хохлы свои вверх подымать! Уж вы у нас в мешке».

— Да это почище татарских баскаков,— гневно заметил государь.— Все это я выбью из них... Погодите!

Царь встал и начал ходить по кабинету, бросая иногда взгляд на стенную карту Швеции и на дельту Невы.

— О чем еще Мазепа доносит?— спросил он, несколько успокоясь и опять садясь к столу.

— Гетман доносит еще, государь, что Скотин шел с твоими государевыми ратными людьми чрез порубежные днепровские города и его ратные люди неведомо за что наглостно черкас и по городам, и в поле наглостно били, на них с ножами бросались, иных, словно татары, в неволю брали, «в вязеню держали», как пишет гетман, а когда начальные казацкие люди пришли к Скотину с поклоном, то он велел бить барабаны, дабы слов не было слышно, а опосля того велел гнать их бердышами.

Царь глянул на сидевшего в стороне Ягужинского, по-видимому внимательно вслушивавшегося в доклад.

— Павел! Ты слушаешь?— спросил Петр.

— Слушаю, государь,— отвечал молодой денщик царя.

— Во все вникаешь?

— Вникаю, государь.

— Добро,— и, обратясь к Головину, царь сказал:— Изготовь, Федор Алексеевич, указ к гетману и о строжайшем дознании по сим его донесениям. С сим указом я отправлю к Мазепе, кого бы понадежнее?

— Если изволит государь, то я бы указал на стольника Протасьева,— отвечал Головин после небольшого размышления.

— Быть по-твоему,— согласился царь,— Протасьева так Протасьева. Но в помощь ему я дам мои глаза и мои уши, пошлю их к Мазепе.

Докладчик смотрел недоумевающе, ожидая объяснения непонятных слов государя.

— Я пошлю Павла,— указал царь на Ягужинского.— Это мои глаза и мои уши. Что Павел видит, то увижу и я, что услышит Павел, то и я услышу: правда мимо меня не пролетит.

У Ягужинского и боязнью, и радостью дрогнуло сердце: он, восемнадцатилетний юноша, уже любил... Он опять увидит Малороссию, которая казалась ему земным раем... Эти вербы, любовно склоняющиеся над прозрачными, тихими ставками (прудами), эти стройные тополя, беленькие хатки, утопающие в зелени вишневых садочков... Он услышит эти песни, мелодии которых, и плачущие и подмывающие, доселе звучат в его душе... Он увидит ее, ту, образ которой запечатлелся навеки в его сердце и не отходит от него, как видение... Он увидит Мотрю, Мотреньку, эту прелестную девочку, дочь генерального судьи и стольника Кочубея. После того как Павлуша видел ее в Диканьке, в саду, и разговаривал с нею и разговор этот был прерван приходом Мазепы, личико Мотреньки, ее черненькая головка, украшенная цветами, и вся она, как только что распустившийся цветочек, заполнила его душу... Теперь она еще выросла... Теперь ей, вероятно, уже пятнадцатый год.

— Слышишь, Павел?— прервал его мечты голос царя.

— Слушаю, государь,— трепетно ответил Павлуша.

— Ты, кажется, боишься?

— Нет, государь, для тебя я и смерти не боюсь!— с юношеским жаром отвечал любимец Петра. «И для нее готов всякие муки претерпеть»,— восторженно думал юноша.

V

Ягужинский с Протасьевым в Малороссии...

Мазепы они не застали в его столице, в Батурине.

Гетман находился в это время в Диканьке у своего генерального судьи, Кочубея, куда старый гетман частенько стал заглядывать в последнее время. И его, вождя Малороссии, опытного дипломата, ловкого интригана, отлично отполированного при дворе королей польских, его, на плечах которого лежали тяжелые государственные заботы, его, как и юного Павлушу Ягужинского, влекло одно и то же ясное солнышко — прелестная Мотренька Кочубеевна... «Любви все возрасты покорны»,— повторялось и повторяется из века в век... И старый Мазепа любил! Из-за этой любви, быть может, пошел на то страшное дело, которое погубило его (и поделом!) и которое, совершенно незаслуженно со стороны Малороссии, внесло навсегда, кажется, холод и недоверие

в сердце Великороссии к ее старшей сестре, Киевщине, со всеми ее старыми и новыми областями. Мазепе хотелось великокняжескою короною украсить Мотренькину черненькую головку, головку будущей своей супруги, от которой должен бы пойти царственный род мазепидов... Он мечтал об этом, строя ковы против Великороссии тайно от страны и народа, которых он был избранным вождем...

Когда Протасьев и Ягужинский прибыли в Диканьку, Мазепа и Кочубей встретили царских посланцев с величайшими почестями. Гетман, приняв от Протасьева царский указ, почтительно поцеловал его и поклонился «до земли».

Прочитав указ, Мазепа тотчас же отправил несколько козаков гонцами, чтоб доставить в Диканьку Левашева и Скотина, а также нужных свидетелей из Кишенки и порубежных городов, где Левашев и Скотин чинили насилия, бесчинства и грабежи.

В то же время хозяйка, жена Кочубея, уже хлопотала о том, чтобы достойно угостить дорогих гостей.

Пир вышел на славу. За обедом присутствовала и красавица Мотренька, одетая в живописный малороссийский наряд с «добрыми коралями и золотыми дукачами» на смугленькой шейке. Пили за здоровье царя и его посланцев, а Протасьев провозгласил здравицы за ясновельможного пана гетмана, за хлебосольного хозяина и за его супругу с дочкою.

Мотренька узнала Ягужинского, который за обедом взглядывал на нее украдкой, и этот взгляд всегда перехватывал лукавый гетман и дергал себя за седой ус.

Чтобы чем-нибудь развлечь гостей после обеда, находчивая хозяйка обратилась к традиционному в Малороссии развлечению. Как в Испании гитара и бой быков составляют национальное развлечение, так в Малороссии — бандура и кобзарь.

Пани Кочубеева велела позвать кобзаря.

Зашел разговор о Москве и о государе.

— Бог посылает, слышно, победу за победой его пресветлому царскому величеству,— сказал Мазепа.

— Благодарите Бога, ратные государевы люди уже отгромили у короля шведского, почитай, всю Ливонию и Ингрию,— отвечал Протасьев.

— То ему за Нарву,— улыбнулся Кочубей,— теперь он злость свою срывает на Августе,— гоня як зайца по пороше.

— А что это учинилось у вас на Москве, что великий государь подверг великой опале тамбовского епископа Игнатия?— спросил Мазепа.

— То, ясновельможный пан гетман, такое дело, что о нем и помыслить страшно,— уклонился от ответа ловкий стольник.

В приемный покой ввели кобзаря. Это был слепой благообразный старик и с ним хорошенький черноглазый мальчик, «поводырь» и «михоноша».

— «Хлопья голе и босе»,— как говорили о нем сердобольные покиювки, увидевшие его на панском дворе.

Кобзарь поклонился и обвел слепыми глазами присутствующих, точно он их видел.

— Якои ж вам, ясновельможне паньство, заиграть: чи про «Самийлу Кишку», та то дуже велыка, чи про «Олексия Поповича», чи-то про «Марусю Богуславку», чи, може, «Невольныцки плач», або «Про трех братив», що утикали з Азова с тяжкои неволи?— спросил слепец.

— Та краще, мабудь, диду, «Про трех братив»,— сказал Мазепа.

— Так, так, старче, «Про трех братив»,— подтвердил Кочубей,— бо теперь вже у Азови нема и николы не буде мисця для невольныкыв.

— Ото ж и я думаю, куме,— согласился Мазепа.

Кобзарь молча начал настраивать бандуру. Струны робко, жалостно заговорили, подготовляя слух к чему-то глубоко-печальному... Яснее и яснее звуки, уже слышится скорбь и заглушенный плач...

Вдруг слепец поднял незрячие глаза к небу и тихо-тихо запел дрожащим старческим голосом, нежно перебирая говорливые струны:

Ой то не пили то пилили,
Не тумани вставали —
Як из земли турецькой,—
Из вири бусурменьской,
З города Азова, з тяжкой неволи
Три братики втикали.
Ой два кинни, третий пиший-пишениця.
Як би той чужий-чужениця,
За кинними братами бижить вин, пидбигаэ,
Об сири кориння, об били каминня
Нижки свои козацьки посикаэ, кров'ю слиди заливаэ,
Коней за стремени бере, хапаэ, словами промовляэ...

— Гей-ей-гей-ей,— тихо, тихо вздыхает слепец, и струны бандуры тихо рыдают.

Но вдруг тихий плач переходит в какой-то отчаянный

вопль, и голос слепца все крепнет и крепнет в этом вопле:

Станьте вы, братця! Конэй попасите, мене обиждите,
З собою визьмите, до городив христяньских хочь мало пидвезити.

...Опять перерыв и немое треньканье говорливых струн.

Все ждут, что будет дальше. Чуется немая пока драма. Мазепа сидит насупившись. Пани Кочубеева горестно подперла щеку рукою. Личико Мотреньки побледнело. У Ягужинского губы дрожат от сдерживаемого волнения. Один стольник бесстрастен.

Как будто издали доносятся слова чужого голоса:

И ти брати тей зачували, словами промовляли:
«Ой, братику наш менший, милий, як голубоньку сивий!
Ой та ми сами не втечемо и тебе не веземо —
Буде з города Азова погонь вставати,
Тебе, пишого, на тернах та в байраках минати,
А нас, кинних, догоняти, стреляти, рубати,
Або живцем в гиршу неволю завертати».

— Ой, мамо, мамо! Воны его покынулы! — громко зарыдала Мотренька и бросилась матери на шею.

VI

И пани Кочубеева, и отец, и Мазепа стали успокаивать рыдавшую Мотреньку.

— Доненько моя! Та се ж воно так тильки у думи спивается,— утешала пани Кочубеева свою дочечку, гладя ее головку,— може, сего николы не було.

— Тай не було ж, доню, моя люба хрещеныця,— утешал и гетман свою плачущую крестницу.— Не плачь, доню, вытри хусточкою очыци.

— От дурне дивча! — любовно качал головою сам Кочубей.— Ото дурна дытына моя коханая!

Мотренька несколько успокоилась и только всхлипывала. Ягужинский сидел бледный и нервно сжимал тонкие пальцы. Стольник благосклонно улыбался.

— Може, мени вже годи панночку лякаты? — проговорил кобзарь.— То я с вашои ласкы, ясновельможне паньство, и пиду геть?

— Ни-ни! — остановила его пани Кочубеева.— Нехай Мотря прывыка, вона козацького роду. За козака и замиж виддамо... Вона вже й рушныкы прыдбала.

Мазепа сурово сдвинул брови, увидав, что при слове «рушники» Мотренька улыбнулась и покраснела.

— Ну, сидай коли мене та слухай,— сказала пани Кочубеева, поправляя на ее только что сформировавшейся груди «корали» и «дукачи».— А ты, диду, спивай дали.

— Ге-эй-гей-гей!— опять вздохнула старческая грудь, опять зарокотали струны, и полились суровые, укоряющие слова:

И теэ промовляли,
Одтиль побигали.
А меньший брат, пиший-пишениця,
За кинними братами уганяэ,
Словами промовляэ, сльозами обливае:

«Братики мой ридненьки, голубоньки сивеньки!
Колы ж мене, братця, не хочете з собою брати,—
Мени з плич голивоньку здиймайте,
Тило моэ порубайте, у чистим поли поховайте,
Звиру та птици на поталу не оддайте».

- Бидный!— тихо вздохнула Мотренька.— Ото браты!

Эта наивность и доброта девушки так глубоко трогали Павлушу Ягужинского, что он готов был броситься перед нею на колени и целовать край ее «спидничкн».

— У тебе не такый був брат,— улыбнулась дочери пани Кочубеева,— та не дав Бог.

Снова настала тишина, и слышен был только перебор струн, а за ним суровое слово порицания братьям бессердечным:

И тий брати теэ зачували,
Словами промовляли:
«Братику милий,
Голубоньку сивий!
Що це ти кажэш!
Мов наше серце ножем пробиваэш!
Що наши мечи на тебе не здиймуться,
На дванадцять частей розлетяться...»

— Ох, мамо!— схватила Мотренька мать за руку.— То ж з ным буде!— жалобно шептала она, на глазах ее показались опять слезы.

Ягужинский видит это, и его сердце разрывается жалостью и любовью.

VII

Полная глубокого драматизма дума козацкая начала волновать душу даже холодного на вид гостя московского.

«Чем-то кончится все сие?— спрашивает себя мысленно Протасьев.— Колика духовная сила и лепота у сих хохлов, коль у самого подлого, нищего слепца слагается в душе такая дивная повесть».

И он уже с глубоким интересом вслушивался в дальнейшие детали развертывавшейся перед ним драмы, об одном сожалея, что нет здесь великого государя, чтоб и он прослушал козацкую думу, которая говорила устами слепца:

Тоди ж братець середульщий милосердиэ маэ,
Из своего жупани червону та жовту китайку видираэ,
По шляху стеле — покладаэ,
Меншому брату примету зоставляэ,
Старшому брату словами промовляэ:
«Брате мий старший, ридненький! Прошу я тебе:
Тут трави зелени, води здорови, очерети вдобни —
Станьмо конив попасимо.
Свого пишого брата хоч трохи пидождимо,
На кони возьмимо,
До городи християнських хоч мало пидвезимо,
Нехай же наш найменший брат будет знати.
У землю християньску до отця доходжати...»

— О, хороший, хороший!— сами собой шепчут губы Мотреньки.

А кобзарь тянул:

То старший брат до середульшого брата стал промовляти:
«Чи ще ж тоби каторга турецька не увирилася.
Сириця у руки не в'йдалась!
Як будемо своего брата пишого пиджидати,
То буде з Азова велика погоня вставати,
Буде нас всих рубати,
Або в гиршу неволю живцем завертати».

— Правдыво рассудыв старший брат, пане стольнику?— спросил Протасьева Мазепа.

— Нет, пан гетман!— отрезал стольник.— За такой рассуд великий государь велел бы старшего брата бить батоги нещадно, дабы другим так чинить было неповадно.

Мотренька благодарными, растроганными глазами взглянула на Протасьева...

То як став пишоходець из тернив выходыти,
Став червону китайку находити:
У руки хапаэ, дрибними сльозами обливаэ.
«Недурно,— промовляэ,— червона китайка по шляху валяэ.
Мабуть, моих братив на свити немаэ!..

Мабуть, з города Азова погоня вставала,
Мене в тернах минала,
Братив моих догоняла, стриляла, рубала!
Колы б я мог знати,
Чи моих братив постреляно,
Чи их порубаю,
Чи их живых у руки забрано,—
Ей, то пишов би я по тернах, по байраках блукати,
Тила козацького-молодецького шукати,
Та тило козацьке-молодецьке в чистим поли поховати,
Звиру-птыци на поталу не подати».

— Вишь, пан гетман, он великодушнее своих бессердечных братьев,— заметил Протасьев.

То вин на шлях Муравський выбигаэ
И тильки своих братив трошки ридных слиди забачаэ.
Та побило ж меншого брата в поли
Три недоли:
Що одна — безвиддя, друга — бесхлиб'я.
Третя — буйний витер у поли повивае,
Бидного козака з ниг валяе...

— Ох, мамо, мамо!— не осилила своего сердца Мотренька.

А кобзарь разошелся, ничему не внемлет:

Вовки-сироманци, орли-чернокрильци,
Гости мои мили!
Хоч мало-немного обиждите,
Покиль козацька душа з тилом разлучиться,
Тоди будете менэ нахождати, з лоба чорни очи висмыкати,
Биле тило коло жовтои кости оббирати,
Попид зеленими яворами ховати
И камышами вкрывати...

Продолжение думы было внезапно прервано приходом дежурного «возного», который доложил Мазепе и Кочубею, что от короля польского к пану гетману прибыл посол.

...Кобзарь встал, щедро всеми награжденный.

VIII

На другой день рано утром, когда Мазепа, Кочубей и Протасьев еще не встали, Ягужинский, которого царь приучил вставать с петухами, вышел в диканьский сад, уже знакомый ему с прошлого года, когда Кочубей приезжал в Воронеж к Петру по делам Малороссии, откуда до Диканьки провожал его Ягужинский, чтоб вручить Мазепе пожалованную ему царем саблю.

Хотя был уже август на исходе, но в Диканьке, как и во всей Малороссии, этого не чувствовалось. Утро было теплое, тихое.

Павлуша, идя по роскошному саду, вспомнил прошлогоднее в нем гулянье. Тогда был апрель и сад стоял весь в цвету, точно осыпанный розоватым снегом. Теперь все ветви плодовых деревьев были отягощены яблоками, грушами, сливами. Вспомнил Павлуша и прошлогоднюю встречу свою в этом саду с Мотренькой.

Странная была встреча, но от воспоминания о ней весна расцветала в душе Павлуши. Он тогда, как и теперь, вышел в сад и был поражен красотою всего, что представилось его взору после бесцветной и холодной Москвы. Роскошь цветения сада, весеннее пение птиц, жужжание пчел и других насекомых, мелькавшие разноцветные бабочки, все это так подействовало на него, что он чувствовал себя объятым каким-то волшебством. Вспомнил он свое детство где-то в Польше, плачущую скрипку отца-музыканта, и ему сделалось так сладко и горько, что он упал на траву и заплакал как ребенок... В это время кто-то тихонько прикоснулся рукою к его плечу... Он поднял глаза и словно замер перед чудным видением: не то русалка, не то реальная девочка, вся в цветах, в ореоле лучезарной красоты... Она спросила его, о чем он плачет, сказала, что видела его у «татки»... Это была дочь Кочубея... Они разговорились о своих летах... Ему так хорошо было слушать ее чарующий голосок, смотреть в ясные, невинные детские очи... И вдруг показался Мазепа, и все расхолодил своею насмешливою улыбкой, своим голосом...

И вот вчера он опять увидел ее... Она выросла, расцвела... И она помнила его...

Как она вчера расплакалась от пения думы... И ему хотелось заплакать с нею...

Вспоминая теперь все это, он забрел в отдаленный уголок сада и присел на скамейку под горевшими на солнце багрянцем кистями калины. Он долго просидел так, думая о том, что, вероятно, ему скоро придется ехать с государем или к Белому морю, или к Неве, где воевал Апраксин, и за этими думами не слыхал, как кто-то легкими шагами подошел к нему.

— А я вас шукала,— услышал он мелодический голосок.

Перед ним опять стояло видение... Но он узнал его, то была Мотренька.

Он растерялся и не сразу мог прийти в себя.

— Я вас шукала,— повторила девушка,— а вы он де сховалысь.

Ягужинский покраснел, не зная, что отвечать.

— Я гулял,— пробормотал он.

Робость и скромность Павлуши сразу расположили к нему Мотреньку.

— Я, може, вас налякала?— спросила она.

— Налякала? Что это такое? Я таковогo слова не знаю,— отвечал нерешительно Павлуша, любуясь девушкой.

Мотренька рассмеялась.

— О, я й забула, що вы москаль и вы нашои мовы не розумиете,— сказала она.— Так вы ж и вчера не розумилы, про що спивав кобзарь.

— Нету, Мотрона Васильевна, вчера я все уразумел, хоть иных слов и не понимал, одначе догадывался,— несколько смелее заговорил Ягужинский.— А жаль, что приезд посла помешал дослушать конец былины, чем она кончилась.

— А я знаю кинец,— похвалилась Мотренька,— такый сумный, такый сумный, що плакать так и рветься серце.

—Да вы и вчера плакали,— сказал Ягужинский.

Мотренька покраснела.

— О, учера я дурна була, мов мала дытына, привселюдно заголосыла,— оправдывалась она,— сором такий великий дивчыни плакать при людях.

— Так вы знаете конец былины, Мотрона Васильевна?

— Не «былина», «былина» у поли росте або у садочку, а то «дума»,— поправила «москаля» Мотренька.

— «Дума»... У нас «дума» токмо царская, где сидят бояре да думные дьяки,— серьезно говорил Ягужинский.

— От чудни москали! У «думах», бач, у их сыдять, а в нас их спивают.

Ягужинский улыбался, очарованный детской наивностью девушки и ее чарующей красотой.

— Так какой же конец думы, Мотрона Васильевна?— спросил он, желая только, чтоб она дольше щебетала как птичка.

— Добро, я вам разкажу... Учора, як розигнав нас той посол, мы з мамою закликали кобзаря до себе, у наш покий, и вин доспивав нам усю думу... Маты Божа!

Яка ж жалибна,— торопливо говорила Мотренька,— Ото як меншый брат, пишый, ублакав вовкив-сироманцив та орлив-сизокрыльцив, щоб воны его живцем не ззилы, то и став вин, бидный, помирать, бо девьять днив в его, а ни крапли водицы, а ни крыхтоньки хлиба у роти не було... А як вин вмер, тоди, о, матинко моя!.. тоди вовкы-сироманци нахождалы, биле тило козацькое жваковалы, и орлы-чернокрыльци налиталы, в головках сидалы, на чорни кучери паступалы, из-пид лба очи высмыкалы, тоди ще й дрибна птиця налитала, коло жовтои кости тило оббирала, ще й зозули налиталы, у головах сидалы, як ридни сестры кували, ще и удруге вовки-сироманци нахождалы, жовту кость по балках, по тернах розношалы, попид зеленым явором ховалы, и камышами вкрывалы, жалобненько квылыли, проквылялы: то ж воны козацькый похорон одправлялы...

У Мотреньки вдруг дрогнули губы, и она горько-горько заплакала.

Ягужинский растерялся.

— Мотрона Васильевна! Девынька милая! Что я наделал!— бормотал он.

А Мотренька еще пуще, совсем по-детски, расплакалась, закрывшись руками.

— Господи! Что я наделал! Что я наделал!— метался Павлуша.

Он совершенно бессознательно схватил руки девушки, чтоб отнять их от лица. И это, к счастью, подействовало. Мотренька топнула ножкой, глотая слезы.

— О, яка ж я дурна!— силилась она улыбнуться.— И вас налякала... От дурна!

— Слава Богу, слава Богу!— радостно говорил Ягужинский.— А я так испужался.

— Ни, ничого, ничого, се я так, дурныцею... Якый сором! Хочь у Сирка очи позычай,— храбрилась Мотренька.— Теперь я й кинец думы докажу...

— Не надо, не надо, Мотрона Васильевна! А то опять... не надо!

— Та не бийтесь... Там вже не так жалибно... Я вам коротенько скажу,— настаивала Мотренька.— Бог покарав старших братив за меншого: як воны ночувалы выще рички Самаркы, то турки-янычары на их напалы, постриляли й порубалы... От и все.

— Тэ-тэ-тэ-тэ!— вдруг они услышали за собою насмешливый голос.

Глядь, Мазепа!

«А! Старый черт! — выругался в душе Ягужинский.— Как и тогда его — нелегкая принесла!»

— От так дивча! Вже й пидчепыла москалыка... Им, бач, оцым дивчатам хоть з гиркою осыкою женихаться,— говорил гетман ревнивым голосом.

— Та я им, тату хрещеный, кинец думы «Про трех братив» проказала,— оправдывалась Мотренька, надув губки.— А вы казнащо...

— То-то за-для кинця думы ты их мылость, пана деньщика его царського пресвитлого величества, у яки нетри завела,— шутил старый женолюбец.— Ты их мылость вид царськои службы одрываешь... Простить ни, пане, дурненьку кизочку,— любезно поклонился он Ягужинскому, который стоял красный как печеный рак...

IX

Следствие, произведенное стольником Протасьевым над полуполковниками Левашовым и Скотиным в присутствии гетмана, подтвердило все взведенные на них Мазепою обвинения, и по указу царя они были достойно наказаны.

По возвращении из Малороссии Ягужинский заметил какую-то перемену в государе. Он иногда подмечал в царе минутную задумчивость, иногда неопределенную улыбку, и тогда глаза Петра смотрели как-то теплее. Еще Павлуша заметил, что царь реже отлучался теперь в Немецкую слободу, к Анне Монс, зато чаще и охотнее стал навещать Меншикова.

А от зорких глаз Павлуши редко что могло укрыться, да притом — не только глаза, но и сердце Павлуши, по возвращении из Диканьки, стало много догадливее. Он, как бы преображенный чувством к Мотреньке, понял, что и царя Петра Алексеевича преобразило, вероятно, такое же чувство...

Но к кому? Надо выследить...

Прежде всего Павлуша выследил, что вместо царя в Немецкую слободку часто стал наведываться красавец Кенигсек, саксонско-польский посланник, только в этом году перешедший в русскую службу... Ради чего из попов да в дьячки?.. Ясно, ради немецкой «плениры»... Итак, ниточка довела Павлушу до клубочка...

А если другая ниточка окажется ниткою Ариадны и приведет его в пасть Минотавра?.. Ох, тут надо быть осмотрительнее с этою другою ниточкой...

Однажды царь послал его по делу к Меншикову. Не застав Александра Даниловича дома, он спросил служащих при нем, куда отлучился их начальник. Но те сами не знали, где он. Ягужинского это смутило, потому что государь терпеть не мог неточного исполнения его приказаний. Пока он стоял в приемной Александра Даниловича в нерешимости, как поступить ему, из внутренних покоев неожиданно вышла молоденькая, очень красивая девушка и с несколько нерусским акцентом спросила:

— Вы от государя?

— От государя, сударыня,— отвечал смутившийся Павлуша.

— Вы не Ягужинский ли будете?— снова спросила незнакомка.

— Так точно, сударыня, я Павел Ягужинский, денщик его величества.

— О, я об вас, Павел Иванович, много слышала от Александра Даниловича, который говорит, что государь вас очень любит,— улыбаясь, говорила незнакомка.

— Я служу верой и правдой его величеству,— поклонился Павлуша.

— И вас зовут Павлушей,— еще веселее улыбнулась незнакомка,— ведь вы такой еще молоденький... Сколько вам лет?

— Восемнадцать, сударыня,— уже с нетерпением отвечал Павлуша.

— И мне столько же,— совсем рассмеялась незнакомка.

Но, заметив, что царский посол обеспокоен и, видимо, торопится узнать, где Меншиков, поспешила сказать:

— Александр Данилович теперь у графа Головина, а от него тотчас сам явится во дворец.

— Благодарю вас, сударыня,— низко поклонился Павлуша.

Он понял, что это не простая особа, а что-то близкое к Меншикову; все знает: но кто она?..

Павлуша еще раз поклонился, еще ниже, и вышел озадаченный.

«Меншиков?.. Или?..— путалось в голове у Павлуши.— Нет, не Меншиков»,— решил он.

Перед ним выплыл несколько наглый, хотя красивый облик Анны Монс.

«Нет, эта прекраснее»,— снова решил Павлуша.

Так вон оно что!.. Неудивительно!..

«Кто ж она? Откуда? Иноземка, это несомненно... Александр Данилыч недавно ездил к войску в Ингрию и Ливонию... Оттуда, я чаю, он привез ее... Ну, Аннушка, води за нос Кенигсека, да только концы в воду хорони, на дно океана, да с камушком, а то всплывут али рыба проглотит, а рыбу рыбаки, пожалуй, выловят да к столу государеву поднесут»,— рассуждал сам с собою Павлуша.

Его что-то как бы толкнуло под сердце и ударило в голову...

«Мотренька... две капли воды... только Мотренька чернявее... Нет, Мотренька краше... для меня...»

Смущенный входил Павлуша во дворец.

«Говорить государю или не сказывать, что я ее видел?.. Надо сказать, коли спросит. Я от государя ничего не таю, как у попа на духу...»

Ему навстречу попался Орлов.

— Александр Данилыч у государя?— спросил Павлуша.

— Нет... Да ты что такой?— вглядывался в него Орлов.— Разве дворские девки опять тебя силком целовали? Я их, которую, силком целую, а они тебя... Счастливчик!

Павлуша торопился.

— Куда ты?— остановил его Орлов.

— Пусти, к государю...

— Да он по твоей роже узнает, что тебя дворские девки девства лишили,— не унимался Орлов.

Павлуша хотел было спросить его о том, что занимало его...

«А если и Орлов ничего не знает, а я наведу его на след?»— мелькнуло у него в уме. И врожденная осторожность удержала его от вопроса.

Еще более смущенный, вступил он в рабочий кабинет государя.

Петр задумчиво глядел на околдовавшее его местечко на карте, на дельту Невы.

Увидав Павлушу, государь быстро спросил:

— Что с тобой, Павел?

— Ничего, государь,— еще более смутившись, отвечал Павлуша.

— Не лги... Я всякий твой взгляд и вздох понимаю,— ласково сказал государь.— Ну, что же?

— Орлов все меня смущает, государь, пристает.

— С чем?

— С дворскими, государь, девками.
— Разве и ты уже?..
— О, нет, государь! Орлов говорит, будто меня дворские девки девства лишили.
Государь весело рассмеялся.
— Бедный царский денщик! Что с ним сделали!
— Нет, государь,— бормотал несчастный Павлуша,— они раз как-то меня силком поцеловали, с того и дразнит меня Орлов.
— Так силком таки добра молодца?— смеялся царь.— А что Меншиков?
— Он у графа Головина, государь, и сейчас прибудет.
— А от кого узнал?— спросил царь.
Ягужинский окончательно растерялся.
— Да что ноне с тобой, Павел? Ты сам не свой... Сказывай, от кого узнал, что Данилыч у Головина.
— Мне девушка сказала.
— Какая девушка?
— Там, у Александра Данилыча, государь. А кто она, не сказала.
Государь улыбнулся.
— А! Девушка... А как она показалась тебе?— спросил он.
— Красавица, государь... Я такой не видывал... Разве...
— Что разве?
— У Кочубея дочка, государь.
— Краше этой?
— Нет, государь.
— Так приглянулась хохлушечка?— улыбнулся царь.
Ягужинский покраснел и потупился.
— Ну, так женю, женю на хохлушечке,— потрепал государь по щеке своего любимца.— Кочубей же, сказывают, богат, как Крёз.
В это время вошел Меншиков.

X

По возвращении Меншикова из Ливонии вместе с Мартою Скавронскою, будущею императрицею Екатериною Алексеевною, государь, убедившись из личного доклада «Данилыча», что по всему южному побережью Финского залива и по южному же побережью Невы русское дело поставлено прочно, лично хотел убедиться, что

и из Белого моря нельзя ожидать нападения шведов, которые все время гоняли Августа из конца в конец Польши.

Оказалось, что север России не требует особенных забот. Значит, можно будет подумать теперь и о Неве, и о ее дельте, не дававшей спать Державному Плотнику.

Но прежде чем топор его застучит у устьев Невы, надо завладеть ее истоком из Ладожского озера.

— Там ключ от Невы,— говорил государь Павлуше Ягужинскому, которого он уже начал посвящать в государственные дела.— Добудем ключ и откроем ворота в Неву.

Это говорил царь, отплывая из Соловок в монастырскую деревню Пюхча, чтоб оттуда прямым путем направиться к Повенцу, а оттуда к Ладожскому озеру.

С государем было 4000 войска.

Но как пройти положительно непроходимые, непроницаемые лесные чащи, болота, топи и ужасные дебри?

Он первый берет топор и начинает пролагать себе путь, рубит просеку в вековечных борах. Это была работа титана: как древние мифические титаны воевали с богами, которые олицетворяли свою природу с ее таинственными силами, так Державный плотник стал воевать с природою Русского Севера.

— Данилыч, и ты, Павел, берите топоры и за мной!— сказал он и начал валить вековые сосны и березы.

И они первые открыли эту работу, а за ними войско и все крестьяне вотчин Соловецкого монастыря.

— Царь-от, царь, каки соснищи валит, страсть!— изумлялись крестьяне.

— По себе дерево рубит, ишь, гремит топорищем на весь бор!

— Силища-ту какова, братцы!

— Знамо, царска, не простая.

— В ем одном сидит сила всей матушки-России.

— Илья Муромец, да и только.

— А паренек-то, паренек старается!

Это о Павлуше Ягужинском.

Еще в сороковых годах нынешнего столетия, по свидетельству «Олонецких губернских ведомостей», держалось в народе предание, что так много было рабочих на прокладке вместе с солдатами этого титанического пути через леса, топи и болота, что на каждого человека будто бы досталось положить на протяжении всего пути одну только перекладину.

Конечно, это легенда, сказка.

От деревни Пюхча путь этот лежал к деревне Пулозер, где устроен был «ям» с крытою палаткой, где продавалось все необходимое для войска. От Пулозера, опять лесами и болотами, путь лежал к деревне Вожмосальме на протяжении 70 верст и через Темянки выходил на Повенец. Далее по заливу Выгозерскому был проложен плавучий мост к реке Выгу.

Здесь государю доложили, что вся местность эта заселена беглыми раскольниками, а ядро их — Выговская пустынь.

— Добро,— сказал государь, а обратясь к Меншикову, добавил:— В этом краю непочатый угол железной руды, так ты не медля поезжай и выбери место для завода, а раскольникам от моего имени скажи накрепко: слышно-де его царскому величеству, что живут здесь для староверства разных городов собравшиеся в Выговской пустыни беглые и службу отправляют Богу по старопечатным книгам, а ныне-де его царскому величеству для войны шведской и для умножения оружия и всяких воинских материалов угодно-де поставить два железных завода, один-де близ Выговской пустыни, то чтоб-де все раскольники в работах тем заводам были послушны и чинили бы всякое вспоможение, по возможности своей, и за то-де царское величество даст им свободу жить в той Выговской пустыни и по старопечатным книгам службы свои к Богу отправлять.

— А не будут работать, разнесу!— грозно добавил государь.

«И от того времени,— записано в «Истории Выговской пустыни»,— Выговская пустынь быти нача под игом работы, и начаша людие с разных городов староверства ради от гонения собиратися и поселятися овии по блатам, овии по лесам, между горами и вертепами и между езерами, в непроходных местах, селиться скитами и собственно келиями, где возможно».

— Не так древле Израиль стремился в обетованную землю, как я к ключу, запирающему вход в Неву,— говорил царь, стоя на берегу Онежского озера, где уже успели создать целую флотилию карбасов, на которых предполагалось пробраться в Ладогу и явиться у стен Нотебурга.

— Бог поможет тебе, государь, разрушить стены нового Иерихона,— сказал на это Меншиков.

— Обетованная...— произнес задумчиво Петр,—«обе-

щанная». Израилю Бог Иегова обещал ту страну... А мне кто?

— Твой разум, государь,— сказал Меншиков.

— Нет, Алексаша, не один разум, который бессилен без науки, без знания... Наука, знание дают все, что есть под луною!

XI

Царская флотилия в конце сентября того же 1702 года уже колышется на волнах многоводной Ладоги, точно стая бакланов. Казалось, счету нет этим бакланам!

На передовом, самом поместительном карбасе выделяется гигантская фигура царя. Он весь — внимание. Зрительная труба, казалось, замерла в его руке.

Стекла попали на искомую точку... Вот она!

— Вижу, вижу!— с трепетом восторга говорит Петр.

— Что видишь, государь?— спрашивает Меншиков, напрягая вдаль зрение...

— Орешек... мой будущий Шлиссельбург,— отвечает царь, не спуская взора с отысканной на западном горизонте точки.

Шведская крепость выделялась над горизонтом все явственнее и явственнее.

— А фортеца знатная,— задумчиво говорит царь,— твердыня, пожалуй, с норовом.

— Все же она, государь, дело рук человеческих,— заметил Меншиков.— А что руками сотворено, руками может и разрушено быть.

Шведская крепость все ближе и ближе. Там заметили флотилию русских, на стенах показалось движение.

Флотилия идет прямо на крепость. Там взвился белый дымок... что-то грохнуло... и ядро с брызгом погрузилось в воду.

— Салютуют,— улыбнулся царь и замахал в воздухе шляпой.— Ждите меня!

Снова дымок в крепости, и второе ядро нашло свою холодную могилу почти там же, где и первое.

— Не доносит,— сказал Меншиков,— силы нехватка.

Третье ядро упало у самого карбаса и обдало царя брызгами.

— Руля налево!— крикнул Меншиков кормщику.

Флотилия повернула влево, уходя от выстрелов.

Выстрелы еще повторились, но ядра уже не доносило до флотилии.

Когда флотилия приблизилась к берегу в нескольких верстах левее Нотебурга, государь приказал отделить от нее до полусотни карбасов и вытащить их на берег.

Петр развернул карту Невы с окрестными берегами и показал ее Меншикову.

— Вот тут, ниже Нотебурга, у Назьи-речки, укрепился Апраксин с своим отрядом,— указал он место на карте.— Понеже нам предстоит волоком перетащить туда сии карбасы под прикрытие леса, то ты, взяв несколько ратных людей с собою, сыщи волок наиболее удобный...

— Слушаю, государь,— отвечал Меншиков.

— А я останусь здесь с прочими карбасами и буду мозолить глаза крепости, чтоб отвлекать ее внимание от волока.

На другой день, едва только начало светать, как за сплошным лесом, тянувшимся по левому берегу Невы против Нотебурга и далее вниз, стали раздаваться дружные, знакомые всей России бурлацкие возгласы:

Ай, дубинушка, ухнем!
Ай, зеленая, подернем!
Подернем, подернем — уу!

Это ратные государевы люди тянули лямками по болотам и топям свои карбасы.

В другом месте слышалось:

Нейдет — пойдет — ухнем!
Нейдет — пойдет — ухнем!
Не шла — пошла — ууу!

Это ратные нижегородцы пели бурлацкий гимн. А за ними тамбовцы:

Просилася Дуня спать
На тясову каравать.
Нацуй, нацуй, Дунюшка,
Нацуй, нацуй, любушка!
Ууу!

А за этими симбирцы да казанцы:

Раз и дваaa — три — бяре!
Раз и дваaa — три бяре!
Уууу!

И над всем лесом стонало неумолкаемое эхо этих «уууу» и «ух»!

Эти уханья раздавались еще дружнее, когда ратные

видели, что приближается царь. А он тихо с своей небольшой свитой проезжал мимо влекомых карбасов на привезенных из Повенца карбасами выносливых лошадках, часто поощряя рабочих царским словом: «Спасибо, молодцы!»

— Ждет нас, поди, Борька, да и Апраксин скучает без дела за своим кронверком,— говорил государь, нетерпеливо поглядывая вперед.

— Теперь недолго ждать, государь,— успокаивал его Меншиков.

Проезжая мимо последней группы ратных, тащивших волоком карбасы с дружным уханьем, царь сказал:

— Считайте, молодцы, за мной добрую чарку зелена вина!

— Рады стараться, государь-батюшка!— грянули хором ратные.

XII

Царь с небольшой свитой, конечно, опередил тысячный отряд свой, который перетаскивал на себе карбасы и артиллерию с Ладоги в Неву, и прибыл в лагерь Шереметева и Апраксина после полудня.

Начальник и войско встретили своего государя с величайшею радостью.

— А мы дюже скучали по тебе, государь,— сказал Апраксин,— боялись, как бы не пришлось нам зимовать здесь.

— Провианту и иного чего опасались нехватки,— добавил Шереметев.

— Ну, зимовать вы будете на шведских квартирах,— улыбнулся царь,— да и провианту шведы заготовили для нас, чаю, с достатком.

— Не одни сухари,— улыбнулся Меншиков.

Сентябрь в тот год стоял хороший, ясные, теплые и сухие дни делали конец сентября похожим на лето.

Сделав некоторые предварительные распоряжения, государь направился к приготовленной для него просторной палатке с государственным гербом на флаге.

— Павел, иди за мной,— сказал он,— ты мне нужен.

— Слушаю, государь,— отвечал Ягужинский.

У входа в палатку стояли часовые. Увидя царя, они взяли на караул.

— Здорово, ребята!— молвил царь приветливо.

— Буди здрав, государь-батюшка!— был ответ.

Едва Петр распахнул полы палатки, как Ягужинский увидел, что та хорошенькая девушка, которую он перед тем видел в Москве, в доме Меншикова, с тихим радостным криком обхватила руками великана, который поднял ее как маленького ребенка. Ягужинский отступил назад и остановился за пологом.

Он услышал тихие восклицания и шепот:

— Здравствуй, Марфуша! Вот не ждал, не чаял.

— Здравствуй, государь, соколик мой!

— Как ты здесь очутилась?

— Александр Данилыч прислал из Повенца гонца с письмом, что ты, мой сокол ясный, скучаешь по своей Марфуше, так чтоб я прибыла сюда из Москвы, и я прилетела к тебе... с «шишечкой», как ты говоришь...

— А ты почем это знаешь, глупенькая девочка?

— Мамушка-боярыня мне сказывала, что «шишечка» зачалась...

— А мальчик или девочка?

— Того не сказала.

— Мальчика бы, а то мой Алексей плесень какая-то.

Ягужинский многое, даже очень многое понял из этого беглого диалога и пришел в ужас... Но Павлуша хорошо понимал государственную важность того, что случайно коснулось его слуха, и, как он ни был молод, хорошо умел молчать...

Это Меншиков сделал сюрприз государю, без его ведома выписав к войску Марту с ее небольшой придворной свитой... У полоняночки Марты Скавронской была уже своя придворная свита из мамушки-боярыни и «дворских девок», то есть фрейлин, за которыми, однако, придворный сердцеед Орлов не смел ухаживать.

«Шишечка»... мальчика бы... мой Алексей плесень какая-то»,— вспоминал Ягужинский сорвавшиеся с уст царя роковые слова, и ему стало страшно, что он их невольно подслушал... Страшные слова!.. Они обещают роковой переворот в престолонаследии... Как ни был молод Павлуша, но окружавшая его почти с детства государственная атмосфера научила его понимать всю важность того, что неизбежно должно было произойти в будущем... Молодость не помешала Ягужинскому видеть, что не такого наследника следовало бы царю-титану иметь, не такого, каков был царевич Алексей Петрович... Но за ним стояла вся старая Россия, все недовольное нововведениями сильное и богатое боярство, все озлобленное против церковных «новшеств» духовен-

ство, озлобленное притом кощунственными издевательствами над ним этих «всешутейших и всепьянейших соборов», этих «князей-пап», «княгинь-игумений», святотатственными «канунами Бахусу и Венере»... А все раскольники? А народ, долженствовавший выносить усиленные налоги и усиленную рекрутчину?

«Алексей — плесень...» Но эта плесень равносильна кедру ливанскому, каким иногда казался Ягужинскому Державный плотник. Страшная должна предстоять борьба этих двух сил...

Павлуша поторопился отойти дальше от страшной палатки и остановился в ожидании, не позовет ли его царь.

В это время к нему подошел Меншиков.

— Ты что же стоишь тут, на часах, что ли, в карауле?— спросил он с улыбкой.

— Государь приказал было мне идти за собой, но там он не один,— смущенно отвечал Ягужинский.— Его встретила...

— Знаю... что ж, обрадовался государь нечаянности?

— Кажись, очень обрадовался.

Но про «шишечку» и про «плесень»— ни гугу...

— Я знал, что обрадуется,— сказал Меншиков.— Еще в Архангельске вспоминал, бывало, про нее: «Что-де моя Марфуша?»—«Скучает,— говорю,— по тебе, государь».—«Хоть бы одним глазком,— говорит,— а то в походе,— говорит,— мы ни обшиты, ни обмыты...» Я и спосылал в Москву к мамушке-боярыне, чтоб, будто ненароком, сама-де соскучилась, давно не видавши светлых очей государевых... Ну, я рад, что так случилось... Так рад сам-то?

— Нарочито рад,— отвечал Павлуша.

— А то я и дубинки, признаюсь, побаивался... самовольство-де...

— Сказано: близко царя, близко смерти,— тихо молвил Ягужинский.

— Смерть не смерть, а дубинка ближе,— засмеялся в кулак Александр Данилович.

Они продолжали стоять, не зная, на что решиться.

— Теперь им, може, не до нас с голодухи,— улыбнулся Меншиков.— Уйти, что ли?

— Я не смею, Александр Данилыч, позвал... А вдруг окликнет,— нерешительно проговорил Ягужинский.

— Да, не ровен час, под какую руку...

В это время распахнулась пола намета, и выглянул оттуда сам государь.

— А, вы все тут? — сказал он.

— Что прикажет государь? — спросил Меншиков.

— Идите в палатку, дело есть.

Но в палатке уже никого не было: «знатная персона» ускользнула другим ходом.

XIII

На другой же день одна часть войска, меньшая, посажена была на привезенные сухим путем из Ладожского озера карбасы и двинулась вверх по Неве к Нотебургу; все же остальное войско шло левым берегом Невы.

Так как артиллерия не имела достаточно лошадей, то ратные люди везли пушки на себе, подобно тому, как везли они на себе и карбасы с Ладоги.

Не обходилось и здесь без «дубинушки», конечно, там, где нужно было втаскивать орудия на крутизну.

И здесь дело не обходилось без помощи силача Лобаря, который хотя и был возведен в чин капрала, однако все же оставался для простых ратных прежним добрым товарищем.

Частенько слышалось:

— Эй, Терентий Фомич! Будь друг, подсоби.

— Кой ляд! Чево там еще?

— Да «кума» заартачилась, нейдет да и на-поди!

«Кума» — это была одна тяжелая пушка. Ратные люди, чтобы легче запоминать орудия, по-своему окрестили их: одна пушка была «кума», другая — «сваха», третья — «повитуха», четвертая — «просвирня», еще одна «тетка Дарья» и так далее...

— «Тетенька», братцы, уперлась — и ни с места... Зовите Терентия Фомича.

Теперь уже товарищи не называли его Теренькой и Треней, а Терентием Фомичом, а то и просто дядей.

— У «просвирни» колесо в болотине застряло, чтоб ему пусто было.

— Кличь дядю живей!

— Да он с «повитухой» возится.

Между тем шведы, желая помешать русским стать и укрепиться против самого Нотебурга, поспешили возвести шанцы на левом берегу Невы.

Едва карбасы с посаженными на них двумя пятисотенными командами достигли того места на Неве, против которого находились шведские нововозведенные шанцы и откуда уже можно было обстреливать небольшую рус-

скую флотилию, как немедленно последовал орудийный залп.

— Кстись, ребята!— раздался зычный голос пятисотенного начальника.

Все перекрестились.

— Мочи глыбче весла! Мути воду! — пронесся по Неве голос другого пятисотенника.

— Пали во все, и на берег! Бери их голыми руками!

Последовал ответный русский залп.

— На берег! На шанцы!

И почти моментально карбасы очутились у берега, и русские стремительно лезли на шанцы, опережая друг друга.

Такая смелость ошеломила шведов, и они почти не защищались.

Когда все было покончено молодцами-преображенцами, запевала Гурин крикнул:

— Братцы! Выноси!

И он запел:

Ах, на что было огород городить!
Ах, на что было капустку садить!

И преображенцы «вынесли» своего запевалу: они залихватски отмахали забирательную плясовую песню, которую их потомки, почти столетие спустя, весело пели, когда, под начальством Суворова, брали Варшаву...

Государь вместе с своею свитой, а равно Шереметев и Апраксин наблюдали это молодецкое дело, и Петр сказал:

— Понеже шведы видели уже моих молодцов в деле с сею первою их фортецею, то, чаю, не захотят того же испытать на себе и на том берегу, того ради, избегая напрасного пролития крови, пошли ты, Борис Петрович, тотчас же к Шлиппенбаху письмо с предложением, на каких аккордах комендант Нотербурга намерен будет сдать тебе доверенную ему крепость.

— Государь!— сказал Шереметев.— Твое письмо крепче моего на него воздействует.

— Но ты фельдмаршал, а я только бомбардирский капитан,— возразил государь,— того ради тебе надлежит вязать и разрешать.

Письмо было послано. В нем говорилось, что осажденной крепости надеяться не на что и подкрепления ожидать неоткуда, все пути к ней отрезаны.

Посланный скоро воротился с ответным письмом Шлиппенбаха. Глаза царя блеснули зловещим огнем, когда он дочитал ответ коменданта.

— Что пишет он?— спросил Шереметев.

— Просит четыре дня отсрочки,— гневно отвечал Петр.

— Какой прок ему в отсрочке?

— Не смеет-де без разрешения начальства сдать крепость.

— А где его начальство, государь, в Польше или в Швеции?

— В Нарве... Горн.

При воспоминании о Нарве Петр пришел в величайший гнев.

— Так не давай же им, Борька, передохнуть! — сказал он Шереметеву.— Открой огонь изо всех орудий.

И канонада началась. Огонь был убийственный. Сам государь ходил по батареям, поощрял пушкарей, сам направлял орудия. Уже не раз от русских бомб загоралось в крепости, но шведы продолжали упорно держаться.

Наконец, на третий день русские увидели, что на стене крепости взвилось белое полотнище и немного спустя от берега у крепостных ворот отделилась лодка с «барабанщиком»-парламентером.

— Пардону просить,— улыбнулся Шереметев.

— Ну, теперь пардон вздорожал у меня на базаре,— заметил государь.— Надо было вовремя аккорды предъявить.

«Барабанщик» предстал «пред царя» и, преклонив колени, подал письмо Петру.

Государь вскрыл пакет, дав знать посланцу из крепости, чтоб он удалился.

Ироническая, довольная улыбка играла на его лице, пока он читал послание из Нотебурга.

— Видно по сему, что шведские жены знатно искусны в древней истории, а нас почитают за дикарей,— говорил царь, продолжая улыбаться,— русские-де варвары, истории и не нюхали.

— Что такое, государь?— спросили и Шереметев, и Апраксин.

— Пишет сие не Шлиппенбах, а его супруга, а купно с нею и все офицерские жены Нотебурга: слезно просят выпустить их из горящего города.

— Жарко, знать, стало,— заметил Меншиков.

— Жарко, точно,— сказал Петр,— из древней истории ведомо, что когда в таком же безвыходном положении, как сей Нотебург, очутился один осажденный город, то женщины оного и просили осаждавших дозволить им выйти из города. Те дозволили. Так ловкие бабы и девки вынесли на своих спинах мужей, братьев и женихов.

Шереметев рассмеялся:

— Ай да бабы! И силища, видно, у них была знатная.

— Так и эти замыслили то же проделать?— спросил Меншиков.

— Именно, Данилыч, и я им сие позволю: я напишу им, что не хочу опечалить их разлучением с супругами, а того ради, покидая город, изволили бы и любезных супружников вывести купно с собою.

Все невольно рассмеялись.

— Премудрый Соломон так не придумал бы, ха-ха-ха!— хохотал «Борька».

XIV

Русские готовили штурмовые лестницы. Стук топоров слышен был, несмотря на пушечную пальбу.

— Смотрите-ка, братцы, как сам батюшка царь топором работает, н-ну!

— Да и Александра Данилыч не промах, ишь как садит топором-то.

...Так разговаривали между собой ратные люди, приготовляя штурмовые лестницы.

Дело в том, что после иронического ответа госпоже Шлиппенбах и офицерским женам Нотебурга крепость продолжала упорно держаться.

В «Поденной записке» государь вечером приписал: «И с тем, того барабанщика подчивав, отпустил в город; но сей комплимент (ироническое послание) знатно осадным людям показался досаден, потому что, по возвращению барабанщика, тотчас великою стрельбою во весь день на тое батарею из пушек докучали паче иных дней, однако ж урона в людях не учинили».

— ...А мы чаяли, что ихний барабанщик покорность привез,— продолжали разговаривать солдаты.

— Коли бы покорность, не жарили б так, а то зараз учали бухать, как только энтот отставной козы барабанщик в ворота шмыгнул...

— И впрямь — отставной козы барабанщик!

— Так для че он приходил, коли не с покорностью?

— Торговаться, стало быть. А как не выторговали ни синь-пороху, ну и осерчали и учали пуще жарить.

— А мне сказывал верный человек, что барабанщика-ту подсылали ихние бабы, чтобы их выпустили без обиды.

— Вон чего захотели, сороки!

— То-то... А батюшка царь им в ответ: приведите-де к нам с собой муженьков своих...

— Ха-ха-ха! Вот загнул батюшка царь! Уж и загнул!

Между тем усиленная канонада продолжалась с обеих сторон.

— Ох, застанет нас тут зима,— жаловалась Марте мамушка-боярыня.

— Что ж, мамушка, нам тут холодно и зимой не будет,— утешала ее девушка,— вот в палатках было бы неспособно зимой... А как государь построил нам эти горницы, так, по мне, хоть бы и зимовать.

— Что и говорить, красавица! Тебе-то, молоденькой, все с полгоря, а старым-то костям на Москве спокойнее,— говорила Матрена Савишна, мамушка-боярыня.

Но зимовать под Нотебургом не пришлось.

Упорство осажденных начало выводить из себя государя.

— Не дожидаться же нам тут, как под Нарвой, прихода Карла,— сердился Петр.

— Помилуй, государь, как ему к зиме эку даль тащиться?— говорил Шереметев.

— Морем не далеко, а море не замерзает: надул ветер паруса, и он тут как тут,— продолжал государь.

И он решил скорей достать заколдованный «ключ».

В ночь на 11 октября он сам, в качестве капитан-бомбардира, открыл такую адскую канонаду по крепости, что внутри ее разом вспыхнуло во многих местах, а бреши в крепостных стенах делались все заметнее и заметнее.

— На штурм!— бесповоротно решил Петр.— С Богом!

Работа закипела. Мигом переполненные ратными людьми карбасы с осадными лестницами, словно бесчисленные стаи воронов, обсыпали собою берега у крепости, и люди точно муравьи ползли на стены и в бреши, пробитые в башнях и в куртине, и завязался отчаянный бой.

Шведы геройски отстаивали свою твердыню и жизнь,

но и русские жестоко остервенились, мстя за Нарву и за упорное сопротивление.

— Это вам не Ругодев!— хрипел от ярости богатырь Лобарь, прокладывая в бреши для себя и для товарищей улицу по трупам осажденных.

В помощь русским явился пожар, который все жесточе и жесточе пожирал внутренности крепости, и шведы должны были отбиваться разом от двух беспощадных врагов: от огня и от русской ярости. Но потомки варягов не уступали.

Ожесточение с той и с другой стороны все возрастало, и отчаяние придавало невероятную силу теснимым к смерти варягам. Но их оставалось уже немного, и подкрепления не было, а к изнеможенным русским приливали свежие силы еще не вступавших в бой товарищей.

— Это вам не Ругодев!— кричал Терентий Лобарь.

Наконец шведы попросили пощады.

Шлиппенбах выслал к царю вестника покорности и мира, прося позволения выйти из павшей крепости остаткам гарнизона и женщинам с детьми, дабы укрыться за стенами еще не павшей шведской твердыни Ниеншанца, этого последнего стража Невы — теперь уже для русского царя не «чужой реки»...

Петр великодушно дозволил смирившемуся врагу удалиться неуниженным, с воинской честью: взять из крепости, как бы на память, четыре пушки и выйти из стен уже «чужой» ему крепости с распущенными знаменами и с барабанным боем.

Что может быть больнее для сердца воина, как подобное прощание с потерянным навсегда достоянием родины!..

Радость царя была безмерная:

«Моя, моя Нева! Моя дельта! Мое море!»— колотилось у него в душе.

Но когда его приближенные поздравляли «с знатною викториею», он с улыбкой удовлетворенного желания сказал:

— Жесток зело сей орех был, однако, слава Богу, счастливо разгрызен.

«Орешек» уже не существовал для Петра, он «разгрызен», не существовал и Нотебург: в уме его был только «ключ» в Неву.

— Да будет же с сегодня Орешек — Шлиссельбур-

гом,— торжественно провозгласил он и сам прибил добытый у врага ключ к крепостным воротам.

Вместе с тем царь назначил Меншикова губернатором нового русского города.

Хорошенькая Марта думала, что на радостях ее господин задушит ее в своих объятиях.

— Ах, какой ты сильный, Петрушенька!.. Легче, милый,— шептала она,— не задави нашу «шишечку»...

XV

Вскоре после взятия Нотебурга и переименования его в Шлиссельбург государь уехал на зиму в Москву.

Прощаясь со своими военачальниками, с фельдмаршалом Шереметевым и графом Апраксиным, царь сказал:

— Продолжайте начатое нами с Божией помощью дело, и Бог дарует нам полную викторию.

Те почтительно поклонились...

— А ты, Данилыч,— обратился Петр к стоявшему тут же шлиссельбургскому губернатору, к Меншикову,— распорядись заготовить в Лодейном поле толикое количество боевых судов, чтобы оными можно бы было запрудить всю Неву! Весною я прибуду сюда — и дельта Невы подклонится под мою пяту. Там я топором своим срублю новую столицу России и прорублю окно в Европу.

— Аминь! Аминь! Аминь!— восклицали царские вожди.

Меншиков же добавил:

— И дальнейшие потомки, государь, назовут тебя... Державным плотником, а историки скажут: «Петром началась история России!..»

Зиму 1702—1703 года государь провел в Москве. Работа шла лихорадочно: радость первой победы у входа в «невские ворота», казалось, удесятеряла его силы...

Павлуша Ягужинский из-за своего рабочего стола украдкой наблюдал за ним и ликовал в душе: он боготворил эту гениальную силу.

Вдруг Павлуша заметил, что лицо царя озарилось счастливой улыбкой и губы его что-то шептали...

«Шишечка»,— послышалось Ягужинскому; но что означает эта «шишечка», он даже в застенке на дыбе не выдал бы всеведущему князь-кесарю.

Значение этого слова было известно только самому царю да красавице Марте Скавронской, будущей императрице Екатерине I, Ягужинский же догадывался о роковом для кого-то (он знал — для кого) смысле этого таинственного слова.

— Павел, поди сюда,— позвал государь Ягужинского.

Петр стоял в это время у одного стола, на котором лежал большой лист бумаги с чертежом, изображавшим топор.

— Видишь сей чертеж?— спросил государь.

— Вижу, ваше величество, топор.

— Так возьми сей чертеж и закажи по нем сделать топор из лучшей стали.

— Слушаю, государь.

— Знаешь в немецкой слободе мастера Амбурха?— спросил Петр.

— Знаю, государь.

— Так у него закажи.

В эту минуту в кабинет вошел фельдмаршал Шереметев, наблюдавший в Москве за сбором и снаряжением войска к предстоящему весеннему походу.

— Вот топор себе заказываю,— сказал Петр вошедшему с глубоким поклоном Шереметеву.

— Мало у тебя топоров, государь,— улыбнулся фельдмаршал, указывая глазами на столярные и плотничные инструменты царя.

— Это, Борис Петрович, особь статья,— улыбнулся Петр,— сей топор будет всем «топорам топор».

— Какой же это такой, государь, «топорный царь»?— улыбался и Шереметев.

— Этим топором я Москве голову усеку,— продолжал загадочно Петр.

— За что такая немилость, государь?— спросил Шереметев.

— А за то, что она, как крот, в старину зарывается и от света закрывается... Сим топором я срублю для России новую столицу.

Глаза Петра вспыхнули вдохновением.

— Помоги, Господи!— поклонился боярин.— В коем же месте, государь, умыслил ты новую Москву строить?

— Не Москву, боярин, Москва Москвой и останется... А я при устье Невы срублю мою столицу. И я срублю ее сим топором, да и оконце в Европу прорублю.

— Дай, Господи! Одначе устье Невы надо еще добыть.

— И добудем... Сколько ты успел собрать рати?

— Всего, государь, у меня рати тысяч двадцать: семеновцы с преображенцами, да два полка драгун, да пехоты двадцать батальонов.

— Сего за глаза достаточно... Как только грачи да жаворонки прилетят, так и выступай в поход.

— Слушаю, государь.

— А потом и я за тобой не умедлю.

С последними словами Петр задумался. Шереметев почтительно ждал.

— Да вот что, Борис Петрович,— очнувшись от задумчивости, сказал Петр,— возьми с собою в поход и царевича... Пора Алексею привыкать к воинскому делу... Зачисли его в Преображенский... у преображенцев есть чему поучиться.

— Слушаю, государь,— поклонился Шереметев.

Петр опять задумался, вспомнив о царевиче.

«И в кого он уродился?— невольно думалось ему.— Точно кукушка в чужое гнездо его подбросила... Точно не моего он семени... Не по его голове будет шапка Мономахова, не по Сеньке шапка... Кабы «шишечка»...»

И лицо его опять просветлело.

Ягужинский стоял в нерешительности с чертежом в руках.

— Ты что, Павел?— спросил царь.

— Из какого дерева, государь, повелишь топорище к топору пригнать?— спросил Павлуша.— Из дуба али из ясени?

— Пальмовое... да из самой крепкой пальмы,— был ответ.

— И такой величины топор, государь, как здесь, на чертеже?

— Такой именно.

Шереметев взглянул на чертеж, и его поразили размеры топора.

— Воистину, государь, этот топор всем топорам царь,— сказал он,— ни одному плотнику с ним не справиться.

— Так и должно быть,— торжественно сказал Петр,— слышал мои слова? Сим топором я срублю новую столицу для России и прорублю окно в Европу!

XVI

Петру, однако, не сиделось в Москве: вся душа его была там, где Нева вливала свои могучие струи в море.

Он прибыл в Шлиссельбург в апреле, обогнав на пути Шереметева с войском.

— Торопись, Борис Петрович,— сказал он последнему,— грачи не токмо что давно прилетели, но уж и в гнезда засели.

— Добро им, государь, с крыльями,— почтительно возразил Шереметев.— Одначе к вскрытию Невы я беспременно буду к Шлиссельбургу.

— А что царевич?— спросил Петр.

— Помаленьку навыкает, государь.

«Не навыкнет,— подумал Петр.— То ли я был в его годы?..»

Царь, наконец, в Шлиссельбурге.

Он осматривает крепостные работы, производившиеся под наблюдением Виниуса, того самого, что отливал пушки из колоколов новгородских церквей.

Петр гневен. Ягужинский, неотступно следовавший за ним с портфелем и письменными принадлежностями, с ужасом видел, что страшная дубинка царя поднялась над неприкрытою седою головою старого Виниуса... Вот-вот убьет старика... Они стоят на крепостной стене, обращенной к Неве.

— Тебя бы стоило сбросить сюда со стены, как негодную ветошь!— раздался грозный голос царя.

— Смилуйся, великий государь, помилуй!— трепетно говорит Виниус.

— Где боевые припасы?

— Непомедля придут, государь... за распутицей опоздали...

— А лекарства для войска?

— По вестям, государь, недалече уж.

— Со шведской стороны слаба защита крепости!— гремит гневный голос.

Несмотря на адский стук и лязг нескольких тысяч топоров, на визг множества пил, ужасающий скрип тачек, которыми подвозили к крепости десятки тысяч солдат и согнанных на работы со всего северо-восточного угла России крестьян, страшный голос гневного царя гремел, как труба страшного, последнего суда.

— Разносит... разносит!—с испугом шептали работавшие на крепости, и еще громче потрясали воздух стук и лязг топоров, визг пил и скрип тачек.

— Кого разносит?

— Старого Винигуса.

— О, Господи! Спаси и помилуй.

Вдруг отчетливо выделился из всего шума звонкий, юношеский голос.

— Упали в воду!.. Тонут!.. Спасите!— в ужасе кричал Ягужинский.

Все на мгновение смолкло.

— Кто упал?—прогремел голос царя.—Павел зря кричать не станет... Кто тонет?

— Кенигсек, государь, да лекарь Петелин... Вон с тех досок упали в канал... Вон видно руки... борются со смертью...

— Живей лодок! Багров! Тащите сети!

Это уже распоряжался царь. Куда и гнев девался! Его заступило царственное человеколюбие — человеколюбие, которое через двадцать с небольшим лет и унесло из мира великую душу величайшего из государей... Известно, что в конце октября 1724 года Петр, плывя на баркасе к Систербеку для осмотра сестрорецкого литейного завода, увидел недалеко от Лахты севшее на мель судно, которое плыло из Кронштадта с солдатами и матросами, и тотчас же бросился спасать людей, потому что судно, потрясаемое волнами, видимо погибало. Великодушный государь, добрый гений и слава России, сам бросился по пояс в воду, в ледяную воду конца октября! Всю ночь работал в этой воде, спасая людей, которых не успело унести бушевавшее море, и хотя успел спасти жизнь двадцати своим подданным, но сам схватил смертельную простуду и через несколько месяцев отдал Богу свою великую душу...

Это ли не величие!

И теперь здесь, в Шлиссельбурге, забыв Виниуса, свой гнев, нашествие шведов и все на свете, Петр, стремительно сбежав с крепостной стены, так что за ним не поспевали ни Меншиков, ни Ягужинский, моментально вскочил в первую попавшуюся лодку и, чуть не опрокинув ее, начал работать багром, страшно бурля воду в канале.

— Не тут... спускай лодку ниже... их унесло водой,— торопливо командовал он матросам.

И опять багор пенит воду в канале.

— Нет... еще ниже двигай...

Багор не выходил из воды.

— Данилыч! Вели закидать сети ниже, наперехват утопшим...

— Сам закидаю, государь... Помоги, Господи!

Багор что-то нащупал.

— Стой! Ошвартуйте лодку веслами... Здесь!..

И багор, поднимаясь из воды, поднимал на ее поверхность что-то вроде мешка...

То была спина утопленника. Скоро показались болтавшиеся, как плети, руки и ноги... повисшая долу голова... мокрые черные волосы, с которых струилась вода...

— Кенигсек! Благодарение Богу... может, отойдет.

И царь снял шляпу и перекрестился.

— Ищите других!.. Они тут, должно быть, недалече.

Из толпы солдат и рабочих, стеною стоявших вдоль канала, послышались возгласы:

— Не клади на землю утопшего, государь! Не клади!

— Качать ево! Качать!

— Сымай кто зипун! На зипун ево! Живо, братцы!

На берег из лодки полетел кафтан.

— Сам царь-батюшка не пожалел своей государевой одежи,— слышалось на берегу.

— Пошли ему, Господи, Царица Небесная!

Государь бережно поднимает утопленника, как малого ребенка, тревожно смотрит в его бледное лицо, посиневшее, еще за несколько минут такое прекрасное лицо и так же бережно передает несчастного на руки подоспевшим с Меншиковым матросам.

Утопленника кладут на растянутый царский плащ.

— Качайте... качайте, дабы изверглась из него вода... А ты, Данилыч, обыщи его карманы... нет ли важных государственных бумаг.

Меншиков вынимает из карманов утопленника несколько пакетов, отчасти подмоченных.

— Отдай их Павлу... пускай отнесет в мою ставку и запечатает моей малой печатью... на досуге я сам разберу.

Меншиков отдал пакеты Ягужинскому.

— Нащупали!— крикнули с другой лодки, что была пониже.

— Подавай на берег! Да легче!

— Вот бредень, братцы, на бредне способнее качать!

— А другого на рогожу клади, рогожа чистая.

И началось усиленное качание трех мертвых тел.

Царь стоит около Кенигсека и не спускает глаз с его посиневшего лица, перекатывающегося с правой щеки на левую и — наоборот...

«Не изрыгается вода, не изрыгается... вот печаль! Какого нужного человека лишаюсь! Новый бы Лефорт был».

Царь подходит к покачивающемуся утопленнику и осторожно дотрагивается до его высокого, мраморной белизны лба.

— Холоден, как лед...

— Вода студена, государь,— тихо говорит Меншиков.

— От ледяной воды, поди, сердце замерло, не выдержало.

— Знамо, государь, и не от такой воды дух захватывает, а тут долго ли?

Петр, Меншиков и два матроса сменяют прежде качавших.

— Тряси дружней, вот так: раз-два, раз-два...

Жалкое, безжизненное, беспомощное тело!..

— Наддай еще! Тряси!..

— Эх, государь, кабы в нем была душа, давно бы вытряхнули,— тихо говорит Меншиков.

— Так думаешь, нет уже ее в нем?

— Думаю, государь; она ведь из воды умчалась в ту страну, где ей быть предопределено, може, в рай светлый, може, во тьму кромешную.

Между тем Ягужинский, придя в царскую палатку (государь не хотел жить в крепости, в доме, а, предпочитая свежий воздух открытого места, велел разбить себе палатку вне крепостных стен), чтоб запечатать вынутые из карманов утопшего Кенигсека бумаги в отдельный пакет, положил их на стол и при этом нечаянно выронил из одного конверта что-то такое, от чего он со страхом отшатнулся...

— Что это? — шептал он побледневшими от страха губами.— Она сама?.. У него?..

Он дрожащими руками взял конверт, из которого выпало это что-то страшное, и вынул оттуда розовые листки, которые привели его в еще больший ужас...

«Ее почерк... Господи!»

Листки выпали из его дрожащих рук.

«Сжечь все это... уничтожить...»

Он торопливо зажег свечу.

«Сожгу... жалеючи государя, сожгу... А того не жаль, его уже не откачать... И ее не жаль».

...Листки и то страшное — у самого пламени свечи.

«Нет, не смею жечь... Пусть будет воля Бога... А я от своего государя ничего не скрывал и этого не скрою. Пусть сам рассудит».

И Ягужинский взял со стола отдельный поместительный конверт, вложил в него бумаги Кенигсека и то... страшное с розовыми листками... и все это запечатал малой царской печатью.

XVII

Уже поздно ночью в сопровождении только Ягужинского возвратился царь из крепости в свою ставку.

— Какой пароль на ночь? — спросил он вытянувшегося перед ним у входа в палатку богатыря преображенца.

— «Март», государь,— шепнул преображенец.

— Не «Март», а «Марта»,— поправил его царь.

Войдя в палатку и поставив в угол дубинку, он спросил Ягужинского:

— Где бумаги Кенигсека, которые я велел тебе запечатать? И не ждал, не гадал, и вот стряслось горе. Какого человека потеряли! Эх, Кенигсек, Кенигсек!

Ягужинский побледнел. Царь заметил это.

— Что с тобой, Павел? — спросил он.— Ты нездоров?

— Нет, государь, я здоров,— с трудом произнес Павлуша.

— Простудился, может?

— Нету, государь.

— Но ты дрожишь. Может, я тебя замаял, утомил?

— Нету, государь, с тобой я никогда не утомляюсь.

— Не говори. Вон и Данилыч к ночи еле ноги таскал, а он не чета тебе, цыпленку. Так где бумаги Кенигсека?

— Вот, государь,— подал Павлуша страшный пакет.

— А, хорошо. А теперь ступай спать, отдохни... Завтра рано разбужу... Похороним Кенигсека и Лейма с Петелиным да и за работу... Экое горе с этим Кенигсеком!.. Ну, ступай, Павлуша, ты на ногах не стоишь.

Павлуша, взглянув на страшный пакет, медленно удалился в свое отделение палатки, откуда слышен был малейший шорох из царского отделения.

И вот слышит Павлуша: царь потянулся и громко зевнул.

«Спать хочет, видимо хочет, а не уснуть ни за что, не просмотревши бумаг, что в проклятом пакете»,— мысленно рассуждает с собой Павлуша.

Слышит, звякнула чарка о графин.

«Сейчас будет пить анисовку... Пьет... Вторая чарка...»

Слышится снова зевок...

«Ох, не уснет, не уснет».

Вдруг Павлуша слышит: хрустнула сургучная печать. Сердце его так и заходило...

Зашуршала бумага...

— Ба! Аннушка!—слышит Павлуша.—Анна! Как она сюда попала к Кенигсеку? Стащил разве? Да я у нее не видел этого портрета...

Голос царя какой-то странный, не его голос.

Ягужинского бьет лихорадка.

— А! Розовые листочки... Ее рука, ее почерк...

«Господи! Спаси и помилуй... Увидел... читает...»

— А! «Mein Lieber... mein Geliebter!»[1]

Голос задыхается... Слова с трудом вырываются из горла, которое, казалось, как будто кто сдавил рукой...

— Га!.. «Deine Liebhaberin... deine Sclavin...»[2] Мне так не писала... шлюха!..

Что-то треснуло, грохнуло...

— На плаху!.. Мало — на кол!.. На железную спицу!..

Опять звякает графин о чарку...

Снова тихо. Снова шуршит бумага...

— Так... Не любила, говоришь, ево... это меня-то... тебя-де люблю первого... «deine getreueste Anna...»[3]. И мне писала «верная до гроба». Скоро будет гроб... скоро...

Чарка снова звякает...

«Опять анисовка... которая чарка!..»

— А! Улизнул, голубчик! В воду улизнул... не испробовал ни дубинки, ни кнута... А я еще жалел тебя... Добро!..

Слышно Павлуше, что тот встал и зашагал по палатке...

«Лев в клетке, а растерзать некого... жертва далеко...»

Что-то опять треснуло, грохнуло...

---

[1] Мой дорогой... мой возлюбленный! *(нем.)*
[2] Твоя любовница... твоя раба! *(нем.)*
[3] Твоя вернейшая Анна... *(нем.)*

«Ломает что-то с сердцов...»

— Так не любила?.. Добро! Змея... хуже змеи... Ящерица... слизняк...

Он заглянул в отделение Ягужинского. Павлуша притворился спящим и даже стал похрапывать.

— Спит... умаялся.

Воротившись к себе, государь снова зашагал по палатке...

— Видно, давно снюхались. Немка к немцу... чего лучше!.. То-то ему из саксонской службы захотелось в русскую, ко мне, чтобы быть ближе к ней... Улизнул, улизнул, голубчик... Счастлив твой Бог... А эта, Анка, не улизнет... нет!

Опять зашуршали бумаги...

«Читает... Что-то дальше будет?» — прислушивается Ягужинский.

Долго шуршала бумага... не раз снова звякал графин о чарку... И хмель его не берет, особенно когда гневен...

— Черт с ней, этой немкой!.. У меня Марта, Марфуша... Эта невинною девочкой полюбила меня. И будет у нас «шишечка».

Голос заметно смягчился...

— Только бы добыть Ниеншанц да дельту Невы... Добуду!.. Не дам опомниться шведам... А там срублю свою столицу у моря... Вот тем топором... Я давно плотник... Недаром и Данилыч назвал меня Державным плотником... Данилыч угадывает мои мысли... И прорублю-таки окошко в Европу... А там прощай, Москва... Ты мне немало насолила... В Москве и убить меня хотели, и отнять у меня престол... Москва и в антихристы меня произвела... Экое стоячее, гнилое болото!.. Теперь эта подлая Анка рога мне наставила, и все из-за Москвы... Нет! Долой старое, заплесневелое вино... У меня будет новое вино, и я волью его в новые мехи...

Петр имел обыкновение говорить сам с собою, особенно по ночам, когда и заботы государственные волновали его, когда новые планы зарождались в его творческой, гениальной голове. Ягужинский это знал и, находясь при царе неотлучно, ранее других подслушивал тайны великого преобразователя России.

— Ну, и черт с ней! Не стоит она ни плахи, ни кола... Все же была близка по плоти.. В монастырь бы следовало заточить, да нельзя, неправославная... А то бы

вместе с моею Авдотьей пожила там... Постриг бы ее в Акулины... Вот тебе и Анетта, Анхен, Акулина!

«Опять вспомнил об Анне Монс... Только уж сердце, кажется, отходит»,— думает Павлуша, продолжая прислушиваться.

— Черт с ней... А за обман накажу... Запру у отца и в кирку не позволю пускать... Пусть знает, как царей обманывать... Уж Марта не обманет, чистая душенька...

Он немного помолчал и потом вновь начал ходить по палатке, но уже не такими бурными шагами.

«Отходит сердце, слава Богу, отходит»,— думал про себя Ягужинский.

Петр опять заговорил сам с собою:

— А напрасно я ноне накричал на старика и чуть с раскату не сбросил... Ну, да старый Виниус знает меня, мое сердце отходчиво. К вечеру и артиллерийские снаряды прибыли и лекарства для войска. Теперь же, не мешкая, и двинемся к шведскому Иерихону, к обетованной земле... Нечего мешкать... Время-то летит, его не остановишь, а дела по горло. Для меня всегда день короток... Иной раз так бы и остановил солнце, чтобы подождало, не двигалось... Токмо мне не дано силы Иисуса Навина, а то и остановил бы солнце.

Он ходил все тише и тише. Потом Ягужинский видел из своего отделения, как гигантская тень царя, заслонив собою верх палатки, спустилась вниз.

Павлуша догадался, что царь сел к письменному столу.

— Ин написать на Москву, чтоб поторопились... Понеже...

«Понеже его любимое слово... Значит, будет писать приказы»,— решил Ягужинский и моментально заснул молодым здоровым сном.

Рано утром, когда он проснулся, то увидел, что в отделении у царя уже было освещено.

— Понеже,— доносилось из царского отделения и слышался скрип пера.

«Опять пишет... Да полно, не всю ли ночь не спал?»— недоумевал Павлуша, входя в отделение, где за письменным столом сидел государь.

— А, Павел,— заметил он вошедшего Ягужинского.— Выспался ли вдосталь, отдохнул?

— А как государь изволил почивать?— поклонился Ягужинский.

— Малость уснул, с меня довольно,— отвечал царь.

Потом, взглянув в лицо Ягужинского, Петр спросил:

— Вечор, когда ты запечатывал бумаги Кенигсека, видел, что печатаешь?

Павлуша смутился, но тотчас же оправился и откровенно сказал:

— Ненароком, государь,— выскользнули из пакета...

— А читал?

— Ненароком же, государь, увидел и, не читая, тотчас же запечатал.

— Будь же нем, как рыба.

— Знаю, государь, свой долг и крепко держу крестное целование.

— Ладно... Поди скажи Меншикову, чтобы не ждали меня и сейчас похоронили бы утопших... Мне недосуг, спешка в работе.

Он не мог бы теперь вынести вида своего врага, даже мертвого.

И опять перо заскрипело по бумаге.

XVIII

В тот же день русское войско под начальством Шереметева двинулось вниз по Неве к Ниеншанцу.

24 апреля, в расстоянии пятнадцати верст от этой крепости, Шереметев созвал военный совет, на котором присутствовал и царевич Алексей Петрович.

Решено было сделать рекогносцировку.

— Кого, государь, повелишь употребить в сию разведочную кампанию?— спросил Шереметев.

— Ты главнокомандующий, Борис Петрович, и тебе подобает указать, кого употребить на сие дело,— отвечал Петр.— Я только капитан бомбардирской роты.

— Я полагал бы, государь, послать полковника Нейдгарта,— сказал Шереметев.

— Полковника Нейдгарта я знаю с хорошей стороны,— заметил Петр.— В разведочной службе показал себя и капитан Глебовский.

— Я сам о нем думал, государь,— согласился Шереметев.

— Так пошли их с двухтысячным отрядом на больших лодках, кои уже имели дело со шведами на Ладоге,— решил государь.

Потом, обращаясь к царевичу, который, по-видимому,

рассеянно слушал, о чем говорили, сказал с иронией в голосе:

— Ты тоже, Алексей, пойдешь с сим отрядом: тебе пора учиться быть воином, а не пономарем, каковым ты был доселе.

Иногда государь называл царевича «раскольничьим начетчиком», зная его пристрастие к старине и к старопечатным книгам, которые тайно подсовывали московские враги петровских «богопротивных новшеств».

В тот же день отряд был посажен на лодки и двинулся вниз по Неве.

В число охотников вызвался и Терентий Лобарь, которого товарищи прежде дразнили женитьбой и прочили ему в жены... Марту!

В глубочайшей тишине спускалась по Неве разведочная флотилия. Она представляла как бы огромную стаю плывущих по реке черных бакланов. И кругом стояла мертвая тишина. По обоим берегам реки темнели сплошные леса, среди которых только березы начали чуть-чуть зеленеть первою листвою, а темная зелень сосен и елей придавала ландшафту вид какой-то суровости. Изредка раздавались первые весенние щебетанья птичек, прилетевших в этот пустынный край с далекого юга, от теплых морей.

Время подходило уже к полуночи, когда флотилия находилась уже недалеко от Ниеншанца, однако ингерманландская белесоватая ночь в конце апреля глядела на растянувшуюся стаю черных бакланов во все глаза.

— Экие здешние ночи: ни она ночь заправская, ни она тебе день,— говорил Нейдгарт, подходя к царевичу Алексею Петровичу, сидевшему в передовой части лодки и безучастно глядевшему на однообразные картины Невы,— как тут укроешься от вражьего ока, коли дозор в исправности!

— А шведы ожидают нас?— спросил царевич.

— Как не ожидать, государь царевич! Чать, вести и сороки на хвостах принесли, что-де его царское пресветлое величество жалует к соседям в гости.

— Что ж, нас встретят боем?

— Знамо, коли они нас ранее дозорят, а не мы их: затем-то мы и крадемся, ровно мыши к амбару.

Царевич вздохнул и стал вглядываться в дымчато-белесоватую даль.

— Теперь бы уж и недалече,— сказал Нейдгарт, взглянув на имевшийся у него набросок чертежа Невы.— Да и темнеет как будто малость. Это нам на руку.

И он велел тихонько передавать от лодки к лодке приказ, чтобы вся флотилия вытянулась в линию и двигалась у самого правого берега Невы.

— Только бы правые весла не хватали земли,— пояснил он.

Но вот вдали показались чуть заметные признаки укреплений.

Передовая лодка тихо подплыла к наружному валу, а за нею и другие. Из тех, которые ранее пристали к берегу, в глубочайшей тишине высаживались люди, шепотом передавая друг другу приказание Нейдгарта и Глебовского.

— Сомкнуться лавой и на верх вала!

— А там увидим, кого бить.

Передовая «лава» быстро влетела на вал. Шведы, не ожидавшие врага, беспечно спали на передовом посту. «Дядя Терентий», вступивший на вал в голове «передовой лавы», первый наткнулся на спавшего «на часах» шведа...

— На бастион! За мной!— скомандовал Нейдгарт.

— Где царевич? Я его не вижу!— с тревогой искал Глебовский Алексея Петровича.

— Царевич позади, на валу: он в безопасности,— успокоил Глебовского один офицер,— с ним люди.

Гарнизон бастиона, пораженный неожиданностью, также растерялся и, побросав оружие, обратился в бегство, чтоб укрыться в ближайшем редуте.

Бастион был взят.

— Спасибо, молодцы!— радостно воскликнул Нейдгарт.— Оправдали надежду на вас батюшки царя.

Вся крепость теперь забилась тревогой.

Что оставалось делать горстке героев?

— Нам приказано только произвести разведку, сиречь рекогносцировку,— отвечал Нейдгарт на вопросительные взгляды Глебовского.— А мы взяли бастион.

— Так возьмем и крепость!— смело воскликнул Глебовский.

— Возьмем!— крикнули преображенцы.

— Голыми руками возьмем.

— Головой «дяди Терентия Фомича» добудем, как сказал батюшка царь.

— Нет, братцы, спасибо вам за усердие, а только ба-

тюшка царь послал нас сюда лишь для разведки, а не крепость брать,— сказал Нейдгарт.— Ее возьмет сам государь.

По этому поводу историк говорит весьма основательно:

«После такого успеха (взятие бастиона), не много б, казалось, недоставало к занятию остальных укреплений, оборняемых только 800-ми человек; но — неоказание содействия войскам, ворвавшимся в бастион, сомнительная надежда на успех и неимение приказаний на дальнейшие предприятия, кроме рекогносцировки, были причинами, что атакующие, не воспользовавшись приобретенными уже выгодами, отступили. Шведы, имев время прийти в себя от первого изумления и увидев удаление россиян, ободрились, взяли меры предосторожности на случай нового нападения и, приготовясь, таким образом, к отпору, заставили своих неприятелей потерять неделю времени».

Таким образом, победители оступили.

Когда затем разведочная флотилия возвратилась в лагерь к остальным войскам и царь узнал подробности дела, он щедро наградил храбрецов, а «дядю Терентия» горячо обнял и поцеловал.

— И чем же, государь, сей «Самсон» победил шведов...— сказал, улыбаясь, Шереметев.

— А чем?— спросил царь.

— Головою, да только не своею.

— Как так не своею?..

— Шведскою, государь,— улыбнулся Шереметев.— Ворвавшись с товарищами на вал, сгреб сонного шведина за ноги и давай его головою, словно цепом, колотить направо и налево, как когда-то Илья Муромец молотил татаровей царя Калина:

Где махнет — там улица татаровей,
А отмахнется — с переулками...

— Так их же добром да им же и челом!— рассмеялся Петр.— Ну, и молодец же ты, вижу, дядя!

Восхищенный такою силой, государь жаловал богатырю пять ефимков.

[1] Вашуцкий Александр. Панорама Санкт-Петербурга. Три тома. Спб., 1834. Т. 1. С. 9.

XIX

В тот же день, в ночь на 26 апреля, царь Петр Алексеевич и Шереметев, поняв свою оплошность, быстро двинули все войска и флотилию к Ниеншанцу.

Перед наступлением войск у царя, наедине с Шереметевым, в палатке, произошел следующий разговор:

— Знаешь, старый Борька, что я тебе скажу?— промолвил царь.

— Говори, государь, приказывай,— отвечал Шереметев.

— Видишь, что там в углу?

— Вижу, государь, твоя государева дубинка.

— А знаешь, где бы ей следовало быть?

— Не ведаю, государь.

— На моей да на твоей спине.

Шереметев смутился.

— Твоя воля, государь: коли я провинился, вот моя спина, бей.

— А ты меня будешь бить?

— Помилуй, государь! На помазанника Божия поднять руку, рука отсохнет.

— То-то, Борис... И моя рука не поднимется бить тебя... Невдомек тебе за что?

— Мекаю, государь... Моя провинка...

— И моя... Коли б за разведчиками мы все двинулись тогда же, крепость была бы уже наша.

— Точно, государь... Маленько проворонили.

— Ну, грех пополам: ни я тебя не бью, ни ты меня... Помазанник не может творить неправду.

Утром 26 апреля русские были уже под Ниеншанцем и наскоро разбили лагерь.

Место было открытое, и шведы, опомнившись после ночного переполоха и потери бастиона, снова перешедшего в их руки, и приготовившись к отпору, тотчас же начали палить по русскому лагерю. Но снаряды не долетали до своего назначения.

— Не доплюнуть до нас,— заметил Шереметев.

— Да и наши чугунные плевки не долетят до них,— сказал Петр.— Надо послать главного крота с кротятами.

— Это генерала Ламберта, государь?

— Его. Пусть возведут траншею саженях в тридцати от крепости и строят батареи для мортир и пушек, что прибыли из Шлиссельбурга на судах, построенных за зиму Александром Данилычем.

Осадные работы начались...

А на другой день государь решил с достаточным отрядом отправиться на рекогносцировку к самому устью Невы, к выходу ее в море. Иначе могло так случиться, что, пока шли осадные работы, шведы явятся на своих кораблях к осажденной крепости, что они и делали каждую весну, и тогда русские очутились бы между молотом и наковальней.

— Помилуй, государь,— взмолился Шереметев,— тебе ли нести святопомазанную главу под выстрелы береговых укреплений?

— Если Бог судил мне вывести Россию из тьмы на свет Божий, меня не тронут вражеские ядра,— твердо решил Петр.

— Воля твоя, государь,— покорился Шереметев.

— Возьми и меня с собою, государь,— робко сказал Ягужинский.

— Ладно... Ты мне не помешаешь, Павлуша,— согласился царь.— При том же твои глаза рассмотрят в море все лучше и скорее подзорной трубы.

Вечером 28 апреля государь посадил четыре роты Преображенского и три Семеновского полков на шестьдесят лодок и под самым убийственным огнем шведских береговых батарей пустился со своею флотилией вниз по Большой Неве.

«Прикрытые лесом берега, мимо которых плыла флотилия,— говорит автор «Панорамы Петербурга»,— представляли любопытным взорам царя мрачную картину дикой и сиротствующей природы, коей самые живописные виды не пленяют взора, если он не встречает в них присутствия людей, оживляющего и пустыни. Не одни берега, но и все пространство, занимаемое ныне Петербургом и его красивыми окрестностями, были усеяны лесом и топким болотом; только местами, и то весьма редко, виднелись бедные, большею частью покинутые, деревушки, состоявшие из полуразвалившихся хижин, где жили туземные поселяне, промышлявшие рыбною ловлею или лоцманством, для провода судов, приходивших с моря в Неву».

Таковы были тогда те места, на которых раскинулась

теперь шумная, с миллионным населением, с храмами и дворцами, окутанная паутиной телеграфных и телефонных проволок, горящая электрическим светом столица Петровой России.

«Уверив пустынных жителей сего лесистого края в неприкосновенности их лиц и имущества, снабдив их охранными листами и не видя на взморье ни одного неприятельского судна,— продолжает Башуцкий,— Петр возвратился на другой день в лагерь, оставя на острове Витц-Сари, или Прутовом, ныне Гутуевском, три гвардейские роты, для охранения невских устий»[1].

— Я вижу, что Нарва дала нам хороший урок,— сказал царь, осмотрев осадные приготовления.— Вижу, Борис Петрович, что ты не забыл сего урока, вижу...

— В чем, государь?— спросил Шереметев.

— В том, что твой крот и кротята взрыли здесь землю не как под Нарвой, сии кротовые норы зело авантажны.

— Я рад, государь, за Ламберта,— поклонился Шереметев,— это дело его рук.

— Теперь сие осиное гнездо,— Петр указал на укрепления Ниеншанца,— долго не продержится, а сикурсу ожидать осам неоткуда: устье Невы я запечатал моею государскою печатью.

Уверенные в неизбежном падении последнего шведского оплота на Неве, царь и Шереметев решили: избегая напрасного пролития крови, предложить коменданту Ниеншанца, полковнику Опалеву, сдаться на честных условиях, не унизительных для шведского оружия.

Осажденные, не зная, что они отрезаны от всего света, продолжали пальбу по русским траншеям.

— Они даром тратят наш порох и наши снаряды,— улыбнулся царь, напирая на слова «наш» и «наши».

— Да мы, государь, нашего пороху и наших снарядов еще нисколечко не истратили,— отозвался Шереметев.

— Тугенек ты мозгами, Борис,— покачал головою государь,— не сегодня-завтра осиное гнездо будет наше, а в оном и все наше: и порох, и снаряды, и пушки... Обмозговал теперь мои слова?

— Да, государь,— улыбнулся и Шереметев,— теперь и моим старым мозгам стало вдомек.

---

[1] Панорама Петербурга. Т. I. С. 10—11.

— Так посылай скорей трубача с увещанием сдачи на аккорд.

Послали трубача.

Едва он подошел ко рву, отделявшему крепость от сферы осады, и затрубил, махая белым флагом, как канонада из крепости скоро умолкла и через ров был перекинут мост.

Скоро трубач скрылся за массивными воротами цитадели.

Нетерпеливо ждет государь возврата трубача. Ждет час, ждет два. Трубач точно в воду канул.

— Что они там?— волновался государь.— Писать, что ли, не умеют?

— Видят, государь, смерть неминучую, да не одну, а две, и не знают, государь, котору из двух избрать,— сказал Шереметев.

— Какие две смерти?— спросил Петр, гневно поглядывая на наглухо закрытые ворота цитадели, откуда, как из могилы, не доносилось ни звука.

— Как же, государь: коли ежели они сдадутся на наши аккорды и отворят крепость, то их ждет позорная гражданская смерть, может быть, на плахе. Ежели же они не примут наших аккордов, то отдадут себя на наш расстрел.

— Последнее, чаю, ближе,— согласился Петр.

— Видимо, государь, смерть неминучая; а кому ж не хочется оттянуть смертный час?

— Но мне опостылело оттягивать приговор рока,— решительно сказал государь.— Если они к шести часам не ответят согласием на наши аккорды, то я прикажу громить крепость без всякой пощады, камня на камне не оставлю.

То же нетерпение испытывали и пушкари, и «крот с кротятами».

— Что ж мы, братцы, даром рылись под землей словно каторжники!

— Не каторжники, а «кроты»: так батюшка царь назвал нас,— говорили саперы.

Больше всего злились пушкари.

— Кажись, фитили сами просятся к завтракам.

— Да, брат, руки чешутся, а не моги.

— Да и денек выдался на славу.

День был ясный, тихий. Над крепостью кружились

голуби, не предчувствуя, что скоро их гнезда с птенцами будет пожирать пламя от огненных шаров. Большие белые чайки, залетевшие в Неву с моря, носились над водой, оглашая воздух криком.

— А царевича не видать что-то,— заметил один из пушкарей.

— Да он у себя книжку читает.

— Поди, божественную?

— Да, царевич, сказывают, шибко охоч до божественного... В дедушку, знать, в «тишайшего» царя.

— «Тишайший»-то шибко кречетов любил. Я видел его на охоте, загляденье.

— Ну, нашему батюшке царю, Петру Алексеевичу, не до кречетов: у него охота почище соколиной.

Но пушкарям не пришлось долее беседовать о соколиной охоте.

В шесть часов терпение государя истощилось...

XX

Началась канонада.

Разом грянули двадцать двадцатичетырехдюймовых орудий и двенадцать мортир. Казалось, испуганная земля дрогнула от неожиданного грома, вырвавшегося и упавшего на землю не из облаков, а из недр этой самой земли.

Из крепости отвечали тем же, и, казалось, этот ответ был грознее и внушительнее того запроса, который был предъявлен к крепости: на двадцать орудий осаждавших из крепости почти восемьдесят орудий отвечали ответным огнем.

— Да у них, проклятых, вчетверо больше медных глоток, чем у нас,— говорили преображенцы, лихорадочно наблюдая за действиями артиллерии с той и другой стороны.

— Охрипнут... Вон уж к ним от нас залетел «красный петух».

Действительно, «красный петух» уже пел в крепости: там в разных местах вспыхнул пожар. Палевое ингерманландское небо окрасилось багровым заревом горевших зданий крепости, а беловатые и местами черные клубы дыма придавали величавой картине что-то зловещее. Страшным заревом окрасились и ближайшие сосновые боры, и черная флотилия осаждавших, запрудившая всю Неву, в которой отражались и багровое зарево пожара, и подвижные клубы дыма.

Всю ночь на 1 мая гром грохотал без перерыва.

Гигантский силуэт царя видели то в одном, то в другом месте, и в это мгновение огненные шары, казалось, еще с более сердитым шипением и свистом неслись в обреченную на гибель крепость.

Как тень следовал за ним Павлуша Ягужинский. Но если бы государь обратил внимание на своего любимца, то заметил бы на лице юноши какое-то смущение. Да, в душе юноши шла борьба долга и чувства. В этот роковой для России момент, когда перед глазами Ягужинского развертывались картины ада, юноша думал не о России, не о победе, даже не о своем божестве, которое олицетворялось для него в особе царя, он думал... о Мотреньке Кочубей, о том роскошном саде, где она рассказывала думу о трех братьях, бежавших из Азова, из тяжкой турецкой неволи... Чистый, прелестный образ девушки, почти еще девочки, носился перед ним в зареве пожара, в клубах дыма, в огненных шарах, летавших в крепость... Он вспомнил, как Мотренька, досказывая ему в саду конец думы о том, как брошенного в степи младшего брата, умершего от безводья, терзали волки, разнося по тернам да балкам обглоданные кости несчастного, как Мотренька вдруг зарыдала... А тут явился, точно подкрался, Мазепа и разрушил все видение...

— Чу! Никак, отбой!— послышалось Павлуше.

— Отбой и есть: они замолчали.

Действительно, орудия в крепости, по сигналу, моментально смолкли.

Государь весело глянул на Шереметева и перекрестился.

Перекрестился и Шереметев.

— Говорил я... Сколько, поди, казенного добра перевели!

— Моего добра!— сказал царь.

В это время ворота цитадели отворились, и на опущенном через ров мосту показалась группа шведских офицеров.

— Пардону идут просить,— заметил государь,— давно бы пора.

— Аманаты, чаю, государь,— сказал Шереметев.

Это действительно были заложники, долженствовавшие оставаться в русском лагере до окончательной сдачи крепости.

Государь принял аманатов милостиво и приказал немедленно изготовить «неутеснительные аккорды».

Условия сдачи крепости, «аккорды», написаны начерно Ягужинским под диктовку государя.

— Вычти их, Павлуша,— говорит он, окруженный всем генералитетом.

Павлуша читает, но государь почти его не слушает: думы его растут, ширятся... перед ним величие России... поражение гордого коронованного варяга, нанесшего ему рану под Нарвой... Рана закрылась... До слуха его отрывками доносятся фразы из чтения «аккордов»...

— «...с распущенными знамены (это гарнизон Ниеншанца выпускается из крепости),— читает Павлуша,— и с драгунским знаком, барабанным боем, со всею одеждою, с четырьмя железными полковыми пушками, с верхним и нижним ружьем, с принадлежащим к тому порохом и пулями во рту...»

«Зачем с пулями во рту?»— думает Павлуша.

Царь по-прежнему мало вслушивается в чтение: он загадывает далеко-далеко вперед!.. Душа его провидит будущее...

Он глянул на своего сына. Апатичное, как ему показалось, лицо царевича неприятно поразило его...

«Этому все равно... Он не понимает того, что совершилось, что!.. Скорей в глазах Павлуши я вижу сие понимание...»

А Павлуша между тем думал о... Мотреньке.

Но он продолжал, думая о Мотреньке, читать «аккорды». Когда же он дочитал до того места, где было сказано, что выпущенный из крепости гарнизон Ниеншанца переправляется через Неву на царских карбасах, чтоб потом дорогою, проложенною к Копорью, следовать на Нарву,— царь остановил его...

— Постой, Павел,— сказал государь,— будем милостивы до конца. Аманаты просили меня отправить их не к Нарве, а к Выборгу, быть по сему. Так измени и сие место в аккордах.

Ягужинский исполнил приказ царя.

— Государь милостивее Бренна,— заметил как бы про себя Ламберт,— не кладет свой меч на весы и не говорит: «Vae victis!»

— Какой Бренн?— спросил Петр.

— Вождь галлов, государь... Когда галлы взяли Рим в триста девяностом году до Рождества Христова, то, по свидетельству Ливия, Бренн наложил на римлян дань, или контрибуцию, в тысячу фунтов золота, и когда римляне не хотели платить этой дани, то Бренн на чашу весов

с гирями бросил еще свой тяжелый меч и воскликнул: «Vae victis!» — горе побежденным!

— Я сего случая не знал,— сказал государь,— да и чему меня учили в детстве!.. Я токмо то и знаю, до чего сам дошел своим трудом.

Государь глянул на Ягужинского, и тот продолжал читать:

— «А чтобы его царского величества войска и подъезда их не беспокоили и не вредили, конвоировать оных имеет офицер войск российских».

Само собою разумеется, что с гарнизоном выпускаются жены, дети и слуги, раненые и больные, а равно желающие того обыватели и чиновные люди.

— «Гарнизон получает со всеми офицеры на месяц провианту на пропитание,— продолжал читать Ягужинский.— Его царского величества войско не касается их пожитков, чтобы гарнизону дать сроку, пока все вещи свои вывезут».

Ропот одобрения прошел среди собравшегося генералитета.

За приведением в исполнение аккорда прошел весь день 1 мая, и только в десятом часу вечера преображенцы, в рядах которых выступал царевич Алексей Петрович, заняли город; цитадель же заняли семеновцы.

Для приема найденных в крепости артиллерийских и других воинских запасов составлена была из офицеров особая комиссия, члены которой, по докладу счетчиков, всю ночь на 2 мая составляли ведомости найденного добра.

Всю ночь в «чихаузе» слышалось:

— Крепостных пушек восемьдесят без двух.

— Пороху сколько бочек?

— Сто девяносто пять бочек счетом.

— Запасец не маленький... этого добра нам надолго хватит.

— Рад будет государь, да и старому Виниусу дела поубавится.

— Ядер, картечи, туфл, банников, фитиля, колец, огненных люст... люст... вот и не выговорю,— слышалось у другого стола.

— Люсткугелей...

— Точно... Эко словечко!..

— Ну, дале говори.

— Гранат, канифолии, серы...

У третьего стола докладывали:

— Подъемов, гирь медных и железных, ломов стали, гвоздей, топоров, котлов, рогаток, свинцу, железа, цепей железных, якорей, труб медных пожарных...

— Экая прорва!.. У меня и пальцы одеревенели, записались...

Только уже утром 2 мая, после торжественного благодарственного молебствия за дарованную его пресветлому царскому величеству и христолюбивому российскому воинству знатную викторию, которая оглашена была троекратной пушечной пальбой и беглым ружейным огнем, комендант Ниеншанца, теперь уже просто полковник Опалев, окруженный своими офицерами, вручил Шереметеву ключи от несчастной крепости.

— Бедные! — шепнул Нейдгарт Глебовскому.— Какие печальные лица!.. Что-то ждет их там впереди?.. Что-то скажет король?..

— Не дай Бог из нас никому быть на их месте,— вздохнул Глебовский.

XXI

Вечером того же 2 мая Павлуша Ягужинский, сопровождавший государя вместе с Меншиковым, Шереметевым и Ламбертом при осмотре стен только что завоеванной крепости, внезапно остановился и стал во что-то пристально всматриваться, приложив ладонь ко лбу над глазами в виде зонтика.

Петр заметил это.

— Ты на что так воззрился, Павел? — спросил он.— Я чаю, «мои глаза» заприметили что?

— Кажись, государь, наш карбас поднимается сюда с низу Невы,— отвечал Ягужинский, продолжая всматриваться.

— Дай-ко трубу, Данилыч,— сказал государь Меншикову.

Меншиков подал царю подзорную трубу. Государь, положив ее на плечо своего денщика, тоже стал всматриваться в двигавшуюся по Неве по направлению к крепости черную точку.

— Малость придержи дух, не дыши,— сказал он.

— Так и есть, наш карбас,— сказал он через минуту.

— Должно, с вестями от сторожевого отряда,— заметил Меншиков.

— Не показались ли шведские корабли на море? — сказал Петр в волнении.

Тотчас все спустились со стены, чтоб идти навстречу

приближавшемуся карбасу.

Пока государь с сопровождавшими его дошел до мостков, где должен был пристать карбас, на мостки уже выскочил мичман, управлявший карбасом, и отдавал государю честь.

— С какими вестями?— быстро спросил Петр.

— Имею честь доложить вашему царскому величеству, что на море от острова Реттусари показалась шведская флотилия с адмиральским кораблем во главе,— бойко отрапортовал молодой мичман, один из первых русских «навигаторов», уже отведавший навигаторской мудрости в Голландии и в Венеции.

— Что ж они, идут прямо в Неву?..— еще торопливее спросил Петр.

— Нет, государь; они раньше не войдут в Неву, пока из Ниеншанца не ответят им условным сигналом.

— Ты как же о сем проведал?— оживился Петр, и глаза его радостно сверкнули.

— Проведал я о сем, ваше величество, от лоцманов, кои проводят оные корабли в Неву.

— А где ты их видел?

— Они здешние, государь, рыбаки и живут на острове Хирвисари, где имеются ихние тони. Им дно Невы и все ее глубины и мели ведомы, как своя ладонь.

— Спасибо, мичман!— радостно проговорил государь.— Спасибо, лейтенант!.. С сего часу я возвожу тебя в чин лейтенанта.

— Рад стараться, ваше царское величество!..— в радостном волнении пробормотал новый лейтенант.

— В чем же состоит их сигнал?— спросил Петр.

— В двух пушечных салютах с адмиральского корабля, на каковой салют из крепости ответствуют тоже двукратными выстрелами.

Взор государя выражал нескрываемое ликование.

— Будем ждать оного салюта и отсалютуем им тем же!— весело проговорил Петр.

Потом, несколько подумав, царь спросил:

— Для чего ж сии салюты так издалека?

— Для того, государь, чтобы прибывшие корабли ведали, что крепость обретается в благополучии и проходу кораблей к крепости Невою не угрожает неприятель.

— И мне таковая же мысль пришла в голову,— вымолвил Петр.

Действительно, в скором времени издалека, от моря, донеслись, хотя очень глухо, два выстрела. Русский пуш-

карь, заблаговременно поставленный у вестовой крепостной пушки и получивший инструкцию, что ему делать в случае салюта со взморья, отвечал такими же выстрелами.

— «Поцелуй Иуды»,— скажет почтенный полковник Опалев, услышав наш ответ,— злорадно улыбнулся Меншиков.

— Сей салют — плач крокодила,— как бы про себя заметил Ягужинский.

— Почему «плач крокодила»?..— спросил Шереметев, не особенно сведущий в естественной истории.

— Я читал, что в Египте, в Ниле, крокодилы, желая привлечь свою жертву к Нилу, к камышам, жалобно кричат, подражая детскому плачу, и посему, ежели человек притворно плачет, дабы обмануть кого своими слезами, сии слезы и называются крокодиловыми слезами,— отвечал Павлуша.

— Павел у меня во всем дока,— весело сказал государь.

— И точно, государь, малый у тебя собаку съел,— добродушно рассмеялся Шереметев.

«Ниеншанцкий крокодил» продолжал плакать и третьего и четвертого мая...

Вечером 5 мая из засады, устроенной русскими в камышах у устьев Невы, увидели, что от шведского флота отделились два корабля и, войдя в устье Большой Невы, бросили якорь против самой засады: в ожидании, конечно, лоцманов. И карбас молодого лейтенанта стрелою полетел к Ниеншанцу с новою важною вестью.

Вестей с засады государь ожидал с часу на час. Его удивляло и приводило в гнев то обстоятельство, что шведская эскадра вот уже четвертый день стояла на одном месте, не приближаясь к устью Невы. В открытом море атаковать ее простыми карбасами было положительно невозможно: их бы шведские ядра потопили, один карбас за другим, не допуская до абордажной схватки на ружейный выстрел.

Поэтому, когда из лагеря заметили приближение карбаса нашего лейтенанта, то государь пришел в сильное волнение. Быстрыми шагами он направился к мосткам причала лодок.

— Должно, что зело важные вести везет гонец,— заметил Меншиков,— стрелой летит карбас.

— А мне сдается, что он стоит на месте,— возразил Петр.

— От нетерпения сие кажется тебе, государь.

Карбас еще не успел коснуться мостков, как бравый лейтенант перелетел на мостки и вытянулся перед государем...

— Что? — мог только сказать последний. — Короче!

— Сейчас, государь, два корабля отделились от эскадры и легли на якорь в устье Большой Невы в ожидании лоцманов.

— Какого типа и калибра корабли?

— Четырнадцатипушечная, государь, шнява «Astrel» и десятипушечный бот «Gedan».

— Спасибо, капитан-поручик Сенявин! Я сеи радостные вести никогда не забуду!

И государь горячо обнял молодого навигатора.

— Скоро выскочил в капитаны, — шепнул Шереметев Меншикову.

— Поистине достойно заслужил, — ответил шепотом же последний.

XXII

Нетерпение государя схватиться наконец с победителями под Нарвой в морском бою было так велико, его так неудержимо влекло к себе море, все еще «чужое» море, что он тотчас же, в тот же вечер, с разрешения главнокомандующего, генерал-фельдмаршала Шереметева, посадил на тридцать карбасов преображенцев и семеновцев и, отдав последних под команду Меншикова как поручика бомбардирской роты, пустился вниз по Неве, чтоб во что бы то ни стало добыть морские суда, залетевшие в устье его Невы из околдовавшего его душу европейского рая.

Одно, что неприятно волновало царя, это полусвет палевой ночи...

«Нельзя будет врасплох накрыть врага... Ах, эти чухонские ночи!» — сердился в душе государь.

Но флотилия продолжала двигаться, стараясь держаться в тени, отбрасываемой береговыми лесами.

Об этом говорит и автор «Панорамы Петербурга».

«Погода, — пишет Башуцкий, — сначала тихая и светлая, не благоприятствовала предприятию русского монарха, но мало-помалу ветер изменялся, тучи скоплялись, и вскоре после полуночи, обложив небо непроницаемою пеленою, разразились проливным дождем.

Флотилия, достигнув входа в речку Кеме, ныне Фон-

танку, разделилась на два отряда. Государь со своими пятнадцатью карбасами с преображенцами вступил в Малую Неву и, огибая берега острова Хирвисари — ныне Васильевский, тихо подвигался к взморью. Меншиков же с остальными пятнадцатью карбасами с семеновцами вошел в Фонтанку».

Достигнув устьев этих рек, обе флотилии остановились, ожидая под покровом бурной ночи благоприятного для нападения времени.

«Через несколько часов ожидания,— продолжает историк Башуцкий,— благоприятное время настало, и посреди мрака и бури оссиановской ночи Петр, в поте лица трудившийся для России, ударил с двух сторон на изумленных неприятелей. Пример вождя одушевил предводимых. Под градом ядер, гранат и пуль, сыпавшихся на царскую флотилию не только с абордированных судов, но и с остальной эскадры, вступившей под паруса в намерении их выручить, но остановленной мелководьем, взлетели русские на суда, где смерть являлась во всех видах. Ни губительное действие неприятельских выстрелов, ни отчаянные усилия защищавшихся не спасли сих последних от угрожающей им смерти. Царь с гранатою в руке взошел первый на шняву, и через несколько минут оба судна находились в его власти. Из 77 человек, составлявших их экипаж, только 19 сохранили жизнь ценою плена».

Ночь, первая ночь после первой морской победы...

Кругом сон, сон и над завоеванною крепостью, и над лагерем войска.

Не спит один Петр. Он тихо, чтоб не разбудить денщика, выходит из своей палатки и идет еще раз, в уединении, без посторонних глаз, взглянуть на дорогое приобретение. Душа его ищет уединения.

Медленно приближается он к стоящим на Неве кораблям, которые в дымке палевой весенней ночи кажутся такими великанами в сравнении с крохотными лодками-карбасами.

Долго стоит он в задумчивости. Казалось, что в такой же тихой задумчивости и Нева спокойно и величаво катит свои многоводные струи к морю, уже окрашенному первою победною кровью.

В уединении, в глубокой задумчивости, он не подозревает, что его юный денщик, которого он считал спящим, раздвинув немного полу палатки, следит за ним издали, и Павлуше кажется в дымке весенней ночи, что на берегу стоит исполин.

Да, это был действительно исполин...

Невольно, представляя себе этот великий момент в жизни русского исполина, поддаешься гипнозу гениального стиха великого поэта — стиха, относящегося к этому именно великому моменту:

На берегу пустынных волн
Стоял *он*, дум великих полн,
И вдаль глядел. Пред ним широко
Река неслася; бедный челн
По ней стремился одиноко.
По мшистым, топким берегам
Чернели избы здесь и там,
Приют убогого чухонца;
И лес, неведомый лучам
В тумане спрятанного солнца,
Кругом шумел.
　　И думал он:
Отсель грозить мы будем шведу.
Здесь будет город заложен
Назло надменному соседу.
Природой здесь нам суждено
В Европу прорубить окно,
Ногою твердой стать при море.
Сюда по новым им волнам
Все флаги в гости будут к нам,
И запируем на просторе.

И в его возбужденном, вдохновенном воображении здесь, на этой многоводной Неве, уже развевались флаги всего мира, величаво двигались великаны-корабли; произведения вселенной стекались к этим пустынным берегам, чтобы потом из этого «нового сердца России» стремиться внутрь страны по всем ее водяным и сухопутным артериям движения, а к новому сердцу, обратно, притягивать живую кровь и соки производительности и избыток их выбрасывать из сердца во все концы мира...

Творческая мысль лихорадочно работает, созидает, обновляет... Нет предела для созданий его мысли, нет конца гениальным замыслам... Его великая душа стремится объять необъятное...

«Окно в Европу!.. Нет, мало того! Все двери настежь, великие объятия великой страны — настежь!.. Я взял море, оно теперь мое, и моими станут все океаны... Никогда не будет заходить солнце в моей стране... Уже совершилось небывалое... Завтра же повелю монетному двору выбить медаль с написанием на оной: «Н е б ы в а л о е б ы в а е т»...[1] Завтра же отправлюсь выбрать

[1] И такая медаль действительно была выбита и пожалована всем участникам морской баталии.

место для заложения крепости моей новой столицы... А там приходи, швед, милости просим...»

Уже совсем рассветало, когда государь возвращался к своей палатке.

Проходя мимо ставки царевича Алексея Петровича, он услыхал там голоса.

«И Алексей не спит,— сказал про себя государь.— А може, встал уже».

И царь вошел в палатку сына. Там он увидел старого полкового священника, который, сидя рядом с царевичем, показывал ему что-то в раскрытой перед ним рукописи.

При виде государя царевич и священник быстро встали.

Подойдя под благословение и поздоровавшись с царевичем, государь спросил:

— Что это у вас за рукописание?

— Летописец, государь, древний,— отвечал священник.— И я вот показываю благоверному царевичу знамение, его же Господь и сподоби и тебя, благоверный государь.

— Какое знамение?

— А то знамение, государь, что брезе реки сей и на море родичи твои, святые мученики Борис и Глеб, помогаша тебе одолети врага, как помогли они, во время оно, сродственнику твоему, святому благоверному князю Александру Невскому, сокрушити врагов на сих же невских берегах. И зде, в сем же летописце, оное знамение и чудо записаны.

Государь взял рукопись, раскрытую на том месте, где летопись повествовала о видении старца Пелгусия и о поражении шведов новгородским князем Александром Ярославичем на берегах Невы при чудесной помощи святых Бориса и Глеба.

— Сказание о старце Пелгусии мне ведомо, а токмо как оно записано в летописце, сего я не читал,— сказал Петр.

— Так прочти, государь,— сказал священник,— и царевич послушает.

Заинтересованный, царь стал читать:

— «Бе некто муж, старейшина в земли Ижорской, именем Пелгусий. Поручена бе ему стража морская. Восприяв же святое крещение и живеше посреде рода своего, погана суща, и наречено бысть ему имя в святом крещении Филипп. Живяше богоугодно, в среду и пяток

пребывая в алчбе, тем же сподоби его Бог видению страшну. Уведав силу ратных...»

— То были рати шведского короля Бергеля, государь,— пояснил священник.

— Бергера, а по другим — Биргера,— поправил его государь и продолжал чтение:—«И иде оный Пелгусий противу князя Александра, да скажет ему стани, обрете бо их. Стоящю же ему при краи моря, стрегущи обои пути и пребысть всю нощь в бдении. Яко же нача выходити солнце, и услыша шум страшен по морю, и виде насад (судно) един гребущ, посреди же насада стояща Бориса и Глеба в одеждах червленых, и беста руки держаще на рамах, гребцы же седяща аки в молнию одеяны. И рече Борис: «Брате Глебе! Вели грести, да поможем сроднику своему Александру». Видев же Пелгусий таковое видение и слышав таковой глас от святую, стояще трепетень, дондеже насад отыде от очию его. Потом скоро поехал к Александру, он же, видев его радостными очимы, исповеда ему единому, яко же виде и слыша. Князь же отвеща ему: «Сего не рци никому же...»

Петр остановился в задумчивости.

— И меня, государь, сподоби Господь такова же видения,— проговорил священник.

— Как? И тебе было видение?— с недоверием спросил государь.

— Было, о царю!— торжественно воскликнул священник.— Я видел, государь, как рядом с тобою взыде на большой свейский корабль святый Борис, огненным мечом поражая свеев, а Глеб стояще поруч с Александром Данилычем, на меньшем корабле, посекая огненным же мечом врагов нашей Церкви.

— И ты все это видел?— с улыбкою спросил царь.

— Видех, государь, в нощи, в сонии,— смело отвечал попик.

— А! Во сне?

— В сонии, государь, духовными очима.

— А! Духовными...

Государь взглянул на царевича.

— Я верю... Без веры нет спасения... Вера — сила необоримая,— тихо сказал государь.— В Евангелии читается: «Аще имати веру яко зерно горушно,— говорил Христос ученикам,— и речете горе сей: «Прейди отсюда»— тамо и прейдет...»

— Аминь,— подтвердил попик и многозначительно глянул на царевича.

XXIII

В тот же день государь собрал военный совет для решения важного государственного дела: в каком месте при устьях Невы заложить крепость и новую столицу Российского государства?

Перед открытием совета генерал-адмирал Головин, первый в России кавалер знатнейшего ордена Святого Андрея Первозванного (вторым был гетман Мазепа), торжественно возложил знаки этого ордена на главных виновников морской победы над шведами — на самого царя и его любимца, Меншикова. Таким образом, государь был третьим кавалером высшего в России ордена.

Военный совет постановил: тотчас же отправиться в полном составе для всестороннего осмотра всех устьев Невы, ее дельты и всех омываемых устьями Невы островов.

Маленькая флотилия, проследовав Большою Невою все ее течение, вышла на взморье.

Шведский флот все еще стоял неподвижно против устья Большой Невы, но на таком расстоянии, что пушки его не могли досягать до скромной флотилии русских карбасов, как бы дразнивших собою шведских великанов. С кораблей заметили царя и его приближенных. Зрительные трубы шведских капитанов направились на дерзкие лодчонки.

Меншиков снял шляпу и замахал ею в воздухе...

— Здравствуйте, други, несолоно хлебавши! — крикнул он.

Государь весело рассмеялся. Взор его выражал вдохновенное торжество.

— Близок локоть, да не укусишь, — сказал он.

— Они грозят кулаками, государь, — заметил Ягужинский. — Зоркие глаза Павлуши заметили эту бессильную угрозу.

— Кабы мы не лишили их лоцманов, нам бы не справиться с Нумерсом, — серьезно заметил генерал-адмирал. — Кстати же и ветер им на руку с моря.

— Да и вода поднимается, им же на руку, — сказал и государь.

Головин, сам правивший рулем на царском карбасе, скомандовал гребцам, и царский карбас вместе с другими стал огибать, по взморью, остров Хирвисари, ныне Васильевский, чтобы войти в Малую Неву.

— И чего они стоят в море? Чего ждут? — говорил Петр.

— Подмоги, чаю, государь, сухопутной, либо от Выборга, либо от Нарвы,— заметил Головин.

— Добро пожаловать!— сверкнул глазами Петр.— Мои молодцы теперь уже не те, что были под Нарвой, наука нам впрок пошла.

Долго маленькая флотилия плутала по лабиринту всех рукавов Невы. Обогнув остров Хирвисари со взморья, она проследовала Малой Невой вверх, мимо острова Койвисари, ныне Петербургской стороны, и мимо маленького острова Иенисари, где ныне крепость, и повернула в Большую Невку, следуя мимо острова Кивисари, ныне Каменного, мимо Мусмансгольма, ныне Елагина, и, обогнув остров Ристисари, ныне Крестовский, Малою Невою вошла опять в Большую Невку.

На всем останавливался взор царя, все обсуждала и взвешивала его творческая мысль, во все вникал его всеобъемлющий гений.

— Сими дыхательными путями будут дышать великие легкие моей России,— говорил он в каком-то творческом гипнозе.

— Отдушины знатные,— согласился Головин.

— Воды что в Ниле,— продолжал государь. У него из ума, по-видимому, не выходил Александр Македонский с его новой столицей в дельте Нила.

Меншиков, умевший отгадывать мысли царя, заметил:

— А, поди, он, Александр Филиппович, не с таким тщанием, как ты, государь, изучал дельту Нила.

— Да у Александра Филиппыча, чаю, не стоял за спиной Нумерс со шведским флотом, как ноне у меня,— проговорил Петр.

Карбасы, выйдя из Большой Невки, снова повернули вниз по Большой Неве.

— Стой!— сказал царь, когда его карбас поравнялся опять с островом Иенисари.— Осмотрим сие место.

Карбас причалил к берегу. Все вышли на островок и исследовали его со всех сторон.

— Государь!— вдруг радостно воскликнул Павлуша Ягужинский.— Изволь взглянуть наверх.

— Что там?— спросил Петр.

— Над тобою, государь, кружит царь-птица!— с юношеской живостью говорил Павлуша.— Орел над тобой, государь,— счастливое знамение.

— Откуда тут быть орлу?— удивился царь.

— А вон и гнездо на дереве, государь,— сказал Меншиков.

Огромная шапка, точно гнездо аиста, чернелась между ветвей с начинавшими распускаться зелеными листьями.

— Знамение, знамение!— радовался Ягужинский.— Такой же орел кружил над Цезарем, когда он переходил через Рубикон.

Государь задумчиво следил за плавными взмахами гигантских крыльев царственной птицы.

— Какой полет!— тихо заметил он.

— Твой полет, государь,— сказал Меншиков.

Исследовав островок Иенисари и его окрестности, государь остановился на решении, что лучше этого островка для сооружения крепости и быть не может.

— Кругом вода, и никаких рвов копать нет надобности,— говорил он возбужденно.— Сие место не Ниеншанцу чета! Мимо сего островка, чаю, не токмо корабли с моря, но и рыбацкая лодка не проскользнет. А по другим рукавам Невы большим судам ходу нет. Назло братцу моему Карлу я новую свою столицу срублю моим топором на его земле, на сей стороне Невы, на острове Койвисари, а на левой стороне Невы разведу огород на славу, сей огород украшу статуями, каковые я видел в Версале, и назову сие место «Парадизом». Самый же город расположу на острове Хирвисари. А по малом времени, чаю, с Божьей помощью, и на левую сторону Невы перекину город.

— А орел все кружится,— не переставал радоваться Ягужинский.— Теперь я вижу, что на гнезде сидит орлица.

— Ну, Павлуша,— ласково проговорил Петр,— не вывести уж тут ей своих орлят.

— Почему, государь?

— А потому, что завтра же мой топор учнет тут ходить по деревам,— сказал Петр.— И будет прочна моя тут построечка: стоять ей здесь, пока земля стоять будет и солнце по небу ходить.

Окончательно было решено: на Иенисари заложить крепость, а новую столицу — там же, только за протоком, на острове Койвисари, что ныне Петербургская сторона.

Возвращаясь после этого в лагерь, государь долго погружен был в думы; но Меншиков и Ягужинский, привыкшие читать в его душе по глазам и по лицу, понимали состояние этой великой души... То, о чем он по целым дням и ночам мечтал в своем рабочем покое в

Москве, к чему с неудержимою страстию рвались его думы, теперь достигнуто им. Нева — это окно в Европу,— его река! «Чужое» море — теперь его море!

— Там я заложу верфь,— указывал он на левый берег Невы, где ныне Адмиралтейство.— Здесь — артиллерийский парк,— указал он на берег Выборгской стороны.

Потом, обратясь к артиллерийскому полковнику Трезини, родом итальянцу, Петр сказал:

— Тебе работы будет по горло.

— Рад служить великому государю,— поклонился Трезини.

— Чаю, не позабыл своей науки, живучи у московских варваров?

— Архитектуры, государь?— спросил Трезини.

— Да, стройки, да только вечной, как вечен ваш Рим

— Думаю, государь... Но построить новый Рим — не хватит человеческой жизни,— отвечал бравый потомок Гракхов.— Даже о Коринфе старая римская пословица говорит: «Alta die solo non est exstructa Corinthus».

— А сие что означает?

— «И Коринф построен не в один день».

— А у нас, государь, у немцев, имеется такая же пословица о Риме,— сказал полковник Рене.— «Rom ist nicht auf einmal erbaut».

Но государь, кажется, все забыл, когда карбас его поравнялся с шведскими великанами, отбитыми столь молодецки, кораблями «Астрель» и «Гедан». Глаза его сверкнули гордою радостью.

— Данилыч!— окликнул он Меншикова, сидевшего около Головина.

— Что изволишь приказать, государь?— отозвался тот.

— Сегодня же посылай гонца в Новгород к митрополиту Ионе с указом, чтоб не помедля прибыл сюда для освещения мест под крепость и новую столицу.

— Слушаю, государь, а к какому дню?

— К Троице.

Так жаждала великая душа заложить первый камень на том месте, где теперь раскинулся на сотни квадратных верст великий город с его величественными храмами, дворцами, город с его миллионным населением, с парками, садами, всевозможными учебными заведениями, город, изрезанный стальными полосами рельсов, опутанный паутиною телеграфных и телефонных проволок, из которого исходят повеления вплоть до бурных вод бурного Тихого океана...

Как было не трепетать великой душе, провидевшей мировую миссию своего народа в будущем!

XXIV

Настал наконец желанный день.

К 16 мая войска, взявшие Ниеншанц и овладевшие всею Невою и ее дельтою и стоявшие лагерем — пехота по ту сторону Невы, а кавалерия — на левом ее берегу, все придвинулись к месту закладки крепости и новой столицы. Невская флотилия, на которой прибыли войска к месту закладки, так запрудила берега Иенисари и ближайшие берега Койвисари, что прибывший из Новгорода владыка Иона с собором всего духовенства, с хоругвями и образами, а затем и государь с блестящею свитою только с помощью удивительной распорядительности Меншикова, уже назначенного губернатором будущей столицы, могли свободно пройти к месту молебствия и закладки.

Ярко отливали на солнце андреевские ленты новых кавалеров — самого государя, Меншикова и старого Головина. Богатые ризы духовенства из золотой парчи, украшенная драгоценными камнями митра Ионы, искрившиеся золотом и алмазами иконы, блестящее вооружение войска — все как будто говорило: «Сей день, его же сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся в он...» Да, это был великий день на Руси.

Началось молебствие.

Павлуша Ягужинский, стоявший около царя, почти не спускал восторженных глаз с его лица. Никогда он не видел такого, казалось, лучезарного лица!

В руках Павлуши находился небольшой золотой ларец. Когда юный денщик все же опускал глаза на ларец, то машинально повторял шепотом слова, начертанные на его крышке:

«От воплощения Иисуса Христа 1703, маия 16,— шептали губы Павлуши,— основан царствующий град Санкт-Питербурх великим государем, царем и великим князем Петром Алексеевичем, самодержцем Всероссийским».

По окончании молебствия митрополит окропил святою водою царя, его свиту и выстроенные полукругом шпалерами войска.

— Александр Данилыч, подай лопату,— сказал государь. Меншиков, взяв железную лопату у стоявшего на фланге великана Лобаря, подал царю.

Поплевав на руки, как это делают настоящие землекопы и плотники, государь глубоко засадил заступ в землю, где должен был находиться центр закладки, разом выворотил громадную глыбу влажного грунта.

— Вишь, и на руки поплевал, и впрямь, что твой землекоп...

— Эвона, какой комище выворотил,— перешептывались между собой преображенцы.

А Лобарь, глядя на работу царя-исполина, думал себе:

«Поди, и я не осилил бы царя-батюшку... Вишь, как засаживает! Того и гляди, заступ вдребезги...»

Меншиков, взяв другой заступ, тоже стал копать рядом с царем.

Не утерпел Лобарь, завидки взяли: захотел померяться силою с государем и взял заступ у соседа.

Вывороченная глыба оказалась больше государевой. Последний заметил это и улыбнулся.

— А! И дядя Терентий пристал к нам,— сказал он.— Спасибо.

— Рад стараться, государь-батюшка,— отозвался Лобарь, выворачивая горы черного грунта.

Тогда бросились с заступами и другие преображенцы, и в несколько минут яма была готова.

— Подай ларец, Павел,— обернулся государь к Ягужинскому.

Тот подал. Между тем солдаты опустили в яму выдолбленный из гранита четырехугольный ящик, и митрополит окропил его святою водою.

Тогда государь, припав на колено, вложил ларец в ящик и, прикрыв его дерном, тут же собственноручно вырезанным, торжественно возгласил:

— Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, аминь! Основан царствующий град Санкт-Питербурх!

В основу этого города положена, в золотом ларце-ковчеге, частица от апостола Андрея Первозванного. Это — глубокий религиозно-национальный символ. Известно, что Андрей, брат апостола Петра, был «первым призван» (отсюда — Первозванный) спасителем в свои ученики, и он же первый принес слово Евангелия чрез Малую Азию и Черное море к нам в Скифию, и, по преданию, на месте будущего Киева, водрузив крест, сказал уже своим ученикам: «На сих горах воссияет благодать Божия и воздвигнется великий град». Оттуда апостол доходил даже до Ильменя.

Едва произнесены были последние слова государем, как все опять увидели в небе парящего орла и приняли его за знамение[1].

В тот же момент воздух потрясен был пушечными выстрелами с стоявшей у берега невской флотилии, и этим залпам вторили крепостные орудия со стен Ниеншанца.

Затем, под гром орудий, государь вместе со свитой, предшествуемый митрополитом и духовенством с хоругвями и образами, двинулся в глубь островка Иенисари и, остановившись у протока Иенисари от Койвисари, подозвал к себе Ягужинского, у которого теперь в руках был царский топор.

— Подай топор,— сказал государь, ища что-то горевшими вдохновением глазами.

И он нашел. Это были две стройные, высокие березы.

Царь срубил их, обтесал, заострил собственноручно стволы и приказал инженер-генералу Ламберту выкопать в земле две глубокие лунки, на расстоянии нескольких сажен одна от другой.

— Ишь как ловко тешет,— переглядывались меж собой семеновцы.

— Не диво: в Галанской земле, сказывают, он, батюшка, сам доски тесал и стругал и сам корабли строил.

— Ну, и дока во всем, храни его, Господи.

Тогда государь связал верхушки срубленных берез и вставил стволы их в готовые лунки, так что березы образовали проход, подобие арки или триумфальных ворот.

— Это что ж будет?— переглядывались семеновцы.

— А это называется... как, бишь, его?

— Трухмальные порты.

— Порты! Что ты! Эко слово брякнул!.. Там, вишь, святые образа и сам владыка, а он — на!— порты!

— Порты — трухмальные порты и есть!— настаивал сведущий в этом деле семеновец.— Так, чу, за морем повелось: коли ежели какой праздник, так все проходят в трухмальные порты, кои бывают каменны и обвешиваются зеленью, как у нас в Семик либо на Тройцу.

— Да у нас ноне Тройца и есть.

Государь между тем снова взялся за заступ и наметил места закладки крепостного рва и ворот.

---

[1] Сказание об орле — не измышление автора, а исторический факт.

Чтобы видеть, сколько предстояло трудностей для создания новой столицы, приведем слова автора «Панорамы Петербурга»:

«Поднятие низменного острова Иенисари, расчистка земли, вырубка леса, построение крепости и домов и другие работы требовали большого числа рук, и потому царь, употребив на сии работы сначала бывшие у князя Репнина войска, также ингерманландцев, повелел прислать из России тысячи рабочих и мастеровых, равномерно казаков, татар и калмыков, присоединяя к ним значительное число пленных шведов, так что того же лета сорок тысяч человек, разных племен и наречий, разделенных на две очереди, трудились над созиданием Петербурга. Казенные работники получали от казны только пищу, а вольные сверх оной и плату, по три копейки в сутки. По недостатку в инструментах и землекопных орудиях большая часть работы производилась голыми руками, и вырытую землю носили на себе в мешках или даже в полах платья. Если к сему прибавить, что работавшие не имели не только жилищ, но даже необходимого крова и нередко томились голодом, ибо не всегда успевали доставлять им потребное количество съестных припасов, то можно вообразить, каких неимоверных трудов и усилий стоило первоначальное обстроение Петербурга. Но того требовали обстоятельства, того требовала польза целой России».

В коротких словах: создание Петербурга Державным плотником — это была борьба титана с природою и стихиями, и титан победил, положив основание городу, в котором, как в фокусе государственности, с течением времени сосредоточилась вся интеллектуальная мощь великой страны, ее коллективный государственный ум, ее коллективное законодательное творчество, ее коллективная работа в области наук и искусств — и единодержавная воля венчанного потомка Державного плотника.

ДАНИИЛ ЛУКИЧ МОРДОВЦЕВ

Исторические деятели, чьи нарицательные имена стали общим названием настоящего сборника, точнее, сочетание этих имен,— не столь уж и неожиданно для его автора. Нет, речь, здесь не об аналогиях, а скорее об особом взгляде писателя на каждого из этих заглавных деятелей нашей истории.

Между тем, заговорив о заголовках художественных произведений, отметим обстоятельство, весьма важное для понимания творчества автора сборника... А именно что название одного из романов исторического беллетриста Даниила Мордовцева «Знамение времени» можно было бы дать и многим другим его произведениям...

В самом деле. В истории нашего государства, богатой на события, Мордовцева интересовало не событие само по себе, а чем наполняло оно души миллионов, какими прежде всего чувствами было ознаменовано это время в жизни народа и почему «со временем» стали являться выразители, а то и творцы таких чувств, которые превращали сам народ в орудие зла и насилия.

«Творцы» народных чувств объявятся и в году семнадцатом, и позже, когда, например, даже литературную полемику прошлого века употребят в политических целях.

...Салтыков-Щедрин в письме к одному из своих современников по поводу только что напечатанной им «Истории одного города» писал о жизни в России, как о «жизни, находящейся под игом безумия». Конечно же хорошо, что это произведение великого сатирика издавалось в советское время много раз: типы, в нем выведенные, узнаваемы до сих пор. Например — дю Шарио Ангел Дорофеевич. Вспомним, как этот градоначальник, начав объяснять глуповцам права человека, кончил тем, что объяснил им права Бурбонов...

Однако толкование российской действительности, как находящейся «под игом безумия», было характерно для многих литераторов-демократов XIX века; во многом, по их мнению, «эту действительность» России питала история ее государственности — отсюда и столь резкая критика многих художественных описаний отечественной истории. Но именно этой конкретно направленной критикой и воспользовались затем, в советское время, в качестве своего рода «юридических определений». Осудив и запретив издание, например, большей части исторической беллетристики М. Н. Загоскина, полностью — Н. В. Кукольника, Н. А. Полевого, К. П. Масальского, Ф. В. Булгарина, Н. М. Коншина, Р. М. Зотова и многих других писателей. Так, в издании БСЭ 1933 года творчество Р. М. Зотова характеризовалось уничижительными отзывами о нем Белинского и Писарева. Что и оказалось приговором к забвению: в следующих изданиях энциклопедий — Большой, Малой, даже Исторической — имя этого популярнейшего до революции исторического беллетриста даже не упоминалось.

...Знания могут рождаться из ненависти, они в таком случае и собираются человеком для разрушения. Знания жизни русских и украинцев, летописных свидетельств их истории, фольклора (песен, присловий, былин, скоморошьих «потех», уличного театра), их исторических (в разные времена) и областных (в совершенно разных районах страны) говоров — удивительные по своему богатству знания Даниила Лукича Мордовцева собирались чувством любви его к этим народам.

Но если «равновеликость» этой проявленной писателем в его книгах любви к народам-братьям, происходящим из одной исторической про-

топлазмы, приходилось до революции терпеть даже самым «державным» из великороссов, то почему после нее, когда «О гордости великороссов» вспоминалось в стране лишь в связи с известной всем со школы статьей известного человека,— почему исторического беллетриста Мордовцева приговорили к забвению именно... за «украинофильство»?

Названный выше роман («Знамение времени»— о современной автору народнической интеллигенции) — единственная книга Мордовцева, изданная за семьдесят с лишним лет после революции[1], в то время как только за десять лет после его смерти (1905) в одном Петербурге вышло три собрания его сочинений. Был пресечен интерес русских читателей к главному в творчестве Мордовцева — его исторической беллетристике. Как будто изменение государственного строя должно было ознаменовать и столь же решительное изменение интересов читателей — в том числе и к прошлому своего народа.

Как писатель Даниил Мордовцев (Данило Мордовец) начал в украинской литературе. Потому что первой для него была именно «ридна мати Украина», мир которой, весь уклад ее жизни, хозяйственной и духовной, сохраняла среди станиц «Области войска Донского» его родная (родился в 1830 г.) украинская слобода Даниливцы.

Наверное, немало для начального образования дал бы ему отец. Лука Андреевич Мордовцев, в молодости — Слепченко-Мордовец (вторая часть этой фамилии — казачье прозвище их предков-запорожцев и станет потом тем именем, под которым выходили украинские произведения писателя), из крестьян «поднялся» до управляющего помещичьим хозяйством, был человеком не только сметливым и грамотным, но и довольно начитанным. Однако отец вскоре умер, и читать-писать выучили мальчика родственники матери, служители сельской церкви. Так что он уже начал учиться в Усть-Медведицком окружном училище, а все еще писал украинские слова старославянскими буквами. Если ко всему этому добавить, что первой прочитанной им русской книгой был перевод с английского (в библиотеке его отца оказалась поэма Джона Мильтона «Потерянный рай»), то тем более удивителен проявленный затем этим писателем талант в передаче именно народного русского говора.

Видимо, библейское «в начале было слово»— истинно при начале любого народа. И то матерински общее, что объединяет языки славян, воплощается иногда в их сыновьях с особенной силой, как выражение этого единого начала. Работа Мордовцева над переводом с русского языка «украинских» (посвященных Украине) произведений Н. В. Гоголя — еще одно этому свидетельство, и это, кстати, было одно из первых по времени возвращений Гоголя языку его родного народа.

Надо сказать, что взаимообогащение славянских литературных языков — страсть, которая не остывала среди многих интересов и душевных порывов Мордовцева. Об этом же говорит и его работа над украинским переводом «Краледворской рукописи». В то время еще не знали, что рукопись была не «найдена в 1817 году» В. Ганкой, а что это его собственная работа... Произведение В. Ганки, выданное им за памятник древнечешской поэзии, было, однако, столь талантливо и национально по духу, что оказало большое влияние на чешскую литературу. Петербургский профессор И. И. Срезневский, большой знаток

---

[1] См.: Мордовцев Д. Л. Знамение времени. М.; Пг., 1923. То же. М., 1957.

славянских языков, был поражен редким сочетанием точности и поэтичности перевода этой поэмы, «совершенного»... первокурсником Казанского университета. Мордовцев сделал перевод по просьбе студентов Петербургского университета А Н. Пыпина и В. И. Ламанского, своих бывших товарищей по гимназии. Успех этот в столь серьезной литературной работе заставил Мордовцева наконец согласиться с их уговорами и учение продолжить в столичном университете.

Итак, Даниил Мордовцев в литературе сначала — Данило Мордовец... Его первое произведение — поэма «Козаки и море» (1854) — это юношеское, радостное упоение ярким, красочным началом поэзии самого Шевченко, его «Гайдамаками», «Гамалией». Но уже о рассказе «Нищие», написанном Мордовцом в следующем году, классик украинской литературы Иван Франко отозвался впоследствии как о произведении «оригинальном», «глубоко задуманном»... Здесь уже не романтика упоения жизнью, нет: тихая искренность повествования, простота фабулы — но тем больше трогает душу это смиренное всепрощение обойденных жизнью старцев... Затем (1859 г., напечатаны в 1861 г.) последовали рассказы «Звонарь», «Солдатка»...

Автор вступительной статьи к украинскому двухтомнику писателя В. Г. Беляев пишет о том, что простотою, лиризмом, мелодичностью и задушевностью повествования рассказы Мордовца близки к рассказам такого замечательного украинского писателя, как Марко Вовчок, что они даже написаны раньше «народных оповидань Марка Вовчка»[1].

В украинскую литературу Мордовец возвращался в течение своей жизни не один раз; это возвращение выражалось уже и в том, что некоторые из своих написанных и опубликованных ранее на русском языке произведений, например повесть «Палий», он переводил и печатал теперь на украинском языке. Романы и повести, написанные им на темы исторического прошлого Украины, такие, как «Сагайдачный», «Архимандрит и гетман», «Булава и Бунчук», а также другие произведения, в той или иной мере затрагивающие эти темы, были настолько популярны, что, по данным библиотек Киева, Харькова, Екатеринослава и Чернигова, Мордовцев в первой половине 90-х годов был здесь самым читаемым из всех писателей России. Отрывки из его повести «Сагайдачный» заучивались киевскими гимназистами наизусть.

Но все это для Мордовцева — потом... Сначала была юность. Вместе со старшим братом (тот «пошел по хлебной торговле») — поездки по Дону, Днепру, по всей Украине («русский хлеб» шел тогда в Европу прежде всего из этой, исстари крупнейшей в Европе пшеничной державы). Затем родилась у него любовь еще к одной славянской реке, главной реке России: он был определен братом «на учение в гимназии города Саратова».

«...В прошлый год,— писал он богатеющему брату,— со мной на дворе стоял гимназист Грановский (снимал рядом комнату.— *Ю. С*), и я во время морозов ездил на лошади с ним в гимназию, и мне было не холодно доехать в несколько минут, а теперь...»

Вопрос о теплой шинели и хлебе насущном встал потом перед выпускником столичного университета (1854) особенно остро. Вдосталь намаявшись «дачей уроков», Мордовцев наконец поступает в кан-

[1] Мордовец Данило. Твори. Киев, 1958.

целярию саратовского губернатора: «в чиновниках» (ах, какое это теперь тоскливое понятие!) пребывали тогда не только гоголевские, а потом и чеховские персонажи, но и почти весь цвет «разночинной» интеллигенции.

Город юности, Саратов, оказался для Мордовцева и городом его семейного счастья: он женится, становится отцом. Его жена, А. Н. Пасхалова (урожденная Залетаева: для нее это второй брак), была известна в городе как поэтесса и, что оказалось особенно ценным, собирательница народных песен Поволожья. Она была старше своего второго мужа на семь лет, а умерла раньше его на двадцать... О детях (родной дочери и приемных) Даниил Лукич заботился потом всю жизнь. Возможно, этим еще — желанием помочь им материально — если не оправдывается, то все же объясняется то, что Мордовцев, уже известный писатель, вдруг, один за другим, начал сочинять такие романы, которые один из его современников назвал «поспешными». Но не это действительно слишком торопливо написанное «из древне-восточной жизни» (романы «Замурованная царица», «Месть жрецов», «Ирод» и так далее) характеризует Мордовцева как писателя.

В начале творческого пути Д. Мордовцев — прежде всего публицист. Хотя сказать, что потом он «весь ушел в историю»,— значит сказать о ком-то другом, но не об этом человеке, живом, легком на подъем,— и в другие пространства (Украина, Италия, Испания, калмыцкие степи, вершины пирамиды Хеопса в Египте и библейской горы в Армении) и — во все времена (от царя Ирода до эры электричества и телеграфа). Его волновали разные, подчас полярно разные проблемы: свобода печати в провинции, терпимость к «неправославным» вероисповеданиям, привлечение народа к земскому самоуправлению, нужды крестьян-переселенцев... С гневом природного сына Украины и духовным благородством русского интеллигента-демократа обличает он противников самостоятельного развития украинской культуры, борется за преподавание в местных школах родного языка. В то же время «прекрасным» назвал Иван Франко его написанное и напечатанное на украинском языке выступление против попыток полонизации самой истории Украины, раскрашивания ее «польского периода» радужными красками, а также, в этой связи, против принижения именно исторических произведений Т. Г. Шевченко. Мордовцев — пожизненный и бесспорно крупнейший в России защитник поэзии великого сына Украины как от попыток свести ее значение к «чистой лирике», так и против стремления царских властей видеть эту поэзию в русле «единого державного языка». В семье Мордовцевых оказалось наибольшее собрание записей поэм и стихотворений Шевченко, что затем помогло в издании более полных сборников его сочинений[1].

В Саратов после окончания университета вернулся человек, просвещенный не только знаниями, но также идеями и надеждами нового времени.

«Я собрал богатейшие материалы, особенно по злоупотреблениям помещичьей властью»,— сообщает он редактору одного из столичных журналов.

Это исследование, «все построенное на подлинных бумагах», мог написать не просто человек передовых взглядов, но — чиновник ведом-

[1] Основой этого рукописного собрания стало услышанное супругами Мордовцевыми непосредственно от самого Шевченко: они встречались с Тарасом Григорьевичем в 1859 г. в Петербурге.

ства внутренних дел, который «черпал из архивов, не доступных частному человеку». И который конечно же понимал, какую «корысть извлекает он из этого труда» о российском рабстве, о том, «сколько погибло русского народа, оттого что отношения раба и господина не имели разграничивающей черты». И правда: стоило начать печатание этого труда в журнале (Дело. 1872), как тотчас его автор был «отставлен от должности». Публикация в журнале была приостановлена, а когда впоследствии, «доработанное и дополненное», это исследование вышло отдельным изданием (Накануне воли. Архивные силуэты. 1889), от уничтожения его тиража удалось сохранить лишь несколько экземпляров. В том числе и усилиями самих цензоров: «сожженные» книги Д. Мордовцева хранились потом не только в их архивах, но и в библиотеках «высокопоставленных лиц». Когда после революции разбирали личную библиотеку российских императоров, нашли в ней и этот сборник.

В Европе сведения об исторических исследованиях Мордовцева можно было тогда узнать из газеты А. И. Герцена и Н. П. Огарева «Колокол». Например, в 1868 году, когда газета издавалась в Женеве также и на французском языке, среди «авторов замечательных монографий, касающихся наиболее интересных сторон и моментов нашей национальной жизни», назван здесь, рядом с выдающимся историком Н. И. Костомаровым Д. Л. Мордовцев...

Одной из характерных особенностей определивших невиданный после «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина успех сугубо исторических исследований Мордовцева, был уже сам стиль их повествования, далекий от академического, живой и образный. Вот, например, как Мордовцев в своей монографии «Гайдамачина» (1870) рассказывает о той части крестьян, которая противилась путам оседлого крепостнического состояния в «польский период» истории Украины: «...на землях помещиков, которые желали привлечь к себе чужих крестьян, выставлялись большие деревянные кресты, а на этих крестах обозначалось «скважинами проверченными», на сколько лет новопоселившимся обещается льгота от всех «чиншов», т. е. от оброка и барщины. Крестьяне, со своей стороны, бродили от одного места к другому, выискивая, нет ли где креста и сколько на нем просверлено скважин. И вот мужик проведает о новой кличке на слободку — и нового креста ищет и таким образом весь свой век не заводит никакого хозяйства, а таскается от одного креста к другому, перевозя свою семью и переменяя свое селение... Пока окончательно не успокаивается под могильным крестом».

Из таких вот кочующих по Украине крестьянских масс и вырывались «самые страстные натуры», отвергающие этот социальный крест на своей судьбе,— гайдамаки.

«...Внутренний хаос, в котором зарождалась гайдаматчина, пишет Мордовцев,— подобно тому, как среди внутренней неурядицы России зарождалась и созревала около того же времени пугачевщина — два родных детища деспотизма».

Уже из этих слов писателя понятно его «общественное настроение»— демократическое по своей сути, неизменно сочувственное «к голытьбе, забытой историей». Но... не забытой самим народом, память которого «освещает известные исторические события и лица вернее, ближе к истине, чем официальные документы, не всегда искренние, а часто — с умыслом лживые». С явным сарказмом передает Мордовцев желание «власть имущих» иметь такую историю, в которой народ безмолвствует только потому, что — одобряет... Из которой бы явствовало, как он, народ, «вносил подать, отбывал рекрутчину, благоденствовал

(вспомним здесь непередаваемый на русском языке «юмор» шевченковских строк: «На всіх языках все мовчить, бо благоденствує!..»— *Ю. С.*), как он коснел или развивался, как подчас бунтовал и разбойничал целыми массами, «воровал» и «бегал»— тоже массами — в то время, когда для счастья его работали генералы, полководцы и законодатели».

В таком повествовании весь Мордовцев: что это у него, как не усмешка самого народа над истинно «барской» историей!

О том, что в Архангельском соборе Кремля лежит не святомученик царевич Дмитрий, а кто-то другой, будто бы «всего-то попов сын», историки говорят уже несколько веков. Хотя, если и вправду вместо него положили другого ребенка, разве тот, убиенный не только невинно, но и для спасения царевича, не стал перед Богом святым страстотерпцем вдвойне? Но то — перед Богом!..

В романе «Лжедимитрий» Мордовцев хотя и приводит множество доказательств того, что убили в Угличе, может быть, «не того», сам, однако, в это не верит. У него в романе другое: Лжедмитрий — не Отрепьев! «Гришка-расстрига» сам по себе, хотя и рядом с Лжедмитрием от самого начала его пути на трон и почти до самого его конца.

И правда: есть свидетельства современников, видевших Отрепьева уже после свержения и убийства Лжедмитрия. Смущало историков и то, что Отрепьев, по многим данным, был значительно старше этого сына Ивана Грозного, если бы он и в самом деле был жив. Но что окончательно «смутило» московских стрельцов (об этом в романе Мордовцева почему-то не говорится), так это то, что если раньше власти указывали, кто был этот Лжедмитрий «доподлинно» (сын неимущего галичского дворянина, монах, перешедший якобы в католическую веру «Гришка Отрепьев»— его именно предавал анафеме патриарх Иов), то после смерти царя Бориса правительство в своих обращениях к народу этим именем самозванца уже не называло, призывая просто не верить «тому, кто называет себя Дмитрием Ивановичем». Уничижительно стали опять его так «поминать» уже после того, как с царского трона свергли и казнили. Так что не правы те, кто говорит, будто «мутит народ... с голоду». Народ «впадает в смуту» тогда, когда перестает верить.

В романе подразумевается, что самозванство поддержали силы, враждебные Борису Годунову, автор даже называет имя того, кто, по его мнению, готовил великого актера,— Богдан Бельский. Однако о том, что это была в истории за фигура,— в романе ни слова...

«Предки его были выходцами из Литвы»— это выражение, столь привычное в исследованиях допетровской истории, требует разъяснения именно в связи с нашим разговором. Как правило, это были выходцы из Великого княжества Литовского. Разница большая: «выходцы» чаще всего были не литовцы... К XVI веку в его состав входили земли всей нынешней Белоруссии и половина Украины. Даже сами литовские великие князья отчасти были русскими — потомками князей Киевской Руси. С этих-то земель и «выходили»— подчас целыми уделами во главе с местными князьями и боярами. Они, точнее уже их потомки, и оказались затем первыми, вставшими в оппозицию к царю Борису. Упоминаемый в романе Богдан Бельский, в пику явным уже для всех мечтаниям Годунова, еще при царствовании бездетного и больного Федора добивался объявления его преемником на троне Дмитрия. Что, возможно, и стоило тому жизни. Так что тень его мог Бельский, уязвленный, уже тогда начать готовить для Московского государства.

События первого до расправы над Лжедмитрием периода замятни (так в народе окрестили тогда это время, названное потом историками Смутным временем) показаны в романе круговым, панорамным видением персонажей друг друга, через яркое многогласие их мнений и говоров, во всплесках именно их, в духе их времени, чувств и поступков.

Читая роман, видишь, как жизнь народа, собравшегося для выживания в государстве, раздвигается вокруг — присоединением древнерусских земель к западу от Москвы, восхождением к арктической Коле, покорением немирных уже по своей природе Казанского и Астраханского ханств, казачеством, торговыми Мангазеями в Сибири, исканием заветной страны Беловодья, землепроходством — найдем или потеряем, не бежим ли от самих себя?! Огромная, разноликая в прямом и в переносном смыслах страна еще какое-то время держится грозной рукой Ивана IV, стремится вокруг него, как вокруг стержня в гигантском волчке.

Но вот после смерти государя-тирана образуется в стране водоворот противоборствующих течений, сбиваются, глохнут центростремительные силы государства, водоворот — на месте волчка, вместо стержня — воронка, затягивает... Исчезают, падают в Лету и изощрения Годунова, увлекая за собой и начавшего было царствовать сына. Вместо него Самозванец взлетает над водоворотом событий стремлениями совершенно разных сил — народной мечтой о принце, его собственной, почти гениальной игрой (обольщение царевны Ксении — это обольщение им всей страны), тщеславием панской Польши, ее вожделением — владеть всеславянской, от Одера до Урала, державой...

Чем выигрывает исторический романист Мордовцев, этот «блудный сын истории», как зло назовет его один из историков-профессионалов, так это тем, что в отличие от некоторых из них он не отождествляет «волнения народа» и подлинные движения его души... Историки Смуты потом «сдвинут» события, поторопятся с «польской угрозой». Да, она, эта угроза, еще придет, заставит русских вернуться к единству, но тогда, еще раньше самой этой угрозы, явился подпольный творец страха перед ней — Василий Шуйский... И он вслед за Лжедмитрием канет вскоре в водоворот событий, но то, что «польская угроза» была тогда лишь политической игрой бояр, станет ясно уже через несколько лет, когда позовут они на московский престол польского королевича Владислава.

Особенный интерес в России к прошлому своего народа возникает после и перед великими событиями. После войны 1812 года выражением этого интереса в исторической беллетристике стали романы и повести Кукольника, Полевого, Зотова, Загоскина, Лажечникова. Затем, после некоторого спада, после злободневных произведений, вызванных ожиданием и результатами отмены крепостного права, история государства и общества вновь стала привлекать к себе пристальное внимание. И это было результатом уже не военных, а внутренних потрясений: создание революционных партий, взаимный — царской администрации и народовольческий — террор. Члены группы Нечаева объявили «мужицкую революцию», которая виделась им как «всеобщее беспощадное разрушение». Было совершено — впервые не в результате дворцового переворота, а как «отмщение за народ»— убийство монарха. Мордовцева оно потрясло, и не только как ответ писателя критикам его романов прозвучали на следующий год со страниц журнала слова: «...какой исторический рост человеческих групп двигает вперед челове-

чество — свободный или насильственный? Мне всегда казалось, что последний не имеет будущего, а если и имеет, то очень мрачное».

И совсем не случайно в эти годы большой общественный интерес в стране вызвали работы по истории церковного раскола. В свое время этот раскол едва не стал расколом всего русского народа, многие теперь, и уже не только на религиозной почве, стали проводить аналогии с современным состоянием общества — задумались теперь прежде всего о нравственной стороне раскола.

Именно в эти годы Мордовцев пишет романы «Идеалисты и реалисты» (1876), «Великий раскол» (1881), повесть «Социалист прошлого века» (1882), произведения о раскольниках XVII—XVIII веков.

...Пока еще не написано такой если не мировой, то хотя бы общеевропейской истории, с которой бы согласились все народы. У каждого народа — своя правда в истории, и подчас тот, кого он почитает национальным героем, для другого народа не более чем захватчик.

«Правда» нашего народа заключалась прежде всего в том, что пока он в течение нескольких веков служил для Европы тем самым «русским щитом», который заслонял ее от нашествий с Востока, пока русские изнемогали в этом кровавом противостоянии, «благодарная Европа» часть за частью захватывала ее западные земли — от Галиции до Киевщины и от Немана до Смоленска.

Александр Невский, государственный гений которого оказался еще выше, чем его же полководческий, породнившись ради спасения уже разоренной ордынцами Русской земли с ханом Батыем, при своей жизни не давал шведам и немецким крестоносцам захватить приморсконевские нятины (провинции) Новгорода. Здесь, известный еще Геродоту (под именем чуди, которую он считал частью Скифии), жил народ ижора. (Еще и сейчас на территории Ленинградской области проживает несколько тысяч человек, называющих себя ижорцами.) Затем, захватив наконец этот край, шведы назвали его Ингерманландией.

Между тем как ижорцы давно уже породнились с пришедшими к ним с Ильменя славянами: русско-ижорские поселения в дельте Невы, на территории, занимаемой ныне Петербургом, известны с X века. О том, как возвращались России эти древние новгородские земли, и рассказывается в романе «Державный плотник» (1895).

Несмотря на множество «литературных вариантов» жизни Петра I, в том числе и в советском историческом романе, Мордовцев раскрывает в его образе немало таких черт, которые или внове современному читателю, или понимались им не совсем верно. Так, в художественной, да и в исследовательской литературе много говорится о житейской неприхотливости этого человека, например, об отсутствии у него какой-либо ревности при виде возводимых его приближенными дворцов, подчас (как, например, у Меншикова и Шереметева) более роскошных, чем его, царские... Читая Мордовцева, начинаешь догадываться, что мы иногда просто не в состоянии постичь того времени, когда и «полудержавный властелин» Меншиков, и «Шереметев благородный» были таковыми для всех, кроме царя: для него они —«Алексашка» и «Борька», ему они принадлежали не только вместе со своими дворцами, но и, сказать попросту, «со всеми потрохами».

Чтение этого романа непривычно еще и потому, что его автор, так же, впрочем, как и современные ему читатели, изучал историю общества без отделения ее от истории религии,— отсюда не только истинное знание истории России, но и наполнение романа всей той

жизнью, реалий которой (например, подлинной истории закладки Санкт-Петербурга) мы не найдем в нашей современной исторической беллетристике.

Не бесспорны хотя и, наверное, интересны выводы автора о том, какой характер приняла бы война со шведами, если бы она оставалась исключительно «Северной» войной, не спровоцируй Мазепа Карла XII на его поход именно в Украину своим обещанием поднять ее против России. Собственно, рассуждения автора на эту тему можно понять только таким образом: сам же допуск («а что, если?..») союза Украины со Швецией исторически неуместен.

А как хороша, по-девчоночьи искренна и прелестна в романе Мотренька — совсем еще юная дочь Кочубея! Рисунок ее в таком возрасте мог быть только романтическим, именно такой он и в романе Мордовцева — совсем еще далекий от драматизма пушкинской Марии. И лишь печальная песнь слепого кобзаря, его «дума» о трех братьях, бежавших из турецкой неволи, тревожит ее, нарушает безмятежный покой ее души. «Дума» в романе дается на украинском языке — это удивительное и волнующее чтение для русского читателя: как будто вспоминаешь те слова-чувства, которые были когда-то в самом начале...

Несомненно, лучшие главы в романе те, в которых показывается борьба двух миров России того времени в Преображенском («пытошном») приказе князя-кесаря Ромодановского. Борьба, где «государев допрос» с его пытками «слабой плоти» и неминучей смертной плахой бессилен подчас против приверженцев старорусских идеалов, в глазах которых «царь-антихрист» допрашивает самое Русь. Да, конечно, новые люди страны борются «со всем обветшалым и косным», что мешает ее будущему, но в романе показывается и то, как губили русские же люди национальное восприятие жизни, как при этом подчас иссякало и такое общее для всего живого чувство, как жалость к родной плоти... Ибо, например, не страха ради доносит попадья Степанида на своего мужа, а в будущем «в пытошной исповедальне» окажется — царевич Алексей!

Да, конечно, Петр I не только ломал устои старой Руси — он истинно был Державным плотником при возведении величественного здания Российского государства, был строителем его новой объединительной (всех трех восточнославянских народов) идеи. В романе Мордовцева Петр — «гений», «титан», «исполин», «вождь». Но... И опять он, автор романов о Петре Великом, здесь с нами: в силах ли была она, эта идея, утешить целые поколения русских крестьян, которые приходили в этот мир однажды и, оказывалось, совсем не для счастья? Разве наша благодарность Петру Великому означает забвение пращуров наших, «потом трудов своих» (а не только его, царских) создавших новую Россию?

И как раз именно эти, на весах истории, неотвратимые «да», иногда восторженные до коленопреклонения, и сострадательные «но», впрочем, еще чаще исполненные восхищения перед мученическим концом героев-идеалистов,— суть творчества Мордовцева, всегда его произведения волнуют этой диалектикой времени и души.

Юрий Сенчуров

ПРИМЕЧАНИЯ

ЛЖЕДИМИТРИЙ

Впервые отдельным изд.: Лжедимитрий. Исторический роман из Смутного времени Спб., 1879.

С. 19. *...все Романовы пропали...*— В преддверии борьбы за престол Годунов, будучи фактическим правителем, обвинил бояр Романовых в намерении отравить бездетного царя Федора Иоанновича.

С. 32. *...подобно Иоанне д'Арк...*— Жанна (по-русски Иоанна) д'Арк (1412—1431) Возглавив борьбу французского народа против английских захватчиков, освободила Орлеан, но была предана. Англичане, понимая, что «Орлеанская дева» стала символом французского сопротивления, добились над ней верховного для всех враждующих сторон церковного суда. Обвиненная в ереси, была сожжена на костре.

...схизматиков москалей-варваров...—Схизма обозначает раскол, разделение внутри христианства, не затрагивающее его основных догматов. Католики, не считая православную Церковь (они ее называют «восточной») еретической, утверждают, однако, что единство христианства в догматическом отношении поддерживается папой римским — следовательно, все христиане, не подчиняющиеся Ватикану, в том числе и православные, являются схизматиками.

С. 35. *...посадил на московский престол татарина...*— Предок Бориса Годунова был казанский мурза Чет, принявший христианскую веру и поступивший на службу к московскому князю в XIV в.

...царство Монтесумы...— Монтесума (1466—1520) — правитель ацтеков (на территории современной Мексики), захвачен испанцами.

С. 39. *...Почаив.*— Имеется в виду православный мужской монастырь, основанный в XV в. Действует и сейчас — Почаево-Успенская лавра в Тернопольской области.

...святой Юрко...— Юрьев день 26 ноября — по древнему положению день расчета и возможности перехода крестьян к другому хозяину

С. 43. *...женские коты* — невысокие кожаные, плетеные или валяные сапоги, иногда с опушкой.

С. 44. *..король Баторий...*— Стефан Баторий (1533—1586) — польский король с 1570 г

С. 57 *Мехоноша*—тот, кто носит «мех», мешок для сбора подаяний у скоморохов, кобзарей, вожаков медведей и т. д., а также у сборщиков рождественских коляд.

С. 70. *Пелена* — четырехугольный плат, полотнище, употребляемое для украшения икон, подстилания под предметы богослужебной утвари, покрывания жертвенника и престола в церкви.

С. 81 *..юже ископа десница твоя* — с древнерусск.: ...которую выкопал своею рукой...

С. 87 *Оцет* — уксус.

С. 97 *...дьячок словно бы читает ефимоны...*— словно бы ведет вечернюю службу в Великий пост («постную», «жидкую»)

С. 98. *...четками монашескими* — чаще всего деревянными, нанизанными на шнурок для счета творимых молитв.

С. 102. *...черкасским людям* — так в то время называли на Руси украинцев.

С. 104. *Троеручица* — одна из явленных икон Богоматери, на которой она изображена с тремя руками: двумя держит младенца Христа, третьей — благословляет.

С 107 *...патриарх Иев...*— Иов (?—1607) — первый русский патриарх (с 1589 г.). Иов содействовал избранию Годунова царем. В июне 1605 г. сведен с патриаршего престола боярами, признавшими царем Лжедмитрия I.

С. 111. *...полстеной шлык* — колпак (ср.: башлык) обычно из меха, но мог быть стеганым или валяным.

С. 115. *...«навье» загробное* — покойник, по представлениям, связанным с культом умерших, способный оберегать живых, помогать им.

С. 116. Песня, которую поет Ксения Годунова, вошла в репертуар народных исторических песен и баллад как «Плач Ксении Годуновой».

С. 117. *Троица на рву* — храм Василия Блаженного, именуемый также Покровским.

С. 119. Сословия, чины и должности, упоминаемые на этой и других страницах романа: *бояре* — первоначально старшие дружинники и советники князя из вотчинных (потомственных) землевладельцев, затем — первые чины государевой (боярской) думы, занимали самые высокие «должности по отечеству». *Окольничий* — второй по значению чин думы. *Стольники* — первоначально прислуживали «при столе» великого князя, позднее в этом чине назначались даже воеводами и приказными. *Приказные* — ведали приказами (по нашему времени — министерствами). *Стряпчие* — при государе для поручений. *Думные дьяки* — ведали делопроизводством думы. *Жильцы* — вообще все те, кто находился на службе лично при государе. *Гости* — здесь торговые люди, купцы.

...дети боярские, дворяне...— не дети бояр в прямом смысле этих слов; служили в «молодшей» дружине князя, затем в охране царя. *Испомещаемые* (наделяемые) за службу при дворе землями, они стали называться помещиками (потом понятие *«дворяне-помещики»* распространилось в повседневье, к обидам последних, и на вотчинных землевладелвцев). *Столбовыми дворянами* стали считать тех, кто был записан в *«столбцы»* (родословные книги) не позднее XVII в. Так что, в свою очередь, даже потомки опричников, «испоместившихся» при Иване Грозном, *«худородными»* считали светлейших князей Потемкина и Меншикова. Российское дворянство пополнялось высшими сословиями народов воссоединяемых в одном государстве с русским, промышленниками, землепроходцами, атаманской верхушкой казачества (Поярков, Атласов, Строгановы, Демидовы, Платов), затем — возведением в него *«лутчих людей»* других сословий по достижении ими обусловленных для этого чинов в армии и государственном аппарате (например, директор народных училищ Симбирской губернии сын портного И. Н. Ульянов), а также и за особые заслуги (за литературные — А. А. Фет). Но помещиками новые дворяне могли стать только «за свой счет»— землями уже не наделялись.

С. 122. *Духов день* — второй день христианского праздника Пятидесятницы (Троицы).

С. 130. *...московская музыка — накры и бубны...*— Накр — старин-

ное название раковины (перламутр), то есть дудели в раковины и били в бубны.

С. 131 *...и московских чудотворцев...*— К описываемому времени были канонизированы русской Церковью Петр, Алексей и Иона — митрополиты, способствовавшие в XIV—XV вв. укреплению Московского государства.

...жезл Аарона — здесь отсылка к библейской притче, согласно которой жезл первосвященника Аарона по воле Бога расцвел, что указало на богоизбранность его владельца (Книга Чисел, 17).

С. 136. *Дивий* — дивный, редкостный.

С. 144. *...«закренцил вонца»*— насмешливо о польском шляхтиче: загнул усы.

С. 146. *...язык Горацеуша...*— Квинт Гораций Флакк (65—8 гг до н. э.) — римский поэт, в основе его поэзии — философское воззрение стоицизма.

С. 152. *...уставом пишешь...*— Устав — тип написания древних славянских рукописей, с четким начертанием каждой буквы, без сокращений титл.

Противень — копия, список.

С. 155 *...память святых... князей Бориса и Глеба...*— здесь: 6 августа по новому, 24 июля по старому стилю — день памяти первых русских святых, убиенных братом Святополком Окаянным.

С. 162. *...аки Иродиада-плясовица...*— Автор, наверное, имел в виду в этом сравнении не саму Иродиаду, а ее дочь Саломею — Иродиадицу, которая в награду за свою пляску, по наущению матери, попросила у царя Ирода Антипы голову Иоанна Крестителя.

С. 163. *...В синодик захотел!..*— Церковная книга «Синодик», куда вписываются имена для вечного поминовения; здесь — ироническое иносказание «поминальника», в который царь Иван Грозный мог «зачислить» (казнив) любого.

С. 167. *...може бес Фармагей.*— Яркий пример вхождения в народное сознание образов русской литаретуры («Повесть о Новгородском белом клобуке», XV в.).

С. 173. *Адамантовый* — алмазный, как символ твердости.

...горы Хорив и Синай...— Об этих горах подчас говорят как об одной, так как сказано, что пророк Моисей на Синае увещевает иудеев следовать принятым им законам; сам же он называет Синай Хоривом, хотя это лишь отрог Синая, обильный источниками и травами.

Фиваида — вероятно, область древнегреческого города Фивы, который на протяжении двух тысячелетий до нашей эры сохранял значение религиозного и культурного центра.

Капподокия — область в Малой Азии; в древности была центром Хеттского государства.

Киликия — известна как Киликийское государство армян в начале нашего (второго) тысячелетия.

Мидия — находится на Иранском нагорье, в древности наименование царства.

Пафлагония — историческая, известная с древности область на черноморском побережье современной Турции.

С. 175. *...словно в стихарях.*— Стихарь — нижняя одежда священника или архиерея и верхняя, обычно парчовая,— дьяконов и дьячков.

С. 176. *...хотят разрушить стены Иерихона.*— Здесь поэтическое сравнение Москвы с древнепалестинским городом Иерихоном, стены

которого рухнули от звучания трубы легендарного, обладавшего удивительной силой военачальника Иисуса Навина.

С. 179. *...василиски... я вас!* — В древнерусской литературе — мифические существа, женщины-змеи, здесь — пресмыкающиеся, гады.

С. 185. *...жемчугами бурмицкими* — название жемчуга лучшего качества, добываемого в Персидском заливе.

Рясофорец — послушник в монастыре, носящий монашескую рясу с клобуком без принятия иноческого сана, лишь с благословения настоятеля.

ДЕРЖАВНЫЙ ПЛОТНИК

Впервые отдельным изданием: Державный плотник. Спб., 1895.

С. 228. Эпиграф — из стихотворения А. С. Пушкина «Стансы» (1826).

...денщик его, Павлуша Ягужинский... — Павел Иванович Ягужинский (1683—1736). Сын органиста лютеранской церкви, один из ближайших сподвижников Петра I, в конце жизни — генерал-прокурор сената.

С. 229. *Баркалоны* — суда для Азовского флота, итальянского образца, строились с 1698 по 1700 год.

Барбарские суда (берберские) — турецкого образца, строившиеся в подвластных Турции североафриканских провинциях.

С. 230. *...тетрати...* — Так в то время писали и говорили.

С. 232. *...в Преображенский приказ, к князь-кесарю...* — то есть к Ромодановскому Федору Юрьевичу (ок. 1640—1717), ведавшему делами по политическим преступлениям.

...ссылками на «Ефрема Сирина об антихристе», на «Апокалипсис», на «Маргерит».— Ефрем Сирин (умер в 373 году) — церковный писатель, книга его «Поучений» была издана в Москве в 1647 году; *Апокалипсис* — Откровение Иоанна Богослова (последняя книга Нового завета), книга пророчеств; *Маргерит* — книга избранных бесед Иоанна Златоуста, византийского церковного деятеля и писателя IV—V вв.

...для... похода под Азов... — имеется в виду поход 1696 года, закончившийся взятием этой турецкой крепости.

С. 235. *...наш отечественный Торквемадо...* — Торквемада Томас (ок. 1420—1498) — глава испанской инквизиции (великий инквизитор) Инициатор изгнания евреев из Испании (1492)

Боярин князь Иван Иванович Хованской.. из «тараруевцев»... — «Тараруем» (пустомелей) называли князя Ивана Андреевича Хованского (? — 1682), отца героя. В 1682 году, будучи во главе Стрелецкого приказа, во время московского восстания стрельцов выступил против правительства Софьи; был казнен.

С. 236. *Распоп* — поп-расстрига, с которого снят священнический сан.

Батырщик — типографский работник, печатник.

С. 239. *Бармы* — драгоценное оплечье, украшавшее великокняжеское или царское платье. С XV века — одна из необходимых регалий при короновании.

Гунька кабацкая — ветхая одежонка, даваемая вместо пропитой.

С. 240. *Аналой* — высокий столик с наклонным верхом для богослужебных книг и икон.

С. 242. *...Павловы-де твои уста...* — апостола Павла, ученика Иисуса Христа, по церковному преданию, «страждущего в оковах».

С. 245. *...родитель мой короводился с Никоном...* — патриарх Никон пользовался особым расположением царя Алексея Михайловича, до опалы назывался «собинным другом».

Стефан Яворский (1658—1722) — русский церковный деятель, писатель. С 1700 по 1721 год — местоблюститель патриаршего престола. Написал полемическое сочинение против лютеранства «Камень веры».

Епифаний Словенецкий (Славинецкий) (? — 1675) — русский и украинский писатель и ученый, составитель словарей, переводчик духовных песен и проповедей.

С. 246. *Киево-Могилянская коллегия* — существовала в 1632—1817 годах (с 1701 г.— академия). Основана Петром Могилой, митрополитом Киевским и Галицким,— первое высшее учебное заведение на Украине, центр образованности и книжности украинцев, русских и белорусов.

Симеон Полоцкий (в миру Самуил Емельянович Петровский-Ситнианович) (1629—1680) — белорусский и русский церковный деятель, писатель. Полемизировал со сторонниками старой веры («Жезл православия», «Новая Скрижаль»). Наставник царских детей, преподавал в школе Заиконоспасского монастыря. Один из организаторов Славяно-греко-латинской академии в Москве. Зачинатель российского силлабического стихосложения.

С. 247. *Ектения* — молитва, произносимая в определенные моменты богослужения в сопровождении хора и завершающаяся словами: «Господи, помилуй» и «подай, Господи».

С. 248. *Блажени милостиви...*—«Блаженны милостивые, ибо помилованы будут» (Евангелие от Матфея. Гл. 5,7).

С. 250. *Разрешение вина и елея...* — по сути, слова князя-кесаря являются богохульством, так как он проводимые им пытки сравнивает с праздником, которому предшествовал пост.

С. 253. *...атлабасовые наволоки* (точнее: алтабасовые) — из шелковой, затканной золотом материи.

...сидячие боярыни... — почетные гостьи на свадьбе, одна из них могла быть посаженой матерью.

Убрус — платок головной (белый).

Калач-перепеча — род кулича, сдоба.

С. 254. *...золотые «пенязи»* — старинные золотые монеты.

С. 258. *Каптана* — колымага, карета, зимний крытый возок.

С. 260. *В сурьми да бубны...* — то есть в трубы и бубны ударили, см. примеч. к с. 130.

С. 262. *...Старец Исократ с отчаяния уморил себя голодом...*—Исократ (436—338 до н. э.) — афинский оратор и публицист.

С. 263. *Регимент* — полк.

С. 264. *Сердюки* — казаки-пехотинцы.

С. 267. *Князь Иван Юрьевич Трубецкой* — полковник, пробыл в шведском плену десять лет, до размена пленными в 1710 г. В Швеции «прижил» сына — Ивана Ивановича Бецкого, который будет доверенным человеком Екатерины II (по легенде — ее отцом).

...письмо из Москвы... — описка автора: выше говорится, что молодой князь Трубецкой женится на Ксении Орлениной, а не Головкиной (Ч. I, гл. 7).

Яков Федорович Долгорукий (1639—1720) — князь, сподвижник Петра, его доверенное лицо. Участник Азовских походов. В 1700—1710 гг.— в шведском плену.

Автаном (правильно: Автамон) *Михайлович Головин* — генерал, участник Азовских походов, двоюродный брат Федора Александровича Головина, руководителя внешней политики при Петре, фельдмаршала.

С. 271. *Шакловитый* Федор Леонтьевич (? — 1689) — фаворит царевны Софьи Алексеевны. Подьячий Тайного приказа, а с 1682 года — глава Стрелецкого приказа. Руководитель заговора против Петра I в 1689 году. Казнен.

С. 272. *...гроб Милославского...* — Иван Михайлович Милославский (?—1685) — боярин, родственник первой жены Алексея Михайловича, возглавлял борьбу против родственников матери Петра I — Нарышкиных, один из организаторов стрелецкого восстания 1682 года.

Лития — богослужение вне храма или в притворе, а также церковное шествие.

Асмодей — в библейской мифологии злой дух, глава демонов.

Голицын Борис Алексеевич (1654—1714) — князь, дядька-воспитатель Петра. Во время Великого посольства — один из руководителей правительства. Управлял Поволжьем. После Астраханского восстания 1705—1706 годов был в немилости у царя.

Лефорт Франц Яковлевич (1655/56—1699) — швейцарец, адмирал. С 1678 года на русской службе. Сподвижник Петра. Командовал флотом в Азовских походах.

Шеин Алексей Семенович (1662—1700) — боярин, генералиссимус (1696). Командовал сухопутными войсками в Азовских походах. Подавил восстание стрельцов 1698 года.

Цыклер Иван Елисеевич — думный дворянин, наперсник Федора Шакловитого и царевны Софьи. В 1689 году явился к Петру I с сообщением о заговоре, впоследствии получил Верхотурское воеводство, строил Азов. В 1697 году участвует в заговоре против Петра с Соковниным и стольником Пушкиным. Казнен.

Соковнин Алексей Прокофьевич — окольничий, участник заговора 1697 года. Брат Федосьи Прокофьевны Морозовой и Евдокии Прокофьевны Урусовой, раскольниц, замученных в 1676 году, при Алексее Михайловиче. Казнен.

С. 273. *Боже мой! Вскую мя еси оставил!* — Боже мой! Для чего ты меня оставил? (Евангелие от Матфея. Гл. 27, 46.) Последние слова Иисуса Христа перед смертью.

С. 274. *Орлов Иван* — дед будущих «екатерининских орлов», фаворитов братьев Орловых.

С. 282. *Карл так расположил ряды своего... войска, не достигавшего 2000, тогда как у нас было 35000...* — сведения не точны. В Нарвском сражении у русских было 35 тысяч войска и 145 орудий, у шведов — 23 тысячи и 38 орудий.

...потомок Гаральда... — автор относит генеалогию Карла XII к последнему англосаксонскому королю Англии Гарольду II (?—1066), который погиб в битве с нормандскими войсками при Гастингсе. Дочь Гарольда II была женой Владимира Мономаха.

С. 283. *...боярин Шереметев... Услыхав о нечистой силе...* — эпизод с «нечистой силой» — поэтическая вольность Д. Л. Мордовцева.

С. 284. *Вейде Адам* Адамович (1667—1720) — русский генерал, сподвижник Петра, участник Азовских походов. В 1700—1710 гг. был в плену у шведов. Известен его Воинский устав, посвященный Петру I (1698).

С. 285. *...думного дьяка Виниуса...* — А. А. Виниус в начале Северной войны принадлежал к «компании» Петра — людям, с которыми

царь был в приятельских отношениях, позднее, уличенный во взяточничестве, потерял доверие, отстранен от дел.

С. 286. *«Кадило мерзости Ми есть»,— глаголет Адонай Господь.* (Цитата из Библии. Пророк Исаия, 1, 11—15).— Адонай — одно из десяти главных имен Бога: Эль, Элоим, Эльхи, Саваоф, Элион, Эсцерхи, Адонай, Иах, Тетраграмметон, Садаи.

С. 290. *...постричь насильно царицу Евдокию...*— Евдокия Федоровна Лопухина (1669—1731) — первая жена Петра I (с 1689), с которой он расстался вскоре после женитьбы; в 1698 году, по настоянию Петра, пострижена в монахини.

...крыжом упал...— то есть упал плашмя, раскинув руки в стороны, как четырехконечный католический крест —«крыж».

С. 294. *...обыскивали в своем сороку...*—здесь: в своем околотке, входившем в приход той или иной церкви.

С. 298. *Радивиловский* Антоний (?—ок. 1688) — украинский писатель и проповедник. Наместник Киево-Печерской лавры, позднее игумен одного из киевских монастырей. Поучения изданы в книгах: «Огородок Марии Богородицы» (1676) и «Венец Христов» (1688).

Лазарь Баранович (ок. 1620—1693) — украинский церковный деятель и писатель, сторонник объединения Украины с Россией, однако при независимости украинского духовенства от московского патриархата. С 1657 года черниговский архиепископ.

Дмитрий Туптало-Ростовский (Данила Саввич Туптало) (1651—1709) — митрополит Ростовский, писатель, поддерживал реформы Петра I с условием невмешательства государства в церковные дела. Составил новую редакцию Четьих-Миней, автор антираскольничьих сочинений.

Феофан Прокопович (1681—1736) — государственный и церковный писатель, глава Ученой дружины, сподвижник Петра I.

С. 305. *...при Гумельсгофе Шлиппенбах мало штаны не потерял.*— Шведский генерал Шлиппенбах проиграл Б. П. Шереметеву три сражения с 30 декабря 1701 года по 1 января 1702 года: при Эресфере, Гумельсгофе и при реке Эмбах.

С. 310. *...Соломон какой: добыл себе царицу Савскую...*— Соломон — царь Израильско-Иудейского царства в 965—928 годах до нашей эры, сын царя Давида. Предположительно — автор некоторых книг Библии. Его мудрость привлекла царицу Савскую, легендарную правительницу арабского племени на территории современного Йемена.

С. 314. *...гетман Иван Степанович...*— Мазепа (1644—1709) — гетман Украины. Стремился к отделению Украины от России; после Полтавской битвы бежал с Карлом XII в Яссы.

С. 315. *Бердыш* — широкий длинный топор с лезвием в виде полумесяца на вооружении в пехоте XV—XVIII веков.

С. 317 *...строя ковы...*— козни.

..добрыми коралями и золотыми дукачами...— то есть кораллами и старинными золотыми монетами-дукатами.

С. 318. *Михоноша* (точнее: мехоноша) — см. примеч. к с. 57.

С. 322. Транскрипция даваемых в романе фрагментов думы «Бегство трех братьев из города Азова, из турецкой неволи» приведена в соответствие с текстом академических изданий: Думи. Київ: Державне видавництво художньой литератури, 1959; Думи. Київ: «Дніпро», 1982.

С. 326. *..окажется ниткою Ариадны и приведет его в пасть Минотавра?..*— В греческой мифологии дочь критского царя Миноса, Ариадна, помогла юноше Тесею, убившему Минотавра (чудовище, полубык-получеловек, пожиравший периодически по семь афинских юношей и деву-

шек), выйти из лабиринта при помощи клубка ниток, конец которых был закреплен у входа.

С. 329. *Крёз* (595—546 до н. э.) — последний царь Лидии, обладатель легендарного богатства, был разбит и взят в плен персидским царем Киром.

С. 331. *...стены нового Иерихона...*— здесь поэтическое сравнение крепости Нотебурга со стенами Иерихона.

С. 334. *Апраксин* Матвей Федорович (1661—1728) — граф, генерал-адмирал, сподвижник Петра I. Командовал флотом в Северной войне и Персидском походе (1722—1723). С 1718 года — президент Адмиралтейств-коллегии.

С. 338. *Шанцы* — укрепления.

...аккорды предъявить...— предложить капитуляцию.

С. 357. *...сей «Сампсон» победил шведов...*— В библейской мифологии богатырь, обладавший необыкновенной силой. Самсон разрушил храм, под развалинами которого погибли и он сам, и пленившие его филистимляне.

С. 360. *Сикурс* — помощь.

С. 369. *Сенявин* — вероятно, дед будущего знаменитого флотоводца, адмирала Дмитрия Николаевича Сенявина (1763—1831).

С. 370. *...посреди мрака и бури оссиановской ночи...*— то есть ночи, подобной тем, какие изображал Оссиан, легендарный кельтский певец и воин, живший якобы в III веке. В действительности автором песен был шотландский писатель Джеймс Макферсон (1736—1796), выдавший свои обработки кельтских преданий и легенд за подлинные песни легендарного певца. Стилю этих песен присущи мечтательность и меланхолия.

С. 374. *Нумерс* — командующий шведской эскадрой, вице-адмирал.

С. 377. *...к артиллерийскому полковнику Трезини...*— впоследствии русский архитектор Доменико Трезини (ок. 1670—1731), представитель раннего барокко, возводивший Летний дворец (1710—1714), собор Петропавловской крепости (1712—1733), здание Двенадцати коллегий (1722—1734).

С. 380. *Семик* — так называемая «зеленая неделя» («зеленые святки»), праздновавшаяся на седьмой неделе после Пасхи,— оставшийся от времен язычества праздник лета, плодородия, сопряжен был с разными крестьянскими приметами и гаданиями.

Репнин Аникита Иванович (1668—1726) — князь, русский военачальник, генерал-фельдмаршал (1725), президент Военной коллегии. С детских лет состоял при Петре I, поручик «потешной роты». Участвовал в Азовских походах. В 1708 году за поражение при Головчине разжалован в рядовые, реабилитировал себя в битве при Лесной, восстановлен в чине генерала. Руководил осадой и взятием Риги (1709—1710). После смерти Петра — один из тех, кто возвел на престол Екатерину I. Удален от двора Меншиковым в Ригу, где и умер.

СОДЕРЖАНИЕ

ЛЖЕДИМИТРИЙ

Исторический роман из Смутного времени

ДЕРЖАВНЫЙ ПЛОТНИК

Исторический роман

Таблицы, помещенные на форзацах, не претендуя на полноту, позволяют проследить преемственность наследования российского престола и тематику публикаций серии.

ГОСУДАРИ РУСИ ВЕЛИКОЙ

Литературно-художественное издание

МОРДОВЦЕВ ДАНИИЛ ЛУКИЧ

ЛЖЕДИМИТРИЙ

Романы

Редактор **В. А. Серганова**
Художник **Б. Н. Чупрыгин**
Художественный редактор **Н. Б. Егоров**
Технический редактор **Л. Б. Демьянова**
Корректоры **Г. А. Голубкова, Т. Г. Люборец**

ЛР № 010006
03.10.1991 г

ИБ № 6554

Сдано в набор 30.07.93. Подписано к печати 2.03.94. Формат 84×108[1]/32
Гарнитура литер. Печать высокая. Бумага тип. № 2. Усл. печ. л. 21,0
Усл. кр.-отт 21,0. Уч.-изд. л. 22,13. Тираж 50 000 экз. Заказ № 2100 С 030

Издательство «Современник».
123007, Москва, Хорошевское шоссе, 62.

Факс 941-35-44
Тел. 941-36-69 (приобретение тиража)

Тверской ордена Трудового Красного Знамени полиграфкомбинат детской литературы им. 50-летия СССР Министерства печати и информации Российской Федерации. 170040, Тверь, проспект 50-летия Октября, 46.

Дмитрий Константинович (1359—1363) Дмитрий Донской (1363-1389) Василий I (1389-1425) Федор (1584-1598)

Симеон Гордый (1340-1353) Иван II (1353-1359) Василий II (1425-1462) Иван IV (1533-1584)

Иван III (1462-1505) Василий III (1505-1533)

Юрий III (1319-1326) Иван Калита (1328-1340)

Александр II (1326-1328)

Даниил Дмитрий Переяславский (1276-1294) Андрей Городецкий (1294-1304)

Михаил II (1304-1319)

Александр Невский (1252-1263) Ярослав III (1263-1272) Василий (1272-1276)

Константин (1216-1219) Юрий II (1212—1216 и 1219—1238) Ярослав II (1238-1246)

Мстислав II (1167-1169)

Андрей Боголюбский (1157-1174) Михаил (1174-1176) Всеволод Большое Гнездо (1176-1212)

Изяслав II (1146-1154)

Николай II (1894-1918)

Мстислав I (1125-1132) Ярополк II (1132-1139) Юрий Долгорукий (1154-1157)

Александр III (1881-1894)

Всеволод II (1139-1146)

Олег Святополк II (1093-1113) Владимир Мономах (1113-1125)

Александр I (1801-1825) Николай I (1825-1855) Александр II (1855-1881)

Святослав Изяслав I (1054-1078) Всеволод I (1078-1093)

Екатерина II (1762-1796) Павел I (1796-1801)

Петр III (1761-1762)

Святополк (1015-1019) Ярослав Мудрый (1019-1054)

Анна Петровна Елизавета Петровна (1741-1761) Алексей Петр II (1727-1730)

Екатерина I (1725-1727)

Ярополк (972-980) Владимир Святой (980-1015)

Федор (1676-1682) Софья (1682-1689) Петр Великий (1682-1725) Иван V (1682-1696) Анна Иоанновна (1730-1740)

Святослав (957-972)

Ольга (945-957)

Алексей (1645-1676)

Василий Шуйский (1606-1610)

Игорь (912-945)

Лжедмитрий I (1605-1606)

Олег (879-912)

Михаил (1613-1645)

Борис Годунов (1598-1605)

Рюрик (862-879)